

ЮРИЙ БОНДАРЬЕВ

*Последние  
записки*

*Письма*

Юрий Бондарев

Тишина

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 1945 ГОД

1

Выбиваясь из сил, он бежал посреди лунной мостовой мимо зияющих подъездов, мимо разбитых фонарей, поваленных заборов. Он видел: черные, лохматые, как пауки, самолеты с хищно вытянутыми лапами беззвучно кружили над ним, широкими тенями проплывали меж заводских труб, снижаясь над ущельем улицы. Он ясно видел, что это были не самолеты, а угрюмые гигантские пауки, но в то же время это были самолеты, и они сверху выследили его, одного среди развалин погибшего города.

Он бежал к окраине, там, на высоте — хорошо помнил, — стояла единственная неразбитая пушка его батареи, а солдат в живых уже не было никого.

Задыхаясь, он выбежал на каменную площадь и вдруг впереди, в дымном от луны полете улицы, возникли новые самолеты. Они вывернулись из-за угла, неслись навстречу ему в двух метрах над булыжником мостовой.

Это были черные кресты с воронеными пулеметами на плоскостях.

Он ворвался в подъезд какого-то дома — все пусто, темно, вымерло. Все квартиры на этажах закрыты. Лифтовая решетка затянута паутиной. Не оборачиваясь, спиной ощутил ледяной сквозняк распахнувшейся двери и понял: за спиной — смерть.

Хватая кобуру на бедре непослушными пальцами, с тщетной попыткой дотянуться к ТТ, он, мертвея от своего бессилия, обернулся. В проеме парадного горбатого стоял плоский крест самолета, щупающими человеческими зрачками глядел на него, и этот крест из досок должен был сделать с ним что-то ужасное. Тогда, всем телом прижимаясь к стене, напрягаясь в последнем усилии, он ватной рукой охватил ускользящую рукоятку пистолета, лихорадочно торопясь, поднял онемелую руку и выстрелил. Но выстрела не было...

— А-а!.. Где патроны?..

Сергей закричал. И, сквозь сон услышав задушенный, рвущийся крик, вскочил на диване, сел

на смятой простыне, потный, с изумлением озираясь: где он находится?

— Черт! — сказал он и облегченно, хрипло рассмеялся. — Вот черт возьми!..

И сразу почувствовал сухую теплоту комнаты.

Было морозное декабрьское утро. На полу, на занавесках, на диване — везде солнечный снежный свет, везде блеск ясного веселого утра. Толсто заиндедевские, ослепляли белизной окна с узорчатой чеканкой пальм по стеклу; на столе мирно сиял бок электрического чайника. И в комнате пахло дымком, свежим горьковатым запахом березовых поленьев.

Жарко и ровно гудело пламя в голландке. Старая Мурка лежала возле печи в коробке из-под торта, купленного Сергеем в день приезда в коммерческом магазине; кошка, жмурясь, старательно облизывала беспомощно пищащие серые тельца котят, тыкавшихся слепыми мордочками ей в живот.

Сергей увидел и солнечный свет, и Мурку, и новорожденных котят и с радостным приливом свободы улыбнулся оттого, что он в это декабрьское утро проснулся у себя дома, в Москве, что только что ощущаемая им опасность была сном, а действительность — это уютное солнце, мороз, запах потрескивающих в голландке поленьев.

В квартире тихо по-утреннему. Он, испытывая наслаждение, услышал в коридоре серебристый голосок сестры; затем мерзло хлопнула наружная дверь, проскрипел снег на крыльце.

— Сережка, спишь? Газеты!

Вошла Ася, худенький подросток в стареньком отцовском джемпере, посмотрела живо и заспанно на Сергея, почему-то засмеялась, кинула газету ему на грудь.

— Проснулись, ваше благородие? Лучше вот... почитай. Наверно, от жизни совсем отстал?

Сергей потянулся на постели в благостном оцепенении покоя, развернул газету, свежую, холодную с улицы — она пахла краской, инеем, — и тотчас отложил: читать не хотелось. Он лежал и курил. И так лежа, с особым удовольствием видел, как Ася, присев перед печью, раскрыла дверцу, обожгла пальцы, смешно поморщилась, лицо было розовым от огня. Потом подула на пальцы, опять засмеялась, косясь на Мурку, лениво и безостановочно лижущую своих котят.

— Знаешь, я стала затапливать печку, наложила дров, зажгла, вдруг — раз! — кто-то молнией как метнется из печи, только дрова полетели! Смотрю — Мурка, глаза дикие, в зубах котенок пищит. Оказывается, она хотела детенышей в печь перенести, устроить их потеплее. Вот дура-дура! Дурища, а не мамаша!

Ася со смехом погладила утомленно мурлыкающую кошку, одним пальцем нежно провела по головам ее мокрых, жалко некрасивых котят.

— Не такая уж она дура, — улыбнулся Сергей. — По крайней мере, шла на риск.

«Ведь все это мне тоже снилось, — подумал Сергей, — и морозное утро, и кошка с котятами, и печь, и Ася...»

Он сказал:

— Ася, брось папироску в печку. Я встаю.

— Интересно, это приятно? — Ася взяла папиросу, покраснев, поднесла к губам, выбрала

дым и закашлялась. — Ужасно! Как ты куришь?

— Ты это зачем?

— У нас в школе некоторые девчонки пробуют. Ты знаешь, я два раза вино пила.

— Это такие соплячки, как ты? Бить вас некому. Марш в другую комнату! Я оденусь.

— Подумаешь! — Ася дернула плечами, вышла в другую комнату, оттуда сказала обиженным голосом: — Ты грубый. В тебе осталось благородного только твои ордена и довоенная фотокарточка.

— Ладно, Аська, — миролюбиво сказал Сергей и потянул со стула обмундирование.

В этот час утра кухня, залитая морозным светом, была пустынной. Солнце ярко сияло и на цементном полу в ванной, колючие веселые лучики играли, искрились на инее окна, на пожелтевшем глянце раковины. Старое, еще довоенное зеркало над ней отражало потрескавшуюся стену, облупленную штукатурку этой старой маленькой комнаты, в которой летом всегда было прохладно, зимой — тепло.

Он мечтал об этой ванной в те дни, когда думать о доме казалось невозможным.

Сергей брился, радуясь переливу солнца на пузырьках в мыльнице, легкой пене мыла, щекочущей подбородок, мягкой и острой безопасной бритве. Впервые за этот месяц ощущал он, что обыкновенный процесс бритья — разведение душистой пены, намыливание теплой пеной щек, прикосновение лезвия к распаренной коже лица, которая становится чистой, молодой, — приносит острое удовольствие.

После бритья он по обыкновению вставал под душ в ванной, ровный шум прохладной воды, теплые иголки по всему телу, махровое полотенце — и он чувствовал себя в отличном настроении, когда казалось, что все прекрасное в самом себе и в жизни он только что счастливо понял и оно никогда не должно исчезнуть.

Он знал, что это ощущение до сумерек.

Вечером или особенно декабрьскими мглистыми сумерками, когда фонари горели в туманных кольцах, это чувство полноты жизни исчезало, и боль, странная, почти физическая боль и тоска охватывали Сергея. В доме и во дворе, где он вырос, его окружала пустота погибших и пропавших без вести; из всех довоенных друзей в живых остались двое.

Когда он уже стоял под душем, оживленно растираясь под колючими струями, слышались быстрые шаги из коридора, стукнула дверь на кухне, потом возле ванной раздался голосок Аси:

— Сережка, к тебе Константин. Что ему сказать?

— Пусть подождет. Без штанов я к нему не выйду.

— Фу, какой грубиян! — сказала Ася за дверью.

Минут через пять он вышел, надевая на ходу китель, — мокрые волосы были зачесаны назад, — спокойно, весело и твердо поглядел на сестру. И Ася, будто не узнавая, с удивлением и восторгом мизинцем провела по длинному ряду зазвеневших орденов, по кружочкам медалей, спросила то, что спрашивала уже не раз:

— Сережка, за что ты получил все это?

— За грубость.

— Пожалуйста, ты не городи, а скажи серьезно. Опять какую-то чепуху отвечаешь!

— За грубость, честное слово, Аська.

Он вошел в комнату, чувствуя, как после душа горячо звенит все тело, сел к столу, не здороваясь, сказал шутливо:

— Давай, Костька, завтракать. Вот этот омлет из яичного порошка жарила моя сестра. Проникся, какие у нас сестры? Ася, подели нам это пополам.

Константин, высокий, худощавый, с узким лицом, с темными усиками, докуривая сигарету, сидел на маленькой скамеечке подле печки, брезгливо и заинтересованно разглядывал тоненько пищащих котят. С хрипотцой в голосе он говорил сквозь затяжку сигаретой:

— Красивое создание кошка, а? Что-то есть от женщины. Или, наоборот, в женщине — от кошки. — Он покосился на Асю. — Ася, вы меня не слушайте, я по утрам болтаю чушь, когда не выплюсь. А, черт, трещит башка после вчерашнего!

— Не потрясай болезнями, — сказал Сергей.

— Оставьте в покое котят! — сердито проговорила Ася. — Я просто не знаю, чем я буду теперь кормить их — молока нет, ничего нет...

— Ася, у меня остаются иногда талоны на хлеб. Будете менять на какой-нибудь кошачий продукт.

— Вы просто богач.

— Иногда. — Константин по-военному одернул кремового цвета пиджак с щегольским разрезом сзади, потер двумя руками голову, коротко засмеялся, показывая из-под усиков великолепные белые зубы. Вышел в коридор и тотчас вернулся, подбросил на ладони бутылку, всю залепленную цветной этикеткой.

— Под твой омлет с салом или наоборот — ямайский ром!

Вынул из кармана немецкий ножичек, отделанный перламутром, ногтем подцепил штопор. Не спеша вытащил пробку, разлил по стаканам, приготовленным для чая, подмигнул Асе.

— Вам бы рюмочку, а? — И тут же продекламировал: — О, донна Ася, донна Ася, как я люблю твои глаза, когда глаза твои большие ты подымаешь на меня.

— Пошлость! — заявила Ася. — И никакой рифмы!

— Нет, за твои параллели я тебе сегодня накостыляю по шее, — сказал Сергей прежним тоном и посмотрел стакан на свет. — Неужели ты, Костька, обыкновенную родную водку можешь променять на какой-то паршивый ром?

— После войны решил попробовать все вина мира — своего рода идея фикс!

— Аська, ты слышала? — спросил Сергей. — Он тебя не поражает идеями?

— Давайте рюмку, Асенька, — сощурясь, предложил Константин. — Вы единственная женщина среди нас. Правда ведь?

Немного подумав, Ася достала из буфета рюмку, поставила ее на стол, сказала с виноватым выражением:

— Немножечко... капельку... — И взглянула на удивленного Сергея протестующе. — Не воспитывай меня, пожалуйста!

— Видишь? — Константин поощрительно и щедро налил Асе полную рюмку. — Какого лешего лезешь в личную жизнь сестры?

Сергей молча вылил из ее рюмки себе в стакан, взял бутылку из рук Константина, накапал в рюмку несколько капель, словно лекарство, произнес тоном, не терпящим возражений:

— Одному из вас я в самом деле нахлопаю по шее, другую, соплячку, выставлю за дверь!

— Где нет доказательств — там сила! — Константин захохотал, чокнулся с рюмкой Аси, выпил, крикнул ожесточенно. Опять подмигнул сердито нахмурившейся Асе, стал вилкой тыкать в ускользящий на сковородке кусочек сала, зажевал с аппетитом.

— Аська, выйди, — приказал Сергей. — У нас мужской разговор.

— Нет, Сергей, ты... невозможный! — Ася, краснея, швырнула полотенце на стул. — Просто ужасный грубиян!

— Так ты можешь продать часы? — спросил Сергей после того, как она вышла.

— Подожди, — сказал Константин. — Твои часы? Какая марка?

Сергей снял часы — черный с фосфорической синевой циферблат, тоненькая, как волосок, пульсирующая секундная стрелка — отличные швейцарские часы, которые носили немецкие офицеры, положил их на скатерть.

— Трофейные. Взял в Праге. Лежали в ящиках. В немецкой комендатуре.

Константин взвесил часы на ладони.

— На фронте я никогда не брал часы. Часы напоминают человеку, что он смертен. Полторы косых дадут за эти часы. Повезет — две. Постараюсь.

Сергей разлил ром в стаканы, поинтересовался:

— Что это за «полторы косых»?

— Полторы тысячи рублей. О, наивняк! Привыкай к понятиям «карточки», «лимит», «коммерческий магазин», «Тишинский рынок».

Константин, еще жуя, достал коробку «Казбека», придвинул Сергею, чиркнул зажигалкой-пистолетиком, прикуривая, договорил по-домашнему:

— К вечеру у меня будет солидная пачка купюр. Вернут долг. Можешь часы не продавать. На шнапс бумаг хватит. Оставь часы для худших времен. Зачем тебе деньги, когда у меня есть?

— Надо купить костюм. Отцовский не лезет.

— Купим! Деньги — это парашют, дьявол бы их драл! — сказал Константин. — Пустота под ногами — и тогда открываешь парашют! — От выпитого вина смуглое лицо его стало насмешливо-отчаянным. — На Тишинку поедем хоть сейчас. К спекулянтским мордам визит сделаем.

В его манере говорить, в его движениях ничего сходного не было с прежним аккуратным Костей — всегда умытым, застегнутым на все пуговички сшитой из теткиной юбки курточки, всегда приготовившим уроки, всегда детски красивеньким, чинно и пряменько сидевшим за

партой. Был он робок перед учителями, жаден той особой жадностью прилежного ученика («свою резинку надо иметь», «задачу списывать не дам — сам решай»), которая постоянно раздражала Сергея. Они жили в одном доме, но не были друзьями. Даже в десятом классе Константин ходил в своей аккуратной курточке, был замкнут, тих, нелюдим.

Они встретились полмесяца назад, и было странно видеть на Константине офицерскую шинель, спортивный пиджак с двумя нашивками ранений, с тремя орденами под лацканами и гвардейским значком, и странными казались как бы чужие темные усики. Он изменился так, как будто ничего, даже смутных воспоминаний, не оставалось от прежнего.

— Наш план на сегодня? — спросил Сергей, испытывая знакомое по утрам чувство легкости, оттого что жизнь, казалось, только начиналась.

— Рынок и танцы с девочками, — ответил Константин весело, засунул часы в карман и тут же пропел задумчиво: — «О, поле, поле! А что растет на поле? Одна трава — не боле. Одна трава — не боле...» Пошли... Асенька, привет! — крикнул он из коридора в кухню, когда, надев шинели, они вышли. — Плюньте на мелочи и берегите нервы. Сережка — известный бурбон!

Ася выглянула из кухни, озабоченно стягивая тонкой тесемочкой передник на муравьиной талии. Темные длинные глаза скользнули по лицу Сергея беспокойно.

— Опять до ночи, Сережа?

— Нет, — ответил он с нарочитой грубостью и поцеловал ее в лоб. — Я позвоню.

2

Двор без заборов (сожгли в войну) и весь маленький тихий переулок Замоскворечья были завалены огромными сугробами — всю ночь густо метелило, а утром прочно ударил скрипучий декабрьский мороз. Он ударил вместе с тишиной, инеем и солнцем, все будто сковал в тугой железный обруч. Ожигающий воздух застекленел, все жестко, до боли в глазах сверкало чистой белизной. Снег скрипел, визжал под ногами; звук свежести и крепости холода был особенно приятен после теплой комнаты, гудевшей печи.

Этот жестокий мороз с солнцем, режущий глаза сухой блеск были знакомы Сергею по сталинградским степям — наступали на Котельниково; звон орудийных колес по ледяной дороге, воспаленные лица солдат, едва видимые из примерзших к щекам подшлемников, деревянные, негнущиеся пальцы в железном холоде рукавиц; и снова скрип шагов, и звон колес, и беспредельное сверкание шершавого пространства... Хотелось пить — обдирая губы, ели крупчатый снег. Когда же конец этой степи? Где? Он шагал как в полуяви, и представлялась ему парная духота метро, шумящие эскалаторы, смех, лица, а он ест размякшее эскимо, пахнущее теплым шоколадом... Очнулся от глухих, сдавленных звуков, вскинул голову, не понимая. Рядом, держась за обледенелый щит орудия, толчками двигался заряжающий Капустин, сморщив обмороженное лицо, тихо стонал сдерживаясь; слезы сосульками замерзали на подшлемнике: «Не могу... не могу... Умереть лучше, под пули лучше, чем мороз».

Ничего этого не было сейчас. Вспомнилось же неожиданно — просто вдохнул запах холода, и все возникло перед глазами. Вспомнилось тогда, когда он шел по улице бодрый, сытый,

шинель, облежавшая его, хранила домашнее тепло, руки мягко грелись в меховых перчатках.

Дыша паром, плотнее натягивая перчатки, Сергей сказал:

— На фронте ненавидал зиму. После Сталинграда на передке возил с собой железную печь даже летом.

— «Мороз и солнце — день чудесный», — поглядывая по сторонам, пробормотал Константин. — Какую-нибудь машину бы, дьявола, поймать. Хорошо было дворянам раскатывать на тройках, под волчьей полстью! — Он потер одно ухо, потом другое, говоря быстро: — Я тоже под разрывными вспоминал милую старину. Тепло, настольная лампа, вьюга за окном, папираса и томик Пушкина... Сто-ой! — заорал он и махнул рукой. — Стой, бродяга!

«Эмка», плотно заиндевевшая от радиатора до крыльев, пронеслась мимо, покатила в глубину белого провала — улицы. Там, в конце этого провала, над снежной мгlistостью, над мохнатыми трамвайными проводами висело оловянное декабрьское солнце.

— На кой тебе машина? — сказал Сергей. — Доберемся пешком. Потопаем по морозцу, Костька.

— В такую погоду хорошо ослам, — захохотал Константин, усики его поседали от инея, лицо, ошпаренное холодом, стало красным. — Идет себе и занимается гимнастикой ушей. Я, к сожалению, двигать ушами не в силах.

— Опустит ушанку. Не на полковом смотрю.

— Иди ты... знаешь куда? Видишь, попадаются хорошенькие женщины. После войны стало больше красивых женщин... Я прав, девушка?

Константин ласково подмигнул бегущей навстречу по тротуару высокой девушке — полы потертого пальто колыхались, мелькали узкие валенки, под шерстяным платком — бело опушенные инеем ресницы, нажженные морозом щеки. Она не ответила, только с выражением, похожим на улыбку, пробежала мимо.

Константин заинтересованно оглянулся, потирая ухо кожаной перчаткой.

— Природа иногда создает, а, Сережка? Иногда смотрю, и грустновато становится, ей-богу. Меня хватило бы на всех. — Он взглянул на Сергея оживленно. — Ладно, заскочим в забегаловку. Симпатичный павильончик. Тут, недалеко. Погреемся.

Деревянный павильончик, синяя крышей, виднелся в глубине заваленного метелью бульвара. На пышных от вчерашнего снегопада липах каркали вороны, сбивали снег — белые струи стекали по ветвям. Забегаловка в этот утренний час была свободной, разрисованные морозом стекла сумеречно затемняли ее. Кисло пахло устоявшимся табачным перегаром, холодным пивом. За стойкой, опершись локтями, в халате поверх пальто стояла широкая в плечах продавщица, игривым голосом разговаривала с молодым парнем, пьющим пиво, — шинель без погон горбилась на его спине, к стойке прислонен костыль.

— Привет, Шурочка! — воскликнул Константин на пороге. — Холодище адово, а вроде посетителей нема! Один Павел тебя, что ль, тут веселит? А ну-ка налей нам по сто граммов коньячку для приличия!

— Здравствуй, Костя! На работку собрался с самого ранья? Мороз-то надерет сегодня...

Женщина, не без кокетства улыбаясь чуть подкрашенными губами, зазвенела на мокрой стойке стаканами, повернувшись толстым телом, погрела ладони над огненной электрической плиткой. Красными пальцами взяла коньячную бутылку. Парень поставил недопитую кружку,



детски светлые глаза настороженно обежали фигуру Сергея, задержались на погонах.

— Познакомьтесь — мой школьный друг Сергей! Капитан артиллерии, весь в орденах, хлебнул дыма через край, — представил Константин, перчаткой смахивая крошки со стола. — Шурочка, мы торопимся!

Парень подхватил костыль, ковыльнул к Сергею, протянул жилистую руку, сказал:

— Павел. Сержант. Бывший шофер. При «катюшах». — И озадаченно спросил: — А ты капитан? Когда же успел? С какого года? Лицо-то у тебя...

— С двадцать четвертого, — ответил Сергей.

— Счастли-и-вещ, — протянул Павел и повторил тверже: — Счастливец... Повезло.

— Почему счастливец?

— Я, брат, по этим врачам да комиссиям натаскался, — заговорил Павел с хмурой веселостью. — «С двадцать четвертого года? — спрашивают. — Счастливец вы. К нам, — говорят, — с двадцать четвертого и двадцать третьего года редко кто приходит». А я с двадцать третьего... Ранен был, капитан, нет?

— Три раза.

— Все равно счастливец, — упрямо повторил Павел. — Только оно, капитан, счастье-то, по-разному выходит...

— Эй, хватит там про счастье! Его как подарки на елке не раздают! — крикнул Константин, раскладывая на тарелке бутерброды. — Садись, Сережка! А ты, Павел?

— Нет, не буду я. Пива можно, — ответил Павел, садясь возле Сергея и вытянув левую ногу. — Нельзя мне с градусами пить. Спотыкнешься еще. Я ногу лечу. По утрам часа два гимнастику ей делаю.

— А что с ногой? — спросил Сергей.

— Так. Ничего. Осколком под Кенигсбергом. А работать надо?.. — вдруг спросил он высоким голосом. — Работать-то надо? Как же жить? И вот тебе оно, капитан, мое счастье... Куда ни кинь — везде клин. Ни в грузовые, ни в такси не берут. Кому нужен я? Нога... Как жить? Вот и говорю: счастливец ты, капитан, — с откровенной завистью сказал Павел, жадно осушил кружку, перевел дух, раздувая ноздри коротенького носа.

— Завидовать мне нечего, — сказал Сергей. — Профессии никакой. Десять классов и четыре года войны.

— Ты бы, дорогой Павлик, на курсы бухгалтеров поступал. Сам читал объявления, — сказал Константин. — Милая, тихая профессия. Счеты, накладные, толстая жена. У бухгалтеров всегда толстые жены, много детей. Верно, Шурочка? — Он подошел к стойке, бросил новенькую, шуршащую сотню перед улыбающейся продавщицей, ласково потрепал ее по розовой щеке. — Сдачу потом, Шурочка.

— Счастливы, — упорно бормотал Павел, глядя в пол. — Эх, счастливы...

— Ты хочешь сказать — ни пуха ни пера? — спросил Константин. — Тогда — к черту!

Они вышли на морозный воздух, на яркое зимнее солнце.

Рынок этот был не что иное, как горькое порождение войны, с ее нехватками, дороговизной,

бедностью, продуктовой неустроенностью. Здесь шла своя особая жизнь. Разбитные, небритые, ловкие парни, носившие солдатские шинели с чужого плеча, могли сбить и перепродать что угодно. Здесь из-под полы торговали хлебом и водкой, полученными по норме в магазине, ворованным на базах пенициллином и отрезами, американскими пиджаками и презервативами, трофейными велосипедами и мотоциклами, привезенными из Германии. Здесь торговали модными макинтошами, зажигалками иностранных марок, лавровым листом, кустарными на каучуковой подошве полуботинками, немецким средством для ращения волос, часами и поддельными бриллиантами, старыми мехами и фальшивыми справками и дипломами об окончании института любого профиля. Здесь торговали всем, чем можно было торговать, что можно было купить, за что можно было получить деньги, терявшие свою цену. И рассчитывались разное — от замусоленных, бедных на вид червонцев и красных тридцаток до солидно хрустящих сотен. В узких закоулках огромного рынка с бойкостью угрей шныряли, скользили люди, выделявшиеся нервными лицами, быстрым мутно-хмельным взглядом, блестели кольцами на грязных пальцах, хрипло бормотали, секретно предлагая тайный товар; при виде милиции стремительно исчезали, рассасывались в толпе и вновь появлялись в пахнущих мочой подворотнях, озираясь по сторонам, шепотом зазывая покупателей в глубину прирыночных дворов. Там, около мусорных ящиков, собираясь группами, коротко, из-под полы, показывали свой товар, азартно ругались.

Рынок был наводнен неизвестно откуда всплывшими спекулянтами, кустарями, недавно демобилизованными солдатами, пригородными колхозниками, московскими ворами, командированными, людьми, покупающими кусок хлеба, и людьми, торгующими, чтобы вечером после горячего плотного обеда и выпитой водки (целый день был на холоде) со сладким чувством спрятать, пересчитав, пачку денег.

Морозный пар, пронизанный солнцем, колыхался над черной толпой, все гудело, двигалось, сновало; выкрики, довольный смех, скрип вытоптанного снега, крутая ругань, звонки продаваемых велосипедов, звуки аккордеонов, возбужденные, багровые от холода лица, мелькание на озябших руках коверкотовых отрезков, пуховых платков — все это, непривычное и незнакомое, ослепило, оглушило Сергея, и он выругался сквозь зубы. На какое-то мгновение он почувствовал растерянность.

Тотчас его сжала и понесла толпа в своем бешеном круговороте, чужие локти, плечи, оттеснив, оторвали Константина, уволокли вперед, голоса гудели в уши назойливо и тошно:

— Коверкот, шевиот, бостон, сделайте костюмчик — танцуйте чарльстон! Даю пощупать, попробовать на спичку!

— Кто забыл купить пальто? Граждане! Сорок восьмой размер!

— Полуботинки, не будет им износу! Эй, солдат! Не натерли те холку сапоги? Бросай их к хрену! Наряжайся в полуботинки! Гарантирую пять лет!..

— Что-о? Это кто спекулянтская морда? Сволочь!.. Я Сталинград защищал — вон смотри: двух пальцев нет! Осколком... Я тебе дам «спекулянт»! Так морду и перекосорылю!

— Штаны, уважаемые граждане, кому теплые ватные женские штаны? Прекрасны в холодную погоду!.. Я, гражданочка, вполне русским языком ответил: за вашу цену я их сам сношу! Все! Закон!

— Вы, товарищ капитан, на костюмчик, вижу, смотрите? Глядите, пожалуйста. Модные плечи. Двубортный, на шелку. Прошу вас... Я дешево...

Стиснутый кипевшей сутолокой и криками людей, Сергей очнулся от искательного простуженного голоса, увидел перед собой морщинистое, виноватое лицо, красноватые веки, несвежее кашне, торчащее к подбородку из облезлого воротника; через руку как-то робко

перекинут темно-серый костюм. Сергей резким движением освободился от сковавшей его тесноты, продвинулся вперед, к этому человеку, сказал:

— Да, мне нужен костюм. Вы, кажется, продаете?

— Очень дешево, — забормотал человек, — именно вам, товарищ капитан... Именно вам...

— Почему именно?

— Костюм носил сын... Лейтенант... Два раза надел перед фронтом... Не вернулся...

— Нет, — сказал Сергей.

— Что вы?

— Костюм не возьму.

— Товарищ... Я прошу. Вы посмотрите костюм! — заговорил человек с мольбой. — Мне нужны деньги... Я прошу очень маленькую цену. Я даже ее не прошу. Вы назначьте...

— Костюм я не возьму, — повторил Сергей.

Он ничего не мог объяснить этому человеку. Он никогда не брал и не носил вещей убитых. Преодолевая брезгливость, мог снять оружие с мертвого немецкого офицера, просмотреть документы, записные книжки — это было чужое. Но особенно после боя под Боромлей он не испытывал любопытства к непрожитой жизни своих солдат. Убитый под станцией Боромля лежал лицом вверх в смятой пшенице, все тело, лицо были неправдоподобно раздуты от жары, будто туго налиты лиловой водой, вздыбленная грудь покрыта коркой засохшей крови — был убит пулеметной очередью, — трудно узнать: молод был или в годах. Сергей достал из кармана его гимнастерки слипшуюся красноармейскую книжку и тотчас почувствовал, что задыхается... «Сержант Аксенов Владимир Иванович... 1923 года рождения... Домашний адрес: Москва, Новокузнецкая улица, дом 16, кв. 33...»

Он, Сергей, жил рядом. В переулке. Пять минут ходьбы. Может быть, они встречались на улице. Может быть, учились в одной школе... И в том, что убитый был москвич, жил совсем рядом, но они не знали друг друга, было что-то противоестественное, разрушающее веру Сергея в то, что его не убьют.

— Товарищ... Товарищ... вы посмотрите, вы осмотрите со всех сторон... костюм... Я не спекулянт. Вы лучшего не найдете. Это довоенный материал, — лихорадочно говорил человек и все виновато, робко, теснимый толпой, совал костюм в руки Сергея. — Вы отказываетесь не глядя. Так нельзя. Это костюм сына...

— Эй, чего прилип к человеку? — хрипло крикнул кто-то за спиной, протискиваясь к Сергею. — «Костюм, костюм!»! Может, военному брючки надо. Есть. Стальные. Двадцать девять сантиметров! Ну? По рукам? Твой рост! Проваливай, папаша!

Он локтем оттолкнул человека с костюмом.

— К черту! — сквозь зубы сказал Сергей, увидев перед собой хмельное, сизое лицо. — Я сказал — мотай со своими брюками!

— Но, но! Здесь не армия, а рынок... Не черти! Сам умею!

— Я сказал — к черту!

Впереди, в гудении голосов, послышался возбужденный оклик Константина; он бесцеремонно

— против крутого движения толпы — проталкивался к Сергею; шарф на шее развязан, меховая шапка сдвинута назад: казалось, было ему жарко. И, сразу все поняв, оценивающе окинув взглядом робкого человека, затем нагловатого парня с брюками, он сказал усмехаясь:

— Уже атаквали? Я сам тебе выберу роскошный костюм. Пошли!

Место, куда вывел он Сергея, было тихое — в стороне от орущей толпы, закоулков за галантерейными палатками, где начинался забор. Несколько человек с поднятыми воротниками стояли около забора, возле ног на зимнем солнце блестели кожей чемоданчики. Эти люди были похожи на приезжих. Двое в армейских телогрейках сидели, как на вокзале, на чемоданах, от нечего делать лениво играли в карты.

— Подожди здесь, — сказал Константин. — Твои офицерские погоны могут навести панику. Там иногда ходят патрули. Я сейчас.

Он подошел к забору, сейчас же двое в телогрейках поднялись и не без уважения пожали руку Константину. Тот, прищурясь, оглянулся на Сергея, по сторонам, потом все трое полезли через дырку в заборе — на пустырь. Люди возле чемоданчиков не обратили на них никакого внимания: притопывали на снегу, хлопали рукавицами, крикая от мороза, солидно переговаривались простуженными голосами.

«Черт его знает какая таинственность», — подумал Сергей.

Рынок своей пестротой, своей накаленной возбужденностью вызывал в нем раздражение и одновременно острое любопытство к этому пестрому скопищу народа.

Рядом с галантерейными палатками, за которыми непрерывно валила, текла толпа, метрах в тридцати от забора заметен был высокий, узкоплечий человек в солдатской шинели; он потирал руки над многочисленными ящичками с блюдечками и подставкой, похожей на мольберт, обращаясь к смеющейся толпе, зазывно-бойко выкрикивал:

— Граждане, не что иное, как эврика! Послевоенное открытие! Мыльный корень очищает все пятна, кроме черных пятен в биографии!

В двух метрах от него на раскладном стульчике перед разостланным на снегу брезентом сидел парень-инвалид (рядом лежал костылек), ловко и быстро трещал колодой карт, перебирал ее пальцами, метал карты на брезент, приглашая к себе хрипловатой скороговоркой и нагловатыми черными глазами:

— Моя бабка Алена подарила мне три миллиона, два однополчанам раздать, один — в карты проиграть! Подходи, однополчане, фокусом удивлю, много не возьму! Подходи, друга не подводи! Туз, валет, девятка... По картам угадываю срок жизни!

В редкой толпе, сгрудившейся вокруг парня, ответно посмеивались, вытягивали шеи, все любопытно следили за картами, однако никто не просил показать фокус: видимо, не доверяли.

Со смешанным чувством грусти и любопытства к этому зарабатывающему на хлеб инвалиду Сергей долго глядел на худое зазывающее лицо парня, наконец сказал:

— Что ж... покажи фокус.

— Трояк будет стоять, товарищ капитан. Загадывайте карту! — обрадованно воскликнул парень. — Враз узнаю невесту!

— Загадал.

Сергей знал нехитрый госпитальный фокус, но не подал виду, когда проворный парень этот стремительно выщелкнул из колоды карту на брезент; от движения под распахнутой телогрейкой зазвенели медали на засаленных колодках.

— Дама! — сказал парень. — Червонная. Ваша невеста.

— Дама-то дама. Да не моя невеста. Давай следующий фокус.

— На десятой карте угадываю срок жизни.

— Угадывай.

Парень выложил карту с неуверенным азартом.

— Три года!

— Ба-атюшки светы, такой молодой! — ахнул в толпе голос. — Грехи наши, господи!..

Сергей невольно оглянулся, увидел в черном пуховом платке сморщенное старушечье личико, жалостливо мигающие веки, ему стало смешно.

— Не беспокойтесь, бабушка. Я вернулся с надеждой жить сто лет. Сто лет и три года.

— Сдается мне, товарищ капитан... — неожиданно проговорил парень и наморщил лоб. — Мы с вами нигде не встречались? Голос и лицо вроде знакомы... А?

— Слушай, и мне кажется, я тоже тебя где-то... — вполголоса ответил Сергей, вглядываясь в дернувшееся лицо парня. — Ты был на переправе в Залещиках? На Днестре? Был?

Бросив колоду карт, тот медленно привстал, не отводя от глаз Сергея растерянного взгляда. По толпе прошелестел шумок удивления; кто-то прерывисто-длинно вздохнул, старушка в пуховом платке набожно зашевелила губами, мелко перекрестилась; засуетившись, локтем пощупала, прижала к боку свою кошелку, попятилась — и тотчас стали расходиться люди, улыбаясь с сомнением, — все могло быть здесь разыграно: рынок не вызывал доверия.

— Не был я на Днестре, — выговорил парень. — Может, на Одере, на Первом Белорусском. В разведке. Я в полковой разведке...

— Мы шли через Карпаты, в Чехословакию, — ответил Сергей, еще минуту назад веря, что они где-то встречались.

— Обознались! — засмеялся парень и разочарованно повторил: — Обознались, значит! Эх, елки-палки!..

Сергей смотрел на его узкий, решительный, с горбинкой нос, на его медали под распахнутой телогрейкой — был он похож на тот заметный на войне тип людей, о которых говорят: этот не пропадет.

— Сколько зарабатываешь тут в день?

— Полсотни. — Парень запахнул телогрейку. — Инвалид второй группы. Пенсия — с воробьиный нос. Чихнуть дороже!

— У меня только тридцатка. Возьми, — проговорил Сергей. — На кой тебе этот цирк! Придумать что-то нужно.

— Ежели бы эту тридцатку на год! — едко хохотнул парень. — С тебя, капитан, денег не возьму. С тыловиков беру.

— Сергей, давай сюда!

От забора к палаткам быстро шел Константин, с веселым видом призывно помахивая снятыми перчатками.

— Ну как? — спросил Сергей.

— Все в порядке. Можешь швырять чепчик в воздух, не полторы, а две косых дали за твои часики. — Константин перчатками похлопал по боковым карманам. — Здесь твои — две, здесь мои — пять. Вернули долг.

— Кто вернул? — Сергей взглянул на забор, где стояли люди возле чемоданчиков. — Те двое, в телогрейках?

— Долго объяснять. Не все ли равно? Пошли, выберу костюм. Только прошу — в торговлю не лезь. Все испортишь. Кстати, тебе пойдет строгий цвет. Ну, темно-серый. Верно?

— Этого я не знаю.

3

В комнате Константина было жарко натоплено.

Сергею нравилась хаотичная теснота этой комнаты с ее холостяцкой безалаберностью, старой мебелью; громоздкий книжный шкаф, потертый диван, на котором валялись кипы английских и американских военных журналов, голливудских выпусков с фотографиями улыбающихся кинозвезд, и везде были беспорядочно разбросаны книги на креслах, висели галстуки на спинках стульев; раскрытый патефон стоял на тумбочке — веяло от всего чем-то полузабытым, мирным, довоенным.

Сергей лежал на диване, распустив узел нового галстука, рассеянно листал затрепанный иллюстрированный журнал сорок второго года. Константин брился перед зеркалом в белейшей, свежей майке, задирая намыленный подбородок, говорил, указывая глазами на книги:

— Все это покупал на Центральном рынке, когда вернулся. Два месяца лежал на этом диване и читал, как с цепи сорвался. Хотелось копнуть жизнь по книгам. Запутался к дьяволу — и пошел в шоферы. То, что говорили нам в школе о жизни, — примитивная ерунда. Помнишь, только думали о подвигах на пулеметной тачанке. «Если завтра война...» Красиво несешься на тачанке в чапаевской папаше и полосуешь из пулемета. «Полетит самолет, застрочит пулемет, и помчатся лихие тачанки...»

Константин усмехнулся, сделал жест бритвой, будто рассеивая пулеметные очереди.

— Какими романтичными сопляками мы были! — снова заговорил он, разбалтывая кисточкой пушистую, лезущую из стаканчика пену. — Сейчас мне ясно почему. Вспомни: везде побеждали — челюскинцы, рекорды летчиков, Стаханов. В этом-то и дело. О, все легко, все доступно! И наше школьное поколение жило, как на зеленой лужайке стадионов. Нас приучали к легкой победе. Но зачем? А, бродяга! — Константин наклонился к зеркалу, пощупал щеку. — Режется, кочерга несчастная! Выпускают лезвия как для лошадей. А войну выиграли, леший бы драг, большой кровью. Не дай бог нам этих зеленых лужаек!

— Противоречишь сам себе, — сказал Сергей, рассматривая на обложке молодого светловолосого оберста, из бронетранспортера в бинокль глядящего на солнечно-снежный пик Эльбруса. — Мне хочется, чтобы вернулось то время. Но без криков «ура». По каждому поводу. Я хотел бы еще пожить в то время, среди ребят...

Он отбросил журнал, заложил руки под голову, стал смотреть в потолок на абажур, наполненный зеленым огнем. Было тихо, тепло. Сквозь зашторенное окно отдаленно, слабо донесся шум и звон трамвая. Сергей с размягченным задумчивым лицом прислушался к этому быстро стихшему шуму, долетевшему сюда, во двор, через вечерние заснеженные крыши замоскворецких переулков, сказал:

— Иногда вот так, как сейчас, лежишь ночью, а на улице где-то прозвенел трамвай, и вдруг вспомнишь школу, метель, сидишь у окна, дребезжит стекло, последний урок... Витька Мукомолов сидит рядом, рисует яхты. Хотели пойти в мореходку, в торговый флот... Черт знает о чем только мы с ним не мечтали.

Константин в зеркале посмотрел на Сергея, двумя пальцами погладил выбритый подбородок.

— Я понял так: ты хотел, чтобы то вернулось?

— Может быть, — ответил Сергей.

— А мне кажется — только начинаю жить. Понял, Сережа? Только начинаю!

Рывком Константин стянул майку, перекинул полотенце через плечо, вышел на кухню. Стало слышно в тишине, как зашепелявила вода в кране, звонко полилась, заплескала в раковину, как принялся фыркать, звучно шлепать себя ладонями по телу Константин, восклицая: «Ах, хорошо, дьявол! Отлично! Превосходная штука — вода!» Видимо, он испытывал возбуждение и удовольствие не только потому, что был здоров, крепок, но и оттого, что многое было отчетливо ясно ему, раз и навсегда понято в жизни, точно все знал, что надо делать, — и Сергей подумал с удивлением: Константин в чем-то опытнее его, может быть, потому, что вернулся он раньше. И от этой его легкой уверенности возникало ощущение покоя, не хотелось думать о том, что не было решено и было туманно, непонято.

— Долго будешь плескаться? — сказал Сергей задумчиво, хотя сам все время чувствовал странную тягу к воде, как будто хотелось смыть прошлую окопную грязь, пот, едкую гарь — порой даже казалось, что от рук все еще дымно пахнет порохом.

— Ах, дьявол! Ах, здорово, ах, вундершен! — ахал Константин, умываясь, и крикнул из кухни: — Я тебе покажу сегодня, Серега, роскошную жизнь! Завалимся в ресторан. В «Асторию»! Будем жить по коммерческим ценам!

Сергей снял со спинки стула, надел легкий, шелестящий серебристой подкладкой пиджак и, затягивая галстук, подошел к зеркалу. Он разглядывал себя внимательно. Костюм шел ему, был лишь немного тесен в плечах, облегал фигуру, как китель; это ощущение (не хватало тяжести пистолета на боку) было ему знакомо.

Было незнакомо лицо — сильно обветренное, с новым, чуть смягченным выражением, от которого за четыре года он словно отвык, белая сорочка подчеркивала грубую темноту лба, шеи, темноту глаз.

— Комильфо, вернувшийся в свет, — сказал Сергей, с грустным интересом узнавая и не узнавая себя.

Никогда до войны он не носил ни галстуков, ни хороших костюмов, вернее, не успел носить, и

сейчас в этом шелковом галстук, модном костюме, чудилось ему, было нечто полузабытое, далекое, когда-то вычитанное из книг.

— Костя! — позвал Сергей неуверенно. — Оценивай и рявкой «ура». — И рукой провел по поясу, вроде бы машинально поправлял на ремне кобуру пистолета. — Ну как?

Причесывая мокрые волосы, вошел Константин, весь обновленный, свежий, смуглый румянец проступал на скулах, очень серьезно осмотрел Сергея, дунул на расческу, сказал:

— Наверно, и перед свадьбой, — если когда-нибудь женюсь, то, целуя невесту, будем хвататься за пистолет на зад... А костюм великолепный. И сидит здорово. Ты в нем красив. Девочки будут падать направо и налево. Только галстук, галстук! — воскликнул Константин и захохотал. — Нелепость в квадрате! Не то коровий хвост намотал на шею, не то шею на коровий хвост. Дай-ка завяжу.

— Ладно, действуй, — согласился Сергей, подставляя шею.

Константин ловко завязал Сергею галстук, затем застегнул пуговицы на его костюме и посоветовал:

— Ты не скромничай. Надень ордена. Все, до последней медали. Сейчас их носят все.

— Обязательно портить костюм?

— Это принципиально добровольно.

— Хорошо. Надены все — те, что дороги, и те, что не дороги!

Константин пожал плечами.

— У тебя есть такие?

— Трудно заработать первый орден.

Они вышли на улицу. К вечеру заметелило. Снег порывисто вместе с дымом сметало с крыш, густой наволочью стремительно несло вдоль домов, заметенных подъездов.

4

Огромный зал «Астории» встретил их нетрезвым шумом, жужжанием голосов, суетливой беготней официантов между столиками — той обстановкой зимнего вечера, когда ресторан полон, оркестр устал и музыканты, неслышно переговариваясь, курят, сидя за инструментами на эстраде.

Они, скинув шинели в вестибюле, вошли после холода в зал, в теплое сверкание люстр и зеркал, в папиросный дым, и эта обстановка гудящего под блеском огней веселья оглушила, ослепила в первую минуту Сергея, как и утром сегодня хаотичная толпа Тишинского рынка.

Стоя среди прохода, он оглядывал столики, эту пестроту ресторана с чувством растерянности и ожидания. Здесь было много военных всех званий — от лейтенанта до генерала, были здесь и безденежные штатские в потертых, но отглаженных костюмах, и полуголодные студенты, получившие стипендию и скромно делящие один салат на четверых, и темные



личности в широких клетчатых пиджаках, шумно пьющие водку и шампанское в компании медлительных девушек с подведенными бровями.

Свободных столиков не было. Константин, слегка прищурясь, скользнул взглядом по залу, сейчас же уверенной походкой подошел к стоявшему у крайнего столика седому метрдотелю и тихо и внушительно сказал что-то. Метрдотель как бы проснувшись глазами скосился из-за плеча Константина на Сергея, кивнул ему издали и, солидно откинув голову, повел их в глубину зала.

— Прошу вас сюда, — сказал он бархатным баритоном, передвигая на столике чистый прибор. — Единственный столик. У нас в эти часы очень много посетителей. Кондеев! — строго окликнул он пробежавшего мимо сухопарого официанта. — Обслужите, будьте любезны, фронтовиков... Располагайтесь.

— Прекрасно, — сказал Константин. — Благодарю вас.

Они сели.

— Как тебе удалось в такой толкучке? — спросил Сергей, когда метрдотель с достоинством занятого человека отошел от них.

Константин развернул меню, ответил улыбаясь:

— Иногда не нужно умирать от скромности. Я сказал, что ты только что из Берлина. И как видишь, твой иконостас произвел впечатление. Результат — вот он. Как говорится, шерсти клоч.

— И это неплохо, — сказал Сергей.

Он посмотрел на ближние столики. Багровый, потный человек с налитой шеей, на лацкане тесного пиджака — орденские колодки, быстро жевал, одновременно разговаривая, наклонялся к двум молоденьким, вероятно только что из училища, младшим лейтенантам. Младшие лейтенанты, явно смущенные бедностью своего заказа, отхлебывали из бокалов пиво, растерянно хрустели убогой соломкой; сосед их, этот багровый человек,пил водку, аппетитно закусывал ножкой курицы и, доказывая что-то, дирижировал ею.

Сергей перевел взгляд, мелькнули лица в дыму, и ему показалось — недалеко от эстрады девушка в сером костюме поглядела в его сторону с чуть заметной улыбкой и тут же снова заговорила о чем-то с молодыми людьми и полной белокурой девушкой, сидевшими рядом за столиком возле колонны. Сергей сказал серьезно:

— Посмотри, Костя, у меня слишком пресная вывеска? Или идиотское выражение?

— Не нахожу, — произнес Константин, деловито занятый изучением меню. — А что? Обращают внимание? Пожинай славу. Молодой, красивый, весь в орденах. И с руками и ногами. — Он проследил за взглядом Сергея, спросил вскользь: — Вон та, что ли, со вздернутым носиком? Ничего особенного, середняк. Впрочем, не теряйся, Серега.

— Циник чертов.

Лавируя между столиками, подошел сухопарый официант, озабоченно махнул салфеткой по скатерти, сказал с приятностью в голосе:

— Слушаю, товарищи фронтовики...

— Бутылку коньяку — это во-первых... Какой у вас — «старший лейтенант», «капитан»?

— Есть и «генерал», — ухмыльнулся официант, вынимая книжечку для записи заказов. — Все сделаем.

— Тащите сюда «генерала». И сочините что-нибудь соответствующее. От вашей расторопности зависит все дальнейшее.

— Одну минутку. — И официант понесся в проходе среди столиков.

— У меня такое впечатление, что ты целыми днями торчишь в ресторанах, — сказал Сергей.  
— Пускаешь пыль в глаза, как миллионер!

— А, гульнем, Сережка, на всю катушку, чтоб дым коромыслом. Не заслужили, что ли?

— Когда ехал от границы по России, — проговорил Сергей, — почти везде керосиновые лампы, разрушенные станции, сожженные города — страшно становилось.

— Мы победили. Сережка, и это главное. Что ж, придется несколько лет пожить, подтянув ремень.

— Несколько лет?..

Внезапно заиграла музыка, зазвучали скрипки, говоря о печали мерзлых военных полей. В тени эстрады стояла певица с худеньким, бледным и стертым лицом, руки подняты к груди.

Я кручину никому не расскажу,

В чистом поле на дорогу упаду.

Буду плакать, буду суженого звать,

Буду слезы на дорогу проливать.

В зале нервно покашливали. «Что это? Кажется, еще и война не кончилась?» — подумал Сергей, сжатый волнением, видя, как внимательно вглядывались в эстраду молоденькие младшие лейтенанты и, уставясь в одну точку, размеренно жевал багровый человек.

— «Буду плакать, буду суженого звать». Ничего гениального. А просто нервы у нас никуда, — услышал он голос Константина.

Тот разливал коньяк в рюмки, покусывая усики; поставил преувеличенно твердо бутылку на середину стола.

— Я понял одно: прошли всю войну, сквозь осколки, пули, сквозь все. И остались живы. Наверно, это счастье, а мы его не ценим. Так, может быть, сейчас, когда мы, счастливы, остались живы, она нас подстерегает, глупая случайность подстерегает. На улице, за углом, на самолете, в какой-нибудь неожиданной встрече ночью. Остерегайся случайностей. Не летай на самолетах — бывают аварии. Не рискуй. Только не рискуй. Мы всю войну рисковали. Только не рискуй по-глупому.

Сергей, нахмурился, выпил коньяк, сказал:

— Если бы я понял, что должен сейчас делать! На войне я рисковал, и в этом была цель. Я часто иду по улицам и завидую дворникам, убирающим снег. Уберет снег во дворе и войдет в свою жарко натопленную комнату, к семье. Что ж, пойти в институт? В какой? Да мне кажется,

я не смогу учиться. Я завидую людям с профессией, каждому освещенному окну по вечерам. У тебя бывает такое?

— У меня? — Константин засмеялся. — Ты счастливец. Остался жив. Вся грудь в орденах. В двадцать два года — капитан. Перед тобой все двери распахнуты! У меня! — повторил он, хмыкнув. — Я, очевидно, не обладаю тем, чем обладаешь ты. Мы живы. Разве это не счастье, Сережка? Слушай, ну ее к дьяволу, болтовню. Пойдем танцевать. Танго. Здесь вперемежку — военные песни и танго. Выбирай любую, кто понравится. Кого бы мне выбрать на сегодня?

Константин подтянул спущенный узел галстука, встал, оглядел соседние столики. Сергей видел его гибкую походку, его небрежную беспечность, когда он приблизился к какому-то столику, и то, как наклоном головы он смело пригласил тонкую темноволосую женщину, и она охотно пошла с ним. «Он живет ясно и просто, — подумал Сергей. — Он понял то, чего не понял я. Да, мы остались живы, — это, вероятно, счастье. Странно, я об этом не думал даже после боя. А вот когда нет опасности, мы думаем об этом. Случайность?.. Какая случайность? Ерунда! Вся жизнь впереди, что бы со мной ни было. Мне только двадцать два...»

И он с острым, пронзительным сквознячком ожидания взглянул на женщин, которые еще не танцевали.

Девушка в узком сером костюме сидела спиной к эстраде, говорила что-то, пальцами поглаживая высокую ножку бокала, молодые люди слушали молча, глядели на ее оживленное лицо.

«Я сейчас приглашу ее»... — подумал Сергей и, когда решительно подошел к столику, произнес негромко; «Разрешите?» — она повернулась, со вниманием посмотрела снизу вверх прозрачно-зелеными глазами, спросила удивленным голосом, обращаясь к молодым людям:

— Вы мне разрешаете?

Они, не отвечая, натянуто вежливо разглядывали Сергея, и он, понимая, что помешал им, все же сказал самоуверенно:

— Простите, но, думаю, они разрешат.

— Тогда танцуем все, — проговорил один из молодых людей. — Если уж...

— Правда, я плохо танцую, — с улыбкой сказала она Сергею и встала.

Когда она, положив руку ему на плечо, пошла с ним, подчиняясь ему, слабо прижавшись грудью, задевая его коленями, он удивился условности людских взаимоотношений, — эти когда-то выдуманные людьми танцы неуловимо разрушали человеческую разъединенность; он чувствовал ее сильные пальцы, сжимавшие его руку, будто была она давно знакомой, близкой ему, и вместе с тем чувствовал некоторую ее и свою неловкость от этих движений близости. Он видел морщинку на ее лбу, глаза чуть-чуть настороженно смотрели ему на грудь.

— Странно... — проговорил он.

— Что же странно?

Она вопросительно подняла взгляд. «Может быть, это и есть то, что я хотел? — подумал он, увидев ее зрачки. — Ничего не надо. Только это. Только вот так...»

И вдруг все исчезло. Это было мгновение, которое он не уловил. Он только посмотрел в зал,

желтый от дыма, и тотчас же, как от удара, оборвалась, смолкла музыка, и он словно мгновенно опустился в вязкую глухоту, чувствуя, как пальцы в его руке шевельнулись, близкий голос спрашивал о чем-то. Он даже улыбнулся этому голосу, что-то сказал, не понимая слов, и когда говорил и улыбался, то подумал: «Еще раз повернуться... возле крайних столиков, посмотреть. Я не мог ошибиться...»

Около крайних столиков он повернулся.

К этим столикам возле колонны шел человек в кителе без погон, белело при свете люстр холеное полное лицо, гладко зачесанные светлые волосы, ранние залысины над высоким лбом. Человек этот сел; женская сумочка, блестя лаком, лежала на краю столика. И Сергея удивило то, что столик этот был вблизи стола, за которым только что сидели молодые люди, и он раньше не заметил это знакомое лицо. И сейчас, облокотившись, человек этот, казалось, в рассеянности подносил папиросу ко рту, следил за танцующими.

Нет, он не мог ошибиться, не мог. Кто это — командир батареи капитан Уваров? Это он...

«Я сейчас подойду к нему, сейчас все кончится — и я подойду к нему, — вспышкой мелькнуло у Сергея. — Я подойду к нему...»

— Что вы?

И он очнулся, будто вынырнул из горячей пустоты, ощутил нажатие чужих пальцев на своем плече, и опять его словно обдуло ветерком — ее смеющийся голос:

— Вы перестали танцевать. Мы ведь стоим. Это что — новый стиль?

— Да, да... — машинально выговорил он, так же машинально отпустил девушку, договорил почти беззвучно: — Простите... — И не увидел, а почувствовал, как кто-то пригласил ее тут же.

Всего пять метров, несколько шагов было до того столика, где сидел человек с полным белым лицом, было несколько шагов осенней карпатской грязи, засосавшей орудия, тела убитых, сброшенные в воду лотки со снарядами. Там среди убитых лежал на станинах раненый лейтенант Василенко...

Крупная рука этого человека поднесла папиросу ко рту. Потом он, раздумчиво сдвинув брови, налил в бокал боржом. Не отводя глаз от танцующих, выпил, медленно вытер губы салфеткой. Помнил ли он сожженную деревню Жуковцы? Ночь в окружении и страшное серое октябрьское утро в Карпатах, когда орудия увязли на лугу и немецкие танки расстреливали их?..

Он курил и отхлебывал боржом, лицо исчезало в дыму, маленькая лаковая сумочка лежала на краю стола рядом с его локтем. Чья это сумка — жены, знакомой? Она, видимо, танцевала с кем-то.

— Капитан Уваров!..

Сергей не услышал своего голоса, только понял, что сказал это после того, как человек этот, вскинувшись, двинул локтем по столу, от движения бокал с боржомом опрокинулся на скатерти.

— А, ч-черт! — выругался он и, перекосив губы, закрыл мокрое пятно салфеткой. — Что вам? — спросил громко, обтирая сумочку. — В чем дело?

— Не узнаете? — сказал Сергей чересчур спокойно. — Правда, я не в военной форме. Трудно узнать.

— Подожди... Подожди, что-то я припоминаю... что-то в тебе знакомое... — заговорил Уваров; голубые его, покрасневшие глаза сверху вниз метнулись по лицу Сергея, по его груди, и что-то дрогнуло в них. — Капитан Вохминцев? Ты?! — налитым изумлением голосом воскликнул Уваров, вставая; раскатисто захохотал, протянул через стол руку. — Ты здесь? Демобилизовался? Из Германии?..

Сергей стоял не шевелясь; глядел на уверенно протянутую ему широкую ладонь, и в ту же минуту в его сознании мелькнула мысль, что Уваров все забыл, и, чувствуя холодный, колющий озноб на щеках, стянувший кожу, сказал тихо:

— Сядем. Поговорим. Я демобилизовался, — хрипло добавил он. — Из Германии.

И Уваров, отдернув руку, опустился на стул, сказал резким, командным голосом:

— Что за чепуха, хотел бы я знать! Не узнаешь? Контужен? Ты что?

— Мы никогда не были на «ты», — сказал Сергей, напряженно, неторопливо закуривая, с удивлением видя что руки его дрожат. — Мы не были друзьями.

— Ах, дьявол! — качнув головой, преувеличенно весело засмеялся Уваров и откинулся на стуле. — Обиделся, что ли? Все ерунда это! Давай выпьем за встречу, за то, чтобы на «ты». А? И не будем показывать свою интеллигентность!

Уваров поставил перед Сергеем рюмку, потянулся за графинчиком, добродушно морщась, но в то же время голубизна глаз стала жаркой, мутноватой, и по тому, как он внезапно захохотал и потянулся за графинчиком, угадывалось настороженное беспокойство в кем.

— Не пью, — проговорил Сергей, отодвинув рюмку.

— Да ты что? Трезвенник? Нич-чево не понимаю! — досадливо поразился Уваров. — Встречаются два фронтовика, один не пьет, другой обижается, у третьего печенки, селезенки. Что происходит с фронтовиками? — Он накрыл своей ладонью руку Сергея, спросил с доверительным простодушием: — Может, перехватил уже. Давно здесь веселишься?

— Брось, Уваров! Ты все помнишь! — сухо произнес Сергей и высвободил руку из горячей тесноты его ладони.

Уваров с судорожной усмешкой спросил медлительно:

— Ты пьян?

— Помнишь, на станинах лежал Василенко, когда я со взводом вытаскивал орудия из окружения? Помнишь?

— Ты пьян, — через зубы выговорил Уваров и, оглядываясь, крикнул зычно: — Метрдотель, подойдите ко мне!

Он встал, застегивая китель.

За соседними столиками посмотрели в их сторону. Сергей твердо сказал:

— Если ты позовешь метрдотеля, я выйду на эстраду и скажу, что ты убийца. Я это сделаю.

— Ты что? — злым шепотом спросил Уваров, снова тяжело садясь. — Будешь вспоминать Жуковцы? Будешь перечислять фамилии убитых? Обвинять меня? Нет, милый, надо обвинять войну. Так ты можешь обвинить половину строевых офицеров, в том числе и себя. У тебя гибли солдаты? А? Гибли?

— В одну могилу врагов и друзей не положишь, — сказал Сергей с трудом. — Братской могилы не получится. — Он глубоко затаился дымом, чтобы перевести дыхание, договорил отчетливее: — Ты сам взялся поставить батарею на прямую наводку, не зная, где немцы. Когда Василенко сказал тебе в глаза, что ты дуб и ни хрена не смыслишь, ты пригрозил ему трибуналом...

— Не было этого! Вранье!

— Вспомни еще — утром танки окружили Жуковцы и прямой наводкой расстреляли людей и орудия. Всех — двадцать семь человек и четыре орудия. Но Василенко даже в болоте стрелял. А ты притворился больным и как последняя шкура просидел сутки в блиндаже. Бросил людей... А потом? Все свалил на Василенко — под трибунал его! Мол, он командир первого взвода, погубил батарею. В штрафной его! Ты, конечно, знаешь, что Василенко погиб в штрафном.

— Вранье!

— Ты отправил Василенко в штрафной. А в штрафной должен был пойти ты.

— Вранье!

Уваров стукнул кулаком по столу, лицо его туго набрякло, точно мгновенно постарело, потемнели мешки под веками, лоб и затылки облило потом: голубые, с красными прожилками глаза скользили то по груди Сергея, то по залу, и вдруг он подался вперед, крепко потер крутой подбородок, неожиданно со сдержанной досадой заговорил:

— Ну чудак ты, ей-богу! Если была какая неразбериха — на то война. Не косись, брат, на меня; я не хуже и не лучше других. Ты считаешь меня своим врагом, я тебя — нет. Просто думаю: ты хороший парень. Только мнительный. Выпьем, Вохминцев, за примирение, за то, чтобы... ко всем матерям это!.. Глупых смертей было много. Война кончилась — бог с ним, с прошлым. Предлагаю выпить за новую дружбу и все забыть!

Он повторил «все забыть» и словно успокаивался, голос набирал осторожную фамильярную мягкость, рука легла на стол, быстро вправо-влево погладила скатерть, в эти движения будто хотели пригладить, сравнять все, что было осенью сорок четвертого года в Карпатах. Будто не было того октябрьского рассвета, залитого дождями луга, неудобно и страшно затонувших в грязи трупов солдат, четырех орудий, в упор разбитых танками. Василенко лежал на станинах, одной рукой прижимая скомканную, потемневшую пятнами шинель к плечу, в другой побелевшими пальцами со всей силы стискивал масляный ТТ, дико выкрикивал: «Где он?.. Я прикончу эту шкуру... В штрафной пойду, а прикончу!..» — и плакал глухо, беспомощно.

Была тишина. Она пульсировала в ушах. Сергей почти физически почувствовал сырой запах гнилой воды луга, гнилого тумана, размокших шинелей, крови и чесночный запах немецкого тола... Тишина оборвалась.

Играл оркестр оглушающе непрерывно, бил очередями барабан, вибрировала труба.

— Тебя не судили потому, — как сквозь ледяную стену, пробился к Сергею собственный голос, — что меня ранило на второй день на перевале. Я знал цену Василенко и цену тебе. Ты всегда боялся меня, когда стал командовать батареей.

— Я? Боялся тебя? Я тебя никогда не боялся и сейчас не боюсь, сопляк! — Щеки Уварова стали молочно-бледными. — Все понял? Или не понял?

— Нет. Теперь я тебя нашел.

Молчание. Оркестр не играл. Как из-за тридевяти земель, просачивались ватные голоса. Мимо столика теньями шли люди. Говорили... Отодвигались стулья... Что это, кончился танец? Скорее... Сейчас подойдет эта женщина, чья сумочка, блестя лаком, лежала на столе. Скорее... Это мужское, не женское дело. Здесь никто не должен вмешиваться.

— Теперь я тебя нашел, — повторил Сергей, разделяя слова. — Я ничего не забыл.

Уваров вдруг навалился грудью на стол, глаза сузились возбужденно.

— Если ты... если ты встанешь... поперек моей дороги... Я тебя сотру! Понял, Вохминцев? Понял? Ты меня знаешь!

Сергей видел, как совсем немо шевелились тонкие губы Уварова, крупная его рука нервно соскользнула со стола, потянулась к заднему карману. «Что ж, у него может быть оружие... он мог не сдать оружия», — мелькнуло в сознании Сергея, и с какой-то возникшей ненавистью к шевелению его тонких губ, к полным щекам он сказал тихо, презрительно:

— Для этого... ты трус. — И добавил еще тише: — Встань!

— Что-о?

— Встань!

Уваров поднялся, и в то же мгновение Сергей резко и коротко, снизу вверх, ударил его по лицу, вкладывая всю силу в удар, ощутив на руке мясистое и скользкое, тотчас увидел отшатнувшееся медово-бледное лицо, запрыгавший подбородок Уварова. С треском отлетел из-под его большого тела стул к соседнему столику, от толчка со звоном опрокинулись рюмки на столе. Уваров, охнув, хватая руками воздух, упал на ковер в проходе, ошеломленно провел ладонью по носу, глянул на нее бессмысленным, тупым взглядом и, переводя глаза на Сергея, издав горлом захлебнувшийся звук, прохрипел рыдающе:

— Держите его... Держите его...

Сергей стоял подле столика не отходя. Он стоял, как в пустоте, и лишь видел в этой туманной пустоте круглые глаза Уварова, ожидая, когда он встанет. Уваров не вставал. Размазывая кровь по полным щекам, он лежал на боку на ковре и, раскачиваясь, повторял задыхающимся слабым криком.

— Он меня изуродовал... Держите его!.. Он меня изуродовал! Держите его!..

— Подлец и сволочь! — отчетливо проговорил Сергей, повернулся и спокойными, очень спокойными шагами пошел к своему столику.

Он смутно различал чернеющую толпу перед собой, какое-то движение, крики, возмущенные взгляды, обращенные на него. Кто-то с багрово-красным лбом крепко охватил его руку, старательно повис на плече, засопел в ухо. Сергей вырвал руку, взглянул в пьяные зрачки этого негодующего багрового человека, сказал: «Не лезьте не в свое дело, разберется милиция», — и тут же услышал за спиной женский плач, оглянулся: полная белокурая девушка, исказив сдерживаемым плачем губы, наклонилась над Уваровым, что-то спрашивала его, трясущимися руками платочком вытирала ему щеки. И с неприятным ощущением увидел он в толпе возле нее ту, с которой только что танцевал. Уваров замедленно поднялся. В тот же миг кто-то схватил Сергея за плечо, послышался голос Константина. Протиснувшись сквозь толпу, он, потный, стал перед ним; в лице его, в блестящих глазах — волнение, готовое сейчас же обернуться помощью.

— Что случилось? Ты кого или кто тебя?

— Ничего, — сказал Сергей. — Пошли.

— Хулиган! — крикнул кто-то в спину ему. — Орденов полна грудь, а хулиганит! Безобразие! Позовите милицию! Убил человека... Здесь не фронт — кулаками махать! Фронтовиков позоришь!

Он увидел багрово-коньячное лицо того человека, который минуту назад цепко задержал его за руку; багровый кричал что-то, бровки гневно взлетали — он забегал вперед, толкаясь, сновал среди людей, жаждал деятельности, возмущения, наказания. Сергей со злостью оглядел его рыхлую фигуру — от новеньких тупых полуботинок до фальшивой рубиновой булавки в немецком галстук, — молча оттолкнул его.

Они сели за свой столик. Сергей был бледен, внешне спокоен, горячие струйки пота скатывались из подмышек, он подтянул галстук и, чтобы не вздрагивали пальцы, выдернул папиросу из коробки, сильно сжал ее. Константин, как бы все поняв, чиркнул спичкой, дал прикурить ему, проговорил с успокаивающей невозмутимостью:

— Потом все расскажешь. Вытри пот с висков. Полное спокойствие. Придется дело иметь с милицией.

— Я этого и хочу, — сказал Сергей.

Он жадно выпил бокал ледяной фруктовой и опять отчетливо представил лежащего на ковре Уварова, искривленные плачем губы полной некрасивой девушки — вспомнил и слегка поморщился. «Кто она ему — сестра, жена?» — подумал он без жалости к Уварову, с болезненной жалостью к ней, к ее некрасивому, искаженному болью лицу. «Что это я? — спросил себя Сергей. — Нервы размотались? Я готов пойти ее успокаивать, просить извинения?» И, помедлив, он ответил самому себе: «Нет. Она ничего не знает».

— Закажи еще фруктовой, — сказал Сергей.

Зал гудел голосами, возникло какое-то движение в проходе сбоку и около вестибюля; оркестр не играл, музыканты, переговариваясь, с любопытством поглядывали на столик, за которым сидел Сергей; донесся сзади чей-то крутой голос:

— Куда смотрит милиция?

«Почему люди осуждают по внешним признакам? — подумал Сергей. — Конечно, не он, а я ударил его... Значит, ясно: виноват я... Видели кровь на его лице, его беспомощность, слышали его крик. Люди иногда судят просто: ударил человека — ты подлец, а не он; есть внешний факт, этого достаточно...»

— Почему вы его ударили, вы можете это объяснить? Что такое? Вы, кажется, фронтовик? И тот человек тоже фронтовик, судя по наградам!

Подшли двое к столику — молодой сухощавый подполковник, рядом — майор лет сорока, квадратный в плечах, неприязненно насупленный.

— Вы можете объяснить? — потребовал подполковник. — В чем дело?

— Нет. Это не объяснишь так просто. Если вы встречали на фронте подлецов, все станет ясным.

— Но драться в общественном месте... — строевым басом пророкотал майор, разводя руками; белый подворотничок врезался в его толстую шею. — Нашли бы другие меры...

— Побить морду — не самое страшное, — вежливо заметил Константин.



— Другая мера — суд, — вполголоса ответил Сергей и, ответив так, на какое-то мгновение подумал, что страстно хотел бы этого суда, где мог сказать то, что знал. И добавил, подняв глаза на майора: — Собственно говоря, разговора произойти у нас не может. Смешно объяснять здесь причины.

— Леший ногу сломит! — сказал подполковник недоуменно. — Идите в вестибюль, здесь неудобно. Как я понял, вызвали милицию. Идемте, кажется, вы не пьяны?

— Думаю, нет. Пошли. Так будет удобнее.

Он привычно, как китель, одернул пиджак.

В холодноватом вестибюле с натасканным снегом на коврах полулежал на диване под тусклой пальмой Уваров: лицо умыто, бледно, чистым батистовым платком зажимал нос, веки полузакрыты, как у больной птицы. Некрасивая белокурая девушка — глаза красные, запухшие — что-то сбивчиво объясняла всхлипывающим голосом низкорослому капитану милиции, стоявшему посреди вестибюля с сизым, нахлестанным метелью лицом. Шинель была густо завьюжена, на плечах — пласт сухого снега. От него несло стужей улицы. Здесь же стоял с солидно-удрученным видом седой метрдотель, вокруг него в распахнутом пальто, в сбитой на ухо каракулевой шапке суетился возбужденно багровый человек, басовито выкрикивал:

— Это что же, а? Изуродовали человека!

Сергей, увидев столпившихся вокруг Уварова людей, капитана милиции, молчаливо расстегивающего забитую колючим снегом сумку, шагнул к нему, сказал:

— Вот документы. — Вынул и показал офицерское удостоверение. — Это я ударил.

Капитан милиции мрачно повел на него мокрыми бровями, полистал удостоверение, недобро глянул в лицо Сергея, затем — на Уварова.

— Ваши документы, гражданин.

Уваров, все так же придерживая одной рукой скомканный платок на носу, другой достал из кармана кителя удостоверение. Капитан развернул его, посмотрел неторопливо.

— Понятно. Студент...

— Слушайте, капитан, — глухо сказал Уваров. — Произошло недоразумение. Я не вызывал милицию. Мы фронтовые друзья. Повздорили, и только. — Помолчал и повторил спокойно: — Это недоразумение.

В вестибюле студено дуло от дверей, широкие стекла окон искрились от уличного фонаря. Метрдотель покосился в сторону багрового человека — тот рванулся к капитану милиции, вскрикивая с одышкой:

— Без-зобразие, фронтовиков поз-зорят!..

— Я вас дружески предупреждаю: лечиться надо от глупости, у вас серьезный недуг, — ровно и ласково отозвался Константин. — Поверьте уж мне...

— Разойдитесь, граждане, по своим местам! — произнес капитан, пряча документы в сумку. — Прошу!

Сергей смотрел на Уварова; Уваров как бы не замечал его, не повернул головы — сел на диван, со злой безразличностью наблюдая за легким покачиванием на холодном сквозняке

жестких пальмовых листьев. Нервный румянец пятнами заливал молочно-белые его щеки. «Кто он сейчас — студент? Он — студент», — почему-то не веря, подумал Сергей и еще подумал, что ничего между ними не кончено, не может быть кончено, сказал, обращаясь к капитану:

— Я могу быть свободным?

— Н-да, — неохотно взмахнул перчаткой капитан милиции. — Однако разберемся. Мы вызовем обоих.

— Пожалуйста. Я могу хоть сейчас...

— Нет, особо, гражданин, особо.

5

— Кто этот хмырь?

— Капитан Уваров. Я тебе о нем рассказывал. Командовал батареей в Карпатах. Не думал встретить его здесь. Испортил весь вечер. Ну где твои левые машины?

— Метель, наверно, разогнала. Все «эмки» на вокзалах, ждут ночных поездов. А ты все же молодец, Сережка.

— Поди к черту! Идиотство все это!

Они стояли возле подъезда ресторана, возле высоких, ярко освещенных окон, проступавших среди темной улицы Горького. Около фонарей тротуары плотно завалило снегом, снежный дым несло вдоль огрузших в ночи домов. Сергей поднял воротник, сунул руки в карманы шинели, сказал:

— Пойдем к Охотному ряду. Метро до часу.

— Глупо, но истина. — Константин затоптался, щурясь от снега, летящего в лицо. — Мне, Сережка, мешают деньги. Две тысячи. Их хочется вышвырнуть, иначе сожгут карман. К тому же я ничего не сказал Зоечке. Танцевал, раскидывал сети... Предлагаю: втроем завалиться куда-нибудь...

— Езжайте куда хотите! — сказал Сергей раздраженно. — Мне осталось пятнадцать минут — закроют метро.

— А может?

— Ничего не может. Пока!

— Физкультпривет! До завтра!

Константин стряхнул кожаной перчаткой белые пласты с груди; оставляя следы на снегу, быстро зашагал к подъезду ресторана; завизжала промерзшая дверь, со стеклянным звуком захлопнулась.

Сергей шел вниз по улице Горького, чувствуя упругие толчки метели в спину; справа, мутно

темнея, медленно проплыло здание Центрального телеграфа. Улица спускалась к Манежной площади, и впереди в мелькании, в движении снега кругло засветились электрические часы на углу — без десяти час. Под часами бесшумно, скользя оранжевыми окнами, прошел пустой троллейбус.

Были прожиты сутки и пятьдесят минут новых суток. В этот день он не чувствовал одиночества. Он почувствовал его лишь тогда, когда встретился с Уваровым, — люди, о которых помнил он и которых не было в живых, были, казалось, ближе, дороже, роднее ему, чем отец и сестра...

Да, вот он дома: зима, снег, фонари, тихие замоскворецкие переулки, свободные утра, горячая голландка, улица Горького, довоенный телеграф, метро — ночное; заваленные снегом подъезды. Он все время ждал прежней мальчишеской легкости, теплых июльских дней, всплеска весел и фонариков на Москве-реке в сумерках, спорящего голоса Витьки Мукомолова, который любил носить белую майку, обтягивающую сильные плечи. И была Надя в летнем платице, с загорелыми коленками. Это было. Витька Мукомолов пропал без вести. И Нади нет. Погибли почти все, кого он знал в девятом и десятом классах. Жизнь сделала крутой поворот, как машина, на этом крутом повороте многие, почти все, вылетели из машины, и он остался один. Только он и Константин...

Сунув руки в карманы, Сергей шел по улице, порывы метели пронизывающим холодом хлестали по груди, по лицу, и он почему-то опять вспомнил о сталинградских степях, о тех дьявольских морозах сорок второго года.

Потом близко зажелтел сквозь снег освещенный изнутри вход в метро на той стороне.

Он перешел улицу, услышал впереди женский смех и поднял голову. Перед входом в метро, под широкими окнами, двое мужчин с веселым оживлением придерживали за локти тонкую высокую девушку; она, смеясь, прокатилась по зеркально черной, продутой ветром ледяной дорожке на тротуаре, и они стали прощаться. Девушка в мужской меховой шапке, размахивая планшеткой на ремешке, кивнула этим двум, стоявшим на тротуаре, исчезла в вестибюле метро. Морозный пар вылетел из махнувших дверей.

Сергей отогнул жесткий от инея воротник шинели, вошел в электрический свет пустынного вестибюля, машинально поглядел на часы — без пяти час. Вчера он вернулся в три часа ночи. На какую-то долю минуты он увидел себя как бы со стороны — человек, ведущий ночную жизнь, после четырех лет разлуки редко бывающий дома, — и, чувствуя внезапную жалость к Асе, к отцу, распахнул дверцу в крайнюю автоматную будку с потом на стеклах, поискал гривенник в кармане. Дома, конечно, могли не спать — ждали его.

— Досада какая... Разъединили. У вас не будет десяти копеек? — послышался звучный голос, и он взглянул, проталкивая гривенник в гнездо, — девушка в мужской меховой шапке, в пальто с поясом, выставив одну ногу в белом ботинке из соседней будочки, рассматривала на кожаной перчатке мелочь; офицерская планшетка на ремешке свешивалась через ее плечо.

Он повесил трубку, монета звонко ударилась в коробке возврата. Он сказал полусерьезно:

— Пожалуйста. Рад, что могу вам помочь.

— Спасибо.

Она задержала на его лице взгляд, и он узнал ее, Но не было уже той странной близости, рожденной ее послушными движениями, сильным пожатием руки при поворотах, когда они танцевали. Они были чужими, не знающими друг друга людьми, разделенными этим вестибюлем, этими автоматными будочками и намерениями, с которыми они подошли к телефонам. «Кому она звонила? — подумал он. — Кто были те двое, что были с ней? И,

кажется, Уваров сел около них за соседний столик?.. Но, может быть, это показалось?»

Она улыбнулась не совсем смело.

— Я вас не ограбила?

— Звоните, я найду еще гривенник, — сухо сказал Сергей и опять вошел в будку.

Она вошла в свою, однако не закрыла плотно дверь, оставив щелочку, как бы не стесняясь Сергея, — он видел меховую шапку, белую от снега, по-мальчишески сдвинутую со лба, край глаза, пар дыхания. Она набрала номер привычно, быстро, послушала и, задумчиво водя пальцем в перчатке по стеклу, повесила трубку. Он заметил это.

— Вам нужен еще гривенник?

— Нет. Никто не подходит.

В его трубке были длинные гудки.

— У меня тоже. Нам, кажется, не везет сегодня обоим.

Не ответив, она вышла, стала застегивать расстегнувшуюся планшечку, никак не могла справиться с кнопками, он вышагнул из своей будки и усмехнулся:

— Разрешите, я помогу? Здесь нужно уметь. Я четыре года носил эту штуку. Может быть, что-нибудь получится.

И преувеличенно развязно взял планшечку, новенькую, гладкую, — такие новые, неисцарапанные, не потертые в траншеях никогда не носил он. Легко застегнул кнопки, с четкостью услышав в пустом вестибюле резкие щелчки в тишине, и выпрямился — она беспокойно и вопросительно глядела на него. Он спросил:

— Вы что, боитесь меня?

— Нисколько. Но зачем это? Я сама сумею щелкнуть кнопками. Спасибо.

— Пожалуйста.

Он надел перчатки, небрежно козырнул, пошел по гулкому безлюдному вестибюлю к лестнице, ведущей вниз, в теплоту огней подземного коридора метро. И тотчас приостановился на повороте, задержанный простуженным окриком:

— Гражданин, придется вернуться, последний поезд отошел!

Навстречу, покашливая, шмыгая валенками, шел милиционер вместе с усталой курносенькой девушкой в форме.

— Черт! — сказал Сергей.

— Без всяких чертей, товарищ, — наставительно произнес милиционер. — Ничего не поделаешь. По рельсам домой не потопаете. Вертайтесь.

— Черт! — повторил Сергей. — Не повезло!

Он начал подниматься по лестнице назад, заметил бегущие по ступеням вниз белые боты, полы серого пальто, с досадой сказал:

— Возвращайтесь назад. Могу вас обрадовать. Метро закрыто.

— Как закрыто?

— Закрыто, закрыто! — на весь вестибюль начальственно крикнула курносенькая девушка в форме. — Освобождайте, граждане! Не задерживайте, я закрываю.

Возле метро снег закрутился на тротуаре, ожег кипящим холодом, ветер ударил в его спину, подхватил, замотал планшетку девушки. Она, щурясь на Манежную площадь, придерживая пальто у сдвинутых колен, проговорила беспомощно:

— Хоть бы одна машина!..

Он увидел ее белое лицо, покрасневший нос, зажмуренные от ударов снега глаза; и лицо ее показалось ему тусклым и жалким.

— Вы далеко живете? — отрывисто спросил Сергей, но ответа не последовало. — Я спрашиваю: далеко живете? Где ваш дом?

— Вам-то что? — Она из-за воротника прижмурилась на него. — Вам-то что до этого?

— Бросьте! — проговорил Сергей почти грубо. — Замерзнете к черту в своих ботиках, в этих перчатках. Где вы живете? Не бойтесь. Я с женщинами не дерусь.

Она молчала, сжав губы. Он сказал по-прежнему грубовато:

— Ну? Вы думаете, провозжать вас мне доставляет колоссальное удовольствие?

Стоя к нему боком, она засмеялась и вдруг повернулась к нему:

— Ну, положим, я живу на Ордынке. Это что-нибудь говорит?

— Это говорит: полчаса ходьбы. Вам повезло. Нам почти по дороге. Идемте!

— Спасибо! — Она с насмешливой гримасой наклонилась, поправила застежку бота, потом сказала: — Ну что ж...

— Тогда пошли!

Когда миновали Исторический музей, чернеющий мрачной громадой, и когда зачернел угрюмо-пустой храм Василия Блаженного на краю Красной площади, по которой катились волны метели, оба замедлили шаги — ветер здесь, на открытом пространстве, наваливался со злой неистовостью, над головой в стремительных токах сухого снега гремели, дергались вдоль тротуара обмерзлые ветви деревьев. Полы ее пальто, планшетка, подхваченные ветром, хлестали Сергея по затвердевшей шинели, и прикосновения эти неприятно отталкивали их.

— Идемте быстрее! — поторопил он.

Оттого, что он говорил с ней дерзко, как с мужчиной, и оттого, что она, сопротивляясь, пошла за ним, он почувствовал какое-то грубое превосходство над ней, но одновременно возникала и неловкость.

— Не торопите меня, пожалуйста! — невнятно проговорила она в воротник, остановилась и опять поправила бот уже раздраженно. — Я не хочу бежать, это мое дело! Мне вовсе не холодно, а жарко!

На мосту жгучим пронзительным паром окатило их, несло снизу запахом ледяной стужи — стало невозможно дышать. Они ускорили шаги — была видна через накаленные ветром перила черная вода незамерзших закраин у берегов. Но, когда, минуя поток стужи на мосту,

вышли по сугробам на угол Ордынки, Сергей почувствовал, что она споткнулась, и механически, непроизвольно, взял ее за рукав, покрытый наростом снега.

— Ну что?

— Ничего, — ответила она.

И, задыхаясь, сняла его руку с локтя. Спросила:

— Просто интересно — сколько сейчас градусов мороза?

— Двадцать пять, по крайней мере.

Метель с гулом ударила по крыше дома, загремело железо, в снежном воздухе пронеслось гудение проводов.

— Придется подождать. На правой ноге жмет туфля... — Она пошевелила ногой в ботике. — Господи, кажется, онемела нога. Это просто анекдот, — сказала она, стараясь улыбаться. — Бывают в жизни глупые вещи. Можно не обморозиться в Сибири и обморозиться в Москве. Что вы так смотрите? Смешно?

— Не вижу ничего смешного. Заходите в какой-нибудь подъезд. И ототрите ногу! Иначе вам долго не придется носить туфельки. Идите сюда! — приказал Сергей. — Слышите? Идите сюда!

Он подошел в первому подъезду, рванул заваленную сугробами дверь. Дверь завизжала, подалась, и, еще держась за обледенелую ручку, он оглянулся. Она, хромая, с напряжением улыбаясь, все-таки вошла в подъезд, и он, пропустив ее вперед, крепко захлопнул дверь, и, очутившись в настуженной темноте, отвернул жестяную от мороза полу шинели, стал шарить спички.

— Ищите место, садитесь, — снова приказал он и едва зажег спичку окоченевшими пальцами.

Она посмотрела на него настороженно, дунула на огонек, сказала:

— И так видно. Не мешайте своими спичками...

Подъезд был темен, грязен, с сизо искрящимися от инея стенами, пахнувший подвалом и кошками; обшарпанная лестница уходила наверх, в черноту этажей, безмолвных, мрачно ночных.

Сергей, отвернувшись, нетерпеливо ждал. Он слышал, как она щелкнула застежкой бота, стукнула о лестницу туфлей, стала что-то делать, и тотчас как бы увидел, как, неловко сидя на ступенях, она озябшими руками осторожно растирает пальцы на онемевшей ноге, держа ее на весу, — и с мгновенной жалостью он сел рядом с ней на ступеньку.

— Кладите ногу ко мне на колено! — сказал он тихо. — Давайте я разотру. Мне приходилось это делать.

— Я закричу, — сказала она неуверенно. — Слышите, закричу! И разбуду весь дом...

— Кричите, — ответил он. — Сколько хотите.

И уже совсем решительно откинул полу шинели, положил ее ногу на колено — ладонями почувствовал тонкий шелковый чулок, скользкий, ледяной от холода, твердую и крепкую икру. Он ровно, сильными движениями начал растирать ей ступню, все время ощущая в потемках

настороженный взгляд на своем лице.

— Ну как, лучше? — выговорил Сергей.

— Мне... неудобно сидеть, — прошептала она.

— Потерпите, — сказал он. — Еще немного.

— Порвете чулок, — выдохнула она жалобно и замолчала.

Тогда он спросил, задохнувшись:

— Что ж вы не кричите?

Она прошептала:

— Мне больно... хватит...

Было какое-то движение: искала рукой бот или туфлю, вплотную подвинулась к Сергею — он неожиданно ощутил своей щекой холодную мокроту меха воротника, смешанную с теплотой дыхания, почувствовал на плече тяжесть ее опершейся руки и, чувствуя этот сырой, слабо пахнущий морозом мех, видя ее мокрое лицо, порывисто и неуклюже поцеловал ее в дышащий теплом рот.

Она тряхнула головой, отстранилась изумленно.

— Ого! Салют! Вы это что — в армии так?

— Именно... — пробормотал Сергей растерянно и встал, от внезапного волнения, от неловкости этой злась на себя, уже плохо слыша, как рядом скрипнула застежка ее надетого бота, но, когда она ветерком прошла мимо, задев его полую пальто, снова в сумеречном воздухе подъезда его коснулся запах сырого меха.

— Как вас звать? — негромко спросил Сергей. — Я с вами почти целый вечер... и не знаю.

Прислонясь к перилам, она ответила насмешливо:

— Вы всегда так знакомитесь?

Он плечом толкнул дверь парадного.

Преодолевая порывы метели, шли по сугробам. Она шагала, наклоняясь, смотрела под ноги, дыша в мех воротника, и Сергей спрашивал себя: «Зачем? Что это я?»

На углу он приостановился, молча закурил, прикрыв ладонями огонек спички.

Она тоже молча подняла голову, зажмурилась, на лице тенями мелькало движение снега. Вверху, окутанный метелью, в белом кольцевом сиянии горел фонарь. Она спросила:

— Что вы остановились?

— Далеко ваш дом? — спросил Сергей.

— Можете злиться, но не надо курить на морозе, — сказала она, взяла из его пальцев папироску, бросила в снег, затоптала каблуком. — Во-первых, меня зовут Нина. Надо было раньше спросить. Ну ладно! — Она засмеялась и своей легонькой перчаткой стряхнула снег с его шапки и плеч. — Посмотрели бы на себя — вы весь в снегу, как индюк в муке! Называется — допровожались! Идемте ко мне, погреетесь. Я отряхну вас веником. Так и быть.

Он только еле кивнул.

Вошли во двор, тихий, весь заваленный сугробами.

— Вот здесь, — сказала Нина, взглядом показав на окна, темнеющие над крышами сараев.

Сергей чувствовал: снег набился в его рукава, вызывая озноб.

Она открыла забухшую от мороза, утепленную войлоком дверь, и оба вошли в темноту парадного.

6

Сергей проснулся от странного безмолвия в незнакомой комнате, лежал на постели с тревожным, замирающим ощущением, сразу не мог понять, где он.

Стекла окон золотисто горели. Была тишина утра. За стеной в соседней квартире передвигали стулья, но голоса не доносились. Над головой звеняще тикал будильник. И вдруг он все вспомнил до ясности отчетливо, все то, что было вчера.

Он помнил, как они поднялись на второй этаж и она ввела его в свою комнату. Метель обдувала дом, ударяла по крыше, свистела в чердачных щелях, но ветер не проникал сюда, в тишину, в ночной уют, в запах чистоты, покоя, где веяло теплом, домашней устроенностью и зеленым куполом в полумраке светилась настольная лампа.

Потом они сидели возле открытой дверцы печи, в которой неистово кипело, трещало пламя, было паляще-жарко коленям, сидели без единого слова, и он украдкой смотрел на Нину, а она смотрела на огонь... После того как он вел себя с ней нарочито грубо, после того как ой вошел в эту маленькую, незнакомую комнату, ему трудно было нащупать нить разговора, преодолеть неловкость, быть прежним, таким, каким был на улице и в том подъезде; он еще ощущал на спине холод озноба, боялся — голос его будет вздрагивать.

— Кто вы? — наконец спросил он. — Военная медсестра, врач? Как вы очутились в ресторане?

— Закройте дверцу. Так лучше, — попросила она, а когда он закрыл, взглянула с шутливой благодарностью. — А то сгорят мои шелковые чулки. То есть как кто я?

Она, смеясь, откинула волосы.

— Да нет, — сказал он, усмехнувшись. — Кто вы вообще?

— Ну, положим, я геолог. И вернулась с Севера. И очутилась в ресторане. Отмечали мой приезд. А вы как очутились? — Она поставила ногу на полено, глядя на огненное поддувало.

— Просто так, — сдерживая голос, сказал Сергей. И договорил: — Просто так. Без всякой цели.

Она спросила минуту спустя:

— Зачем вы его ударили? Мстили за кого-то? Мне показалось...



— Не будем об этом говорить, — сказал он.

— Но я хорошо знаю Таню.

— Какую Таню?

Засунув руки в карманы, он с хмурым лицом прошелся по комнате, прохладной после колючего жара печи, постоял у окна, прижался лбом к веющему острым холодом стеклу, повторил:

— Сейчас не хочется говорить.

Он опять присел к печке, раскрыл дверцу, выбрал самое большое полено и, взвесив его на ладони, положил в огонь. Полено захрустело, горячо и буйно закипело в пламени, выделяя пузырящиеся капли сока на торце, и в этот миг охватившего его тепла и тишины заметил сбоку двери свою шинель, висевшую рядом с ее пальто, заметил мокрый мех воротника и тогда особенно ясно вспомнил, как неуклюже поцеловал ее в подъезде. И, вспомнив ее изумленно отклонившееся лицо, быстро сказал, пытаясь шутить:

— Кажется, я выполнил свою миссию. Простите. Мне пора.

Было тихо в комнате; ветер с гудением проносился за стенами дома.

Она не ответила. Только повернулась и посмотрела как бы просящими помощи глазами, и он совсем близко увидел виновато подрагивающие уголки ее губ.

— Нина, что ты хотела сказать? Что ты хотела сказать?.. — вдруг с трудом, вполголоса заговорил он, видя эти ее виновато и робко вздрагивающие губы, и не договорил, и так порывисто и неловко обнял за плечи, целуя ее, — стукнулся зубами о ее зубы.

«Кто она? Как это получилось?»

Он оделся, и тут ему бросилось в глаза: прижатая ножками будильника, на тумбочке белела записка.

Он осторожно взял ее — мелкий круглый почерк был странен, незнаком, бисерные буквы летели:

«Сережа! Я ушла. Все на столе. Делай что хочешь. До вечера. Нина».

Звонко тикал будильник, и этот единственный звук подчеркивал безмолвную пустоту квартиры.

Сергей стал ходить по комнате, в смолистом свете утра теплел воздух, становился розовым, и вещи Нины — ее серый свитер на спинке стула, ее узкие туфли под тахтой — тоже мягко теплели от зари. Это были ее вещи, которые она носила, надевала, которые прикасались к ее телу.

«Кто она? Как это получилось?»

Он долго глядел в окно.

После вчерашней метели двор, крыши сараев были наглухо завалены розовеющим свежим снегом, на крышах четкими крестиками чернели по чистой пелене следы ворон... И эти следы

на утреннем снегу тихим и сладким толчком тревоги отдавались в нем, стиснули горло.

7

Он вернулся домой в десятом часу утра.

Сквозь сон смутно донесся возмущенный шепот Аси, ворчливое бормотание отца — голоса жужжали, колыхались где-то рядом, и в полудреме он старался вспомнить, что было вчера — неожиданное, оглушающее, счастливое, — все, что случилось с ним.

И, уже очнувшись от сна, Сергей с минуту еще лежал, не размыкая глаз, слыша около себя голос Аси, и почему-то хотелось улыбнуться от звенящего и горячего чувства радости.

— Папа, он сопьется — каждый день возвращается на рассвете! Уверена, ходит к каким-то гадким женщинам. Его пиджак пахнет отвратительными духами. Ты чувствуешь? Именно не одеколоном, а духами...

— Не замечаю, — скрипуче отвечал отец. — Вообще, скажи, пожалуйста, откуда это у тебя — «гадкие женщины»? В твои годы странные познания! Духи... какие духи?

— У тебя нет нюха, — со слезами в голосе выговорила Ася. — Я давно говорила. Тебе что керосин, что духи — одно и то же! — И с негодованием воскликнула: — Ужас какой!

Сергей вздохнул, как будто только сейчас просыпаясь, и, громко затрещав пружинами, повернулся от стены — снова, как вчера, светло ударило по глазам уютным солнцем морозного утра, ослепительной белизной окна.

В комнате топилась печь, попискивали котята в коробке, отодвинутой от багровеющего поддувала. Ася, заспанная, аккуратный передник повязан на талии, стояла посреди комнаты, зеркально-черные глаза возмущенно смотрели на пиджак Сергея, висевший на стуле.

— Ах, ты проснулся! — воскликнула она даже испуганно как-то. — Здравствуйте, донжуан несчастный!

Отец, в очках, с сосредоточенным выражением занятого человека, ползал на четвереньках перед дверью, держал галошу в руке и, нацеливаясь, щелкал этой галошей по полу, по солнечным полосам, кряхтел от усилий.

— Э, паршивцы! Пошла прочь!

Исхудавшая кошка зевала, следила за движением галоши, изредка мягко вытягивала лапу, лениво играя.

И Сергей, не поняв, в чем дело, засмеялся беспечно, откинул одеяло, сказал с счастливой веселостью:

— Что у вас тут? Клопов щелкаете? А ну, Аська, марш в другую комнату, одеваться буду!

— Он еще командует! Лучше бы молчал! — Ася вспыхнула, выбежала, мелькнув передником, в другую комнату, крикнула за дверью: — Просто какой-то кошмар!

Отец, нацелясь, хлопнул галошей, досадливо забормотал, обращаясь не к Сергею, а вроде

бы к кошке:

— Мураши. Откуда эти мураши зимой? Брысь, окаянная, все б тебе играть, а котята голодные. А ну — геть! Лезь к чадам. — Он подтолкнул кошку к коробке, где возились котята, потом снял очки, взглянул на Сергея близорукими глазами. — Доброе утро, сын...

— Доброе утро... Николай Григорьевич!.. — живо ответил Сергей и запнулся с неловкостью человека, заговорившего фальшивым тоном.

Он часто ловил себя на этой фальшиво-фамильярной интонации в разговоре с отцом, которая не позволяла назвать его ни «отцом», ни «папой», создавала некоторую натянутость в их взаимоотношениях, заметную обоим.

Отец смущенно бросил галошу к двери, сел на стул, на спинке которого висел пиджак Сергея, протер, повертел в пальцах очки. Густая серебристость светилась в его волосах; и было, казалось, нечто жалкое в том, как он протирал и вертел очки, в том, что его вылинявшая, довоенная пижама была не застегнута, открывала неширокую грудь, поросшую седым волосом.

Был он до войны статен, темноволос, ловок в движениях, поздним вечером приходил с работы, кидал портфель на диван, целовал мать — красивую, сияющую весело-приветливыми глазами; маленькие сережки, как две капли росы, сверкали в ее ушах; затем отец садился за стол, часто рассказывал о разных смешных случаях на комбинате, которым руководил он, при этом хохотал заразительно и молодо.

Во время войны сразу и навсегда кончилась молодость отца. И возник новый его облик, в который Сергей не мог поверить. Из писем знакомых стало известно, что на фронте отец сошелся с какой-то женщиной — медсестрой из полевого госпиталя, и тогда Сергей, ошеломленный, с бешеной злостью написал ему, что не считает его больше своим отцом и что между ними все кончено.

Он узнал, что отец, комиссар полка, выводил два батальона из танкового окружения под Копытцами, прорвался к своим, был тяжело ранен в грудь и позже тыловым госпиталем направлен на окончательное излечение в Москву. Николай Григорьевич застал Асю одну в полупустом, эвакуированном доме, мать умерла. Отец неузнаваемо постарел, обмяк и как бы опустился; лежал целыми днями на диване в своей комнате, плохо выбритый, безразличный ко всему, не ходил на перевязки, с утра до вечера читал старые письма матери, но не говорил ничего. После излечения его уволили в запас.

Он долго не работал. У Николая Григорьевича были серьезные неприятности, осенью его вызывали несколько раз в высокие инстанции — всплыло дело о потере сейфа с партийными документами полка во время прорыва из окружения, — отец жил в состоянии равнодушия и беспокойства одновременно и наконец устроился на тихую, совершенно не соответствующую его прежнему характеру работу — бухгалтером на заводе «Диафото», объясняя это своим нездоровьем.

Третьего дня вечером Сергей, вернувшись от Константина, вошел к себе и, раздеваясь, услышал из другой комнаты раздраженные голоса — отца и соседа по квартире Быкова. Он прислушался не без удивления.

— Никакой рекомендации я тебе не дам, никогда не дам! — говорил отец, взволнованно покашливая. — Я отлично помню шестнадцатое октября. Ты сказал мне: «Конец! Погубили страну, дотанцевались!» И посоветовал порвать партийный билет, бросить в уборную! Так это было? Так! Мол, революция погибла! Так и расскажи в партбюро своей текстильной фабрики: был момент, когда не верил ни во что!

— Ты болен!.. — донесся надтреснутый голос Быкова. — Ты болен тогда был, болен! В бреду все привиделось. И ты не чистенький, Николай Григорьевич! Я твою коммунистическую совесть наизнанку знаю, как вот пять пальцев. На фронте с бабой спутался, может, из-за этого и жена твоя умерла, а? По себе о людях судишь?

— Вон отсюда... вон! — шепотом выговорил отец.

Дверь распахнулась — Быков толкнул ее плотной, обтянутой кителем спиной, вышел, пяясь, щеки розовые, глаза неподвижно остекленели, остановились на сжатых кулаках отца, наступавшего из комнаты.

— Ты... ты убил свою жену, вот где твоя совесть старого коммуниста... — бормотал Быков и тотчас, перекатив глаза на Сергея, возвысил голос, замахал перед грудью отца пальцем. — Во-от каков твой отец, коммунист, во-от, смотри на него!..

— Вы что, с ума сошли? — спросил Сергей, видя болезненное лицо отца и багровое лицо Быкова, озлобленно махавшего пальцем в воздухе.

Сергей, едва сдерживая себя, двинулся к Быкову, взял его за ворот. Коснувшись толстой шеи, и, потрянув так, что затрещал китель, вывел его, грузного, потного, в коридор и тут предупредил:

— Еще одно слово — и я вас вытряхну из кителя. Поняли?

— Пусто! Рукам воли не давай! — удушливо выкрикнул Быков и, одергивая китель, оглядываясь зло, засеменял новыми, обшитыми красной кожей бурками по коридору к своей двери.

— Ты все слышал? — спросил потом отец, осторожно поглаживая левую сторону груди. — Все?

— Нет. Но я понял.

После Николай Григорьевич, казалось, все время испытывая неловкость и неудобство, помнил эту сцену, и сейчас, в это солнечное морозное утро, присев возле быстро одевавшегося Сергея, он спросил с некоторой заминкой:

— Как дела, сын? Настроение как?

— Настроение великолепное. Перспективы шоферские. Умею водить «виллис», «студебеккер», «бээмвэ», — ответил Сергей. — Вчера слышал по радио — набирают на курсы шоферов; Шаболовка, пятнадцать. И говорил об этом с Костей, он старый шофер. Подучусь, буду водить легковую или грузовую, все равно. Аська, входи, я уже в штанах! — крикнул он, перекинув мохнатое полотенце через плечо.

— Это, конечно, перл остроумия! — отозвалась из-за двери Ася. — Просто все падают от смеха! Ха-ха!

Она вошла, худенькая фигурка очерчена солнцем, взгляд немигающий, ядовитый.

— Ты прожигаешь жизнь! Поздравляю! Ты возвращаешься в светском обществе! Поздравляю! Твой новый костюм пахнет отвратительными духами. На нем был женский волос — отвратительный, золотистого цвета. Покрашенный, конечно.

— Не думаю, — сказал Сергей. — Что касается волоса, то это наверняка Костькин. Вчера он щеголял по Москве без шапки. Был ветер, волосы летели с него, как с одуванчика. Он страшно лысеет.

Ася презрительно возразила:

— С каких пор Константин стал золотистый? Оставь, пожалуйста! Я не дальтоник. Не морочь мне голову. Все очень остроумно. Были пострадавшие от смеха.

— Мороз. Потрясающе действует мороз.

Он звучно поцеловал ее в щеку, Ася отстранилась, произнесла неприступно:

— Я не люблю эти неестественные нежности. Обращай их, пожалуйста, к... своему пиджаку.

— Ася, при чем здесь пиджак? — вмешался Николай Григорьевич. — Что это такое? Хватит, пожалуйста.

— Ничего не хватит, папа! — ревниво перебила Ася, блестя глазами. — Он нас не видит и не хочет видеть. Он, видите ли, скуча-ает!..

— Аська, только не молоти чертовщину, — сказал Сергей. — Не хочу ссориться, честное слово. Когда двое ссорятся по мелочам, оба виноваты. Я хочу быть правым.

Николай Григорьевич в раздумье потер о колено дужки очков.

— Значит, в шоферскую школу? Н-да. Ничего советовать не могу, ты взрослый человек. Только одно: у тебя ведь десять классов, капитан артиллерии. Доволен будешь? В институт не тянет?

— Все забыл, что учил в школе. Таблица Менделеева, бином Ньютона — тень в безумном сне. Не хочется начинать все сначала, с детских штанишек. Не усiju за партой.

— Зато усидишь в грузчиках, — вступила Ася. — Это ужасно находчиво и современно!

— Когда меня оскорбляют родные сестры, я ухожу в ванную.

Сергей засмеялся, приподнял Асю за талию, опустил на стул и вышел в коридор коммунальной квартиры.

Ванная была занята, ровный плеск воды, кашель, кряхтение доносились оттуда. Сергей, не задумываясь, постучал, узнав по сопению и вздохам соседа Быкова.

— Здесь очередь, уважаемый товарищ!

Из кухни, освещенной солнцем сквозь замерзшее окно, пахло теплом — духом соленой поджаренной рыбы, картошки и жирным ароматом тушенки, кофе, — запахами недавних квартирных завтраков. Возле плиты с обычным запозданием (вставали поздно) шумно и бестолково возились со сковородкой соседки по квартире: художник Федор Феодосьевич Мукомолов, высокий человек с бородкой клинышком, и его жена — художница Эльга Борисовна, женщина худенькая, спокойная, поблекшая, совсем седая уже. Мукомолов дымил торчащей из бородки набивной папиросой, держал за ручку шипящую сковородку, Эльга Борисовна сыпала из пакета яичный порошок в баночку, говорила усталым голосом:

— Ты ничего не понимаешь, Федя, ты на редкость бестолков в этих делах. Надо сначала маргарин. Все сгорит. Отпусти, пожалуйста, сковородку. И вынь папиросу. Ты сыплешь пепел в разные стороны.

— Не может быть! — Мукомолов согнулся к плите, затряс бородкой над сковородой. — Надо искать, Эльенька, искать. Вода заменит маргарин. Я утверждаю. Маргарин — это каноны. Надо ломать каноны. Совершенно верно.

Он постоянно придумывал новшества в кулинарном искусстве, потрясая и убеждая всю квартиру: мясо надо жарить на воде, можно жарить и варить маринованную селедку, поджаривать овес и грызть его, как семечки, — великолепное средство от гипертонии, укрепляет физические силы, удлиняет жизнь.

С вечной папиросой в зубах, он при встречах старомодно снимал шляпу, раскланивался, зимой и летом носил демисезонное пальто, никогда не болел, по утрам гремел в своей комнате гантелями и гирями. Порой, идя в ванную или уборную, появлялся на пороге кухни в галошах на босу ногу и в трусах, а вслед ему неся оклик Эльги Борисовны:

— Федя, Федя, ты меня удивляешь! Вернись! Оденься приличнее!

Считали его безвредным человеком, с чудинкой, что и должно быть, разумеется, свойственно художнику, живущему в ином мире. Мукомолов-отец ничем не был похож на своего сына Виктора, довоенного друга Сергея.

— Добрый день, здравствуйте, Сергей Николаевич! — воскликнул радостно Мукомолов, не выпуская из левой руки держак дымящейся сковородки и выкидывая Сергею правую руку, будто даря ее. — Гимнастику делали? Нет? Плюньте на ванную. М-м... Петр Иванович Быков подолгу, знаете... Слабость. Идемте ко мне. Нет, нет, идемте ко мне! У меня гири, гантели. Эля, держи сковородку. Я убегаю. Прошу вас, Сергей Николаевич.

Он выпустил сковородку, подхватил Сергея под локоть, потащил по коридору к своей двери, провожаемый упрекающим взглядом Эльги Борисовны.

Комната Мукомолова, большая, очень светлая от снега и солнца, с кучей дров около голландки, была увешана и заставлена картинами: портрет беловолосой веснушчатой девочки — губы изогнуты наивной улыбкой полумесяцем; крымские пейзажи; летнее росистое утро на лугу; глубинный мрак чащи с редкими пятнами на листьях; застывшая осенняя вода, затянутая туманцем в ожидании дождя. Сергей провел взглядом по стенам — и внезапно повеяло жарой, палящим солнцем от белых стен крымских домиков, до ощутимости запаха понесло прохладой из мрачной чащи, от тусклой осенней воды, — спросил удивленно:

— Это все ваше?

— Вот великолепные гири, вы только обратите внимание, разного достоинства — от килограмма до пуда, вот вам! — торопливо говорил Мукомолов, сбрасывая со стула измазанные красками потрепанные штаны, и показал стоявшие на стуле гири. — Берите и занимайтесь. Я — каждое утро и даже вечером. — И, смеясь глазами, погладил бородку. — Видите ли, чтобы сделать что-нибудь полезное на этом свете, надо колоссальное здоровье иметь. Особенно в искусстве. Титаническое здоровье Льва Толстого. Несокрушимое здоровье.

— Это все ваше? — опять спросил Сергей, оглядывая картины, и улыбнулся. — Кажется, я все это видел. Через такой луг шли под Лисками. Здесь нас бомбили. В этом урочище под Боромлей... Орудия стояли на опушке.

— Вы ошибаетесь, это... это не Лиски и не... как это, Боромля, — оживляясь, шаря по карманам спички, заговорил Мукомолов. — Но это так, так... ассоциации. Так, так... Вы правы. Садитесь, садитесь.

Торопясь, зажег спичку, прикурил, помахал спичкой, гася, бросил на пол, будто стряхнул что-то, обжегшее пальцы. В волнении начал искать свободный стул — свободных не было: два около мольбертов неряшливо завалены тюбиками красок, кусками пестро заляпанного картона, заставлены чашечками с мутной водой. Мукомолов фыркнул в бородку дымом, сказал виновато-весело:

— Простите, все стулья сожгли в войну. Сухие венские стулья отлично разжигали печь. Пустяки. Минуточку, минуточку. Вот сюда. Вот сюда, сюда зайдите. Как это вам? А?

Взяв за локоть Сергея, завел его за мольберт, повернул спиной к окнам и, скрестив на груди свои большие руки, склонил голову набок, словно бы прицеливаясь.

На мольберте на холсте — заваленный сугробами московский двор без забора, часть улицы, снег на мостовой; солдат, опустив вещмешок, растерянно стоит у двух столбов, где прежде были ворота, в нерешительности ищет глазами номер дома, мальчишка с санками, задрал голову, впился в молодое лицо солдата, рот приоткрыт.

Мукомолов сжал локоть Сергея и тотчас замахал погасшей папиросой, рассыпая в разные стороны пепел, бросил ее в чашечку с водой.

— Нет, нет, мальчишка не его сын! Нет, нет! Это еще до конца не выражено. Нет.

Он снова схватил толстую папиросу из коробки на стуле, стал ее зажигать, потом заходил по комнате чуть прыгающей, возбужденной походкой.

— Мне один критик говорит: у вас серая гамма! Нет света оптимизма. Вы понимаете? Но чувства, чувства, человеческие эмоции! «Серая гамма»! Все люди делятся на две половины: больных и здоровых. Для одних — диета, для других — нет. Так вот этот критик относится к тем, кто кушает только белый хлеб. Черный несъедобен для него: боится, расстроится желудок! Он бы уничтожил Левитана, растряс бы Саврасова в клочья! Вот вам!

Мукомолов трескуче закашлялся, взглянул на Сергея, слушавшего и не совсем его понимавшего, лицо неожиданно подобрело, заулыбалось ясно; мелкие морщинки звездочками собрались на висках.

— Простите, Сергей Николаевич, меня ужасно кусают эти критики. — И тут же спохватился, вскричал: — А гири? Возьмите себе пудовую! Прекрасно по утрам. Вы молоды, но молодость проходит — не успеешь по сторонам посмотреть. А как нужно здоровье! Для того чтобы кое-что сделать в искусстве, титаническое здоровье надо иметь. Да, да! Хотя бы чтоб доказать, что ты недаром жил, недаром!

Раздался громкий стук из коридора. Дверь приоткрылась, в щель заглянул Быков, весь распаренный, младенчески-розовый после ванны, пророкотал жирным баритоном:

— Ванна свободна. Эльга Борисовна сказала: тут вы. Пожалуйста. — Он улыбнулся одной щекой Мукомолову. — Молодость, Федор Феодосьевич. Не терпится. Очередь, говорит, собралась...

— Входите, входите, Петр Иванович, — пригласил Мукомолов широким жестом. — Что вы в дверях?

— А, показываете новенькое что?

Быков солидно и уверенно внес свое небольшое упитанное тело, был по-воскресному — в полосатой пижаме, чисто выбритые щеки лоснились, запахло цветочным одеколоном.

— Все рисуете, все образы рисуете, — заговорил Быков, туманным, как бы распаренным после ванны взором глядя не на Мукомолова, а на Сергея, и, близко подойдя к мольберту, расставил ноги в широких штанах пижамы. — Н-да... Так... Хм, н-да... Нравится вам, Сергей Николаевич?

Сергей промолчал — общество Быкова было неприятно ему.

— Вы отойдите, отойдите от картины, Петр Иванович. — Мукомолов смущенно потеревил бородку. — Так нельзя... Когда Рембрандт показывал своего «Блудного сына», все подошли близко и ничего не увидели. Рембрандт сказал, чтобы отошли от картины — краски дурно пахнут. Все отошли и изумились. Я не прошу, разумеется, изумляться, но нужно уметь смотреть картины.

Быков насмешливо обежал глазами комнату, поинтересовался:

— А для кого же картины эти рисуете, Федор Феодосьевич? Для музея или для себя... так, для удовольствия? Деньги-то платят? Ну вот этот солдат сколько стоит?

— Я не оцениваю своих картин! Я не продаю их даже в музеи, как вы говорите! Их не покупают! Сейчас не покупают. Но я не гонюсь за деньгами, нет, нет! Я очень давно не продавал... не выставлялся! Но у меня около тысячи законченных акварелей, и, если каждую оценят минимум по две тысячи рублей, это два миллиона. Вот вам! Съели? — Мукомолов едко засмеялся.

— Эт ты, ого! — выговорил Быков и хлопнул себя по ляжкам. — Выходит, с миллионщиком в квартире живем! Лады, лады... Разбогатеете — миллион займу.

Быков с видом понимания поглядывал на Мукомолова, на скупую обстановку комнаты, будто снисходительно сочувствуя, жалея и этого неудачника Мукомолова, и эту обстановку, и картины его. И Сергею стало неприятно, зло на душе.

— Вы знаете, что такое реле? — спросил он.

— Что? Какой реле?

— В машине есть реле, которое должно срабатывать.

— Хм, — произнес Быков, настораживаясь. — Как так?

— Оно у вас не срабатывает!

Мукомолов ходил, почти бегал по комнате, наталкиваясь на разбросанный багет в углах.

— Да, да, у меня, может быть, тысяча акварелей!

Вошла Эльга Борисовна, неся сковородку, поставила на маленький столик и, покрасневшая от жара плиты, пальцами отвела волосы со лба, проговорила упрекающе:

— Федя! Ты всех заговорил. Ты просто удивляешь. Как не стыдно! Человек шел в ванную, ты затащил его... Человек стоит с полотенцем. Петра Ивановича тоже задержал.

— Я зайду к вам позже, — сказал Сергей и пошел к двери.

Мукомолов бросился за ним, на пороге схватил за руку, заговорил весело и доказательно:

— Сергей Николаевич, мы должны с вами по утрам рубить дрова, пилить дрова в сарае. На свежем воздухе. Это лучшая гимнастика. Если вы составите компанию...

— Сережа, — тихо позвала Эльга Борисовна, — зайди к нам вечером. Я прошу тебя, очень прошу.

— Да, я зайду обязательно, — ответил Сергей и тотчас увидел: Быков тоже выходил из комнаты, ухмыляясь в ладонь. — Я зайду, — повторил Сергей.

— Я никакие секреты не слушаю, — успокоил Быков значительно. — Валяйте, валяйте, я



ухожу.

8

Витькину комнату занимал Быков с женой. Прежде, до войны, он вселился в девятиметровую комнату в конце коридора, затем, в сорок первом году, в «клетушку» эту, как называл ее Быков, въехал инженер-холостяк. Работавший тогда в московском интендантстве, Быков по ордеру райисполкома занял большую светлую комнату, принадлежавшую прежде Мукомоловым. Она пустовала, Мукомоловы не входили в нее, точно пугало их пыльное безмолвие нежилья, школьные дневники на столе, книги Паустовского и Грина в шкафу, запыленные гири и гантели возле дивана. До вселения Быкова все здесь оставалось так, как в тот день, когда Витька Мукомолов уходил в ополчение. Были только вынуты из ящика стола школьные дневники, и стояла на подоконнике чернильница-непроливайка, покрытая пылью, с засохшими по краям чернилами. И тишина здесь, в комнате, не стирала, не притупляла боль Мукомоловых. Боль была тем сильнее, что никто не сообщил, не намекнул, не рассказал, где и когда он погиб. Эльга Борисовна была уверена дикой, не соглашающейся ни с чем верой, что погиб он в плену осенью сорок второго года, что прошел он и окончил свой путь той ночью, физически ощутимой ею.

В ту октябрьскую ночь мокро шлепал, шумел по крышам дождь, ветер пищал, гудел, проникая в ходы голландки, и в мрачно-холодной темноте комнаты было слышно, как старая липа во дворе, наваливаясь, корябала стены дома.

Ей казалось, кто-то рядом, знакомый и незнакомый, приходил и уходил из зеленого мира, из шума деревьев, улыбался ей, смотрел в глаза, и она сквозь мучительную тяжесть полусна старалась вспомнить: чей это такой знакомый, такой родной облик, и не могла вспомнить, ощутить его. И вдруг отчетливо и вместе бестелесно выплыл из темноты внятный голос: «Мама!..» Она очнулась — дергалось судорожно горло, села на постели, пальцами вцепилась в подбородок, лихорадочно вспоминая: «Боже мой, кто это? Кто это?..»

Она дрожала, озираясь на черные стекла.

Влажно плескал, стучал дождь, что-то шуршало в углах, скребло и ходило за стеной дома, будто шаги хлюпали в грязи, по лужам, широко и фиолетово светились окна, и она внезапно увидела среди этого света очертания человеческой головы, прильнувшей к стеклу.

— Мама!.. — слышалось ей.

— Витя?!

Она вскочила с постели, упала, задев за что-то, больно ушибла ногу, босая выбежала в коридор, в пронизанный сыростью тамбур, плача, распахнула дверь в темноту ночи, хлюпающую,двигающуюся, крикнула с мольбой:

— Витя!.. Витя!..

С плеском лил дождь, ветер резко и сильно ударял дверью о стену тамбура. Никто не подходил к ней. Ей стало страшно.

— Витя, Витя, — шепотом звала она, трясясь от рыданий.

Федор Феодосьевич, перепуганный ее криком, ничего не поняв, выскочил следом за ней в одном белье, едва увел в комнату, кашляя, тяжело дыша, зажигал спички — никак не мог прикурить, — спрашивал только:

— Что? Что?

— Витя... Витя... Заглянул в окно. Я... слышала голос...

Мукомолов говорил растерянно:

— Что ты, Эля, что ты! Это же листья, смотри, прилипли к стеклам. Листья... Эля, успокойся. Где у нас валерьянка?.. Что с тобой?

— Это он... он, я слышала, — повторяла она. — Я видела его... Он звал меня...

— Что ты, Эля, что ты!..

Потом, уже в постели, она проговорила тихо:

— Он погиб. — И, как бы прося пощады, уткнулась в худую волосатую грудь мужа. — Он погиб сегодня... в плену...

На фронте странно было читать Сергею в письмах Аси, что Витька Мукомолов пропал без вести. И, сопротивляясь этому, не верил, хотя мог поверить в тысячи других смертей, которые видел рядом.

С гибелью Витьки уходило что-то, отрывалось навсегда — и исчезал прежний зеленый и летний мир школы.

Вечером Сергей пришел.

Сидели, пили чай с конфетами «драже», полученными по карточкам; абжур низко светился над столом, покрытым старенькой скатертью.

Мукомолов молчаливо отхлебывал чай и после каждого глотка набивал над табачной коробкой толстые гильзы, шумно сопел, двигал под столом ногами. Эльга Борисовна маленькой сухой рукой все время распрямляла уголок скатерти, взглядывая на Сергея беспомощно спрашивающими глазами, говорила ровным голосом:

— Я помню его в последний раз... прислал нам письмо, мы совершенно не знали, где он находится. Просил сухарей, папирос. Совершенно случайно на открытке мы прочли штамп: «Бутово». Я пошла пешком до Красной Пахры. А там — леса... Я искала целый день. Везде солдаты... Не знаю, как меня не задержали. Я его нашла. Он был в какой-то грязной майке и очень бледный. Как он был удивлен! «Мама, как ты меня нашла? — спросил он. — Ты ходила, искала в лесах?» Ты знаешь Витю! Я спросила: «Почему ты грязный?» Он ответил: «Учимся стрелять». — «А почему ты такой бледный?» — «Мама, ты знаешь, какое время...» Он отпросился от вечерней поверки и пошел меня провожать — я торопилась в Москву. Я помню, он шел со мной слева, на голову выше меня, и грыз орехи. Я привезла ему орехи. А вечер был хороший такой, тихий... Витя смотрел куда-то, и глаза его были одинакового цвета с небом. Он уже смотрел по ту сторону мира. Он попрощался со мной, поцеловал меня в щеку, я и сейчас ощущаю... «Ничего, мама, все пройдет...» Это было последний раз, когда я его видела. На следующий день поехал Федор Феодосьевич, там уже никого не было. Валялись консервные банки, одежда, их там переделали...

Эльга Борисовна погладила чайную ложечку, переложила ее, передвинула сахарницу и по тому месту, где стояла сахарница, провела пальцами.

— Он погиб в сорок втором году, в плену. Двадцать седьмого октября.

— Эля! — Мукомолов задвигался на стуле, поднял бородку, нацелясь на синее окно. — Нам никто не сообщил, что Витя погиб в плену. По всей вероятности, из-под Бутова их направили под Ельню. Да, да, видимо, так. Там были страшные бои, самолеты ходили по головам, танки. А они, ополченцы — мальчишки, художники, профессора, — с винтовками на двоих... против этих танков. Вот как было. Их окружили, несколько тысяч... Художник Севастьянов был в ополчении, бежал из плена, из Норвегии, Эля. Жив сейчас. Если Витя в плену...

— Если бы он был жив, он бы вернулся. Нет, теперь я ничему не верю. Я помню его глаза, когда он смотрел на небо.

Наклонив голову, Эльга Борисовна осторожно тронула ладонью правую бледную щеку, где будто жил не тронутый временем тот поцелуй в Бутове, скорбно улыбнулась Сергею влажными глазами. Сергей с хмурым вниманием помешивал ложечкой в стакане.

Он знал, что говорить сейчас о том, что пропавшие без вести возвращаются, как говорил об этом неловкими намеками Федор Феодосьевич, убеждать, что Витька жив и может вернуться, — значило лгать.

Мукомолов закашлялся, не вынимая папиросы из зубов, и, задохнувшись кашлем, заходил по комнате мимо синевших окон, стиснул до хруста руки за спиной.

— Ополчение... — заговорил он вскрикивающим шепотом, оглядываясь на дверь. — О, это московское ополчение! Школьники, студенты, профессора. Там погибли — я уверен, да, да! — Лев Толстой, Репин, Эйнштейн...

Эльга Борисовна заплакала, по-детски закрыв узенькими ладонями лицо.

— Простите, Сережа, простите! Федя, прошу тебя, не кричи, — умоляюще, сквозь слезы попросила она, поднялась, плотнее закрыла дверь, постояла у двери, вытирая глаза, стараясь через силу улыбнуться Сергею: — У нас Быков, когда поругается на кухне, то всегда кричит: «Я тебя посажу!» Странно как-то... Ведь коммерческий директор большой фабрики... Все же он был майор, воевал...

— Быков? — проговорил Сергей. — Какой он майор! Заведующий складом в Германии. Возле складов не воют!

— Эля! — вскрикнул Мукомолов. — Не переводи разговор, мне нечего бояться. Я пуганый воробей, старый, поживший пес. Я хочу знать. Я хочу спросить у Сергея Николаевича. Он был другом моего сына, и я спрашиваю его как сына, да, да... Сережа, как вы думаете, знал ли это Сталин?

— Не знаю, — ответил Сергей.

Мукомолов, сконфуженный, пробормотал как бы про себя: «Да, да», — ткнул недокуренную папиросу в пепельницу на столе, в несколько глотков жадно допил, будто утоляя жажду, остывший чай и после молчания, набивая гильзы табаком, снова пробормотал: «Непонятно это, да, да». Эльга Борисовна по-прежнему гладила, теребила уголок скатерти, синие жилки выделялись на ее маленькой руке. Сергей взглянул на грустное лицо Мукомолова, спросил:

— Вы не договорили, Федор Феодосьевич?

Мукомолов в задумчивости не отводил глаз от коробки с табаком, ноздри широкого носа

раздувались.

— Ваше поколение было прекрасно и благородно воспитано. Вы ни в чем не сомневались, вы верили — и это отлично. Ваши прекрасные школьные учителя вас прекрасно воспитали. — Мукомолов покашлял, нервно подергал бородку. — Странно... Странно и страшно получилось... Дети умерли, погибли в бою, в плену, а родители живут... Это непонятная, чудовищная несправедливость — старшее поколение не должно переживать молодое, никогда!..

9

Час спустя Сергей лежал на диване в своей комнате, потушив свет, — был лимит на электроэнергию. Топилась на ночь голландка.

Разнеженная теплом кошка дремала возле постреливающей печи, спокойно вытянувшись, мурлыкая. Котята, вылизанные ее языком, с мокрой шерсткой, жалобно пищали, искали ее открытый мягкий живот, нажимали лапами вокруг сосков.

Сергей взял одного из котят, влажного, теплого, растопырившего лапы; пустил его себе на грудь; существо это беспомощно зашевелилось, дрожа слепой мордочкой, оскальзываясь лапами, заползло к горлу, тоненько пища, тыкалось дрожаще-нежно мокрым носом в шею, подбородок Сергея.

Он погладил его по шершаво-слипшейся спине.

— Дурак ты, дурак.

В слоистых потемках однотонно щелкали костяшки отцовских счетов в соседней комнате.

Сергей, лаская, гладил котенка, и было ему беспокойно, грустно, как не было с тех пор, как он вернулся. Лежа на спине, он вспоминал встречу с капитаном Уваровым в «Астории», Нину, вечер у Мукомоловых — и чувствовал, что был растерян и не хватало ему ясности и простоты; не было того, что представлялось месяц назад в гремящем прокуренном вагоне, мчавшемся домой, чего ожидал и хотел он.

— Ну что пищишь, дурак ты, дурак? — шепотом сказал Сергей и положил в коробку растопырившего лапы котенка.

Вечерняя тишина стояла в квартире. Розовое пятно — отсвет печи — суживалось и расширялось на стене, еле слышно щелкали в тишине счеты, шуршала бумага, и будто сквозь теплую толщину слабо пробивалась едва уловимая музыка — то ли радио, то ли заводил кто-то патефон. Константин?.. Он дома?

«Жить как Константин? — спрашивал себя Сергей. — А что потом? А дальше как? А завтра, а через, год? Да что задавать вопросы? Видно будет... Все будет видно... Главное, я дома... Но почему именно мне повезло, Константину, двум из школы — случайность?»

Звонок в прихожей. Три раза. Движение в глубине квартиры, шаги в коридоре, туго бухнула замерзшая дверь, голоса. Опять бухнула дверь, зазвенев пружиной. Тишина. Щелкнул выключатель, вкрадчиво постучали — и голос:

— Сергей Николаевич!

— Войдите! — Сергей скинул ноги с дивана.

Желтая полоса света из коридора легла на пол комнаты. В дверь протиснулась освещенная сзади фигура Быкова, голос сытый, как после обеда, он еще жевал что-то.

— Темнотища-то, ба-атюшки! Вам письмо или повесточка, шут разберет. Что же свет не зажигаете? Экономите?

— Давайте сюда, — сказал Сергей грубовато и при свете из коридора прочитал — это была повестка из милиции, уведомляющая его явиться завтра в одиннадцать часов утра к майору Стрешнекову. — Вы мне что-то хотите сказать? — спросил он Быкова, заглядывающего умиленно-ласково в коробку с котятками.

— К счастью, говорят, котята-то. Одного бы у вас взял, — сказал Быков. — Люблю малышей, даже детеныши безобразного бегемота — прелесть симпатичны. Видели? Я в Лейпцигском зоопарке видел.

— Слушайте, милый Петр Иванович, это вы, кажется, грозитесь тут пересажать всю квартиру? — Сергей посмотрел на него с неприязнью. — Вы? Интересно, как вы это сможете сделать?

Быков возмущенно выпрямил свое короткое, плотное тело.

— Глупости, какие глупости люди собирают! Я понимаю, я погорячился, ваш отец погорячился, но зачем глупости собирать? Вы меня еще не знаете, Сергей Николаевич, что ж, вы до войны вот как этот котенок были. Поживем — притремся, делить нам нечего. Нечего нам делить, да. В одной квартире.

— Будьте любезны... — сказал Сергей сдержанно. — Будьте любезны, прикройте дверь с другой стороны.

— Кто там у тебя? — слышался голос отца из соседней комнаты.

— Напрасно вы, напрасно. Покойной ночи, Сергей Николаевич, — заспешил, с озабоченностью наклоняя голову, Быков, затем деликатно закрыл дверь; заглохли шаги в коридоре.

Сергей при свете печи вторично прочитал веющую морозной улицей повестку.

В другой комнате загремел отодвигаемый стул, зашмыгали тапочки.

— С кем ты разговаривал? — спросил отец на пороге, устало снимая очки. — Кто заходил? Можно с тобой посидеть? Мы с тобой почти не видимся, сын.

— Заходил Быков. Передал повестку.

— Какую повестку? Опять в военкомат?

— Нет. Меня вызывают в милицию. Тебя это пугает?

— Но зачем в милицию?

— Вчера я ударил одну сволочь.

— Был пьян?

— Нет.

— Бить по физиономии — не так уж действенно, сын.

— Ты так думаешь? — усмехнулся Сергей.

Отец протер очки, спрятал их в карман пижамы, движения были спокойно-заученными, а глаза близоруко и утомленно приглядывались к полутемноте в комнате, озаренной гудящими вихрями огня в голландке. И все это раздражало Сергея своей добротой, домашностью, какой-то слабостью даже, которую он не хотел видеть в отце; и, не в силах подавить возникшее раздражение, Сергей заговорил неожиданно для себя:

— Вот ты, старый коммунист, даже старый чекист, скажи: почему ты терпишь Быкова? Не думал ли ты, что мы даем всяким хмырям взятки, именно взятки, чтобы они не беспокоили нас, — улыбаемся им, молчим, здороваемся, хотя знаем все? Так, что ли?

— Почему ты о Быкове?

— Ты знаешь, что он орет на кухне? Он что, пугает вас всех — и вы лапки вверх?

— Его не подведешь под статью Уголовного кодекса, Сергей. Он никого не убил, — ответил, опираясь на колени локтями, отец. — К сожалению, бывают вещи труднодоказуемые, сын. В августе сорок первого года я выводил полк из окружения, и мой растяпа политрук потерял сейф с партийными документами. Политрук погиб, а я едва не поплатился партбилетом. И хожу с выговором до сих пор. И ничего не сделаешь. Вот так, сын, не было четких доказательств. Не было. И ответил я как комиссар полка. А пятно трудно смыть.

— Что же тогда делать? — спросил Сергей вызывающе. — Терпеть, молчать? Так? Не-ет! Лучше ходить с выговорами! Может быть, ты вину политрука тоже по доброте душевной взял на себя? Ты что — добр ко всем?

— Во-первых, Сережа, на мертвых свалить легко. Во-вторых, я не советую тебе связываться необдуманно, — Николай Григорьевич неуверенно коснулся ладонью колена Сергея. — Только терпение и факты. Мерзавцев надо уничтожать фактами, доказательствами, а не эмоциями. Эмоции не докажут состава преступления. У тебя есть какие-нибудь доказательства против того, кого ты ударил?

— Доказательства для военного трибунала.

— А свидетели есть у тебя, сын?

— Только один свидетель — это я...

— Тогда этот человек может обвинить тебя в клевете. И легко привлечь тебя к суду за физическое оскорбление, за хулиганство. Здесь закон оборачивается против тебя.

Сергей встал, раздраженный.

— Ты, кажется, трусишь? Или чересчур осторожничаешь?

Отец тоже встал, сожалеюще-печально взглянул в лицо Сергея, сказал вполголоса:

— После смерти матери мне уже ничего не страшно. Страшно только за тебя. И то после того, как ты вернулся и живешь непонятной мне жизнью.

И пошел в свою комнату, шлепая стоптанными тапочками, горбясь, перед дверью задержался, смутно видимый в темноте, договорил:

— Вот уже месяц ты никак не называешь меня. Слово «папа» ты перерос, я понимаю. Называй меня «отец». Так легче будет и тебе и мне.

«Зачем я говорил так с ним? Он не заслужил этого! — несколько позже думал Сергей, шагая по улице, вдыхая щекочущие горло иголки морозного воздуха. — Я не имел права так говорить. Я раздражен все время... Почему я раздражен против него?»

На углу он зашел в автоматную будочку, насквозь промерзшую, до скрипа накаленную стужей. Снял скользкую от инея трубку; подышав на пальцы, набрал номер Нины. Долго не подходили, и неопределенно длинные гудки в пространстве вызывали у него тревогу.

Когда щелкнуло в трубке и женский прокуренный голос пропел «алю-у», он попросил:

— Мне Нину Александровну.

— Нету ее, голубчик, нету. — Голос этот нехорошо фыркнул. — Ушла Нина Александровна.

Сергей резко повесил трубку. Некоторое время стоял в нерешительности — в раздумье глядел, как пар дыхания ползет по обледенелой стене, испещренной номерами телефонов, по инею на стекле, на котором кто-то гривенником вычертил рожицу с выпяченными губами, с комично длинным носом.

Стиснув зубы, он набрал номер Константина, сразу же отозвался приятно-веселый голос: «На проводе», — потом громкое чавканье; тоненькой струйкой влился фокстрот, как из другого мира.

— Пошел... со своим проводом, — проговорил Сергей. — Что у тебя там — патефон, компания?

— Прошу государственную тайну не разглашать! — Константин преспокойно жевал. — Никакой компании, за исключением патефона и бутербродов на столе. Ты что звонишь, а не зашел? Подняться на второй этаж — дороже плюнуть.

— Ты мне нужен. Приходи к метро «Павелецкая».

— Что стряслось? Деньги? Женщина? — Константин перестал жевать. — Мгновенно надеваю штаны. Нет таких крепостей, которые...

Возле метро в морозном пару, вылетающем из дверей, — беспрестанное движение толпы. Подземные скоростные поезда приносили людей из теплых недр туннелей; толпа, спеша, растекалась от метро, металлический скрип снега раздавался в студеном воздухе; поднятые воротники, голоса, огоньки зажигаемых спичек, простуженно-бодрые выкрики продавцов папирос около входа — развязных парней в телогрейках:

— «Казбек», «Казбек», покупай с разбегу! Запасайся к Новому году! — И бормотание озябшими губами: — Штучный «Беломор», штучный «Беломор»!

Сергей всматривался в растекающуюся от дверей толпу, искал на лицах мужчин, даже в походке женщин каких-то особых примет взаимного понимания. Он заметил в толпе немолодого мужчину, несущего елку, завернутую в мешковину, и рядом с ним женщину, молодую, живо говорившую ему что-то, и тогда вспомнил о близком Новом годе, но без праздничного ожидания, а с холодком неопределенного беспокойства.

— Категорический привет! Ты давно?

Подошел Константин в роскошной пыжиковой шапке, в кожанке на меху, красный шерстяной шарф по-модному подпирал подбородок. Сказал, протягивая руку, нагретую меховой перчаткой:

— Э-э, мордализация нахмуренная, решаешь мировые проблемы? Плюнь, не решишь. Пойдем куда-нибудь пиво пить.

— Подышим свежим воздухом, — хмуро сказал Сергей.

Когда отошли на сотню шагов от метро, уже не дуло баннным воздухом из дверей вестибюля, острые лезвия мороза резали по лицу, иней оседал на воротнике.

— Американские миллиардеры для сохранения здоровья придерживаются гимнастики дыхания, — не выдержал молчания Константин. — На счет «четыре» — вдох, на счет «четыре» — выдох. Делай, братцы, вдох с левой ноги... Сделаем, братцы, по-армейски. Не желаете, товарищ Вохминцев, изображать миллионера? Напрасно.

— Помолчи, Костька...

— Ясно. Готов слушать. Что стряслось?

— Ничего. Иди и молчи.

— Не могу! — взмолился Константин плачущим голосом и перчатку остервенело потеревил ухо. — Приятно прогуливаться весной с хорошенькой девочкой под крендель, а у меня обморожены руки и уши — нахватался сталинградских морозов, хватит! Зайдем куда-нибудь! Хоть в этот знакомый павильончик.

В закуской, кивая на все стороны знакомым, Константин бесцеремонно-вежливо растолкал стоявших и сидевших за стойками, потеснил кого-то шутя («Братцы, всем место под солнцем»), очистил край столика в углу, крикнул через головы:

— Шурочка, принимай гостей — две кружки!

Пили из толстых кружек, залитых пеной, подогретое пиво; Константин густо посыпал края кружки солью, отхлебывал, вздыхая через ноздри, улыбался от явного удовольствия.

— Ей-богу, Сережка, здесь клуб фронтовиков!

Было здесь многолюдно, тесно, накурено. Задушенная сизым дымом лампочка мутно горела под потолком. Голоса гудели, сталкивались в спертном пивном воздухе, пахло селедкой, оттаявшей в тепле одеждой, и перемешивались разговоры, смех, крики, не прекращающиеся среди серых шинелей; лишь уловить можно было недавнее, военное, знакомое: «Плацдарм на Одере...», «Под Житомиром двинули танки Манштейна...», «В сорок третьем стояли на Букринском плацдарме, через каждые пять минут играли „ванюши...“», «Бомбежка — чепуха, самое, брат, неприятное — мины...» Мужские голоса накалялись, гул становился густым, хлопали промерзшие двери, впуская морозный пар, он мешался с дымом над головами людей; из-за столпившихся перед стойкой спин появлялось игривое, румяное лицо Шурочки, звенящей стаканами.

— Клуб, — повторил Константин, подул на шапку белой пены, спросил наконец: — Что все-таки случилось? Чего оцетинился?

— Ерундовое настроение.



— Почему «ерундовое»? Может быть, угрызения совести, что морду набил вчера этому... в «Астории»?.. Плюнь! Но должен тебя предупредить: ты тактически вел себя неосторожно — на рожон лез, пер грудь, как паровоз. — Константин отпил глоток пива, покрутил пальцами в воздухе.

Сергей поморщился, расстегнул на груди шинель (здесь было душно, жарко), сдвинул назад шапку, вынул папиросу; и, прикуривая, чиркая зажигалкой, с ощущением раздражения против Константина, против этой опытной его осмотрительности сказал:

— Ну а дальше?

Константин возвел глаза к потолку.

— Мы еще не живем при коммунизме, и в наше время, как это ни горько, еще волшебным образом действуют справки и прочие свидетельства. У тебя их нет. Бумажных доказательств. Чем ты можешь козырнуть против него, Сережка? Сейчас орут: все воевали! Докажешь, что не все воевали честно? Не докажешь! Хорошо, что все хорошо кончилось. Плюнь на все это!..

— Еще ничего не кончилось, — перебил Сергей. — Меня вызывают в милицию. Завтра. Я постараюсь доказать все.

Гул голосов все нарастал, двери закуской беспрестанно хлопали, впуская и выпуская людей, пар, желтея, вздымался от порога, обволакивая лампочку.

— Не советую! Вот этого не советую! — убежденно произнес Константин. — Ни хрена не докажешь. Мы победили, война кончилась, ну кто будет разбираться в перипетиях? Тебе ответят: война — на войне убивают. Кто прав, кто виноват — разбираться поздно. Поверь, Сережка, просто я на год вернулся раньше тебя, пообтерся. Ты еще не обгорел. Этот хмырь не так прост. И на кой он тебе?

— Иногда мне хочется послать тебя подальше со всей твоей опытностью! — сказал зло Сергей. — И уж совсем мне непонятна твоя дружба с нашим милым соседом Быковым!

— Напомню: я работаю у него шофером на фабрике. Следовательно, он — мое начальство. С начальством ссориться — плевать против ветра.

— Идиотство!

Константин с грустным выражением посыпал солью на край кружки.

— Ничего не навязываю. Сказал, что думал. Знаю, знаю, — несколько ревниво проговорил он. — Если бы тебе посоветовал Витька Мукомолов, ты бы с ним согласился. Я для тебя друг второго сорта. Со штампом — «второй сорт». Так ведь? — Константин разминал на пальцах соль.

— Пошли отсюда, — сказал Сергей с неприятным и едким чувством к себе, к Константину. — Надоело.

Они вышли на улицу, изморозь мельчайшей слюдой роилась, сверкала в ночном воздухе.

— Я пришел вот по этой повестке. Мой военный билет у вас.

— Так. Вохминцев Сергей Николаевич, одна тысяча девятьсот двадцать четвертого года рождения... Капитан запаса? Так. Ну что ж... За нарушение порядка в общественном месте вы оштрафовываетесь на двадцать пять рублей.

— И только-то? За этим вы меня и вызвали?

— Вас не устраивает, гражданин Вохминцев? Та-ак! Может быть, вас устроит письмо в военкомат, в партийную организацию, где вы работаете? Произвели безобразие, скандал, избили человека — за это по статье привлекают, судят! Ваше счастье, что человек, ваш товарищ, которому вы нанесли физические увечья, не возбуждает дело. Вы это сознаете?

Майор милиции был молод, розовощек, холоден, на ранней лысине ровно и гладко начесаны волосы; сидел он, углами расставив локти на столе, отгороженном от Сергея деревянным барьером. Неприязненный голос, отчужденно-официальное лицо его не вызывали острого желания доказывать свою правоту: видимо, дежурный майор этот выполнял свои обязанности, верил одним фактам, а не словам, как верит большинство людей, и Сергей сказал сухо:

— Как раз я хотел бы суда. И не хотел бы никакого прощения со стороны этого человека.

— Так, значит? — Майор в некотором недоумении вложил пальцы меж пальцев. — Так... Не больны, гражданин? Или думаете: милиция — игрушечка? Можно говорить, что в голову лезет? Ты посмотри, Михайлов, какие фронтовики приехали! — крикнул он милиционеру, молчаливо стоявшему возле дверей. — Ему штрафа мало, ему суд подавай. Да вы понимаете, гражданин, что говорите? Отдаете отчет?

— Я понимаю, что говорю, — ответил Сергей. — Очевидно, вам кажется, что я ударил этого человека, потому что был пьян или мне просто хотелось ударить...

— Факт есть факт. Не он вас ударил. Простите, гражданин. У меня нет времени... Кажется, все ясно, — служебным тоном прервал майор и положил на барьер военный билет Сергея. — Благодарите судьбу за счастливую звезду. Этакую несерьезность наворотили и оправдываетесь. Неприлично. Вы свободны, гражданин Вохминцев. Я вас не задерживаю. И советую быть разумнее. Не советую портить репутацию офицера.

В интонации майора, в скучном туманном взгляде его появилось сожаление, усталость от этого надоевшего дела, похожего, вероятно, на десятки других дел; и Сергей уже понял это — и все стало мелким, унижительным и неприятным.

— Хотел бы вам сказать, товарищ майор, что дерутся не только по пьянке, — совсем нехотя сказал Сергей. — И тут никакая милиция, никакие штрафы не помогут!

Он вышел на улицу, зашагал по тротуару, вдыхая после кислого канцелярского запаха крепкую свежесть морозного воздуха. Звенели трамваи, и снег, и белизна солнечной мостовой, и толкотня, и пар на троллейбусных остановках, и новогодние игрушки в палатках, и маленькие пахучие елки, которыми везде бойко торговали на углах, — все было предпразднично на улицах. «Что ж, — думал он неуспокоенно, вспоминая разговор с майором. — У меня свои счета с Уваровым. Это мои личные счета! Еще ничего не кончено...»

Он сел в автобус и поехал на Шаболовку, в шоферскую школу, куда по рекомендации Константина несколько дней назад подал документы.

Когда ему сказали, что его приняли на курсы, что вечерние занятия начнутся со второго января, он не испытал радости, какой ожидал, только облегчение возникло на минуту. Но лишь вышел он из одноэтажного — в конце двора — домика школы, ощущение это утратилось, и было такое чувство, что он обманул самого себя.

Он доехал на автобусе до Серпуховки, слез и пешком пошел до Зацепы по каким-то неизвестным ему тихим переулочкам. В безветренном воздухе декабрьских сумерек падал редкий снежок, легко и щекотно скользил по лицу, остужал. Под отблеском холодного заката розовели вечерние дворы, грустно заваленные снегом до окон, за воротами виднелись тропки меж сугробов; дворники свозили на волокушах снег.

Мальчишки в глубине темнеющих переулков бегали на коньках, крича, стучали клюшками по заледенелой мостовой. Не зажигались еще огни, был тот покойный час зимнего вечера, когда далекие звонки трамваев долетают в замоскворецкие переулки как из-за тридевяти земель.

Сергей остановился на углу против вывески фотографий.

Фотографии незнакомых людей тянули его, как чужая и неразгаданная жизнь. Долго рассматривал улыбающиеся в объектив и вполоборота девичьи лица, грубоватые лица солдат, каменное рукопожатие вечной дружбы — онемело стоят, сжав друг другу руки.

Задумчивое лицо молодого капитана, рядом наклонена к его плечу завитая, в мелких колечках голова девушки, светлые брови, странно застывший взгляд. И Сергей с ощущением какой-то томительной тайны, казалось, угадывал по фотографии характеры этих людей, их судьбы... Кто они? Где они? Кого они любили или любят?

«Что же я, несчастлив? — думал он. — Не то слово — несчастлив... Работать шофером, жить покойно, тихо, жениться — счастье ли это? Вот этот капитан счастлив?»

11

— Заходи, раздевайся. Я рада, что ты пришел!

Она стала поспешно расстегивать холодные пуговицы его пахнущей зимней улицей шинели.

— Только я не одна. Ты не обращай внимания, заходи.

— Кто же у тебя? — обняв и не отпуская ее, спросил он. — Кто у тебя?

— Идем, — поторопила Нина, — в комнату. Ты меня заморозишь. Шинель повесишь там...

Она раскрыла дверь, и он шагнул через порог в теплый после холода запах чистоты, уюта и покоя, тотчас увидел в углу комнаты зеленоватое от света настольной лампы женское лицо с опущенными на щеку волосами. Она сидела на тахте, и Сергей быстро обернулся к Нине, спросил шепотом:

— Кто это?

— Сережа!.. — испуганно-сниженным голосом воскликнула Нина. — Это Таня, познакомься, пожалуйста, — уже в полный голос сказала она и стремительно подошла к женщине,

выпрямившейся на тахте. — Это Сергей!

— Мы знакомы, кажется, — сказал Сергей.

Он сразу узнал ее: белокурые волосы, выпуклый лоб, полные руки; отчетливо вспомнил ее метнувшееся в толпе, искаженное плачем лицо, скомканный платочек, которым она тогда в ресторане, всхлипывая, вытирала щеки Уварова, полулежащего на полу, вспомнил то ощущение виноватости перед ней, какое появилось у него при виде ее заплаканного лица.

— Здравствуйте, — официальным тоном произнес Сергей. — Я не хотел бы...

Она дернулась на тахте, губы ее перекошились.

— Не надо! Не надо! Не говорите, пожалуйста... Я не могу! Не могу слышать...

— Я извиняюсь не перед ним, а перед вами, — сказал Сергей, хмурясь.

— Вы... вы молчите лучше!..

Она вскочила, полная в талии и почему-то жалкая в этой полноте, и, кусая губы, кинулась к вешалке, срывая пальто, пуховый платок. Она протолкнула руки в рукава, накинула платок, оглянулась затравленно.

— Удивляюсь тебе, Нина!

И выбежала, стукнув дверью в передней.

— О господи! — со вздохом проговорила Нина и сжала ладонями виски. — Как странно все, господи!

Сергей стоял посреди комнаты, не снимая шинели.

— Что это значит? — спросил он. — Ты можешь объяснить?

Нина подняла глаза умоляюще, по лбу пошли морщинки, сейчас же щелкнула ключом в двери, сказала виновато:

— Не дуйся, слышишь?

Потом, не приближаясь к нему, подошла к зеркалу, передразнивая его, нахмурила брови и, надув щеки, сделала смешное лицо, показала язык, затем, исподлобья глядя в зеркало, сказала тихо:

— Ну посмотри... Ну иди и посмотри на себя... Какое у тебя холодное лицо! Ну подожди. Я тебе объясню. Таня — моя подруга, еще с института. Это тебе ясно?

И тут уже с улыбкой сняла с него шапку, бросила ее на полочку, после этого стянула шинель, посадила Сергея на тахту возле себя.

— Ну что тут особенного? Вообще, я не люблю объясняться, доказывать то, что ясно и не докажешь. Это напрасная трата душевных сил. Таня ушла, и все. Ну? Ясно? Да?

Он сказал:

— Я хотел спросить: Уваров тоже заходит к тебе?

— Нет! — решительно ответила она. — Почему Уваров? Мы отмечали мой приезд в Москву, Таня привела его в ресторан — так это было. И больше ничего... Ну хватит, пожалуйста! Я

ведь не задаю тебе никаких вопросов о твоих знакомых.

— Я хочу, чтобы все было ясно.

— А именно?

— Потому что просто хочу ясности.

— Какой ясности, Сережа?

— Ты понимаешь, о чем я говорю.

— Не совсем, Сережа. Неужели война делает людей жестокими?

— Нина, кто были те, в ресторане... с тобой?..

— Это были мальчики, Сережа, — сказала она протяжно, — мои знакомые по экспедиции. Геологи. Они не такие, как ты... Просто не такие. Они не воевали...

— Но ты ведь меня не знаешь.

— Я догадываюсь. А разве ты меня знаешь, Сережа?

Они помолчали.

— Ты всегда такая? — спросил он неловко. — Не представляю тебя где-нибудь в Сибири, в телогрейке. Наверно, рабочие только тем и занимались, что пялили на тебя глаза.

Она опять с улыбкой посмотрела ему в лицо.

— Ну нет! Ошибаешься! Разве можно пялить глаза вот на такую женщину? — Нина строго свела брови над переносицей, сказала притворным хрипловатым голосом: «У вас, товарищ Сидоркин, опять лоток не в порядке? Где ваши образцы? Почему не промыли?» Ну как? Интересная женщина? Не очень!

Она засмеялась, наклонясь к нему, отвела за ухо завиток каштановых волос, и он, с любопытством наблюдая за непостижимым изменением ее лица, засмеялся тоже, привлек ее за плечи, сказал:

— Услышишь твой голос — и хочется встать «смирно». Еще не хватает: «Вы что, первый день в армии, устава не знаете?» Хотел бы быть под твоей командой.

— Как иногда мы все ошибаемся! — растягивая слоги, проговорила Нина. — Нет, ты меня знаешь чуть-чуть, капельку.

— Я просто подумал: что ты любишь и что ненавидишь? Подумал — не знаю почему.

— Я ненавижу то, что и ты.

— Нина, я не имею права задавать вопросы. И этого не надо.

— Да. Я до сих пор ненавижу ночной стук в дверь, Сережа. И голос: «Откройте, почта...» Самые жуткие слова в мире.

— Почему?

— В войну мне принесли две похоронки. И обе — ночью. На отца и старшего брата. Мать умерла в Ленинграде. Это тебе понятно?

— Да.

— Что же ты еще не понимаешь во мне? — спросила Нина и, помолчав, сама ответила: — Когда вижу почталыонов, я обхожу их. Я ненавижу ночь, я боюсь войны. И то, что многие женщины еще носят телогрейки и сапоги, а я платья и туфли, — это тебе понятно? Мне не так легко жилось... И живется. Как хочется тишины, Сережа!..

— Как ты могла подумать, что я осуждаю тебя? За что? — Он обнял ее, увидел на ее плече, на сером свитере темное пятнышко грубой штопки, выговорил шепотом, задохнувшись от нежной жалости к ней: — Я не осуждаю тебя. Ты так подумала?..

Она потерлась щекой о его подбородок и молчала, закрыв глаза.

Потом он услышал ровные и отстукивающие звуки, они казались все отчетливее, громче, и Сергей невнятно понял — тикал на тумбочке будильник. Будильник шел, спокойно и четко отсчитывая секунды, как в то утро. И, на миг пронзительно ясно ощутив оглушительную тишину в комнате, Сергей подумал, что нечто важное вот придвинулось и происходит в его жизни, чего он хотел и ждал, — и, подумав об этом, почувствовал дыхание Нины на своей шее, и ослабление прозвучал ее голос:

— Но ведь тебя могли убить на войне, и ты бы никогда...

— Нет... — сказал он.

— Нет?

— Меня не могли убить на войне.

Она прижалась к нему и замерла так, глядя через его плечо на черное занавешенное окно.

— Подожди. Ох, иногда как страшно подумать...

— Но видишь, со мной ничего не случилось. Я не верил, что меня убьют.

— Как ты думаешь теперь жить, Сережа?

— Я тебе говорил — шоферская школа. Буду шофером, плохо? Мне кажется, это тебе не особенно нравится.

— Ты можешь быть и шофером, — сказала Нина. — Но я знаю, в Горнометаллургическом институте открылось подготовительное отделение. Охотно принимают фронтовиков. У меня есть знакомые в этом институте.

— Нина, я забыл таблицу умножения, пятью пять для меня сорок. Забыл все к чертям. Не усужу за партой. А что это — шахты?

— И шахты.

— Понятия не имею. В шахтах добывают уголь, так?

— Просто блестящие знания, тебя примут без экзаменов. Но я усужу, конечно, только со своей колокольни. Ты подумай. Я не могу тебе ничего советовать.

— Я сейчас не хочу об этом думать... Я просто не могу.

Он нетерпеливо притянул ее к себе, чувствуя горячую колючесть ее свитера и почему-то видя все время то пятнышко грубой штопки на плече, осторожно поцеловал ее в теплые волосы.

— Не знаю, что же это... — проговорил он неровным голосом. — Кто ты такая? Зачем я к тебе пришел? Ты это знаешь? Понятия не имею, кто ты такая. И вообще — что происходит?

— Обыкновенная и некрасивая женщина, Сережа. Восемнадцать лет уже миновало, как говорят теперь мужчины. И больше ничего.

— Ты этого, конечно, не понимаешь, и я сам не понимаю, — сказал Сергей намеренно шутливым тоном. — Но я бы все понял, если бы ты пошла за меня замуж. Пойдешь?

— Нет. — Она, смеясь, провела пальцем по его груди. — А кто ты такой?

— Кто я? Бывший командир батареи, а сейчас человек без определенных занятий. Беден. Холост. Но без памяти тянет меня к одной женщине. И сам не знаю почему. Вот и все. Кратчайшая биография. Не нужно анкеты.

Она, не смеясь уже, проговорила все-таки полусерьезно:

— Это я знаю. А дальше?

— Что ж... Значит, ты сама не знаешь, что это такое...

— А если это нельзя?

«Что я говорю? Зачем я стал говорить об этом?» — подумал он с мгновенно кольнувшей тревогой, однако преувеличенно спокойно договорил:

— Значит, ты меня не очень любишь, а?

— Сережа-а, — шепотом сказала Нина, снизу взглядывая ему в глаза. — Я тебя вот так... — И наклонилась, чуть прикоснулась губами к своей руке. — Не понял?

— Нет.

— Хорошо. Ты хочешь, я тебе скажу?... — проговорила она, легонько дернув за борт его пиджака. — Хочешь?

— Я этого хочу.

— У меня есть муж, Сергей. Геолог. Он в Казахстане. В Бет-Пак-Дале. Но я ушла...

— Муж? И ты ушла? — спросил Сергей, следя за тем, как она все распрямляла, теребила борт его пиджака.

— Не будем портить друг другу настроение. — Ее ладонь уместилась на его рукаве, погладила ласково. — Не будем думать об этом, Сережа. Разве тебе не все равно?

— Я просто этого не знал, — сказал Сергей вполголоса.

Два часа спустя он возвращался домой; он быстро шел один по улице, ночной, снежной, безмолвной, ледяными вспышками сверкал иней на карнизах, на ручках парадных; лунный свет накалял воздух синим холодом.

«Мне все равно, был у нее муж или не был и есть ли он сейчас, — думал он. — Я люблю ее. Да, я люблю ее. И больше ничего не надо... Я хочу, чтобы мне везло. Во всем везло. Как везло на войне...»

Константин увидел его на трамвайной остановке, затормозил машину и, опустив стекло, замахал ему из кабины со свистом и криком:

— Серега! Куда тебя несет? Садись! Тысячу лет тебя не видел!

— А ты куда? Привет шоферам! — Сергей залез в кабину, приятно пахнущую теплым маслом, вопросительно глянул на Константина. — Кажется, не виделись неделю? Как жизнь?

— Кой там неделю? Куда исчез? Заходил раз десять. Ася в расстроенных чувствах: дома нет. В чем дело? Женщина?

— Чувствуется служба в разведке.

— Кто она?

— Если помнишь ту, с которой я танцевал в «Астории»...

— Ох ты!.. Вздернутый носик? Неужто она? Когда представишь?

— Когда захочешь.

— Принято. Так слушай сюда, Серега. Тут в Новый год я собираю в одном интеллигентном месте теплую компанию. Дым коромыслом, милые люди. Приходи с ней. Но ты все же меня забыл, бродяга! Забыл вдрызг! Неужели мужская дружба вдребезги, когда появляется женщина?

Он со скрежетом передвинул рычаг, насупленно покусал усики; машина, набирая скорость, неслась по снежной улице, вдоль трамвайных рельсов; подсакивая, трясся, гремел кузов, на стекло сыпалась изморозь. Откинувшись на спинку сиденья, Сергей смотрел на торопливо щелкающий по стеклу «дворник». Константин бешено засигналил на перекрестке, не поворачивая головы, крикнул высоким голосом:

— А, Сережка? Вдребезги?.. Все вниз макушкой? Стойка на лысине?

— Если есть время, давай на Большую Московскую. Мне туда, — ответил Сергей. — Есть время?

— Вот ты уже и откололся! — заключил Константин, всматриваясь в дорогу через стекло. — Ты уже... А все же старых друзей не забывай. Друзей не так много. Их почти нет! Сейчас к ней?

Сергей хорошо знал: все, что он должен был и мог ответить, будет обидным для Константина; и также знал — особенно обидным могло быть то, что он бросил шоферские курсы и что этот новый толчок в его жизни исходил от Нины. Однако ему самому еще не представлялось ясным, что такое подготовительное отделение загадочного и смутно воображаемого Горнометаллургического института, о котором все время напоминала она. Это неизвестное и новое вызывало лишь беспокоящее любопытство, поэтому Сергей ответил наконец:

— Сейчас на Большой Московской ты пойдешь со мной, и мы посмотрим. Вместе, понял, Костька? Ты куда едешь, на базу?

— Что посмотрим? Что ты из меня лепишь? — Константин с сомнением хохотнул. — Куда



вместе? Я зачем?

— Останови возле бульвара. Там видно будет.

— Не понял. Я зачем?

— Стоп здесь, — нетвердо приказал Сергей. — Зайдем в одно заведение. Посмотрим.

На худощавых щеках Константина набухли желваки, но все же с видом независимости он остановил машину в конце бульвара, выжидающе спросил:

— Ну? Без поллитра не разберешься? А теперь что?

— Пошли.

Это была тихая улица Москвы с домами, обшарпанными войной. Огромное серое здание возвышалось за бульваром.

Длинные коридоры института были пустынные, солнечны, синеватый папиросный дымок плавал в плоских лучах света. Они поднялись на второй этаж, наугад пошли по коридору, мимо дверей аудиторий, одна из которых была приоткрыта, в щелку тек красиво-бархатистый размеренный голос, виднелся глянцевитый край доски, испещренный формулами, — и повеяло на Сергея чем-то далеким, давно знакомым, как четыре года назад в полузабытой школе перед экзаменами.

Константин, зажав незакуренную папиросу в зубах, заглянул в аудиторию, пожал плечами с ядовитым недоумением.

— Синусы, косинусы, тангенсы. Боже мой, убийство ночного сторожа днем! А что, из них можно сшить костюм? Ты меня не пужай, а скажи — я уважаю образованность.

— Прекрати к черту! Скажите, где здесь... подготовительное?

Навстречу по коридору бежал ныряющей походкой чрезвычайно высокий, худой, в длинном пиджаке, в помятых брюках человек, сутулясь, как все высокие люди; лицо молодое, нервное, маленькие зоркие глаза его светились строгостью.

— Направо. За угол. Вторая дверь, — ответил он, уставив подбородок на Константина. — Это что, папироса? Вы кто такой? Студент? Рано изображаете из себя горняка! Бросьте папиросу! Не курить! Зарубите на носу: здесь не фронт, не атаки, не «ура!», а Горнометаллургический институт... Шагом марш! Вторая дверь!

— В детстве, надо полагать, его мышеловкой напугали, — заметил Константин после того, как человек этот исчез в солнечных полосах нескончаемого коридора. — Куда попали, бож-же мой! В филиал зоопарка?

В небольшой комнате деканата — сдержанный говор, смех и теснота. Здесь сидели на диванах, толпились грубоватые на вид парни в шинелях, в старых, с чужого плеча пальто, в армейских кирзовых сапогах, очередью стояли у столика. За столиком — свежее взволнованное личико белокурой девушки-секретаря; тонкий ее голос звучал с выражением неуверенности и испуга:

— Товарищи, товарищи, всех декан не примет! Вы понимаете? Не примет! Я вам сказала: подготовительное отделение переполнено! Ну что вы, товарищи, все в этот институт бросились? Мало институтов? Приходите завтра с документами: аттестат или справка об образовании, биография... Ну и все остальное.

Тогда Сергей спросил излишне громко:

— Кто последний к декану?

На него оглянулись. Толстоватый, как бы весь круглый паренек в кургузой шинели с нелепо пришитым заячьим воротником подвинулся на диване, сияя широким лицом, выкрикнул приветливо:

— Я крайний. За мной, кажись, никого.

— Деревня! — сказал Константин. — А ну еще подвинься, «крайний»! Еще в институт, как паровоз, прешь! Сэло, сэло!

— А я тебе что? — забормотал круглолицый, подвигаясь к самому краю. — А ты зачем ругаешься?

И тут секретарша с вытянутым растерянным личиком уже обратилась к Константину, как за помощью:

— Я предупредила товарищей. Всех декан не примет. Сдайте документы и приходите завтра с утра. Вот вы, новенькие... Вы тоже слышали?

— Милая девушка, мы подождем, — ответил игриво Константин. — Как видите, нас — рота.

— Вперед! Пополнение прибыло! Давай вливайся в нашу роту, братцы!

Вокруг засмеялись охотно.

Высокий парень в танкистской куртке, распираемой налитыми плечами, повернулся от стола; смелые его золотистые глаза глядели прямо, дружески, в зубах пустая трубка с железной крышечкой; парень этот спросил Сергея не без любопытства:

— Из каких родов?

— Семидесятишестимиллиметровая. Дивизионка.

— Тю, земляк!

На трубке вырезана голова Мефистофеля — змеистые волосы, зловещие брови, узкая борода; трубка была трофейная; такие не раз попадались Сергею на фронте.

— С Первого Украинского, — сказал Сергей и также не без любопытства показал взглядом на трубку: — Дейтше, дейтше юбер аллес?

— Яволь. — Танкист расплылся в улыбке. — Где закончил? В каком звании?

— В Праге. Капитан.

— Ого! — Танкист одобрительно крякнул. — Нахвтал чинов! Лейтенант Подгорный, командир тридцатьчетверки. В Карпатах под Санком вам прокладывали дорогу. Як стеклышко...

— Кто кому прокладывал, не будем уточнять. Особенно в Карпатах, — сказал Сергей. — Если помнишь Санок, то не будем.

— Не будем! — блеснул глазами Подгорный.

— Земляки-и! — усмешливо протянул Константин, ревниво наблюдая за Сергеем и

танкистом. — Дело доходит до лобызания. Братцы! — в полный голос сказал он. — Кто хочет лобызаться, ко мне! Я тоже с Первого Украинского!

На него не обратили внимания; вокруг Сергея и танкиста сгрудилось несколько человек в шинелях; кто-то крикнул оживленно:

— Кто сказал с Первого Украинского, тому жменью табаку дам!

— А с Третьего Белорусского? Есть?

К ним бесцеремонно заковылял маленького роста морячок в распахнутом черном бушлате, под бушлатом на выпуклой груди разрезом фланельки открыт малиново накаленный морозом треугольник кожи. Весь этот слитый из мускулов, в огромных клешах паренек очень заметно выделялся среди армейских шинелей, и выделялся особенно своими пронзительно яркими синими глазами.

— Из Австрии есть кто? Признавайся, братва, ищу земляков! Ну кто? Или ни одного?

— Морячков как будто нема, — сказал танкист и оглянулся. — Сплошь пехота, танки и артиллерия. Сушь и земля.

— Вижу, — согласился морячок. — Ориентиров нет. — И без стеснения уставился светлыми глазами на трубку танкиста. — У тебя много таких дьяволов, лейтенант?

— Пара.

Перевалясь с ноги на ногу, морячок сунул руку в карман бушлата, на миг лицо его стало загадочным.

— Махнем, как после войны, на голубом Дунае? Есть?

— Махнем, как в Праге.

Морячок, не раздумывая, вынул блестящий никелевый портсигар-зажигалку, протянул его танкисту, танкист с веселым видом отдал ему трубку. И вдруг таким знакомым, теплым маем конца войны, парком над голубыми лужами на мостовых Праги, тишиной без выстрелов повеяло на Сергея, что он задохнулся от волнения, от того недавнего, незабытого, что не исчезало из памяти каждого.

— Накурили! Дым коромыслом! Кто курил? Это почему у вас трубка? Людмила Анатольевна, почему разрешили? Это все ко мне?

— К вам, Игорь Витальевич... Я предупреждала... Здесь просто какой-то базар образовался!

На пороге деканата стоял, почти касаясь головой притолоки, чрезвычайно высокий человек в длинном пиджаке, тот самый, с нервным молодым лицом, которого встретили в коридоре; он, приняв себя, оглядел комнату, ткнул пальцем по направлению морячка в бушлате.

— Почему дымите как труба? Вы кто — журналист, корреспондент, художник? Кто разрешил? Если пытаетесь поступить на горный факультет, запомните: курить бросать! Горняк — это жизнь под землей. Сколько вас тут? Взвод? — И, не ожидая ответа, с неуклюжей стремительностью махнул длинной рукой. — А ну заходите в кабинет. Все! До одного! Выясним отношения!

В кабинет, расплосованный лучами солнца, с высоким окном на бульвар, вошли осторожно, не шаркая сапогами, без шума расселись в кожаных креслах, на стульях вокруг письменного стола. Все озирались на стены, завешанные разрезами шахт, чертежами врубовых машин,

глядели на модель отбойного молотка на стенде — многое здесь отдаленно напоминало кабинет матчасти военного училища. Константин мигнул Сергею, смешно скривив щеку, будто зуб болел, прошептал:

— Разумеется, занятные игрушки, а я без дыма горю. Мне на базе в два часа быть, как часы. Закон. А я тут болван болваном. Ужасаюсь твоей наивности.

— Езжай, — сказал Сергей.

— Нет уж! — Константин скривил другую щеку. — Страдаю. За друга готов я хоть в воду...

Декан между тем потрогал пресс-папье на чистеньком столе, пощупал стекло, изучающе посмотрел на пальцы, есть ли пыль, после чего внушительно повернул ко всем табличку на чернильном приборе: «Курение для шахтера — вред».

— Вы что там кривитесь, товарищ в кожаной куртке? Мух отгоняете? — четко спросил он, вытянув худощавую шею с заметным кадыком. — Это что ж, по-фронтовому?

— Совершенно верно, — смиренно ответил Константин.

Засмеялись, но декан, не улыбнувшись даже, сцепил на столе руки, уперся в них подбородком, заговорил:

— Так вот. Подготовительное отделение заполнено, забито, мест нет. Нет их. И не понимаю, почему вы атаковали наш институт. Во имя чего? Профессия горного инженера тяжелейшая. Это всем понятно? Половина жизни эксплуатационников проходит под землей — каменноугольная пыль, мокрые забои, газ метан. Грохот. Все время грохот, шум конвейера, машин. Частенько — жизнь в медвежьих уголках. За тридевять земель. И все время опасность, риск — бывают завалы и подземные пожары. Есть из вас такие, которые хотят рисковать жизнью после войны? Есть? Молчите? Так вот...

Декан отнял руки от подбородка, торопливыми щелчками сбил пылинки мела с бортов пиджака, продолжал тем же тоном:

— Так вот. Другое дело — бухгалтер. Отработал восемь часов — портфель под мышку, а дома жена, горячие щи и не потрескивающая кровля, а крыша над головой. Хочешь — жену под руку и в кино, хочешь — валяйся на диване с газеткой, слушай радио. Заманчиво? Весьма! — Декан одернул галстук, рывком привалился грудью к столу. — А куда рветесь вы? Ни сна, ни покоя! Только насел на щи, тут тебе звонок: бросай щи, беги в шахту — конвейер остановился. Только жену собрался поцеловать, ан нет — стук в дверь, телефонные звонки, паника: завал! Ну как, радостно? Оптимистично? Нравится? Вот вы, например, товарищ в кожаной куртке, что вас манит именно в этот институт, что греет? Какое солнышко?

Константин вздохнул, заложил ногу за ногу, рассматривая кончик покачивающегося сапога, невинно поинтересовался:

— Меня лично, товарищ декан?

— Вас лично. Именно вас. Меня зовут Игорь Витальевич. Фамилия Морозов. Вот так вот.

— Очень приятно, Игорь Витальевич, — вежливо склонил голову Константин. — Моя фамилия Корабельников. Меня лично ничто не манит.

— Не манит? Вас? Лично? Не манит? — переспросил Морозов и стремительно выкинул свою длинную руку в сторону двери: — Тогда прошу вас выйти вон немедленно! И взять у секретаря документы. Если вы их сдали!

— Спасибо. Но я не сдал документы. — Константин воспитанно и невозмутимо поклонился, шепнул Сергею на ухо: — Веселенькое дело... Я все же подожду тебя. Пропaday база!.. Прошу прощения, Игорь Витальевич. Меня ждут производственные показатели.

И не спеша вышел, поскрипывая кожаной курткой, самоуверенно покачивая широкой спиной.

Танкист, сидевший справа, взглянул на Сергея — в золотистых зрачках заиграл отчаянный огонек — коленом толкнул морячка. Морячок полировал рукавом бушлата трубку: открыл крышечку, щелкнул его и снова закрыл раздумчиво. Парнишка в кургузой шинели, заметной нелепым заячьим воротником — белесое круглое лицо было влажно, — глядел на декана с испуганным и уважительным заискиванием. И в эту минуту Сергей понял, что все они пришли сюда с такой же неясностью и неопределенностью, как и он сам.

А Морозов говорил, кулаком отстукивая по краю стола:

— Смею заметить, профессию выбирают, как жену, один раз. И на всю жизнь. В вашем возрасте это следует зарубить на носу. Вариант случайности отпадает. Добавлю к этому: открываются подготовительные отделения в Строительном и Авиационно-технологическом институтах. Тем более, повторяю, что подготовительное отделение нашего института переполнено. И тем более что на ваших лицах я вижу вариант случайности. С удовольствием выслушаю вопросы. На вашем лице я вижу вопрос, товарищ в бушлате. Ваша фамилия?

— Косов. Григорий. Разрешите вопрос?

Морячок, оттолкнувшись от кресла, прочно расставил ноги — носки ботинок накрывали огромные клеши, — и когда заговорил, казалось, напряглась грудь под расстегнутым бушлатом, синие глаза вспыхнули усмешливой недобротой:

— Конечно, я извиняюсь, но вы воевали, товарищ декан?

— Мое имя-отчество Игорь Витальевич. Декан не военное звание. Я воевал две недели под Смоленском. Остальное время воевал с породой, с водой, с углем. В Караганде. Вопрос неисчерпывающ. Но добавлю: в этой войне, Косов, воевали все, и я не разрешу прикрываться шинелью, как броней. Так-то. И никаких поблажек. И никакого размахивания фронтовыми заслугами. Для меня все равны. Все!

— Значит, все равны? А вас не хоронили, товарищ декан, в день вашего рождения? — низким баском спросил Косов. — Ваша мать не получала на вас похоронку? И после войны грузчиком и носильщиком вы не работали?

— Конкретнее! — оборвал Морозов. — Вас устраивает профессия горняка, уважаемый товарищ Косов?

— Конкретнее, при всем к вам уважении я могу трахнуть кулаком по столу! — договорил Косов и сел плотно на свое место, откинул борт бушлата.

— Благодарю вас. Вы можете идти, Косов, — сказал Морозов.

Косов пососал трубку, ответил независимо:

— Я посижу.

— Ну что ж. — Морозов обежал взглядом комнату. — Все разделяют точку зрения Косова? Все будут стучать кулаком по столу? Все будут требовать? И звенеть медалями? Может быть, кто-нибудь скажет о «тыловых крысах», о «тыловых бюрократах»? Вот вы, что думаете вы? Вот вы, в офицерской шинели. Ну, ну! Давайте!

Было декану лет за тридцать, на бледном лице морщинки утомленности; его колючая манера говорить и неприязненно отталкивала, и в то же время притягивала: все менял взгляд — подчас иронически-умный, живой, подчас усталый, как у человека, хронически страдающего бессонницей. И Сергей, увидев жест Морозова в свою сторону, ответил:

— Наши медали здесь ни при чем. Хотя мы можем требовать.

— Вы тоже будете требовать?

— Я — нет, — сказал Сергей уже спокойнее. — Если у вас в институте все переполнено, зачем сюда рваться? Нет смысла. Вы сказали: есть другие подготовительные отделения. Мне все равно.

Он не лгал ни самому себе, ни Морозову, но, сказав это, заметил повернувшиеся к нему удивленные лица и вдруг почувствовал, что будто разрушил сейчас что-то.

Морозов быстро спросил:

— Зачем же вы пришли сюда? Ваша фамилия?

— Пришел из любопытства. Узнать. Моя фамилия Вохминцев.

— Адрес подготовительного отделения Авиационно-технологического института: Москва, Земляной вал. Запомнили? Впрочем, разговор идет к концу. Можете посидеть, Вохминцев. Много проясняется. Так. Прекрасно. Великолепно, — заговорил он размышляюще. — Так, прекрасно, — повторил он, барабанил пальцами по столу. — Просто великолепно.

— Я говорил только о себе, — сказал Сергей.

В комнате — молчание. Потоки солнца лились в окна, и белым потоком сыпались пылинки, струились в световых столбах над плечами Морозова, а пальцы его все барабанили по краю стола — всем слышен был их стук.

— Нет, нет, не слушайте их! — раздался из глубины комнаты похожий на петушиный вскрик голос, и вскочил в углу парнишка с заячьим воротником на шинели, и, вскочив, ладонью махнул по сразу вспотевшему носу, растерянно вытаращил глаза. — Это что же? Все тут говорят?.. Героев из себя ставят! А сами небось... Кулаками, ишь, будут трахать! Знаю таких! А я из Калуги... Пусть они не хотят. А я хочу! У меня отец на шахте...

И, оборвав бестолковую свою речь, парнишка утер влажные округлые щеки, исчез в углу, представился оттуда:

— Морковин моя фамилия.

— А я бы с тобой, мальчик, в разведку вдвоем не пошел! — внятно, однако не вынимая трубку изо рта, произнес Косов.

— Та у него ж мыслей гора, — сказал Подгорный.

— А я — с тобой! Пусть я не воевал! — по-петушиному колюче выкрикнул из угла Морковин.

— Вы здесь не командуйте! Думаете, только вы воевали!

Морозов краем пластмассового пресс-папье звонко постучал по железному стаканчику для карандашей. С лица его сошла усталость, оно оживилось.

— Так! Все ясно. Все хотят курить? Озлобились, не куривши? Вынимайте папиросы. С вами бросишь курить — голова распухнет! А ну, у кого табак?

Он неуклюже выдвинулся из-за стола, вытянув длинную шею, выискивая, у кого бы взять папиросу, тут же перевернул объявляющую перед чернильным прибором — вместо «Курение для шахтера — вред» появилась надпись «Можно курить», — достал у кого-то из пачки дешевую папиросу, веселея, сказал:

— Гвоздики курите? Небогато, но зло!.. Можете сдавать документы. Все. До свидания. Ничего не обещаю. До свидания. Зайдите послезавтра.

И, закашлявшись, с отвращением смял папиросу, бросил ее в чистейшую пепельницу, потом ладонью, как веером, разгоняя дым,скомандовал:

— А ну курить в коридор! Марш!

Сергей вышел. В приемной Константин, уже по-хозяйски разместившись на диване перед столом секретарши, поигрывая линейкой, таинственно рассказывал ей что-то (видимо, «выдавал светский анекдот»). От улыбки полукруглые бровки секретарши напоззли на лоб; но тотчас, заметив выходящих из кабинета, она сделала строгое лицо, сказала Константину:

— Оставьте меня смешить. — И отобрала у него линейку. — Вы меня заговорили.

— Я вас оставляю и приветствую, Людочка! До встречи!

Константин запахнул куртку, победно щелкнул «молнией».

«Очередной флирт», — подумал Сергей и сказал:

— Поехали, Костька. Все.

Когда вновь прошли пустые, пахнущие табачным перегаром институтские коридоры и вышли из подъезда на студеной декабрьский воздух, Константин сплюнул, хохотнул:

— Ну цирк! И что ж ты решил?

— Это сложное дело.

— А именно?

— Посмотрим.

— Запутал ты все, Сережка, — сказал Константин, залезая в кабину, — то, се, пятое, десятое. Сам запутался и меня вдрызг запутал. Куда тебя прет? Что тебе, шофером денег не хватило бы?

— Хватит убеждать! Как-нибудь сам разберусь.

Замолчали. Константин включил мотор.

13

— Тебя к телефону. Женский голос. Это та твоя... фифочка.

— Нужно говорить сразу, а не расспрашивать, кто и что.

— Возьми трубку, а то брошу.

Ася недовольно передернула плечами, видя, как он стал к ней спиной, тихо сказал в трубку «да»; и в спине его, в чуть оттопыренных светлых волосах на затылке и в голосе было что-то настораживающее, новое, чужое, незнакомое ей, будто Сергей обманывал всех и обманывать заставлял его этот мягкий голос в трубке, ласково попросивший: «Пожалуйста, Сергея».

— Его спрашивает женщина, радуйтесь! — Ася закрыла дверь в другую комнату, сердито оправила джемпер. — Вы ее знаете?

— Асенька, посидите со мной. Несмотря на каникулы, я вам устрою новогодние экзамены, есть? — сказал Константин, небрежно листая толстый учебник по литературе. — А ну, Евгений Онегин — продукт какой эпохи?

Ася, точно не замечая Константина, переступила через коробку с игрушками, подумала, вытащила огромный серебряный шар, отразивший на блестящей поверхности ее лицо, и держала шар на весу двумя пальцами, ища на елке место.

— Какой еще экзамен? — спросила она.

Был праздничный вечер, сильно пахло в комнате хвоей — свежим негородским духом леса, наступающего Нового года.

Константин сидел на диване, костюм тщательно выглажен; новый галстук, тупые полуботинки, носки в полоску — весь модный, выбритый, пахнущий одеколоном. Положив ногу на ногу и раскрыв на колене учебник, он взглядывал на Асю загадочно.

— Значит, продукт какой эпохи? А, Ася Вохминцева? Продукт кр-репостничества... Не знаете? Садитесь, Ася, вкатываю двойку в дневник за нерадивость.

В этот новогодний вечер был он в отличном расположении духа, говорил шутливо, с игривой веселостью, и Ася обернулась от елки, разглядывая его непонимающими глазами.

— Сами фронтовики, а разоделись, галстуки заграничные, надушились одеколоном... Евгении Онегины какие нашлись — рестораны, компании, дома не бываете! Куда вы идете встречать Новый год? И откуда у вас деньги? Говорят, вы их очень любите? Халтурите на машине? У вас какие-то делишки с Быковым? — строго спросила она. — Это правда?

Константин отложил учебник, несколько удивленный, хмыкнул.

— Ненавижу деньги, Ася... Но без денег — пропасть. Галстук действительно заграничный. Куплен на Тишинке. Ничего особенного, обыкновенная тряпка, украшающая мою довольно некрасивую рожу. Вообще, Ася, разве вы не знаете, почему некоторых фронтовиков потянуло к костюмам и галстукам?

— Захотелось необыкновенного, захотелось форсить, вот что. — Ася с настороженностью покосилась на дверь, из-за которой доносился голос Сергея. — И он разрядился, без конца носит новый костюм. Это вы влияете?

— О, Ася, нет! — Константин покачал головой. — На Сергея не повлияешь, вы ошибаетесь. Просто фронтовиков потянуло к тряпкам для придания огрубевшим мордасам интеллигентности, которую они потеряли за четыре года. Но хорошие ребята, понюхавшие порошу, знают недорогую цену этим тряпкам. Не уверены? Ах, Асенька, вы другое поколение. Мы — отцы, вы — дети. Вечный конфликт. Вы в восьмом классе учитесь?

— Вы всегда шутите, всегда цинично говорите! И распускаете хвост, как павлин! —



заговорила Ася быстро. — Вон усики какие-то противные отпустили, для цинизма, да? Фу, противно смотреть, и бакенбарды косые — все как у парикмахера! Это все вы сделали, чтобы легче быть наглым, да?

Он на мгновение встретился с ее огромными, нелгущими, черными, чуть раскосыми глазами, подпер подбородок, некоторое время грустным спрашивающим взглядом смотрел на нее, наконец сказал:

— За что же вы меня так ненавидите, Асенька? Вы меня очень ненавидите? За что?

Она, не отвечая, с независимой строгостью ходила вокруг елки, все еще держа двумя пальцами блестящий шар, поднималась на носках, напрягая ноги, решительно отводила ветви локтем, угловатая, неловкая в очень широком зеленом джемпере. И Константин, вздохнув, поднялся с дивана, подавляя в себе растерянность оттого, что она молчала, затем дружески заулыбался, желая смягчить ее непонятную неприязнь к нему.

— Давайте я повешу, Асенька, у меня длиннущие руки. И улыбнитесь, пожалуйста. Девочкам не идет хмуриться, ей-богу!

— Уйдите! Я вас не просила!

Она отдернула руку, спрятала шар за спину, и Константин, словно натолкнувшись на что-то острое а жесткое, помолчал в озадаченности, опять вздохнул.

— Что ж, Асенька... У вас такое лицо, что вы можете меня побить. Ну что я должен сделать, чтобы заслужить ваше расположение?

— Как вам не стыдно! Не думайте, что я девочка, ничего не понимаю! — торопливо заговорила она. — Мы получаем хлеб по карточкам. Все получают, а вы мандарины приносите! Откуда они у вас? Быков дал? Я видела... видела, Быков утром мандарины на кухне мыл! Вы у него взяли?

Константин посмотрел на маленький чемодан, на мандарины возле елки — мандарины эти он принес вместо новогоднего подарка — и развел руками, блеснули запонки на манжетах.

— Ася, у меня достаточно денег, чтобы купить на Тишинке мандарины. За что вы меня упрекаете?

Она перебила его:

— Тогда откуда у вас деньги? Я знаю, как плохо живут люди, а у вас откуда? Значит, вы нечестно живете! Разве шофер столько денег получает? Нет, нет, я знаю! Если бы папа узнал, что вы принесли эти ужасные мандарины! Он бы вас выгнал!..

Все лицо ее источало брезгливость, презрительно опустили края рта; она мотнула косой по спине и, вешая шар на елку, договорила через плечо стеклянным голосом:

— Не ходите к нам больше! Поняли?

— А-ася, — жалобно сказал Константин. — Зачем резкости?

Нарочито громко вздыхая, он стоял позади нее и, пытаясь нащупать путь примирения, обескураженный ее злой прямоотой, не знал, что говорить с этой девочкой.

Когда он услышал голос вошедшего в комнату Сергея: «Н-да, черт побери!» — и увидел, как тот рассеянно, хмуро зачем-то похлопал себя по карманам, Константин вторично попробовал растопить ледок неприязни, повеявшей от Аси, засмеялся:

— Твой разговор по телефону напоминал доклад. Ася, его часто рвут и терзают по телефону?  
— спросил он, снова обращаясь к Асе, еще не в силах преодолеть инерцию трудного разговора с ней, и тут же понял — говорить этого не стоило.

— Ася, выйди в другую комнату, — сухим тоном приказал Сергей. — Ну что ты стоишь? Выйди. У нас мужской разговор, — повторил он резче, и Константин заметил, как при каждом слове Сергея замирала худенькая, в широком джемпере спина не отвечавшей ему Аси, как все ниже наклонялась ее тонкая шея.

— Давай мы оба выйдем, погугарим в коридоре, — миролюбиво предложил Константин. — Не будем мешать.

И вихрем мимо него мелькнул зеленый джемпер Аси — подбородок прижат к груди, глаза опущены, — и дверь в другую комнату хлопнула, потом донесся ее непримиримый голос:

— Папа сказал, чтобы ты был сегодня дома, а не в компании с Константином! Понятно тебе?

Они переглянулись.

Слегка пожав плечами, Сергей в новой белоснежной сорочке, с новым галстуком, съехавшим набок, прошелся по комнате, сказал тем же резковатым тоном:

— Все не так, как задумано! Едем через полтора часа к Нине. Она не может приехать. Потом, кто-то там хочет видеть меня. Люди, в чьих руках моя судьба. Понял? Это даже интересно! — Сергей заложил руки в карманы, круто повернулся на каблуках к Константину. — Ну? Ясно? Звони в свою компанию, скажи — не сможем, не будем. Поедем к Нине. Ну что задумался? Давай к телефону!

— Решил, Серега, за меня? Как в армии?

— А что тут решать!

— Не считаешь ли ты, Серега, меня за мумию? — поинтересовался Константин. — Спросил бы, куда моя душа тянет — в ту компанию или в эту? Или эгоизм разъяел уже и твою душу? А, Серега?

— К черту, еще будем разводить нежности! Решай по-мужски: туда или сюда?

— Сюда. Конечно, сюда. — Константин с заалевшими скулами пощипал усики. — Поедем. Только вот хлопцев обидим. Хорошие ребята собираются на Метростроевской. Ладно. Снимаю предложение. Согласен к Нине.

— Другое дело, — сказал Сергей. — Звони!

Когда на Ордынке вышли из троллейбуса и, как бы освобожденные, вырвались из тесноты, запаха морозных пальто, из толчеи новогодних разговоров, из окружения уже оживленных и красных лиц, вся улица была в плывущем движении снегопада.

На троллейбусной остановке свежая пороша была вытоптана — здесь чернела длинная очередь, вспыхивали огоньки папирос; компания молодых людей с патефоном, будто завернутым в белый чехол, весело топталась под фонарем: наперебой острили, хохотали. Был канун 1946 года. И везде — в скользящих под снегопадом огнях троллейбуса, в окнах домов, в красновато-зеленоватом мерцании зажженных елок — была особая предновогодняя чистота, легкость, ожидание. Это чувствовалось и в запахе холода, и в фигурах редких прохожих, которые бежали навстречу, подняв воротники, в побеленных шапках, все несли авоськи со свертками, с торчащими из газетных кульков бутылками полученного по карточкам вина — и почему-то хотелось верить в долгие дни этой праздничной возбужденности и

доброты.

— «Мне-е в холо-одно-ой земля-нке-е тепло-о», — затянул Константин глубоким басом.

— «От твоей негасимо-ой любви-и...» — подхватил Сергей.

Огромные окна аптеки на углу были пустынно-желтыми; снежные бугры перед подъездами темнели следами.

Переходили улицу: около тротуара завиднелась какая-то изгородь, сплошь забитая снегом, мутно блестел красный фонарь на ней. Фигура, укутанная в тулуп, в женском, намотанном на голове платке двигалась возле фонаря, лопатой расчищала горбатый навал сугроба, наметаемого к изгороди: видимо, замерзли водопроводные трубы, и в эту новогоднюю ночь шли тут работы.

— С Новым годом, мамаша! — сказал Сергей, шутливо козырнув с чувством освобожденной доброты ко всем.

— Какая я т-те, к шуту, мамаша? — густо прохрипела фигура, закутанная в тулуп, выпрямилась, мужское лицо недовольно глядело из-под платка. — Глаза разуй, поллитру хватил?

— А платок, платок зачем? — захохотал Константин. — У жены напрокат взял? Тебя тут в упор в бинокль не различишь!

— Ладно, ладно! — обиженно загудел тулуп. — Давай дуй, справляй! К девкам небось бежите? Чего хохочете-то, ровно двугривенный нашли? — И, сплюнув себе под валенки, с сердцем метнул облако снега в сторону тротуара, под длинные полосы электрического света, разлитые из мерзлых окон.

Оба снова засмеялись, овеянные на тротуаре колючей снежной пылью, и Константин, с улыбкой удовольствия стряхнув налипший пласт на рукава кожанки, посмотрел на часы.

— «Уж полночь близится, а Германа...» — И, ударив Сергея по плечу, фальшиво пропел; — Мы рано премся! Не люблю приходить до разгара!

Когда через темную арку ворот, дующую сквозным холодом, вошли в маленький двор и остановились под шумевшими на ветру липами, когда Сергей нашел над дымящимися крышами сараев ярко-красное окно в стареньком трехэтажном домике Нины, он с внезапной остротой почувствовал сладкое, тревожное и горькое давление в горле, как в то тихое утро после проведенной ночи у Нины, когда, проснувшись в ее комнате, он увидел четкие крестики вороньих следов на розовой крыше сарая. И то, что Константин вошел в этот обычный замоскворецкий дворик лишь с некоторой заинтересованностью гостя, не зная того, что помнил и ощущал сейчас Сергей, буднично отдаляло его и принижало что-то в нем.

— Куда идти? Какой этаж? Однако твоя Ниночка живет не в хоромах... — Константин, задрав голову, прижмурясь от снега, летящего ему в глаза, оглядывал горевшие во дворике окна. — Не вижу карет и швейцара у подъезда.

И Сергей ответил:

— За мной! Не упади на лестнице, наступив на кошку. Лифта не будет!

По полутемной лестнице поднялись на второй этаж, позвонили и, стоя в ожидании под тусклой лампочкой на площадке, услышали из-за обитой клеенкой двери смешанное гудение голосов, смех, потом возглас: «Ниночка, звонят!» — и затем побежал к двери перестук каблучков вместе со знакомым голосом:

— Сейчас открою!

Щелчок замка, свет неестественно яркой передней, из квартиры на лестничную площадку вырвались звуки патефона, в проеме двери вырисовывались узкие плечи Нины.

— Вы просто молодцы!

Весело улыбаясь, она воскликнула: «Быстрее, быстрее!..» — и втащила Сергея в переднюю, и уже в передней, заставленной галошами, женскими ботами, заваленной пальто, он заметил в открытую дверь за ее спиной незнакомые ему мужские и женские лица и, оглушенный хаосом смешанных голосов, на какое-то мгновение почувствовал растерянность оттого, что в этой комнате с ее обычной зимней тишиной было нечто непривычное и новое. И он, пересиливая себя, улыбнулся Нине.

— Ну раздевайтесь, быстро! Хотя есть время... Сами знаете, мужчины не умеют терпеть, когда стоит вино на столе! Быстро, быстро! — Она засмеялась, протянула Константину руку.

— Мы еще незнакомы, Нина. Я, кажется, чуть-чуть вас знаю со слов Сергея...

— Костя... Константин. Я тоже чуть-чуть, — попав в луч ее взгляда, произнес Константин, бережно сжал ее пальцы и тотчас вынул из карманов две бутылки вина, поставил их на тумбочку, меж валявшихся кучей мужских шапок, договорил шутливо-галантно: — Прошу вас, Нина, без ненужных слов. Живем в тяжелое время карточек, лимитов и прочее... А кажется, — он моргнул на дверь, — мужчин здесь хватит. Простите, вы на меня не сердитесь?

— Нет, нет, что вы! — воскликнула Нина. — Хорошо, идемте. Я вас сейчас познакомлю со всеми.

— Только ни с кем нас не знакомь, — остановил ее Сергей. — Мы сами познакомимся.

Их встретили оживленным гулом, обрадованными возгласами полушутливых приветствий, как встречают даже в незнакомой компании новых гостей; в плавающем папиросном дыму лица повернулись к ним; совсем молоденький паренек в очках, как-то неудобно сидя у края стола, неизвестно зачем зааплодировал, глядя на Нину, заорал ожесточенно:

— Горько!

И в полутени абажура пара, топтавшаяся в углу комнаты под звуки патефона, обернулась с любопытством; и кто-то приподнялся с дивана, помахал им в знак приветствия. Стоя среди говора, движения, шума, Сергей мгновенно понял, что их ждали здесь, в этой, видимо, давно знавшей друг друга компании; и он, неприятно оглушенный, скованный и шумом, и многолюдством, не очень ловко представился всем сразу вместе с Константином:

— Сергей.

— Костя, он же Константин.

И тут же Нина, встав между ними, спросила: «Все познакомились?» — после чего взяла обоих под руки, подвела к столу, поворачивая голову то к одному, то к другому, сказала ласково:

— Мы сядем здесь. Я — посредине. Будете за мной ухаживать оба. — И добавила шепотом: — Видите, я уже многих посадила за стол: негде танцевать. Пусть сидят. Я сейчас. Садитесь! — Она посадила их и, улыбаясь, скользнула глазами по толкотне в комнате. — Товарищи геологи и горняки, прошу всех к столу! Мальчики, посмотрите на часы. Свиридов, оставьте патефон и включите радио!

Патефон захлебнулся и смолк, перестала шипеть пластинка. Потом загремели стулья, подвигаемые к столу, послышались со всех сторон возгласы:

— Пора, пора, терпежу нет! Включить радио!

И сейчас же за столом стало теснее, заколыхались незнакомые лица, девушки со смехом стали разбирать разномастные, собранные, по-видимому, у всех соседней тарелки, парни с бывалым видом пьющих людей взялись за бутылки, изучающе рассматривая этикетки; кто-то потребовал рокочущим басом:

— Штопор мне, Ниночка, штопор! Дайте мне орудие производства!

— В углу! Сдерживайте Володьку и отберите у него селедку! Сожрет все в новогоднем восторге! — крикнули в конце стола.

Возникло то оживление, когда садятся за стол, и прежней растерянности, появившейся вначале у Сергея при виде этой толчеи незнакомых людей, уже, казалось, не было. Он закурил, поискал глазами пепельницу и не нашел ее рядом, но тогда сосед справа, паренек в очках, некстати заоравший давеча «горько», пододвинул к нему чистое блюдечко, сказал с нетрезвой вескостью:

— Сойдет! В этой компании сойдет, верно, Сергей?

Был он навеселе — похоже, выпил перед тем, как идти сюда, — и был пьян смешно, как-то неряшливо, очки странно увеличивали его по-мальчишески косящие глаза, и лицо, худое, остроносое, имело обалделое выражение.

— Я вас знаю и понимаю! — сказал он с категоричной хмельной прямоотой. — Огонь, дым, смерть... и студенческая скамья, карточки и профессора в пальто на кафедре. Поколение, выросшее на войне, и поколение, выросшее в тылу. Вы воевали, мы учились. Два разных поколения, хотя разница в годах... с воробьиный нос. Вы презираете наше поколение за то, что оно не воевало?

— Пожалуй, нет, — сказал Сергей. — А к чему этот вопрос?

Локоть паренька, как по льду, оскальзывался на краю стола, стекла его очков ядовито сверкали, и Сергей заинтересованно глядел на него.

— Бросьте! — Паренек в очках взъерошился, хлопнул несильным кулачком по столу. — Поколение, испытавшее дыхание смерти, не может быть объективным к тем, кто не воевал! А я не воевал!

— И что же?

— Откровенность за откровенность. Отвечайте мне!

— Только на равных началах. Вы уже громите стол кулаком. Равенства нет, — ответил Сергей. — Вы меня запугиваете.

Взрыв смеха раздался за дальним концом стола — разговор, вероятно, был слышен там. И, удивленный вниманием к себе, Сергей поднял голову и не сразу увидел в полутени абажура, среди молодых возбужденных и смеющихся лиц, чье-то очень знакомое лицо — оно, казалось, ободряло и кивало ему. И рядом было женское лицо, которое искоса смотрело в направлении Сергея, кривилось вымученной гримасой.

«Уваров?.. Он здесь?» — мелькнуло у Сергея, и его словно обдало горячим парным воздухом. Было что-то противоестественное в том, что, войдя в эту комнату, он в первую минуту не заметил их — Уварова и его девушку, кажется, ее звали Таня... Но вдвойне большая противоестественность была в том, что, зная друг о друге то, чего не знали другие, они сидели за одним столом, и Уваров, как будто между ними ничего не было, даже ободряя,

кивал ему сейчас, а он, нахмуясь, еще не знал, что надо было ответить и делать на это участие.

— Тиш-ше!

— Радио, радио включите!

— Петька, поставь бутылку, кто открывает вилкой?

— Ша, пижоны, как говорят в Одессе!

Крики эти, смех, толчея в комнате уже проходили мимо, не касались сознания Сергея. Он, соображая, что ему делать, видел, как Уваров ножом, с настойчивой требовательностью стучал по бутылке. Он устанавливал порядок на своем конце стола, и две девушки, сидя напротив Уварова, что-то весело говорили ему через стол, а он отрицательно качал головой.

«Что это? Зачем это? Как он здесь?.. — спрашивал себя Сергей. — Его знают здесь?» — соображал он, ища решения, и тут же услышал удивленный шепот Константина над ухом:

— Ты ничего не видишь? Куда мы попали, маэстро? Ты видишь того хмыря, ресторанного? Твой фронтовой дружок? Что происходит?..

— Сиди и молчи, Костя, посмотрим, что будет дальше, — вполголоса ответил Сергей.

— Так что ж вы замолчали? — просочился сбоку из папиросного дыма нетерпеливо задиристый тенорок, и придвинулось к Сергею ядовитое сверканье очков.

— Мы разве с вами не дспорили? — плохо вникая в смысл своих слов, ответил Сергей. — Кажется, все ясно.

В это время прозвучал за спиной жестковатый голос:

— Прошу прощения, разрешите с вами лично познакомиться?

Сергей обернулся: позади него стоял невысокий старший лейтенант средних лет, лицо сухое, болезненно желтое, с глубоко впалыми щеками. Новый китель аккуратно застегнут на все пуговицы, свежий подворотничок педантично чист, темные цепкие глаза глядели в упор; левой рукой он опирался на костылек.

— Свиридов. Рад познакомиться с фронтовиком. Тем более — со своим будущим студентом.

— Не понимаю. — Сергей почувствовал, как плотно и сильно сжал его руку Свиридов, и вместе с тем, слыша смутный шум за столом, там, где сидел Уваров, спросил: — Но почему «студентом»?

Губы Свиридова краями раздвинулись — улыбался он неумело, некрасиво, — и, выговаривая слова прочно, округляя их, он сказал:

— Вы подавали документы в Горнометаллургический институт и разговаривали с доцентом Морозовым. Вчера списки утверждались. Я присутствовал от партбюро и отстаивал фронтовиков. Я преподаю в институте военное дело. Вас отстояли. Поздравляю. Списки сегодня утром вывешены.

— Отстояли? Меня? От кого отстояли?

Свиридов снова улыбнулся уголками губ, взгляд был немигающ, внимателен, голос, отделенный от улыбки, звучал по-прежнему увесисто:

— Это неважно сейчас.

— Что ж... Спасибо, если отстояли, — сказал Сергей.

И в ту же минуту, когда он сел, чья-то рука мягко легла сзади на его плечо, — Нина наклонилась над ним и, заглядывая ему в глаза, сказала тихонько:

— С тобой хочет поговорить один человек. Иди сюда, пересядь на тахту. Он хочет... Здесь никто не будет мешать.

— Кто он?

— Узнаешь...

Сергей пересел на тахту с неприятным чувством от ожидания какого-то нового знакомства — не хотелось сейчас отвечать кому-то на вопросы или спрашивать, желая показаться вежливым, приятным человеком, как это надо было делать в гостях.

— Здорово, Сергей! Очень рад тебя встретить здесь!

Этот знакомый рокочущий басок будто толкнул Сергея. И, еще не веря, увидел: рядом опустился на тахту Уваров в очень просторном клетчатом, с толстыми плечами пиджаке, синего цвета галстук выделялся на новой полосатой сорочке, на тесном воротничке, сжимавшем крепкую шею.

Сергей быстро взглянул на неопределенно улыбающиеся губы Нины, на излишне веселое лицо Уварова и, криво усмехнувшись, выдавил:

— Ну?

Уваров, наморщив брови, бодро заговорил примирительным тоном:

— Ну как, Сережа? Будем физиономию друг другу бить или брататься? Ну... здорово, что ли? Ниночка, вы можете нас не знакомить. Мы знакомы. Верно?

Он со скрытым напряжением и нарочитой уверенностью засмеялся, а Сергей все смотрел в его лицо, как бы отыскивая следы после той встречи в ресторане, вспомнил его вскрик; «Он изуродовал меня!» — поморщился, ответил сдержанно:

— Однажды я тебе сказал... я не люблю братских могил. Это, наверно, ты помнишь!

— Так, — Уваров вроде бы в раздумье потер лоб длинными пальцами; вдруг, обращаясь к Нине, проговорил: — Мира не получается. Что ж будем делать? Может быть, кому-нибудь из нас нужно умереть, чтобы другому было свободнее? Остроумнее не придумаешь!

Нина взяла Сергея за локоть, кивая ему просительно, и затем взяла за локоть пожавшего плечами Уварова, легонько толкнула их друг к другу, прошептала обоим:

— Ну, мир? Перемирие? Сидите.

— Я готов, — принужденно сказал Уваров. — Но перемирие может состояться тогда, когда его хотят обе стороны.

— Он прав, — ответил Сергей, в то же время думая: «Мелодрама! Чем кончится эта мелодрама? Зачем он хочет поговорить со мной? И зачем вмешивается Нина?..» Он договорил: — Братание вряд ли у нас может получиться.

— Нет, нет, только мир, — уверительно повторила Нина. — Мир, мир. Прошу вас обоих,

Сережа.

Уваров расстегнул пиджак, удобнее развалился на тахте, полное лицо его выражало добродушную обезоруженность.

— Боюсь наболтать банальщины, Ниночка, но один в поле не воин.

Сильный, голубоглазый, в своем клетчатом, сшитом, видимо, в Германии костюме, Уваров бесцеремонно начал разглядывать полочки сбоку тахты, стал трогать фигурки тунгусских богов, образцы кварца, говоря своим рокошующим баском:

— Геологи, в особенности женщины, — удивительные люди. Стоит им хотя бы на полгода обосноваться в городе, как окружают себя тысячами вещей. Это что же — тяга к уюту? А, Ниночка? Или — ха-ха! — геологическое мещанство? Хм, что это за сопливый слон? Не положено. Мещанство. На партийное собрание вас.

— Я беспартийная, Аркадий.

— На суд общественности вас. Экую настольную лампу в комиссионном оторвали! Мещанство первой марки!.. Да, да, Ниночка! Верно, Сергей? — обратился он к Сергею дружелюбно и просто, как к близкому знакомому, от его манеры гладко говорить повеяло чем-то новым. Этот Уваров не был похож на того, фронтового Уварова, который три месяца командовал батареей и которого он встретил в ресторане недавно.

Широкая фигура Уварова в просторном немецком костюме раздражающе лезла в глаза, и какая-то непонятная сила сдерживала Сергея, заставляла сидеть, наблюдать за ним с особым едким интересом. «Нет, в ресторане он был другим. Тогда в нем было то, фронтовое: взгляд, осанка, тогда он был в кителе...» И он чувствовал испарину на висках, но не вытирал ее — не хотел выказывать скрытого волнения.

— Мещанство надо понимать иначе, — когда человек трясется только за свою шкуру, — сказал Сергей. — Это известная истина.

— Сережа, — робко остановила его Нина и вздохнула. — Ну я прошу... Я не буду мешать. Я лучше уйду.

Уваров, однако, со спокойным видом покачал на ладони кусочек кварца, спросил:

— Не остыл еще? Ну скажи, Сергей, признаешь объективный и субъективный подход к вещам? Мы с тобой воевали, но некоторые штуки оценивали по-разному.

— Ты воевал? — Сергей раздавил окурочек в пепельнице на тумбочке. — Правда одна. Ты хочешь две!..

— Значит...

— Значит, братская могила?

— Какая могила?

— Вали все в одну яму? Все, кто был там, воевали?

— Вот что, Сережа... — медленно проговорил Уваров, положив кусочек кварца на полочку, и, так же медленно и вроде без охоты шутя, вынул военный билет. — Может, ты посмотришь мой послужной список?

— Я знаю его, — сказал Сергей. — Ты пришел к нам из запасного полка и ушел в запасной



полк.

— У каждого судьба складывается по-своему. В войну — особенно.

Слыша голос Уварова, Сергей опять потянулся за сигаретами — было горько, сухо во рту, но сигарету не достал, рука осталась в кармане пиджака, и, сидя так, в полутени, в этом неудобном положении, чувствуя возникшую тяжесть во всем теле, он думал с раздражением на самого себя: «Не так, не так говорю с ним! Он уверен, спокоен... И мне надо говорить... Только спокойно!..» С коротким усилием он изменил неловкую позу, посмотрел неприязненно в ждущие глаза Уварова.

— Не забыл лейтенанта Василенко? Надеюсь, ты помнишь его?

— Но откуда ты все можешь знать? — Уваров сделал изумленное лицо, шумно выдохнул из себя воздух, как спортсмен после длительного бега. — Тебя ведь увезли в госпиталь, насколько я помню?

— Я встретил в госпитале писаря из трибунала. Это тебе ничего не говорит?

— Ох, Сережа, Сережа, — сказал Уваров с выражением тяжелейшего утомления. — Ниночка, — позвал он расслабленно, — я уже бессилён... Я уже не могу!..

Сергею было неприятно, что Уваров обращался к Нине, как будто в поиске у нее поддержки и как будто заранее зная, что эта поддержка будет. Она подошла, осторожно улыбаясь обоим, и Сергей, нахмуренный, отвернулся, подумал: «Почему она вмешивается в то, во что не должна вмешиваться?»

За столом хаотично шумели, кричали голоса, крики, смех смешивались в оживленный гул, заглушая разговор на тахте. Но ожидаемого мира не было в этой комнате. Он был и не был. Мир был фальшив.

— Мальчики, садитесь за стол! — поспешно сказала Нина и погладила обоих по плечам. — Хотите — для вас я найду водку? Старую бутылку. Привезла из Сибири. С довоенной маркой!

— Подождите, Ниночка! — мягким баском произнес Уваров, взглядом задерживая Сергея. — Мы не договорили.

— Мы договорили, — сказал Сергей.

— Нет, Сережа, — перебил Уваров все так же мягко. — Простите, Ниночка, можно нам еще минутку один на один?

— Да, да, я ухожу, говорите.

Сергей сознавал всю глупость, всю неестественность своего положения и хорошо понимал, что не может, не имеет права быть сейчас здесь, сидеть на одной тахте с Уваровым, но что-то сдерживало его, и он, как бы помимо воли своей, старался дать себе отчет, чего же он не понимал в этом новом, все забывшем, казалось, Уварове, а знакомое и незнакомое лицо Уварова было потно, голубые глаза чуть покраснели, в них по-прежнему — добродушие, веселая искристость, желание мира.

— У тебя, Сергей, странные подозрения. Основанные на слухах. У тебя нет никаких доказательств. Остынь и рассуди трезво. Я не хочу с тобой ссориться, честное слово. То, что было, — черт с ним, забудем. Я не навязываю тебе дружбу, хотя был бы рад... Пойми, Сережа, нам учиться в одном институте, только на разных курсах. Я стою за то, чтобы фронтовики объединялись, а не разъединялись. Нас не так много осталось. Ей-богу, ты во

мне видишь другого человека. Хотя, я понимаю, это бывает... Я хочу, чтобы ты объективно понял... Я сам себя часто ловил на том, что сужу о людях не так, как надо.

— Товарищи фронтовики, прекращайте секреты! — крикнул Свиридов из-за стола, изображая на худом своем лице неумело-комическое нетерпение. — Занимайте места!

И в эту минуту Сергей понял, что надо прекращать этот разговор. Слова, которые говорил сейчас Уваров, и то, что они сидели сейчас здесь, на тахте, близко друг к другу, — все с противоестественной нелепостью соединяло, сближало их, а он не хотел этого. Сергей резко поднялся, сказал:

— Значит, дело в психологии? А я-то не знал!

Уваров встал следом за ним, вроде бы нисколько не задетый открытой насмешкой Сергея, проговорил тоном серьезного и дружеского убеждения:

— Подумай обо всем трезво, честное слово, ты не прав. Ну подумай. — И бодрым голосом ответил Свиридову, глядевшему на них: — Иду, иду, Павел! Нам необходимо было поговорить!

14

«Я знал, что надо делать тогда, в ресторане, но что делать сейчас? Улыбаться, разговаривать с соседями, с парнем в очках? Развлекать девушек, как это делает Константин, показывая какой-то фокус с рюмкой и вилкой? Новый год — я разве забыл об этом? Тогда зачем я пришел сюда? Что я делаю? Знаю, что нельзя прощать, но сижу здесь, за одним столом с ним?.. Значит, прощаю?»

Уваров сел возле Свиридова, что-то сказал ему, потом с почти обрадованной улыбкой кивнул Сергею, и тот, испытывая вязкий холодок отвращения к самому себе, внезапно подумал, что после ресторана, после этого разговора он почему-то не ощущал прежней ненависти к Уварову, а оставалось в душе чувство усталости, неудовлетворения самим собой.

Он искал в себе прежней острой ненависти к Уварову — и не находил. Он не мог определить для себя точно, почему так произошло, почему это недавнее, жгучее незаметно перегорело в нем, как будто тогда, встретив впервые после фронта Уварова, он вылил и исчерпал всю ненависть, и постепенно ее острота притуплялась, чудилось, против его желания. Но, может быть, это и произошло потому, что никто не хотел верить, не хотел возвращаться назад, к прошлому, которое было еще близко, — ни Константин, ни майор милиции, ни те люди в ресторане, ни все те, кто смеялся, разговаривал теперь в этой комнате с Уваровым; они не поверили бы в то, что было в Карпатах. Он спрашивал себя: что же изменило все — время или наша победа отдаляла войну? Или желание плюнуть на то, что не давало покоя ему, мешало жить? Он весь сопротивлялся, не соглашался с этим, но замечал, как люди уже неохотно оглядывались назад, пытаясь жить только в настоящем, как вот и сейчас здесь... Если бы каждый из сидящих за этим столом помнил о погибших — о разорванных животах, о предсмертном хрипе на бруствера окопа, о фотокарточках, залитых кровью, которые он после боя вместе с документами доставал из карманов убитых, — кто бы смеялся, улыбался сейчас? Но улыбаются, острят, смеются... И он тоже четыре года так жадно мечтал о какой-то новой жизни, полновесной, праздничной, которая в тысячу раз окупала бы прошлое... Уваров... Разве дело только в Уварове? Никто не хочет копаться в прошлом, и нет у него

доказательств... Но есть настоящее, есть жизнь, есть будущее, а прошлое в памяти людей стиралось уже...

— Ты что хмуришься? Перестань курить.

Легкие Нинины пальцы легли на руку, потянули из его пальцев сигарету, бросили в блюдечко — и она повторила шепотом:

— Ну? Будем сидеть букой?

— Нет, — сказал Сергей.

И она на миг благодарно прижалась к нему плечом.

— Ты посмотри на Костю. Он молодчина.

Константин в это время, взяв на себя команду на своем конце стола, возбужденный новой компанией, вниманием девушек, которые уже называли его Костенькой, мигнул, как давнему приятелю, пареньку в очках, налил в его рюмку водки, затем — Сергею, после чего весело прищурился на Нину.

— Вам? — И спросил так галантно, что Нина засмеялась.

— Конечно, водку, Костя. Пожалуйста.

— Нина — не женский монастырь, нет! — пробормотал паренек в очках. — Не монастырь кармелиток!

— Пе-етень-ка-а, — протяжно сказала Нина и ласково взъерошила ему волосы. — Петенька, ты пьян немножко? Да, милый?

Тот мотнул головой, угрюмо отшатнулся на стуле.

— Не надо... не хочу... ты не надо... так... Не люблю...

— Братцы! Разговорчики! Внимание, даю площадь!..

Все замолчали. В тишине комнаты возник приближенный, отчетливый шум Красной площади: гудки автомобилей в снегопаде, шорох шин — звуки новогодней ночи, знакомые с детства. И там, в метели, рождаясь из снежного шелеста, из гула пространства, мощным великолепием раскатился, упал первый бой курантов.

— Тише приемник! У всех налито? Сергей, у тебя налито? Приготовиться, братцы!.. Сережа, налито у тебя? Ухаживайте за фронтовиками там, на том конце! Первый тост фронтовикам!

Неожиданно командный голос Уварова, перекрикивая мощность приемника, будто ударил, окунул Сергея в ледяной сумрак октябрьского рассвета в тусклых Карпатах — этот командный голос был связан только с тем, в нем было только то...

«Нет! Не хочу думать об этом! Все — новое, надо жить новым», — стал убеждать себя Сергей, и, стараясь найти это непостижимо новое, он быстро посмотрел на праздничное движение вокруг, вызванное командой Уварова.

Уваров стоял за противоположным концом стола, в двубортном, с широкими плечами костюме, держал, сосредоточенно хмурясь, стакан, наполненный водкой; снизу поднял к Уварову цепкий взгляд Свиридов; глядела в ожидании, подперев пальцем щеку, белокурая девушка, которую, кажется, звали Таня...

Лицо Уварова изменилось — губы его на секунду каменно сжались.

— Я предлагаю тост... Первый тост...

Губы Уварова разжались, слова, тяжелые и железные, срывались с них, падали в тишину. Все напряженно молчали, лишь посапывал досадливо, тыкая папиросу в блюдечко, парень в очках.

— Я предлагаю тост... как бывший солдат. Тост за того... с именем которого мы ходили в атаку... стреляли по танкам, умирали... С именем которого мы защищали Родину и победили... — Уваров помедлил, из-за плеча остро глянул на Свиридова, закончил страстно зазвеневшим голосом: — За великого Сталина!

И в следующий момент, скрипнув палочкой, распрямился над столом обтянутый новым кителем худощавый Свиридов, без улыбки, безмолвно чокнулся с Уваровым. Все неловко вставали, отодвигая стулья; потянулись друг к другу стаканы, — и Сергея вдруг хлестнуло едкое чувство чего-то фальшивого, неестественного, исходящего от Уварова; он тоже встал со всеми, сжимая в пальцах рюмку, — стекло ее стало скользким. Рядом — сдержанное шевеление голосов, шорох одежды, потом еле различимый шепот и будто прикосновение Нининых теплых волос к его щеке:

— Сережа... Я с тобой чокнусь, милый...

И стакан Константина ударился об его рюмку.

— Старик, давай... Что думаешь?

Он ясно увидел под светом абажура потный лоб Уварова, какой-то строгий взор, впалые щеки Свиридова, опущенные уголки рта белокурой девушки и подумал со злым ожесточением к себе: «Зачем я шел сюда? Зачем мне нужно было приходить сюда?»

— Я хотел сказать... — внезапно проговорил Сергей, едва узнавая свой голос, отдаленный, чужой, отдававшийся в ушах, и, глядя на Уварова, в его крепкое лицо, от которого словно пахло болотной сыростью карпатского рассвета, договорил глухо: — Я с тобой пить не буду! Не тебе говорить от имени солдат!

Была плотная тишина, неясно желтели лица в оранжевом свете абажура, и лицо Уварова сейчас же отклонилось в тень абажура, потеряв резкость черт, были очень ясно видны в одну полосу собранные губы.

— Послушайте, послушайте, что он говорит!.. Вы все слышали? Он преследует Аркадия! Он сводит свои счета, — с отчаянием, рыдающим взвизгом выкрикнула полная белокурая девушка. — Он ненавидит Аркадия!..

— Товарищи дорогие, прекратите свои распри! — громко и умиротворяюще сказал кто-то. — Новый год! Портите всем настроение!

— Bravo! — пьяно воскликнул парень в очках и заплодировал. — Это я люблю! Драма в благородном семействе!

— А может, помолчишь ты, друг любезный в благородных очках! — выплыл вежливо-недобрый баритон Константина, и локоть его толкнул локоть Сергея. — Садись, Сережа, посидим и выпьем ради приличия...

Сергей, не двигаясь, сказал только:

— Подожди, Костя.

— Все это оч-чень странно! — донесся от того конца стола скованный и тяжелый голос Уварова. — Особенно для фронтовиков... Но если, друзья, у кого-то не в порядке нервы... Я здесь не несу никакой ответственности и объясняю все только непонятной подозрительностью и неприязнью Сергея ко мне. — Голос его перестал быть тяжелым, зазвучал тише, и, стараясь улыбаться, он договорил со снисходительным спокойствием человека, не желающего обострять случайное недоразумение. — Я не буду сейчас выяснять наши фронтовые отношения. Не стоит портить праздник, друзья. Понимаю: бывает неосознанная неприязнь...

Увидев эту улыбку, Сергей вспомнил, ощутил знакомое чувство, испытанное им тогда в ресторане, когда он ударил Уварова и когда люди осуждали его, Сергея, а не Уварова, и, подумав: «Ему стоит позавидовать — умеет себя держать в руках...» — и, напряженным усилием сдерживая себя, сказал тем же тоном, каким говорил сейчас Уваров:

— Да, конечно, не стоит портить праздник. Но я не буду мешать всем.

Он повернулся, увидел перед собой увеличенные глаза Нины и крупными шагами вышел в переднюю, решительно перешагнув через кучу галош, женских бот, сорвал с вешалки шапку; в этот миг оклик из комнаты остановил его:

— Сергей, подожди! Подожди, я говорю!

Нина выхватила у него шапку, спрятала за спину и вся подалась к нему, загораживая путь к двери.

— Подожди, подожди! Ты только подожди...

— Ты хочешь помирить меня с ним? — грубо выговорил Сергей. — Зачем? Для чего, я спрашиваю?

— Я ничего не хочу, — сказала она.

— У нас с тобой прелестные общие знакомые! Но тебе придется выбирать.

— Что выбирать?

— Знакомых.

— Но ты не должен...

— Ты не должна! Но тебе придется выбирать. Не хочу понимать твоей доброты ко всякой сволочи, — жестко сказал он, выделяя слово «доброты», и рывком потянул шинель со спинки стула, заваленного грудой пальто.

Она по-прежнему держала шапку за спиной и, теперь не останавливаясь, удивленно и прямо глядела на него, покусывая губы.

Он повторил:

— Тебе все ясно?

Она молчала.

— Дай, пожалуйста, шапку, — сказал он и неожиданно для себя сделал шаг к ней, сразу отдалившейся и как бы ставшей чужой, с силой притянул ее к себе. — Пойдем со мной или оставайся! Слышишь? Не хочу, чтобы ты оставалась здесь. Ты это понимаешь?

— Ничего не слышу, ничего не вижу, где мои галоши? — раздался предупреждающий голос, и

Сергей, недовольный, обернулся к вышедшему в переднюю Константину. — Я с тобой, Сережка, — пробормотал он, деликатно вперив взор в потолок. — Потопали. Разбит выпивон вдрызг.

— Костыка, подожди там! Если нетрудно — выйди!

— Ясно, — с досадой щипнув усики, Константин, однако, насвистывая, поспешно прошел в комнату, тщательно закрыл за собой дверь.

— Ты будешь раздумывать? — И Сергей резко притянул ее за плечи. — Ну?

— Это все? — спросила она.

— Где твое пальто?

— Вон там...

Отпустив ее, он с непонятной самому себе грубой уверенностью начал снимать, кидать на тумбочку, на спинку стула холодноватые чужие пальто, и в этот момент послышался сзади сдавленный смех — Нина, прислонясь затылком к стене, уронив руки, странно, почти беззвучно смеялась, говорила шепотом:

— Они останутся здесь, а я... Просто девятнадцатый век! Тройка, снег, новогодняя ночь... Ты понимаешь, что делаешь? Вон там мое пальто, Сережа...

Он выдернул из тесноты одежды на вешалке ее пальто и, помогая одеться, увидел на ее шее, над шерстяным воротом свитера, светлые завитки волос и, до спазмы в горле овеванный какой-то всепрощающей мучительной нежностью, прижался к ним губами.

— Нина, быстрее!

— Хорошо. Иди вперед, я закрою...

Она с таинственным видом пошла на цыпочках, щелкнула замком, пропустила Сергея вперед на лестничную площадку, и здесь, исступленно обнявшись, они несколько секунд стояли и целовались в тишине под неяркой, запыленной лампочкой перед дверью. Дом праздновал. Где-то под ногами, на нижнем этаже, приглушенно звучала музыка.

— Идем...

— Быстрее! Внизу тройка, медвежья полсть и бубенцы!

Тихо смеясь, она схватила его за руку, они ринулись вниз, перепрыгивая через обшарпанные ступени лестницы, наполняя лестницу гулом, и только на первом этаже, не освещенном лампочкой, Нина, переводя дыхание, едва выговорила, наклоняя голову Сергея к своему лицу:

— Куда ты хочешь меня вести?

— А ты куда хочешь?

— Куда ты.

Константин вернулся на рассвете — уже серели окна, — пошатываясь, ощупью поднялся по лестнице спальни квартиры, с пьяной осторожностью открыл дверь в свою комнату; не зажигая света, долго пил из графина воду жадными глотками. Затем упал на диван, не сняв костюма, лежал неподвижно в темноте, его отвратительно подташнивало, и он не скоро уснул.

Проснулся поздним утром — болело, ломило в висках, мерзкий, пороховой вкус был во рту.

— Э-э, идиот! — сказал он вслух, поморщась, будто был в чем-то смертельно виноват.

Угнетало его, не давало покоя то, что остаток ночи провел в совершенно незнакомой компании — возвращаясь после встречи Нового года домой, неожиданно вспомнил адрес Зои, с которой познакомился недавно, поехал на окраину Москвы. Там, в чужой компании, много пил, ругался с хмельными крикливыми парнями, потом вывел робко отталкивающую его Зою в переднюю, целовал ее шею, грудь сквозь расстегнутую кофточку, и она говорила ему, что сейчас не нужно, что сюда войдут, а он убеждал ее куда-то вместе поехать.

«Что я там наделал? Что я там натворил?» — ворочаясь на диване, стал вспоминать Константин, но помнил лишь смутные лица этой чужой компании, крик, хохот, ощущение своих плоских, тогда казавшихся блистательными остроумий, и эту переднюю, испуганно сопротивляющиеся глаза Зои, ее испуганный шепот: «Костенька, потом, потом...»

«Что я наделал, что наговорил, идиот в квадрате! Зачем? — подумал он, испытывая брезгливость к себе, ко всему тому, что было в конце ночи. — Зачем я живу на свете таким непроходимым ослом? Именно ослом, животным!..»

С наслаждением уничтожая себя, он сам казался себе глупым, плоским, ничтожным и не искал, не находил оправдания тому, что было вчера. В его памяти одним ясным пятном задерживалось начало вечера: елка, Ася, мандарины, снегопад на улице, приход в студенческую компанию. Но все это затмевалось, все было убито поздним, черным, ядовито-черным, уже пьяным, бессмысленным.

Хотелось пить. Он потянулся к графину, который почему-то стоял на полу, начал пить, разливая воду на грудь, глотками сбивая дыхание, обессиленно поставил графин на пол. Не вставая, долго искал по карманам папиросы, пачка оказалась разорванной, смятой, пустой. Он швырнул ее без облегчения, вспоминая, где можно найти окурки. «Бычки» могли быть на книжных полках, где-нибудь в уголке: читая перед сном, загасил папиросу, оставил на всякий случай.

Константин приподнялся, пошарил на полках над диваном и не нашел «бычка». Потом, расслабленный, он лежал в утренней тишине дома, слышал все звуки с болезненной отчетливостью, силясь понять смысл вчерашней пьянки, этого утра, тишины и этой омерзительной минуты похмельного лежания на диване.

«Что делать? Что делать?» — думал он, глядя в потолок, на однообразную простоту электрического шнура, на сеть извилистых трещинок, освещенных тихим зимним солнцем.

Внизу, в безмолвии дома, на кухне глухо, как из-под воды, загремела кастрюля или сковороды, донеслись голоса — должно быть, художник Мукомолов жарил обычную свою утреннюю яичницу из американского порошка, нежно ссорился с женой. Константин представил запах подгоревшей яичницы, и его затошнило.

Он застонал, озирая комнату, громоздкий книжный шкаф, пожелтевшие от табачного дыма шторы, разбросанные американские и английские журналы на стульях, увидел валявшиеся на

полу окурки, обугленные спички и тоскливо потер лицо, обросшее, несвежее. «Побриться бы, помолодеть, почувствовать в себе уверенность. Надеть свежую сорочку, галстук...»

С трудом встал, покачиваясь, отыскивал на подоконнике бритвенный прибор, налил в мыльницу холодной воды из графина (в кухню за горячей не было сил идти). Подошел к зеркалу, взгляделся. Непонятно чужое, неспящее, с тонкими усиками и косыми бачками лицо глядело на него неприязненно и мутно.

«Зачем? Для чего я живу? Что делать?» — опять спросил он себя и бросил бритву на подоконник, упал грудью на диван, мысленно повторяя в пыльную духоту валика: «Зоенька, не ломайтесь, не надо осложнять, дорогуша!»

«Дорогуша? Как я сказал: не надо осложнять? Пошляк, глупец! „Зоенька, не ломайтесь!..“»

Не сразу расслышал — не то поскреблись, не то слабо толкнулся кто-то в дверь из коридора. И затем преувеличенно громко постучали, и он, даже вздрогнув, крикнул:

— Не заперта! Вваливайтесь! — И вскочив на диване, проговорил осевшим, фальшивым голосом: — Ася? Зачем вы ко мне?..

Ася вошла боком, каблучком закрыла дверь, молча и решительно повернулась к нему.

И, ощутив ее внимательное молчание, он на миг с ненавистью снова почувствовал свое лицо, вспомнил ее слова о парикмахерских бачках, растерянно метнул взгляд по беспорядочно разбросанным вещам в комнате, наступил ногой на окурочок около дивана. Сказал отрывисто:

— Уходите, Ася! Закройте дверь с той стороны! («И сейчас острою с плоскостью болвана!») Уходите! — попросил он. — Пожалуйста!

Она не уходила — смотрела, нахмутив брови.

— Где Сергей? — спросила она.

— Не знаю. А что стряслось? Пожар? Потоп?

— Он опять не ночевал дома, — сказала она подозрительно. — Я не знаю, что... происходит, не понимаю... Где вы с ним были вчера? Ответьте, пожалуйста, Константин. Где Сергей? Может быть, случилось что?.. Пожалуйста, ответьте прямо! Отец послал меня к вам... Я и сама хочу знать! Почему вы дома, а его нет?

— Случилось? Ну что с ним может случиться, Ася? — сказал Константин наигранно-смешливым тоном, однако ощущая все время, как он противен, неприятен ей, в этой неприбранной комнате, сидящий на диване с помятым лицом. — Ну, может, он влюбился, Ася. Вероятно? Вполне. Какие могут быть тут испуги, опасения и прочая дребедень? Асенька, не надо волноваться. Может быть, он встретил такую женщину... девушку, с которой можно броситься куда угодно очертя голову! И если такую встретил — его счастье. Вы должны просто радоваться, в воздух чепчики бросать...

— Влюбился?

Она приблизилась к дивану, худенькая ее фигурка ожидающе напряглась, а он, проклиная себя, понял, что его защита Сергея была неловка, неубедительна, и, прикрыв руками небритые щеки, проговорил почти беспомощно в ладони:

— Асенька, родная, вы ведь знаете, что я крупный осел и остряк-самоучка. Ничего не знаю, наболтал не думая. Но только с Сергеем все в порядке. Это я знаю.



— До свидания! — Она отошла и через плечо высокомерно сказала ему: — И побрейтесь хоть! И не обманывайте меня. Я люблю правду, а вы все врете! Почему вы врете?

Константин отнял ладони от лица, вытянул окурок из переполненной пепельницы, но курить его уже было нельзя — раскрошился в пальцах.

И он вдруг почувствовал пустоту оттого, что она уйдет сейчас.

— Ася, подождите, — тыча окурком в пепельницу, хрипло проговорил Константин. — Посидите, а? Ну посидите просто, и все. Не смотрите на мою противную рожу, я сам готов по своей витрине трахнуть кулаком, поверьте, я отношусь к ней без удовольствия. А вы просто посидите, полистайте журналы, ведь никогда у меня не были. А я побреюсь, и — хотите? — эти баки к черту! Вы ведь ненавидите эти гвардейские баки. Посидите. Хотите, я эти баки... Посидите, Ася...

Слова привычно подбирал полусерьезные, ернические, но голос звучал просительно-мальчишески — ему нужно было живое дыхание в комнате. Он боялся одиночества, боялся остаться один сейчас, казнясь воспоминаниями вчерашней липкой нечистоты, которую хотелось содрать с себя.

Ася независимо отвернулась, разглядывая полки, заставленные пыльными книгами, тихонько и настороженно шевелилась темная коса за спиной.

— Как вы живете странно! Как будто вы здесь не живете! Поставьте графин на тумбочку, ему не место на полу. Возьмите и поставьте! — приказала она. — Это ведь ужас какой-то!

Он поставил. И она спросила все так же строго:

— У вас есть какой-нибудь тазик, тряпка, швабра? Ну какие-нибудь орудия производства? — прибавила она тем тоном, который не разрешал ему улыбнуться.

— Ася, ничего не надо!

— Это мое дело. Не командуйте.

— Там, в коридоре, под столом, кажется.

— Я сейчас. А вы брейтесь хоть. У вас ужасно неприятное лицо. Наверно, так и думаете, что вы нравитесь женщинам? — спросила она дерзко и покраснела.

— Асенька, мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, — ответил Константин, привычно пытаясь обратить все в шутку.

Но она пошла к двери, покачивая за плечами косой, стукнула дверью, и наступила тишина.

— Неприятное лицо... — бормотал он, делая злые гримасы в зеркале, намыливая щеки. — Пакостная физиономища... Парикмахерская вывеска... О, как я тебя ненавижу! Баки косые отпустил, болван!

Когда послышался скрип двери, он даже задержал дыхание — увидел в зеркале Асю: она внесла ведро, швабру, милое лицо неприступно хмурилось, и Константин готов был на то, чтобы она хмурилась, презирала, ненавидела его, но только была бы, двигалась, что-то делала здесь. Он смотрел на нее в зеркало, все медленнее вода бритвой по щекам, — и неожиданно ее голос:

— Думаете, я все делаю это с удовольствием? Нет! Мне просто жаль вас — погрязли, утонули в окурках!

— Ася, я сбрил баки, видите, я вас послушался, — с грустным весельем проговорил Константин. — Я не такой уж пропащий человек.

— Поздравляю! Бурные аплодисменты, все встают. Кстати, у вас есть какие-нибудь тапочки? Вы думаете, я буду портить свои единственные туфли?

С намыленной щекой он чрезвычайно поспешно кинулся к дивану, вытащил из-под него стоптанные тапочки, неуверенно покрутил их в руках. Ася, стоя возле ведра, поторопила его:

— Ну давайте! Что вы их разглядываете? Брейтесь!

Он с непривычным замешательством покорно подошел к зеркалу; в глубине его было видно: она, опираясь на швабру, быстро сняла туфли, надела тапочки; потом подтянула юбку, заправила ее за пояс. Он заметил, ноги у нее были прямые, высокие, с сильным подъемом, — и тотчас узкие черные глаза испуганно-гневно скользнули по его лицу в зеркале. Она крикнула, одергивая юбку:

— А ну отвернитесь! Как вам не стыдно!

— Ася, милая... — сказал Константин.

— Какая я вам еще «милая»?

— Ну хорошо, просто Ася, почему вы меня так терпеть не можете? — спросил Константин, уставясь мимо зеркала в стену, с опасением ожидая треск двери за спиной.

Она помолчала. Она как будто замерла, всматриваясь в его спину.

— Вот что. Идите к окну и добривайтесь наизусть! — подумав, по-взрослому опытно приказала Ася. — И не смейте смотреть в зеркало, что я буду делать! Я не люблю, когда за мной наблюдают.

— Я буду так... как приказано... Только приказывайте.

Он послушно двинулся к окну, сияющему морозно-солнечной насечкой на стекле, вздохнул облегченно, стал добриваться «наизусть», ощупью, слыша ее несильные движения, плеск воды, мокрый шорох швабры по полу; ее возмущенный голос звучал в его комнате:

— Понимаю: у вас пол заменял пепельницу! Журналы — половую тряпку. А это что за бутылки у стены? Это вы все выпили? К вам что — приходили всякие женщины?

— Ася!.. — взмолился Константин, делая попытку обернуться.

— Пожалуйста, молчите! Я вас не спрашиваю, я все знаю. Если бы я была вашей сестрой, я бы всех ваших знакомых разогнала на четыре стороны. Не разрешила бы гадостей!

«Она девочка! — подумал он с тоской. — Сколько лет мне и сколько ей? Страшная разница!»

— Если бы вы были моей сестрой, Ася!

— Я не хочу быть вашей сестрой!

Она отодвинула с грохотом стул, швабра стукнула о плинтус возле ног Константина, зловеще зашуршала бумага в углу, снова стукнула швабра о плинтус — и сейчас же удивленный голос Аси заставил его обернуться от окна:

— Кто это?

Прислонив швабру к подоконнику, Ася бережно, кончиками пальцев сняла с этажерки маленькую пожелтевшую фотокарточку.

— Ваша мама? Я ее не знала такой... Это ваша мама?

— Мама. Тоже не помню ее такой. Фотокарточку отодрал от какого-то старого документа, — сказал Константин. — Двадцать шестого года.

— Где ваши отец и мать?

— Исчезли.

— Куда исчезли? — еле внятно спросила Ася, не отрывая взгляда от молодой женщины с оживленным лицом, коротко подстриженной под мальчика. — Она очень красивая, мама ваша... Куда они исчезли?

— Люди исчезают тогда, когда умирают или когда их заставляют умирать, — сказал Константин.

— Костя, Костя, Костя, здесь что-то не так, вы что-то не говорите, вы что-то скрываете! — заговорила торопливо Ася. — Пожалуйста, объясните, слышите? Это секрет? Секрет? Я — никому...

— Ася, спасибо за полы, — вдруг тихо, преодолевая хрипотцу, выговорил Константин, несмело взял ее руку, смуглую, худенькую, прижал к губам, повторив: — Спасибо. С Новым годом, Асенька!..

— Зачем? — задыхнувшись, прошептала Ася. — Вы... зачем? — И, краснея, крикнула уничтожающе: — Никогда этого не делайте! Не смейте!

Он молчал, глядя в пол. Она выбежала, не закрыв дверь.

Он проверил все карманы старых брюк в шкафу — в это утро у него не было денег.

Так начинались все утра после праздников.

Спустя полчаса он надел свежую сорочку, галстук, насвистывая, небрежной походкой сошел по узкой лестнице на первый этаж.

Было одиннадцать часов. Было солнечное утро нового года. На кухне около крана стоял художник Мукомолов в стареньком халате, испачканном красками, скреб ложкой по сковородке. Вода хлестала в раковину, брызгала на халат. Пахло жареной селедкой, от этого запаха Константина чуть подташнивало.

— А-а! — воскликнул Мукомолов, улыбаясь как бы одними заспанными, припухшими веками. — Добрый день, здравствуйте! С Новым годом! С Новым годом, Костя! Как праздновали?

— Все так как-то, — ответил Константин и повернул в коридор, полутемный, теплый, пахнущий пальто и галошами; постучал к Быковым.

Быковы еще завтракали. Сам Петр Иванович, красный, распаренный, в незастегнутой на волосатой груди полосатой пижаме, пил, отдуваясь, короткими глотками крепкой заварки чай и одновременно заглядывал в газету. Жена, Серафима Игнатьевна, женщина довольно полная, не первой молодости, намазывала сливочное масло на край пирога, умытое лицо было умиротворенно-добрым, заспанным. На столе — графинчик с водкой, колбаса, сыр, раскрытые банки консервов, начатое рыбное заливное — остатки вчерашнего новогоднего вечера.

— Костенька! — певуче сказала Серафима Игнатьевна. — Родной вы наш, голубчик, я вас таким холодцом угощу, вы что-то к нам не заходите! Забыли нас совсем?

Быков поверх газеты глянул на Константина, поставил стакан на блюдце, значительно подвигал кустистыми бровями.

— Немчишки-то опять шевелятся. Нда-а! А, Константин, голова-то небось трещит? Перегулял, что ли? Не за холодцом он, мать, знать надо, — с пониманием добавил Быков. — Завтракал? Дай-ка, мать, чистую рюмку. У добра молодца глаза красные.

— При виде водки я говорю «нет», — сказал Константин. — Чаю выпью. Пришел за папиросами. Знаю, у вас где-то были папиросы.

Быков почесал бровь, крикнул с укоряющим удивлением.

— Значит, прогорел, деньги в трубу пустил? Эх, легкая твоя жизнь! Была бы мать, конечно, жива — деньги-то для нее бы берег. Ну ладно, ладно, ничего, я тоже в молодости на боку дырку крутил! Кури, дыми на здоровье!

Быков обтер салфеткой пот с красного лица, шумно отпыхиваясь, вытащил плотное тело из-за стола, склонился к этажерке, достал откуда-то из-под книг коробку папирос, раскрыл ее перед Константином.

— Кури, дыми, «Северная Пальмира». Что, неужто денег-то на папиросы нет? Это как же ты ухитрился деньги-то прогудеть? Эх, беззаботность, беззаботность, Константин! Пей, да голову имей. Налить, что ли? Чтоб хмельная дурь прошла...

Закуривая душистую папиросу, Константин только промышчал отрицательно, с отвращением сморщившись при мысли о водке, кивнул рассеянно Серафиме Игнатьевне (она налила ему в огромную чашку горячего крутого чая, придвинула сахарницу).

В комнате Быковых было ощущение тепла, довольства, недавнего праздника, по-зимнему пахло хвоей, серебрилась густой мишурой елка в углу меж окнами; вокруг, теснясь, сияла под солнцем старинная полированная мебель. На полу — толстый и пушистый немецкий ковер зеленел травой, цветистый и тоже немецкий ковер — на диване, повсюду антикварные фарфоровые статуэтки, хрустальные вазы на буфете, бронзовая, комиссионного вида настольная лампа: немецкая овчарка задранным вверх носом поддерживает голубой купол абажура — безвкусица и неумелое стремление к крепкой и прочной красоте создавали этот странный добротный уют.

— А где ж твой приятель, не разлей вода, Сергей-то твой? — спрашивал Быков, истово прихлебывая из стакана. — Или врозь?

— Сегодня — да. Сегодня я в одиночестве, — сказал Константин, положил папиросу на грань блюдечка, стал размешивать сахар в чашке.

Быков между тем аккуратно взял папиросу, переложил ее с той же аккуратностью в пепельницу, благодушно закряхтел.

— Оно, приятели-то, конечно, хорошо, да семья лучше. Жениться бы тебе надо. А то деньги туда-сюда мотаешь, а цели нет. Когда жена в доме, есть куда деньги-то нести. Помочь, что ли, жениться-то? — Быков, весь вспотев, промокнул багровый лоб салфеткой. — Я тебе на фабрике кралю такую подыщу — пальчики пообкусишь. У нас девчат хороших — табунами ходят. Комната у тебя есть. Да вот глаза родительского на тебя нет. А я родителей твоих прекрасно знал. (Серафима Игнатьевна вздохом подняла, опустила над краем стола полную грудь.) Знал, м-да... Интеллигентные были люди...

— Превосходно, благодетель вы мой! — воскликнул Константин, делая вид, что от радости захлебнулся чаем. — Как это прелестно — коммерческий директор сват у своего шофера! Это демократично. Я заранее троекратно благодарю вас!

И, сдерживая подмывающую веселую злость, притворяясь через меру растроганным, пустил папиросный дым кольцами к потолку; разговор этот занимал его.

— Смеешься никак? Или в себя не пришел после похмелья-то? — сурово спросил Быков. — У меня образование не такое, как у тебя, классов, институтов не кончал. У меня опыт вот где! — Он похлопал звучно по своей толстой короткой шее. — Все из практической жизни, из уважения к хорошим людям, к государству. Вот как оно складывалось. Большого не достиг, в министры не вышел, а по хозяйственной части, сам знаешь, конкурентов у меня мало. У меня фабрика ни разу без материалов, сырья не простаивала. Нету у меня на поприще снабжения конкурентов. А все от опыта. Так или не так? Так что ж ты дураком лыбишься? Мало я тебе добра сделал? Только все ведь в трубу пускаешь! Денег огребаешь кучу! Левачить разрешаю... И все в трубу.

Константин притворным ужасом округлил глаза.

— Да что вы, Петр Иванович! Какие тут улыбки? Смех сквозь слезы. «Над кем смеетесь?» Мне хочется хохотать над собой до слез. Добра вы мне сделали много. Действительно. Соглашаюсь. Но, как говорят одесситы, разрешите мне посмотреть в ваше доброе, честное, открытое лицо и, вы меня очень простите, спросить: а вы плохо живете, голодаете?

Серафима Игнатьевна прекратила грызть чайный сухарик, заморгала веками на Константина, на медленно багровеющего Быкова, вмешалась обеспокоенно:

— Петя... Костя... поговорили бы о чем-нибудь другом. Костя, вы всегда интересно рассказываете... Где вы праздник встречали? Мы вчера хотели вас пригласить. Петя поднялся к вам, постучал — вас не оказалось. Мы были одни. Дочь обещала на праздники из Ленинграда приехать — не приехала...

— Эх, шелапут ты, шелапут! Ты посмотри на него! Полюбуйся нахальством, — укоризненно покрутил головой Быков. — Я тебе ль добра не желаю? Вот она, благодарность! Спасибо. Я, значит, плох? С фронта без профессии вернулся, я тебя в шоферы устроил. На машине на своей, как на собственной, ездишь. Левача зарабатываешь — разрешаю, а? Потому что я тебе вместо отца. Или этот, — он неприязненно пошевелил над столом пальцами, — Сергеев папаша помогал тебе? Ведь этому дай волю, с дерьмом меня съедят и фамилию не спросят. А все от зависти: мол, честно, хорошо живу. И ты туда же... Смешочки!

— Бывает прорыв юмора... Психология — вещь тонкая, не будем бросаться в дебри, заплутаемся в трех соснах, — вежливо возразил Константин. — Я слегка заплутался и — упаси боже — никого не вывожу на чистую воду. Знаком с человеческими слабостями. Благодарю за папиросы. Мне очень было приятно...

Он чрезмерно ласково улыбнулся.

— Запутался? У тебя что — машину задержали? — Быков не без тревоги посмотрел Константину в усики, под которыми блестели ровные зубы. — ОБХСС?

— О нет, не это!

— Смеешься, значит, щенок эдакий, — обозлился Быков. — А ты запомни — даю жить всем. А на ногу наступишь — меня не узнаешь. Клевету не прощаю.

— О, Петр Иванович! Я ведь люблю жизнь. Я ведь три года мерз в окопах! — засмеялся

Константин. — А с вами — как за каменной стеной!

Он вышел от Быковых с ненавистью к своей наигранной веселости и вместе чувствуя облегчение оттого, что не попросил денег, за которыми шел.

Был первый день тысяча девятьсот сорок шестого, уже невоенного, года.

Вечером он зашел к Сергею.

— Слушай, осточертело мне все. Обрыдло, плешь переело. Может быть, рвануть в твое высшее учебное заведение? А как там отношение к фронтовикам? Соответствующее?

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 1949 ГОД

1

На углу под фонарем Константин прочитал название улицы, потом уверенно подошел к низкому забору; за ним одноэтажный домик смутно белел в зарослях акаций, желтоватый свет едва просачивался сквозь листву. Здесь, на Островидова, пахло сладковатым теплом, как пахло на всех ночных улицах Одессы, когда он от вокзала шел в лунной тени безлюдных тротуаров, нагруженный двумя чемоданами.

Он приехал из Москвы, бросив все, приехал загореть на южном солнце; забыв обо всем, поваляться на прокаленном песке пляжей и, обсыпаясь горячим песком, глядеть на постоянно изменяющееся под светоносным небом теплое море, а вечером, надев белую сорочку, подчеркивающую черноту лица, фланировать по знаменитой Дерибасовской, знакомясь с темноволосыми одесситками, и пить холодное вино, и есть мороженое на террасах летних, увитых плющом кафе.

Он приехал сюда, думая об этой беспечной курортной жизни, которую во всей полноте своей представлял в раскисшей дождями Москве. Его потянуло сюда потому, что был в Одессе раз после войны, и еще потому, что Быков в разговоре с ним настоятельно посоветовал поехать именно в Одессу, поселиться у хорошо знакомых людей, дальних родственников, и сам помог Константину добиться скорого оформления плацкартного билета — в московских кассах стояли нескончаемые очереди.

Константин нашел этот домик на Островидова, 19, во втором часу ночи и, потный, уставший от дорожных разговоров, от длительной ходьбы по городу, от тяжести чемоданов, свистнул с облегчением, ногой пнул провинциально скрипнувшую калитку, вошел во двор. Внятно потянуло сыростью деревянных сараев, этот запах тотчас смыло влажно-теплой струей воздуха — мягко и душисто дуло из глубины черного сада.

В тишине, гремя цепью по проволоке, огромная собака выскочила из-за сарая, начала прыгать, яростно вставать на задние лапы, залилась хриплым лаем.

— Ах ты, милая моя, сволочь ты эдакая! Брысь отсюда! — Константин угрожающе махнул чемоданами, шагая по тропке меж кустов.

— Томи, цыц! На место! — крикнул голос от крыльца, и оборвался лай, тише зазвенела цепь; и этот же голос спросил: — Кто тут?

— Я не ошибся — Островидова, девятнадцать? Что у вас за город? Сплошной кошмар — ни одного такси! — сказал фамильярно Константин. — Пер от вокзала пешком. Здравствуйте. Будем знакомы. Константин, — прибавил он, завидев фигуру человека на крыльце: забелела в темноте рубашка.

— Прошу. — Человек сошел со ступенек; разгорелся, погас уголек папиросы, осветив мясистый нос. — Заходите! Я вас давно жду.

— Спасибо за гостеприимство. Одесса всегда славилась... Благодарю!

Человек этот пропустил Константина на террасу, закрыл на ключ дверь, затем сказал: «Идите прямо», — и через закоулок коридора ввел его в низкую, неярко освещенную запыленной люстрой комнатку со старым письменным столом, потертым диваном, на котором лежали свернутая простыня и подушка. Константин, испытывая удовлетворение, бросил в угол чемоданы, с полуулыбкой поклонился хозяину.

— Как разрешите вас?..

Высокого роста, в несвежей сатиновой рубашке, висевшей на худых плечах, хозяин дома был медлителен, стоял у двери, заложив одну руку за подтяжку, на угрюмо-небритом лице его было выражение ожидания. Он сказал наконец прокуренным голосом:

— Аверьянов. Это ваша комната. Устраивайтесь. Получил телеграмму днем. Я к вашим услугам.

Константин сел на диван, закинул ногу на ногу.

— Ну прекрасно! Эта комнатка мне подойдет. Насчет платы договоримся. Далеко отсюда море?

Аверьянов мимолетно покосился на Константина.

— Море вы найдете. — И остановил внимание на чемоданах. — Петр Иванович писал мне...

— Ах да! Вот этот чемоданчик в чехле прислал Быков, — спохватился Константин. — Кажется, здесь консервы, масло... Что-то в этом роде. У вас тут плохо с продуктами? Просто цирк — ведь в Одессе никогда плохо не жили! Кошмары!

— А я думал, балагуры только у нас, в Одессе...

Аверьянов угрюмо скомкал улыбку, поставил чемодан в сером зашитом чехле на письменный стол и, вынув из кармана перочинный ножичек, ловким движением полоснул лезвием по швам чехла. Спросил:

— А ключ позвольте?

— Его у меня нет. Я не открываю чужие чемоданы, — ответил Константин, засмеявшись, и порылся в кармане. — Попробуйте. Может, мой подойдет. Ключи — стандарт. Жалкий примитив.

— Попробуем. — Аверьянов взял у Константина ключик, не торопясь примерил его к замочкам — они щелкнули, — откинул крышку, заглянул с мрачным интересом.

— Фу ты ну ты... — выдохнул он, роясь в чемодане. — Все не то, все не то... Как нельзя

понять, что Одесса — южный город? — Он еще раз ковырнул пальцем внутри чемодана, захлопнул крышку, пожал плечами. — Петр Иванович живет как на Марсе. Не догадывается, как трудно! Чесуча, чесуча идет!

Аверьянов со сдержанным раздражением выговорил это, и Константин, несколько озадаченный, спросил:

— Что трудно? Какая чесуча?

— Совсем обыкновенная. На нее спрос. — Аверьянов, казалось, усиленно соображая что-то, заскреб щетину на подбородке. — А что прикажете мне делать с бостоном? Не сезон, совсем не сезон!

— Каким еще бостоном? — спросил Константин. — Что вы меня, как лопуха, за нос тянете?

— Э-э, подождите, — пробормотал Аверьянов. — Я сейчас.

Он приоткрыл дверь, на цыпочках вышел, унося чемодан, и Константин, весь напрягаясь от охватившего его беспокойства, уловил ватные шаги в тишине дома, вязкий шепот, мышиную возню за стеной и потом, чувствуя холодок по спине от мысли, мелькнувшей в его голове, оцепенело сидел на диване — веселое ощущение приезда мгновенно стерлось, давило мертвенное безмолвие дома. «Значит, чесуча, чесуча? Ах, чесуча!...» — подумал он, ужасаясь острой своей догадке; и здесь без стука вошел на носках Аверьянов, протянул толстый пакет — сверток в газете, — сказал прокуренным голосом:

— Это Петру Ивановичу. У вас есть надежный карман?

— Карманы как карманы. Давайте!

Константин пощупал плотный пакет, бросил его на крышку чемодана и спросил с усмешкой:

— Надеюсь, это не золото, не бриллианты ацтеков? Если бриллианты по два карата, то завтра впломбируйте их мне в зубы. Так делают международные контрабандисты-спекулянты. Что в этом пакете?

Аверьянов выкатил выцветшие стоячие глаза, лицо его стало подозрительным, обрюзгшим.

— Вы шутник. — Вытянул из шкафчика на стол начатую четвертинку, хлеб, тарелочку с нарезанной колбасой. — Десять тысяч. Это мало, считаете?

— Что-о? — Константин встал. — А ну принесите сюда чемодан!

Во дворе залаяла собака. Под окном, в саду, прозвенела, заскользила по проволоке цепь, донесся близкий топот собачьих лап. Аверьянов, прислушиваясь к лаю во дворе, тяжело задышал носом: было слышно, как кто-то завозился, по-женски протяжно вздохнул за деревянной стеной.

Собачий лай смолк. Звенели цикады в тишине.

Аверьянов поправил занавеску на окне, засипел шепотом:

— Вы что, маленький? Сорок девятый год — не сорок шестой. Не понимаете? Опасно! Вчера взяли с бостоном Кутепова... На вокзале взяли...

— Я сказал: принесите сюда чемодан! — уже бешено крикнул Константин и нечетко, как сквозь дым, увидел сгорбленную и боком семящую к двери узкоплечую фигуру Аверьянова — и сразу сомкнулась тишина, будто дом опустился в глубокую, сдавившую дыхание воду.



«Чесуча и бостон — ах, как здорово!»

Затем шорох шагов за стеной, и так же боком протиснулся в дверь Аверьянов, без уверенности поставил чемодан перед Константином, проговорил:

— Вы что, сумасшедший? Кто считает копейка в копейку до реализации?

— Идите к... — грубо выругался Константин.

И ударом ноги раскрыл крышку чемодана, увидел на дне его, за смещенными банками консервов, свернутые отрезки черной материи и сейчас же вспомнил, как Быков при нем, аккуратно укладывая эти банки, говорил ворчливо, что дальний родственник его рад будет этому продуктовому подарочку из столичных магазинов.

— Так! — сказал Константин и, подхватив с крышки чемодана плотный пакет, втиснул его в боковой карман. — Все ясно. Ну что ж, прекрасно живем. Может быть, вы мне объясните, далеко ли мне топать до ОБХСС?

— Шутите, шутите, да знайте меру! — Аверьянов судорожно попытался улыбнуться. — Вы шутите, как сумасшедший...

— Я был идиот, когда считал, что везу продукты голодающему родственничку, — произнес Константин, чувствуя, как все тело его окатило нервным знобящим холодком. — Не думал, что буду сбывать нецензурный товарик. Вот так, господин Аверьянов. Наивняков нет. ОБХСС оплакивает вас и толстячка Быкова. Куда денешься — закон!

Аверьянов в растерянности жевал губами, машинально оттягивая подтяжки, внезапно небритое морщинистое лицо его задергалось, запрыгал подбородок, — и он бессильно, напрягая жилистое горло, заплакал; слезы потекли по щекам, застревая в щетине. Он умоляюще и жалко глядел на Константина сквозь влагу, наползающую на глаза.

— Что? Что с вами такое? — крикнул Константин.

— Я прошу, прошу, — кусая пальцы, придушенно стал вскрикивать Аверьянов, отклоняясь к стене. — Я прошу... Прошу... У меня жена, семья...

Константин поднял свой чемодан, скомандовал Аверьянову:

— А ну откройте дверь! Куда выйти?

— Я прошу вас... У меня жена, дети... не хватает на жизнь, поймите!..

— Ваня! Ванечка! — взвизгнул пронзительный голос за стеной.

— Это жена... Я прошу вас, прошу...

Аверьянов порывисто впился как бы закованными пальцами в рукав Константина, потянул его к двери, во тьму сыро пахнущего плесенью коридора, говоря с задышкой:

— Я умоляю, не надо, не надо... Я сейчас выведу вас... я сейчас...

Наступая в проходе на заскрипевшие корзины, задев плащом за что-то тупое на стене, Константин ринулся за ним по коридору, ослепнув в потемках; потом спереди хлынул из раскрытой двери серый свет, мелькнули там искаженные щека, губы Аверьянова, и Константин вывалился в мокрые кусты перед крыльцом, захлеставшие по голове, по плечам ледяным ливнем росы.

Он кинулся по саду напрямик, к забору, утопая в рыхлых клумбах, плохо видя перед собой;

заросли проволокой цеплялись за ноги, влажные ветви били по коленям, хватали, отбрасывали назад чемодан, ставший стопудовым.

«Неужели так глупо, так глупо? Нет, нет! Не может быть, чтобы все так глупо!.. Что же это я?» — задыхаясь, думал Константин и почти наткнулся на штакетник, затемневший за акациями, различил деревянную калитку и ударил по ней носком ботинка. Крик Аверьянова толкнул его в затылок:

— Я прошу!..

— Черт с вами... Живите... — ответил со злостью Константин, не оборачиваясь. — Черт с вами...

И вышел на сумрачную перед рассветом улицу, темно заросшую каштанами, зашагал по пустынному тротуару под чужими окнами, оглушая себя стуком своих шагов; и только когда впереди заблестел росой незнакомый, сплошь заросший травой пустырь, каркас разрушенного дома, тут только он остановился, обливаясь потом, не зная, куда пойти.

«Куда? Где переночевать? Куда теперь?..» — соображал он и, поспешно отряхнув мокрые, облепленные лепестками брюки, двинулся торопливыми шагами наугад — к вокзалу.

Когда он подходил к вокзалу, небо над домами краснело, нежно золотились кроны каштанов вдоль улицы, заспанные дворники уже звучно шаркали метлами по брусчатке мостовых.

И это тихое летнее утро с легчайшей розоватостью прозрачного воздуха немного освежило Константина.

Среди толчеи, смешанных звуков и запахов утреннего вокзала Константин окончательно пришел в себя — длинная очередь шумно толпилась у кассы на Москву; окошечко было наглухо закрыто, висело объявление: «Касса справок не дает». В очереди ему сказали, что билетов на сегодня нет, что стоят за семь суток, что, возможно, будет на сегодня лишь несколько мест за час до отхода ночного поезда. А он твердо знал, что должен был уехать отсюда, уехать сегодня, чего бы это ни стоило, уехать хоть в тамбуре, хоть на крыше, хоть на тормозной площадке товарного вагона.

Четверть часа спустя он сдал чемодан в камеру хранения и теперь со спокойным лицом вышел на привокзальную площадь, уже людную, уже южно блестящую солнцем, жарким лаком легковых такси, стеклами ранних и еще свободных автобусов, и некоторое время постоял на площади, окаймленной кипевшей зеленью.

Еще не зная, что делать, он перешел площадь, затем на привокзальной улице сел в маленький полупустой трамвай, поехал к морю, в Аркадию. Трамвайчик, гремя, проворно катился в утренне-прохладном зеленом туннеле каштанов, из открытых окон упруго дул в лицо легкий душистый ветер, и Константин думал: «Убить время до вечера».

Он заплыл далеко от берега в теплой полуденной воде.

Впереди на море серебрились солнечные поля, темные и сияющие косяки уходили до туго натянутой нити горизонта; там шел, дымил в синей бесконечности белейший пароход, постепенно опускался за край знойной синевы.

Константин плыл не спеша, наслаждаясь запахом воды, движением своего сильного тела, своим дыханием; зеркальное сверкание солнца на мелких волнах щекощуще ослепляло его.

Он с фырканием окунался в это игривое сверкание, в эту свежесть и влагу; лицо, волосы были мокрыми, мокрыми были ресницы, и все от этого вокруг расплывалось в мягкой радуге. Он увидел, как зеленая вода обтекала его покрасневшие от долгого лежания на песке плечи, и вдруг задохнулся от полного ощущения молодого здоровья, от удовольствия жить, дышать, чувствовать свое послушное тело.

«Неужели все так могло кончиться?» — подумал он, и на секунду исчез радужный блеск волн, сразу почувствовал под собой черную, холодную толщу глубины. Тогда он перевернулся на спину, отдыхая, и его охватило неограниченное летнее небо с белыми дымками облаков в выси.

«Что я хочу и что я вообще хочу?» — спросил он себя и, вспомнив ночь, озяб в воде и злыми рывками, шумно выплевывая воду, поплыл к берегу в неосознанном порыве движения к людям.

Толчок необъяснимого одиночества гнал его к берегу — он плыл все быстрее, потеряв ровное дыхание; приближались ажурные здания санаториев, белизна тентов на пляже, накатывало оттуда теплым ароматом зеленых парков, но он, отплевываясь, чувствовал только рвотный вкус воды во рту и лихорадочно торопился ощутить твердое дно под ногами.

Когда, обессилев, пошатываясь, выходил из моря, здесь на мели пестрела, переливаясь под зеленой водой, галька, шуршала и звенела, перекатываемая волной, ударяла по ногам. А он лег животом на горячий песок, думая: «Мне бы еще раз встретиться с Быковым! Доехать до Москвы!..»

Он минут пять полежал так лицом вниз и повернулся на бок.

Стало немного легче. Вокруг гудение пляжа, прокаленные солнцем теневые зонтики, нагие шоколадные тела, смех девушек в купальных костюмах и резиновых шапочках, играющих в волейбол на песке, визг детей, барахтающихся в воде, знойное море, запах мокрых топчанов, на которых сидели во влажных плавках парни, стучали костяшками домино, из репродуктора над санаторием лились песенки джаза — все говорило о жизни праздной, курортной, южной.

В репродукторе защелкало, кашлянуло, ломкий голос заговорил солидно и бесстрастно:

— Внимание! Алик из Москвы, у входа на пляж вас ждет Надя с улицы Горького.

— Гражданка Желтоногова, у входа в санаторий вас ожидают муж и товарищ. Повторяю...

«Одесса», — подумал Константин.

Тогда он встал, поправил облепленные песком плавки, подошел к загорелым девушкам в купальных шапочках, обвораживающе усмехнулся:

— Среди вас нет гражданки Желтоноговой? Ах нет! Тогда разрешите постучать с вами в волейбол?

Ему не удалось достать билет, но удалось сесть на ночной поезд — его улыбка, вид разбитного парня, его ордена смягчили неприступную суровость проводницы. Его даже впустили в купированный вагон, на сидячее место, и он, довольный, радостный, потом уже, далеко за Одессой, сидя в купе этой молодой проводницы, сказал с иронически игравшей под усиками улыбкой:

— Не имей сто рублей, не имей сто друзей, а имей одну нахальную морду. Как вы считаете, дорогуша, у меня крупно наглая морда?

— Ну что вы! — Она прыснула стыдливым и намекающим смехом. — Вы очень интересный мужчина!..

Поезд несся сквозь ночную тьму; тьма эта густо шла за черными стеклами, в ярко освещенном спальном вагоне было комфортабельно, чисто, тепло, стрекотал вентилятор, вбирая папиросный дым, цветной коврик вдоль всего вагона мягко и приятно пружинил, из открытых купе уютно, сонно зеленели настольные лампы, дребезжали там ложечки в пустых стаканах, шуршали газеты, в одном играли в преферанс, звучали голоса, смех, а непроглядная темнота мчалась и мчалась мимо света окон, и шевелились от дрожания вагона белые занавески.

Константин, заглядывая в купе, улыбаясь, прошел до конца коридора и здесь, в туалетной с качающимся от скорости полом, плечом опершись о зыбкую стену, зло вынул толстый пакет из внутреннего кармана пиджака — он точно жег все время ему грудь, этот пакет.

Он нетерпеливо разорвал газету, увидел пачку сотен, тут же проверил замок в туалетной и бегло сосчитал деньги. Здесь было десять тысяч.

— Так, — сказал он, — все точно.

2

В Москве хлестал по улицам дождь, сильный, грозовой, неистово-летний, свинцово кипела вода на тротуарах, буйно плескала в канализационные колодцы. Потоки, бурля, катились по мостовой, мутными реками залили трамвайные рельсы, и трамваи, потонувшие колесами в наводнении, остановились на перекрестках; гроза согнала людей в ворота, к подъездам, прижала к витринам магазинов.

Константин, не доехав остановку, сошел с троллейбуса на Зацепе и целый квартал бежал под дождем, не разбирая луж, проваливаясь по щиколотку в дождевые озера, но, когда, до нитки промокший, вбежал в свой переулок, тяжело отпыхиваясь, на миг замедлил шаги, повторяя мысленно: «Привет, привет, Петр Иванович! Вот я, кажется, и вернулся».

Он был рад, что маленький их двор, весь в пелене летящей сверху воды, был пуст, — никто не стоял, не прятался от дождя под навесом крылец, и никто не видел его, он был рад, что дверь парадного была открыта, не надо было звонить. Он шагнул через порог в полутемный коридор, стремительно прошел мимо двери кухни и, не постучав, вошел к Быковым, на пороге выговорил, раздувая ноздри:

— Где Петр Иванович? Где он?

Серафима Игнатьевна в ситцевом переднике сидела около обеденного стола, грустно, медленно протирала полотенцем посуду. В комнате сумрачно, и сумрачно было на улице; быстрые струи барабанили, стекали по стеклу; бурлило, шепелявило в водосточной трубе под окном.

Увидев в дверях Константина, промокшего, в помятом, облепленном влажными пятнами грязи плаще, увидев его набухшие грязные ботинки, набрякшие водой брюки, ахнула, уронила

полотенце на посуду, зашевелила мягким ртом:

— Костенька... Костя... Что это?.. Что это?

— К дьяволу «Костенька»! — крикнул он, швыряя заляпанный грязью чемодан на ковер. — Где этот паук? Я спрашиваю — где? Где эта харя?

— Костя... Костенька, что ты? Что ты... на работе он... — поднеся к подбородку пухлые руки, как бы защищаясь, выговорила Серафима Игнатьевна. — Что, что ты?.. Разденься! Мокрый весь, господи!

— Ладно, — сказал Константин, посмотрел на свои ноги и вытер один ботинок о ковер на полу. — Ладно, — обещающе повторил он и вытер о ковер другую ногу. — Эта тряпка, кажется, стоит тысяч пять. Все равно — ворованная. Ясно? Дошло? А я подожду вашего супруга! — Он схватил чемодан, оглянулся бешеными глазами. — У меня есть время, милая Серафима Игнатьевна. Я подожду!

В коридоре он тоскливо замялся против двери Вохминцевых, не решаясь войти, стоял, пытаясь успокоиться, потом все же постучал несильно.

— Можно?

— Войдите.

Сергей лежал на диване, листал толстый учебник по горным машинам и одновременно, наматывая волосы на палец, сбоку заглядывал в тетрадь. Константин сначала, чуть-чуть приоткрыв дверь, увидел его утомленное лицо и пепельницу на стуле, заваленную окурками, вошел совсем бесшумно, спросил шепотом:

— Здорово. Ты один?.. Один?..

Отбросив книгу, Сергей пристально взглянул на Константина, опустил ноги с дивана, изумленный.

— Подожди, насколько я понимаю, ты удрал в Одессу? Ты откуда? Ну и видик у тебя, хоть выжимай! Что там, землетрясение? Раздевайся!

— Один? Больше... никого?.. — переспросил шепотом Константин, скашивая брови на дверь в другую комнату. — Аси и отца нет?

— Никого. Да раздевайся! Чихать начнешь завтра как лошадь. Вон влезай в отцовскую пижаму! — грубовато приказал Сергей. — Ну что стряслось? И вообще, что напорол с институтом?

— Плащ сниму, пижаму не надо, а под копыта дай старую газету — твоя Ася насмерть убьет за лужи! — И Константина передернуло. — Вот, Серега! Если я сегодня не изобью Быкова — понял? — буду последняя сволочь. Я влип, как цыпленок...

— Что? Куда влип? — Сергей нахмурился. — Говори яснее!

— Чемоданчик, который он мне сунул для дальнего родственничка, был не с маслом, не с хлебом — с отрезами бостона! И этот домик, куда я приехал, — спекулянтский. Удрал, как заяц, фамилию свою забыв!

— Дурак ты чертов! — выругался Сергей. — Совсем ошалел, что ли? Чемодан чужой повез... Ты что, не знал, что такое Быков?

— Пойдем, — попросил Константин, пощипывая усики. — Пойдем в павильон к Шурочке. Пообедаем. И поговорим...

— Никуда не пойдем!

Сгущались в комнате сумерки, дождь перестал, и лужи во дворе, влажный асфальт, мокрые крыши домов блестели, отражая после грозы тихое вечеряющее небо.

Сергей открыл форточку, свежо потянуло речной сыростью, звучно шлепались об асфальт редкие капли, обрываясь с карнизов. Он повторил:

— Никуда не пойдем. Пообедаем здесь. И поговорим здесь. Ты мне еще ни черта не объяснил, почему удрал из института. Завтра сдавать горные машины. Знаешь это? Или спятил?

Константин с ироническим выражением полистал толстый учебник, насмешливо заглянул в записи Сергея, сделал движение головой, будто кланяясь в порыве светской благодарности.

— Целую ручки, пан студент, целую ручки... Вечер добрый. Желаю пятерку. Что ж, — он вежливо улыбнулся, — каждый умирает в одиночку. Но если уж ты стал равнодушным — наступил конец света. Целую ручки. — И, язвительно кланяясь, потоптался на газете, зашуршавшей под его грязными ботинками.

Сергей, не расположенный к шуткам, ударил его по плечу, заставил сесть на стул.

— Иди... знаешь куда? Гарольд Ллойд, юморист копеечный! Сиди, никуда не уйдешь. Пока сам не выгоню, понял? Будем обедать.

Но он не прогнал Константина ни через час, ни через два — сидели после обеда и разговаривали уже при электрическом свете, когда вспыхнули первые фонари на улице и во дворе зажглись в лужах оранжевые квадраты окон.

— Так где эти деньги? — спросил Сергей.

— Вот. Десять тысяч. — Константин достал из внутреннего кармана пачку, положил на стол.

— Вот они, десять косых.

— Спрячь, — быстро приказал Сергей. — Кажется, отец!..

Хлопнула дверь парадного, шаги послышались в коридоре, потом — покашливание за стеной, стук снимаемых галош возле вешалки.

— Отцу ни слова, — предупредил Сергей. — Ясно?

— А! Знакомые все лица, и Костя у нас! — сказал Николай Григорьевич, входя с потертым портфелем и газетой в руке и близоруко приглядываясь. — Что-то ты редкий у нас гость! Обедаете? Отлично. Я перекусил в заводской столовой.

— Что значит перекусил? — возразил Сергей. — Когда?

Николай Григорьевич как-то постарел, особенно заметно это было после работы — пергаментная бледность, морщины усталости вокруг глаз; густо серебрились виски, сединой были тронуты волосы. В последние дни был он молчалив, рассеян, замкнут, тайно пил утром и перед сном какие-то ядовито пахнущие капли (пузырек с лекарством прятал за книгами в шкафу). По вечерам подолгу читал газеты, а ночью, ворочаясь, скрипел пружинами, при свете настольной лампы все листал красные тома Ленина, делал на страницах отметки ногтем, засыпал поздно.

— Ты сел бы с нами, отец, — сказал Сергей недовольно. — Я сам готовил обед. Консервированный борщ.

— И я вас давно не видел, — сказал Константин.

— Не стоит, я сыт. Не буду мешать. — Николай Григорьевич с предупредительностью кивнул обоим, прошел в другую комнату, за дверью тихо скрипнул стул, зашелестели листы газеты.

— Старик, кажется, болен, но виду не подает, — сказал Сергей вполголоса. — Все время молчит.

— Так, может, для старика схлопотать профессора? — предложил Константин. — Завозил одному дрова в сорок пятом. Телефон есть. Терапевт. Из поликлиники Семашко. Блат. А-а, вот и мой шеф! С фабрики приперся. Наконец-то!.. — вдруг сказал он и, привставая, словно бы поставил кулаком печать на столе.

Донеслись бухание парадной двери, громкое перхание, топот ног, с которых сбивали грязь, грузные шаги по коридору — и тотчас медленный темный румянец пятнами пошел по скулам Константина.

— Это он. Я пошел!

— Подожди! — задержал его Сергей и вылез из-за стола. — Что ему скажешь? Что будешь делать? Бить морду?

— Н-не знаю!.. Может быть. Здесь я не ручаюсь! — Константин блеснул заострившимися глазами на Сергея. — Что это за осторожность, Сереженька? Кажется, тогда, в «Астории», этой осторожности не было?

— Подожди! Вместе пойдем!..

В это время раздался басовитый, раскатистый голос из коридора: «Костя, Константин!» — затем вибрирующий стук в дверь, и в комнату суетливо втиснулся в неснятом, защитного цвета полурасстегнутом пальто Быков; от свежего уличного воздуха квадратное лицо розово; брови расплзались в настороженно-радостном удивлении; развязанный шарф болтался, свисал с короткой его шеи.

— Константин, вернулся, шут тебя возьми? Ты чего же от Серафимы Игнатъевны удрал, шалопай эдакий? — вскричал Быков, излучая весь добродушие, приятность, одни складки морщин беспокойно затрепетали над бровями. — А ну идем, идем! Обедать идем!

Он схватил Константина за локоть, потащил к двери, возбужденно посмеиваясь, и тогда Константин высвободился сильным движением и, загораживая дверь, стал перед Быковым.

— Я пообедал, благодарю вас, — выговорил он. — Вам привет от Аверьянова. И благодарность... За подарочек. Просил передать вам, что Кутепов засыпался с бостоном. А мне позвольте доложить: чесуча, чесуча идет! А не ваш бостончик!

— Что? Ты зачем?.. Зачем?.. Что такое? — задыхающимся басом проговорил Быков, дернул Константина за лацкан пиджака и начал багроветь — с полнокровного лица багровость эта переползла на глаза, на белках проступили жилки. — Какую ты глупость говоришь! О чем болтаешь?..

— Спокойно, Петр Иванович, без нервов! — Константин нежно отвел руку Быкова от лацкана пиджака, нежно-фамильярно потрепал его по чугунно напряженному плечу. — Я хочу вас спросить: значит, вы хотели, чтобы я транспортировал в Одессу ворованный вами бостон в чемоданчике и привозил вам денежки? И сдавал в сберкассу? Или вам лично? Вы хотели

сделать меня коммивояжером?

— Какая сволочь, какая паршивая сволочь! — с презрительным изумлением выдавил Быков и засмеялся. — Вы посмотрите на него — какая сволочь! — выдохнул он, обращаясь не к Константину, а к Сергею. — Вытащил его из дерьма, устроил... поил, кормил, как сына... Сволочь паршивая!.. Клевещешь? Клеветой занялся? А, Сергей? Послушай только!

— Когда моих друзей называют сволочью, я даю в морду! — резко сказал Сергей. — Это обещаю...

— Та-ак! — протянул Быков, опустив сжатые кулаки; щеки его затряслись от возбуждения. — Оклеветать захотели? Грязью облить? Сговорились? Вы в свидетели не подойдете, не-ет!.. Со мной — не-ет! Оклеветать?

— Вот свидетель! Вот ворованный бостончик! Держи-и... десять тысяч!

Константин выхватил из кармана пачку денег, со всей силой швырнул ее в грудь Быкову, пачка разлетелась, сотенные ассигнации посыпались на пол; Быков попятился, делая отряхивающие жесты руками, прохрипел горлом:

— Подлог? Деньги? Подкладываете? Ах вы, гниды! Оклеветать?.. Оклеветать?

Константин, надвигаясь на Быкова, топча грязными ботинками деньги на полу, проговорил сквозь зубы:

— Я... могу... попортить вывеску!.. Не шутя! Заткнись, идиот! Думаешь, не кумекаю, как делаются эти отрезики? Объясню!..

— Костя, подождите! Не трожьте его!..

Они оба оглянулись. Николай Григорьевич стоял в дверях, лицо было бледно, в подрагивающей руке — свернутая газета. Он серыми губами выговорил:

— Не надо, Костя, не марайте рук! С этим человеком надо говорить не так. Не здесь... В прокуратуре. Оставьте его.

— Та-ак! Оклеветать?.. Меня?.. — выкрикнул Быков, выкатив белки, и потряс в воздухе пальцем. — Поймать! Свидетелей сфабриковали? Не-ет! Деньги не мои! Номерок не пройдет, Николай Григорьевич!.. Я вам... вы меня семьдесят лет помнить будете! Я вас всех за клевету потяну, коммунистов липовых! Вы меня запомните... На коленях будете!.. Я законы знаю!

Он попятился к двери, распахнул ее спиной, задыхаясь, крикнул на весь коридор накаленным голосом злобы:

— Клеветники! За клевету — под суд! Под суд!.. Честного человека опорочить? Я законы знаю!..

И все стихло. Тишина была в квартире.

Константин со смуглым румянцем на скулах закрыл дверь, посмотрел на Сергея, на Николая Григорьевича. Тот, по-прежнему стискивая в кулаке газету, проговорил шепотом:

— Этот Быков... дай волю — разграбит половину России, наплевав на Советскую власть. Когда же придет конец человеческой подлости?

— Ты ждешь указа, который сразу отменит всю человеческую подлость? — спросил Сергей



едко. — Такого указа не будет. Ну что, что ты будешь делать, когда тебя оплевали с ног до головы? Утрешься?

— Не говори со мной, как с мальчишкой. — Николай Григорьевич слабо потер левую сторону груди, сказал Константину своим негромким голосом: — Соберите деньги, Костя. Ах, Костя, Костя, не подумали? Не надо было объясняться с Быковым, выкладывая ему карты, это все напрасно. Это мальчишество. Соберите деньги и немедленно отнесите их в ОБХСС или в прокуратуру. Это нужно сделать. Иначе к вам прилипнет грязь, не отмоетесь. Вы меня поняли, Костя?

— Я идиот! — яростно заговорил Константин, собирая с пола деньги, и постучал себя кулаком по лбу. — Экспонат из зоопарка! Слон без хобота! Зебра с плавниками!

— Хватит! Началось самоедство! — прервал Сергей раздраженно. — Будем кричать «караул»? Действуй, и все! Это отец, старый коммунист, боится, что к нему прилипнет грязь!

— Сергей! — с упреком произнес отец, и лицо его посерело. — Замолчи! — И очень тихо, виновато добавил: — Пожалуйста, замолчи...

Сергей увидел седину в его волосах, землистое, дернувшееся лицо, его руку, поднятую к левой стороне груди, к пуговичке на потертой и застиранной пижаме, сказал отворачиваясь:

— Прости, если это тебя...

И Николай Григорьевич как-то стесненно в грустно улыбнулся:

— Когда-нибудь ты поймешь, что значит для коммуниста душевная чистота.

Дверь захлопнулась — безмолвие исходило из другой комнаты, не доносилось шуршания газеты; затем скрипнули пружины: должно быть, он лег.

И этот звук пружин, и нахмуренное лицо Сергея, и видимое нездоровье Николая Григорьевича, и отвратительная сцена с деньгами, и ощущение своей легкомысленности и глупости — все это вызвало в Константине чувство стыда, неприязни к себе, будто пришел и грубо разрушил что-то здесь.

— Наворотил я тут у вас! — проговорил он. — Гнал бы ты меня к такой хорошей бабушке. Сам виноват — какая тут... философия? По уши в дерьмо провалился, так самому и расхлебывать это дерьмо! Не невинная девочка. Ладно, пойду.

— Подожди! — остановил Сергей. — Подожди меня. Накурился и зазубрился до тошноты. Ночь не спал над конспектами. Пойдем подышим воздухом... Отец! — позвал он, подойдя к двери. — Мы пошли. Слышишь?

Было молчание.

— Отец! — снова позвал Сергей и уже обеспокоенно распахнул дверь в другую комнату.

Отец сутулился возле письменного стола, позванивала ложечка о пузырек, в комнате пахло ландышевыми каплями.

— Иди, иди, я слышу.

— Тебе бы полежать надо, отец. Вот что!

— Оставь меня.

Сергей вышел.

Прижатая к крышам чернотой туч узкая полоса неба просвечивалась водянистым закатом. Было зябко, мокро, от влажных заборов несло запахом летнего ливня.

Они шли по тротуару под темными и тяжелыми после дождя липами.

— Ну, что думаешь делать? — спросил Сергей. — Как дальше?

— Не знаю. В наш железный двадцатый век длинные диалоги не помогают.

— Понимаешь, что ты наерундил? Решил бросить институт? Три года — и все зачеркнул?

— Сам, Серега, не знаю! Сяду опять за баранку. Надоело мне все! Вот так надоело!

Константин провел пальцем по горлу, оступился ногой в лужу, выскочил из нее, потряс ногой с остервенением.

— Везет! Все лужи — мои. Есть счастливцы, которым вся пыль — в глаза! Не проморгаешься... Ну а ты... Ты институтом доволен? Только откровенно. Или так — не чихай в обществе? Привычка?

— Привык. Уже привык. Даже больше, чем привык. Что морщишься?

— Ну?

— Что ну?

— Размышляю. Туды бросишь, сюды. Куда? Куда бедному мушкетеру податься? Откровенно? Баранку крутить — убей, надоело! Тоска берет, хочется лаять, как вспомнишь! Институт? Конспекты, учебнички — жуткое дело вроде разведки днем. Сидеть за партой — седина в волосах. Денег была куча, сейчас одна стипендия в кармане. Идиллия! А хочется какой-то невероятной жизни.

— Какой жизни?

— Вон, читай — дешево, выгодно, удобно! Это относится к таким, как я...

Константин рассмеялся, моргнул на рекламу авиационного агентства — неоновые буквы над корпусом электрического самолета вспыхивали, перебегали по высоте восьмизэтажного дома.

Они шли безлюдным переулком, в сыром воздухе отдавались шаги.

— Тогда что тебя тянет? — спросил Сергей. — Что тебя тянет, в конце концов?

Константин сплюнул под ноги, ответил полувесело:

— Ничего, Серега, ничего. Я как-нибудь... Я как-нибудь... Не в таких переплетах бывал. Было шоферство. Хотел создать независимость. Деньги — они дают независимость. А денег больших не скопил. А что было — будто швырнул в уборную. Четвертый год в институте — и не могу зубрить, не могу сидеть с умным видом за столом и изображать будущего инженера. Мне чего-то хочется, Сережка, сам не пойму чего? Ладно, кончено! Давай в кино рванем, что ли. Или куда-нибудь выпить!

— Ты как ребенок, Костыка, — сказал Сергей. — Брось сантименты, не сорок пятый год. Мы только начинаем жить. Это после войны все было как в тумане. Пойдем пошляемся по

Серпуховке, может, что-нибудь придумаем.

— Да, Серега, сорок девятый — не сорок пятый...

3

Они оба сдавали экзамены последними.

В опустевшей лаборатории горных машин было горячо и тесно от яркого солнца: блестели на столах металлические детали разобранных врубовых машин, маслено отливала новая модель горного комбайна; чертежи на стенах казались сияющими световыми пятнами.

Доцент Морозов в белых брюках, в белой, распахнутой на шее рубашке сидел поодаль экзаменационного стола, на подоконнике, со скрещенными на груди руками. Он не глядел ни на Сергея, ни на Константина — заинтересованно следил за игрой бликов на потолке, был, казалось, полностью занят этим.

Здесь была тишина, но в лабораторию отчетливо доносился крик воробьев среди листвы бульвара, звон трамваев, за дверью гудели голоса, колыхался тот особый беспокойный шум, который всегда связан с последними экзаменами.

На столах перед Константином и Сергеем лежали билеты.

— Ну, — сказал Морозов, — кто готов? Кто первый ринется в атаку? Кстати, подготовка по билету — фактор чисто психологический. Это не ответ по истории, по литературе, представьте. Там требуется оседлать мысль, влить в железную форму логики. Я признаю даже косноязычное бормотание. Без риторических жестов, без ораторских красот. Горные машины — это практика. Рефлекс. Привычка, как застегивание пуговиц. Знание, знание, а не ораторская бархатистость голоса. Ну, полустуденты, полуинженеры, кто ринется первый? Вы, Корабельников? Вы, Вохминцев?

— Разрешите немного подумать? — сказал Сергей, набрасывая на бумаге ответы по билету, и усмехнулся. — У меня нет желания очертя голову идти в атаку, Игорь Витальевич.

После вчерашней сцены с Быковым, после долгого разговора с Константином он сел за конспекты и учебник поздно ночью, когда уже все спали, лег в четвертом часу, совершенно не выспался, встал, чувствуя тяжелую голову, и не было в сознании той утренней ясности перед экзаменом, когда накануне пролистан учебник и прочитаны все конспекты.

Однако ему, казалось, повезло: неисправности угольного комбайна, металлические крепления, область применения их — все это помнил, но не в силах был нащупать точной и прямой последовательности, записывал на бумагу ответы, знал: Морозов по предмету своему ставил только или двойку, или пятерку.

— Может быть, вы, Корабельников, решитесь?

Морозов, продолжая с любопытством следить за бликами на потолке, помял пальцами тщательно выбритый подбородок, внезапно крикнул, словно бы обращаясь к матовой люстре над головой:

— Будьте любезны, Корабельников, выньте книгу из стола, не шуршите страницами! Не

нарушайте академическую тишину! Вы где служили, в разведке? Плохо конспирируете! Я не признаю такой конспирации! Позор! Что, времени не хватило? Зуб болел? Или вечером кого-нибудь провожали? Кладите учебник на стол и читайте в открытую! Это меня не пугает!

Морозов оттолкнулся от подоконника, зашагал длинными ногами не к столу Константина — в конец лаборатории, задержался перед дверью, зачем-то послушал гудение голосов в коридоре, и Сергей, не закончив писать ответы, посмотрел на Константина с беспокойством.

С потным лицом, покрытым смуглыми пятнами, Константин сидел, устремив взгляд на билет, одна рука лежала на столе, другая была искательно опущена. По всей позе его, по опущенной руке этой было видно: он «велико горел без дыма». Затем Сергей увидел, как Константин быстро вынул учебник из стола, положил поверх билета, решительно встал.

— Нет смысла, Игорь Витальевич. Все ясно.

По тому, как сказал это Константин, по тому, как проследовал по аудитории к Морозову и подал ему зачетную книжку, чувствовалась готовность на все.

— Ставьте двойку. По билету на пятерку не знаю.

Морозов сунул зачетную книжку в карман брюк, прочитал вопросы в билете Константина, бесстрастно спросил:

— Значит, по билету на пятерку не знаете? Ну что ж, я вам поставлю двойку, и вас снимут со стипендии. Это знаете?

Константин сделал неопределенный жест, и Морозов с убийственным спокойствием поинтересовался:

— Как будете жить? Что будете есть?

— Сапоги, — проговорил Константин. — Они помогут.

— Что-о?

— Продам великолепные новые армейские сапоги. Разрешите идти?

— Вот как? Сапоги? И портянки тоже?

Морозов размашистой походкой зашагал по лаборатории, пересекая солнечные столбы; он шагал и при этом нервно ударял ладонью по тупому корпусу комбайна, по столам, по деталям врубовой машины, говоря вспыльчиво:

— Какой из вас, к друзьям собачьим, инженер, если вы свое... свое... не знаете? Стыд и позор! Конец света! Буссоль небось знали? Знали! Иначе бы какой разведчик! Как вы приедете на шахту без знания техники? Стыд! Как? Что? Можете мне не знать ни искусство, ни литературу, но техника... техника! Что будете делать? Как уголь рубать — ручками, кайлом, топором, зубами? Великолепно! Просто великолепно! Милейший студент, слов не нахожу от восторга!

Морозов сел к столу, выкинул перед собой зачетку Константина.

— Значит, двойку хотите или кол вам вклеить за легкомысленность? И по всей справедливости... Учитывая ваше пролетарское происхождение и фронтовые заслуги!

— Как хотите, Игорь Витальевич, — равнодушно произнес Константин.

Морозов забарабанил пальцем по билету, заговорил внятно:

— Вот, вот, у вас первый вопрос — крепления в лаве! Что ж, не знаете? Значит, что же? Поставите крепления, на них кто-нибудь из шахтеров плюнет, харкнет, высморкается с чувством — и рассыплются ваши крепления в пыль! Завал! Людей погубите? Нет, убийца я из института не выпущу! Нет! Это уже за гранью! Нет и нет! Таких инженеров в нашем государстве не надобно! Может быть, вы не хотите учиться в институте? Вам надоело?

Стало тихо. Слышно было жужжание голосов в коридоре; сквозь листву бульвара пробился в лабораторию весенней трелью трамвайный звонок.

— Игорь Витальевич! — громко сказал Сергей. — Разрешите отвечать? Я готов.

Он не был готов, но уже не вникал в смысл билетных вопросов, — смотрел на смугло-красное лицо Константина, на раздраженное лицо Морозова, хорошо помня вспыльчивость и небыструю отходчивость доцента, который жестоко не прощал незнания системы креплений: был в связи с этим известен всему институту случай, когда он добился исключения студента на середине четвертого курса.

— Вы хотите отвечать? — отделяя слова, спросил Морозов. — Прекрасно! Давайте ваш билет. Корабельников, подойдите ко мне, не изображайте недвижимое имущество! Вы, Корабельников, и вы, Вохминцев, будете отвечать без билетов. Все вопросы в билете можете забыть. Вот так-то! Жалуйтесь хоть самому министру высшего образования, хоть богу, хоть дьяволу!

Морозов засунул билеты под экзаменационный лист, обвел Константина колющими зрачками, показал подбородком в сторону металлических стоек — креплений для угольного комбайна.

— Будьте любезны, подойдите к этим штуковинам, Корабельников. Що цэ такэ? Як цэ называется? Зачем вона, цэ гарна овощь? Ась?

Константин подошел к стойкам.

Сергею была знакома эта манера Морозова в моменты неудовольствия и раздражения коверкать язык, «гонять» по всему курсу, недослушивать, перебивать ответы, понял, что Константин сейчас «поплывет», и, чувствуя в себе какую-то злую, подмывающую уверенность, опять сказал настойчиво:

— Игорь Витальевич, разрешите мне.

Морозов откинулся на спинку стула не без интереса.

— Прекрасно! Значит, хотите своим телом закрыть амбразуру? Ну что ж, это даже любопытно. Посмотрим, широка ли у вас грудь. Корабельников, походите возле креплений, пощупайте болты и подумайте. Вохминцев, прошу вас. Представьте такую петрушку. Вообразите на мгновение: вы — главный инженер шахты. Сняли трубку, звоните в лаву. Спрашиваете: «Как комбайн, сколько заходов?» Бригадир гундит, он всегда будет гундеть в таких случаях: «Стоит, хоть черта дай, проверяем». — «Как стоит?» Вы каскетку на макушку, напяливаете робу — и в лаву. Там возня и кутерьма возле комбайна. Машинист сопит и, как всегда, лезет ключом в редуктор. В это время рабочие лавы, вполне возможно, могут в десять этажей материться и сыпать неприличные выражения на голову бригадира. А бригадир гундит: «Ребята молодые, неопытные», туда, сюда и всякие лирические слова... Ваше решение? Без развернутого ответа. Без подлежащих и сказуемых. Конкретнее! Работа остановилась, вся лава стоит!

Вот она, излюбленная манера Морозова предлагать вольный вопрос. Сказав это, довольно ухмыльнулся, мелькнула лихая щербинка меж передних зубов, и Сергей на мгновение почему-то подумал, что вот так он, Морозов, бегал в войну по лавам Караганды, и, уже точнее

подбирая слова, внутренне готовясь к следующему вопросу, ответил намеренно неторопливо:

— Проверить цепь, нужный для нового пласта наклон зубков. Возможна заштыбовка. Это первое... Самое же примитивное — соседняя лава перебивает напряжение. А второе...

— Стоп, стоп! — не утверждая, не отрицая, оборвал Морозов и остро уколол зрачками Константина. — А вы как думаете-полагаете?

Константин затоптался около стоек, покусал усики.

— Вполне возможно...

Морозов хмыкнул, не дал договорить:

— Почему так неуверенно? Вохминцев, покажите, как это делается. Детально покажите. И быстро. На вас глазуют рабочие лавы. Ошибетесь — ваш инженерский авторитет превратится в пшик! В мыльный шарик!

Сергей ожидал иного каверзного вопроса, однако ему вторично повезло. Но теперь, сознавая, что он, не ошибаясь, объяснит все детально и точно, Сергей нарочито замедлил движение, прокручивая цепь комбайна, не спеша отвечал и одновременно надеялся, что эта его неторопливость поможет Константину сосредоточиться, но вместе с тем вдруг показалось ему, что после невезения с билетом было уже Константину все равно.

— Стоп, стоп! — Морозов опять перебил Сергея. — Медленно! Медленно закрываете грудью амбразуру. Все, все! С вами все! Где ваша зачетная книжка! Дайте ее сюда. Оставьте ее здесь. И прошу вас выйти из аудитории!

Сергей не ожидал этого.

— Я думал, вы зададите третий вопрос, — проговорил Сергей, уже испытывая раздражение к декану, к его нервному тону, будто Морозов намеренно взвинчивал, дергал и его и Константина. — Вы не даете сосредоточиться, Игорь Витальевич. Дайте Корабельникову подумать. Сколько он хочет. Здесь не мотоциклетные гонки.

— Вон ка-ак! — Морозов привстал, вытянул шею из воротника апаш. — Гонки? Я иного мнения. Противоположного. Чушь ерундите! В жизни вам некогда быть тугодумом! Двадцатый век с его планами стремителен. Инженер-эксплуатационник должен с быстротой молнии принимать решения. Должен знать производство, как родинки на лице жены. Возражаете, нет? Наши недостатки идут от тугодумства, из негибкости, из незнания! Больше поворотливости, больше инициативы, находчивости — вот основное для инженера! Покиньте аудиторию, Вохминцев! Немедленно! И в болото ваш либерализм! Не ожидал от вас!.. Выйдите!

— Выйди, — попросил Константин и азартно и зло обернулся к Морозову. — Что ж, спрашивайте, Игорь Витальевич, задавайте вопросы. Хуже чем на тройку не отвечу. Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей... Задавайте вопросы.

— Бойтесь потерять стипендию?

— Я не миллионер, Игорь Витальевич.

— Ну что ж, попробуем! Слова не мальчика, но мужа! Готовьте боеприпасы к контратаке!

Сергей, удивленный внезапной решимостью Константина, в молчании положил на стол перед Морозовым зачетную книжку, взглянул на Константина, увидел какое-то отрешенное,

улыбающееся его лицо и вышел из лаборатории.

В коридоре шумно, сильно накурено.

Уже сдавшие экзамен студенты стояли возле окон, сидели на подоконниках, залитых солнцем, ходили по коридору компаниями, ожидая последних, кто еще мучился над билетами в опустевших аудиториях, договаривались, чтобы всем, собравшись, пойти в ближний прохладный бар в подвале, с чувством сброшенного груза и свободы выпить, закусывая сосисками, по кружке холодного пива, — так обычно завершался экзамен.

Как только Сергей вышел, к нему, спрыгнув с подоконника, вразвалку подошел низкорослый Косов, в морской фланельке, тесной на крутых плечах, и следом Подгорный, небритый, добродушно суживая золотистые глаза; спросили почти одновременно:

— Ну как? Порядок, Сережка? Или нулевая позиция?

— Пока не знаю. Кажется, Костя сыплется с великим треском. Морозов вскипел, когда Костя добровольно согласился на двойку. У него — система креплений. Морозов больше читал нотаций, чем спрашивал.

— Признак не шибко. — Подгорный озадаченно пощупал редкую щетину на щеках. — Влепит чи не влепит двойку?

— Возможно, — ответил Косов. — Обрати, Сергей, на этого танкиста внимание. За бритву не брался все экзамены. Под Льва Толстого работает. Эпигон.

— Та я ж и на фронте перед боем не брился, — не сердясь, сказал Подгорный. — Такая привычка. Не могу! Уверенность должна быть. Як же Костька-то, поплыл?

— Подождем.

Косов протянул Сергею пачку «Беломора», дорогую, не по студенческим деньгам, купленную, видимо, в честь завершения последнего экзамена. Закурили около распахнутого окна, на теплом ветерке, рядом с тяжелой дверью лаборатории — оттуда не доносилось ни бегло спрашивающего голоса Морозова, ни ответов Константина, как будто разговаривали там шепотом. А тут в коридоре гудели голоса, солнце по-летнему припекало подоконники, открывались и закрывались двери аудиторий, потные, счастливые, сдавшие экзамен студенты победно потрясали зачетками, хлопали друг друга по плечам, облегченно хохотали. И Сергей почему-то с отчетливой ясностью подумал: если Константин сейчас не сдаст Морозову горные машины, то немедленно, не раздумывая ни минуты, бросит институт.

— Братцы, пончики! В буфет привезли, горячие! Рубль штука. Расхватывают!

Подошли — весь круглый, с белесым лицом и желтыми островками конопушек на лбу Морковин, за ним Лидочка Алексеева, высокая и темноволосая. Оба они в бумажках держали поджаристые пончики; Морковин жевал, двигая набитыми щеками, мигал светлыми коровьими ресницами.

— Сдал? — спросила Лидочка, смело приблизилась к Сергею, улыбаясь, поднесла к его губам пончик. — Подкрепись, беденький... Голодный, наверно?

— Не видишь разве, я курю? — сказал Сергей, отводя лицо.

— О боже мой, когда ты перестанешь хмуриться, ужасно надоело! — сказала со вздохом Лидочка и дернула плечиками. — Кого вы ждете? Все сдали или кто-нибудь плывет?

Сергей не ответил.

— Наш Морозец сегодня ужасно не в духе, наверно, с женой поссорился, — весело сказала Лидочка Сергею. — Заставлял меня раз десять включать врубовку и все называл «уважаемая». А Володьку, милого нашего Морковина, совершенно замучил художественным описанием завала. «Ваши действия?»

Морковин, возбужденный, уселся на подоконнике; несмотря на жару, был он одет в полную студенческую форму, украшенную горными погончиками, сообщил, радостно ужасаясь:

— А знаете, братцы, когда пятерку ставил, такое лицо стало! Ну ровно тысячу рублей одалживал! Свирепствует!

— Не надо сдавать, кореш, экзамен вместе с женщиной, — наставительно заметил Косов, снизу вверх взглядывая на высокую Лидочку ясно-синими глазами. — Морозов не терпит женщин-горнячек. Нервы не те, писк, визг, батистовые платочки, а тут тебе — грубый уголь. Дошло?

— Что это? Что это у тебя за мозаика? — Лидочка стремительно отогнула край тельника, выглядывавшего из раздвинутого ворота косовской рубашки, и оттопырила губы, читая синюю татуировку на выпуклой его груди: — «Не забудь мать свою». Ха-ха! Кто тебя разукрасил? Мне казалось, ты парень из интеллигентной семьи.

— Женщина! — Косов снял Лидочкину руку, опять взглянул снизу вверх — она была на голову выше его. — Женщина, тебе известно, что я командовал взводом морской разведки? А во взводе у меня были и блатники. А я был мальчишкой, салагой, ходил, путаясь в соплях.

— Ну и что? И разрешил себя расписать? Какое художество!

— Женщина, мне нужно было держать их в руках. И я ходил на голове.

— Та що ты ей объясняешь? — заторопился Подгорный, встал у окна, поднял лицо к лучам солнца. — Та я знаешь що в танке возил, Лидочка? О, скажу — и не поверишь! В сорок первом. Я возил четыре мешка денег. Две недели я был миллионер. Похоже?

— А деньги куда же? — спросил Морковин, перестав жевать.

— Как куда? В какой-то штаб сдал. Выкинул из танка, и все.

— Фронтные воспоминания в перерыве между экзаменами, — засмеялась Лидочка. — Чудные вы, мальчики.

В это время дверь лаборатории распахнулась, в коридор шумно вышел Морозов с кожаной папкой под мышкой, следом Константин — смуглый румянец горел на скулах, темные волосы прилипли к потному лбу; в руке пухлая полевая сумка не застегнута, распирая ее, открыто торчали оттуда конспекты.

— Вохминцев, возьмите зачетку! — громко сказал Морозов. — Вы свободны, можете пить пиво и досыта наслаждаться жизнью. Ваша же зачетка, дорогой товарищ Корабельников, останется у меня как моральный задаток. Завтра в половине третьего зайдете ко мне домой. Предварительно позвоните. Все. Будьте здоровы.

И, даже не кивнув, зашагал по солнечному коридору, сквозь голубые полосы дыма, мимо группок толпившихся студентов, неуклюже высокий, в белой рубашке апаш, как бы смешно подчеркивающей его неловко длинную шею.

— Боже мой, какое все же золотце Морозов! — восхищенно воскликнула Лидочка, вытерла пальцы о бумажку, но никто не обратил на ее слова внимания — все окружили Константина.



Тот стоял несколько взволнованный, блестели капельки пота на запачканном маслом лбу, говорил, посмеиваясь, охрипшим голосом:

— Братцы, это был грандиозный кошмар! Лобное место времен Ивана Грозного! Гонял по всему курсу, не давая отдышаться. «Почему это? Для чего это? Зачем это?», «Представьте такое положение», «Вообразите следующее обстоятельство». Лазил на карачках возле комбайна и врубовки, нащупался болтов на всю жизнь. — Посмотрел на свои руки, темные от смазки, с изумлением. — В годы своего шоферства никогда так лапы не замазывал. Ну и Морозец! Он, ребята, одержимый. Он в темечко контуженный техникой. Фу-у, дьявол! Чуть живьем не съел.

Он, отдуваясь, все посмеивался, все разглядывал свои руки, и ясно было, что он зол, с трудом скрывает неприятное ему волнение; и Сергей сказал, оживленно хлопнув Константина по плечу:

— Пошли на бульвар. Выпьем газированной воды. Идемте, я угощаю, — предложил он, подмигивая Косову и Подгорному.

— Ты, кажется, меня не приглашаешь? — спросила Лидочка безразличным тоном. — Как это благородно!

— Даже учитывая эмансипацию, у нас мужской разговор, — сказал Сергей. — Фракция женщин может оставаться на месте.

— Не лезь к ним, Лидка. У них фракция фронтовиков, — проговорил Морковин, сидя на подоконнике.

4

Бульвар был полон студентами всех курсов, успевших и еще не успевших сдать экзамены: везде сидели на скамьях, разложив конспекты на коленях, лихорадочно долистывали недочитанные учебники, и везде стояли группами посреди аллей, загораживая путь прохожим, разговаривали взбудораженными голосами, охотно смеялись, радуясь тому, что «свалили экзамен», что уже было лето.

Возле тележки с газированной водой в пятнистой тени лип вытянулась очередь, звенела мокрая монета, шипела, била струя воды в пузырящиеся газом стаканы. И от мокрых двугривенных, от этого освежающего шипения, от прозрачного вишневого сиропа в стеклянных сосудах веяло приятно летним: знойным и прохладным.

С удовольствием и расстановками выпили по два стакана чистой, режущей горло газировки; Константин, раздувая ноздри, вылил второй стакан на испачканные в машинном масле руки, вымыл их, вытер о молодую траву, сказал превесело:

— Ну что, в Химки, что ли, купаться поедем? Или куда-нибудь в Кунцево?

— Пока сядем здесь, — предложил Сергей. — Позагораем.

Сели на горячую скамью. Константин освобожденно расстегнул на груди ковбойку, отвалился, глядя на испещренную слепящими бликами листву над головой, дыша глубоко, с медленным наслаждением.

— Братцы, а жизнь-то все-таки хороша, — сказал Косов. Он подкидывал в воздух влажный двугривенный и ловил его.

— Особенно потому, что райской не будет, — пробормотал Константин.

Подгорный, нежась на солнце, весь обмякший от жары, размягченный, хитро и благостно зажмурился, словно хотел сказать что-то и не говорил.

— Оптимисты, дьяволы, — снова пробормотал Константин. — Жертвы суеверия.

— Нет, хлопцы, я вам должен сказать, — заговорил Подгорный с блаженной ленцой. — Скоро планета Юпитер вспыхнет солнцем, научно доказано, много водорода. Появятся над нами два солнца — вот тогда будет жизнь!

— Деваться будет некуда, — сказал Косов.

— Да вы что, температурите? — спросил зло Константин. — Градусники купили в аптеке?

— Вот что, Костька, — проговорил Сергей, — Морозову ты должен сдать. Что бы это ни стоило. Беру на себя всю теорию. Буду гонять тебя по системе креплений весь вечер. Завтра утром ты, Костька, приедешь в институт, запрешься с Косовым в лаборатории, и он погоняет тебя по деталям и неисправностям. Он запарится, поможет Подгорный. Приемлем план?

— Куда ж денешься, — сказал Подгорный, сладостно, лениво позевывая. — Таки дела в танковых частях...

— Ну, устроим утром аврал? — Косов, поймав в воздухе монету, зажал ее в кулаке, прицелился на Константина жарко-синим глазом: — Ну, орел или решка?

— Вы что меня атаковали? — произнес Константин, все наблюдая пеструю путаницу солнца и теней на листве. — Нажим партийной группы на беспартийного большевика? Но таким образом я превращусь в фикус с желтыми листьями. Плюньте на все — поедем в Химки!

— Брось, — сказал Сергей. — Поехали домой. Поехали, Костька.

— А ну, р-раз — майна, вира! От-торвем от предмета!

Косов захохотал, сильным движением сдвигая со скамьи разомлевшего от усталости Константина. И тотчас Подгорный с другой стороны начал подталкивать его в бок, заговорил убедительно:

— Та шо мы тебе, подъемные краны? Соображаешь чи не?..

— Хватит тут меня щупать, я вам не болт крепления. Уцепились — в рукавицах не оттащишь! Вы что, святые?

Константин поднялся в расстегнутой до пояса ковбойке, с видом плюнувшего на все человека засвистел сентиментальный мотивчик, но сейчас и этот свист, и обычная его полусерьезность раздражали его самого, как раздражали слова Сергея, лениво-добродушные взгляды Подгорного, и низкорослая фигура Косова, и эта их вынужденная уверенность в том, что все будет как надо.

И вдруг Константин особенно почувствовал, что у него пропал, стерся интерес к завалам, креплениям, комбайнам, штрекам, лавам, циклам — ко всему тому, к чему был интерес у них. «Что же делать? Что делать тогда?»

— Что ж, Сережка, приду домой, включу радиолку, и все будет в ромашках и одуванчиках, —

с обычной своей беспечностью сказал Константин. — И все великолепно.

— Это как раз не удастся, — ответил Сергей. — Поехали.

— Привет коллегам! Как дела? Свалили?

От группы студентов, идущих навстречу по аллее, отделился Уваров. Его синяя шелковая тенниска облегла чуть покатые плечи; его мускулистые, со светлым волосом руки, крепкое лицо были тронуты первым загаром — вид спортсмена, приехавшего с юга.

— Свалили машины, гордость третьего курса? — спросил он приветливо обоих. — Все в полном порядке или не хватило одной ночи? Ты, я слышал, Сергей, сразу поставил Морозова в нулевую позицию — пять с плюсом отхватил? Ходят слухи в кулуарах.

— Миф, — ответил Сергей. — Нулевых позиций и плюсов не было. Ну а на четвертом курсе?

— Все в кармане. — Уваров, улыбаясь, похлопал себя по карману тенниски, где лежала зачетная книжка; был он, видимо, в отличном, как всегда, настроении, доволен этими экзаменами, своим здоровьем, своим душевным равновесием. — Вы куда спешите, хлопцы?

— По хатам.

— Да вы что? — весело поразился Уваров. — Мы собрались отпраздновать это дело, присоединяйтесь! Пойдем в бар: здесь жарница, а там свежее пиво, раки, сосиски, а? Третьекурсники! Я против всяческой субординации. Даже Павел Свиридов пойдет. Как говорят, глава партийной организации будет держать на пределе, все будет в норме. Объединим два курса — ваш и наш — и тихо, мирно атакуем бар. Павел! — крикнул он. — Присоединяем к себе третьекурсников?

— Я не пью пиво. — Константин провел ребром ладони по горлу. — Меня тошнит от пива. Отрыжка. Икота.

— К сожалению, привет, — сказал Сергей. — Спешим домой. Обед стынет.

— Вы меня удивляете! Просто гранитные скалы! — засмеялся Уваров. — Видимо, тренируете силу воли.

— Что поделаешь — воспитываемся, — вздохнул Константин дурашливо. — Режим. Экзамены. Соседи по квартире.

— Жаль, хлопцы, просто на глазах гибнут лучшие люди, — сказал Уваров и тут же опять крикнул шутливо в сторону группы студентов, стоявших сбоку аллеи: — Слушай, Павел, выяснилось: в нашем институте есть студенты, нарушающие обычаи экзаменов. Предлагаю разобрать на партбюро со всей строгостью! Жаль, хлопцы!

Свиридов, отрывистым своим голосом разговаривавший в группе студентов, сухощавый, прямой, в очень плотно застегнутом новом кителе без погон, с нездорово желтым лицом, приблизился к Сергею, опираясь на палку-костылек.

— Куда вы, Вохминцев? Подождите минутку. Такой день... Разрешается пятерки отпраздновать. Что уж там!

— Ждут дома, — сказал Сергей. — Это невозможно.

Прежде, когда Свиридов преподавал военное дело, он не всегда носил китель, иногда появлялся на занятиях в черном, нелепо сшитом и неудобно сидевшем на нем гражданском костюме, но после того, как ушел по болезни в запас и стал освобожденным секретарем

партийной организации, военную форму носил постоянно, и в этом его упрямстве что-то нравилось Сергею: казалось, Свиридов не мог забыть армию, в которой ему не повезло. Ему было тридцать два года, но внешне он выглядел гораздо старше — давняя желудочная болезнь высушила, источила его.

— Есть люди, — сказал Константин уже на автобусной остановке, — есть люди, которые утром вместе с костюмом надевают на себя лицо. Не замечал?

— Ты о ком?

— Вообще. Некоторые всю жизнь носят маски. Цирк! Скрывают застенчивость — развязностью, наглость — смущением, эгоизм — ложным альтруизмом... А нужно ли вообще сдирать эти маски, Сережка? Зло сразу выскочит, как поплавок из воды. А?

— Не пожалел бы половины жизни, чтобы содрать эти маски.

— Тогда в первую очередь, Сережа, сдери эту маску с себя.

— Не понял. Какого черта!

— Часто тебе приходится терпеть? Или вы уже друзья с Уваровым?

— Ты весьма наблюдателен, Костенька!

— Но вы уже два года улыбаетесь друг другу. Философия случайности? Впрочем, Уваров — первостатейный малый: пятерочник, член партийного бюро, общественник, со Свиридовым — не разлей вода. Не кажется ли тебе, что этот парень вместе с костюмом надевает на лицо улыбку? — Константин щелкнул пальцами, подыскивая слова. — Улыбочка душевного парня — одежда! Ни с кем не хочет ссориться — мил всем! Голову наотрез — идет верным путем. На улыбочки и общительность клюют все! И ты клюнул.

— Хватит.

— А что хватит? Полагаешь, он забыл, как ты ему набил харю?

— Ерунда. Не хочу сейчас об этом!.. Давай садись в автобус, хватит!

...Он каждый день встречался с Уваровым в институтских коридорах, вместе сидел на партийных собраниях, вместе в перерывах курили около подоконников, и Сергей, казалось, привык к нему, смирился с чем-то, и уже не хотелось думать о прошлом — мысль об Уварове всегда вызывала тупую усталость, и каждый раз, когда он начинал думать о нем, появлялось злое ощущение недовольства собой. При встречах был Уваров простодушно-приветлив, подчеркивал свою особую расположенность и, как бы выказывая радость, улыбался ему: «Привет, старик!» Был он неузнаваемо другим, выглядел, казалось, моложе, чем пять лет назад, на фронте, — похудели щеки, отчего обострилось, но стало мягче лицо. И Сергей словно постепенно погас, притерпелся к этому новому, непохожему на того, встреченного после фронта Уварову, не было желания и сил возвращаться к прежнему, не было той непримиримости, которую он чувствовал в себе три года назад.

Только раз прошлой зимой на студенческом собрании он, сидя позади Уварова, увидел вблизи его сильную, упрямо неподвижную шею, край пристального, в задумчивости устремленного глаза — и что-то тогда оборвалось, сместилось в душе. И вновь кольнула прежняя ненависть. Он опять взглянул на Уварова — шея ослабла, край голубого глаза был покойно-улыбчив, Уваров оглянулся на Сергея, сказал доверительно: «Старик, не болит у тебя башка от этих бесконечных собраний? Я уже готов». Сергей молча и твердо смотрел на него, и было такое чувство, точно замешан был в чем-то отвратительном и противоестественном.

Через несколько дней это ощущение прошло.

5

— Хватит, Сережка, конец! — сказал Константин и, перегибаясь через подоконник, вылил из графина воду на голову. — Перестарались. Я уже перенасыщенный раствор, из меня сейчас начнут выделяться кристаллы. Я на пределе.

— Абсолютно?

— Окончательно. Нет, Сережка, хорошо все-таки поживали в каменном веке — никаких тебе шахт, никаких машин, сиди, оттачивай дубину и поплеывай на папоротники.

— Кончаем. — Сергей развалился в старом кресле, устало и не без удовольствия вытянул ноги. — Да, Костяка, неплохо было в эпоху первобытного коммунизма. Мечтай только об окороке мамонта — прекрасная жизнь. И все ясно. Ну и духота...

Все окна и двери были раскрыты, но вечерний сквозняк слабо тянул по комнате, папиросный туман вяло шевелился под потолком.

— Все ясно! Где вы, мамонты? — Константин захохотал, ударил учебником по стопу. — Все! С этим все! Перерыв, перекур, проветривание помещения. Виват и ура! Как будем разлагаться — радиолу крутанем и по случаю жары тяпнем жигулевского пива? Или наоборот?

— Сначала к Мукомоловым — на нас обида. Встретил утром. Приглашал обязательно зайти. Ясно?

— Согласен на все.

В комнате-мастерской Мукомолова по-прежнему пахло сухими красками, холстами, табачным перегаром, по-прежнему возле груды картин, накрытых газетами, белели стойками два мольберта перед окнами (к свету), бедно жались по углам старые, покорябанные стулья, на заляпанных сиденьях которых валялись тюбики красок, стояли баночки для мытья кистей: была все та же аскетическая обстановка в комнате. Но странно — она не казалась пустой: со стен внимательно и отрадно смотрела иная жизнь: наивное лицо беловолосой некрасивой девочки с большим ртом, но удивительно умными, мягкими глазами, рядом — знойный лесной свет солнца сквозь листву берез; первый снег в московском переулке, на снегу грязный след проехавшей машины; луговая даль после дождя. Сергея поражало противоречие, это несоответствие запущенности мукомоловской мастерской с полнозвучной жизнью картин, будто здесь, в комнате, жили лишь начерно, а на стенах — набело, ярко, счастливо.

Когда они вошли, Мукомоловы сидели при свете настольной лампы на диване, Федор Феодосьевич занимался тем, чем обычно занимался по вечерам, — сопя, подобрав под себя ногу, набивал табаком папиросные гильзы; Эльга Борисовна вслух, ровным голосом читала газету, то и дело поправляла черные, с проседью волосы, падавшие на висок.

— Эля! Кто к нам пришел! Ты посмотри — Сережа, Костя! Эля, Эля, давай нам чай! — Мукомолов вскочил, смеясь, долго двумя руками тряс руки Сергею, Константину. — Эля, Эля, Эля, посмотри, кто к нам пришел! Ты посмотри на них!

— Очень рада вас видеть, Сережа и Костя, — со слабой улыбкой проговорила Эльга Борисовна, свернула газету, сунула ее куда-то на полочку; смущенно запахнула мужскую, очень широкую на ее маленькой девичьей фигурке рабочую куртку, запачканную старой краской на рукавах. — Я одну секундочку... Только поставлю чай.

— Ну зачем беспокоиться, — сказал Сергей.

— Садитесь, садитесь на диван, садитесь! Вот коробка с папиросами, это крепкий табак! — вскрикивающим голосом заговорил Мукомолов и забежал подле дивана, спотыкаясь, задевая за подвернувшиеся края коврика на полу, и вдруг сильно закашлялся, сотрясаясь телом, прикурил папиросу, с жадностью вобрал дым, выговорил: — Ничего, ничего. Главное — вы пришли. Спасибо. Я рад. Это главное... Это большая радость!

Мукомолов задержался около дивана, тоскливыми глазами обежал лица Сергея и Константина, сконфуженный, вытер носовым платком пот со лба и выдавленные кашлем слезы в уголках век.

— Фу, жарко... Вы чувствуете — ужасно душны вечера, — проговорил он извиняющимся тоном и сел, сгорбясь, теребя бородку. — Ну как вы поживаете? Что новенького у молодежи? Как успехи?

— Все по-старенькому, если не считать экзамены и всякую мелочь, — сказал Константин.

— А как вы? — спросил Сергей. — Что у вас нового, Федор Феодосьевич?

Мукомолов подергал бородку, рассеянно разглядывая стершийся коврик под ногами, и как будто не расслышал вопроса.

— Простите, Сережа. Что у меня? Что у меня, вы спрашиваете? Дайте-ка мне газету, Костя! — встрепенувшись, воскликнул Мукомолов с деланной, вызывающей веселостью. — Там, на полочке, куда положила Эля! Вы читали газеты? Нет? Вот послушайте, что пишется. Вы только послушайте.

Он, торопясь, развернул газету, оглянулся на дверь, помолчал некоторое время, пробегая по строчкам.

— Ну вот, пожалуйста! Вот что говорит наш один деятельный художник: «Космополитам от живописи, людям без роду и племени, эстетствующим вырождакам нет места в рядах советских художников. Нельзя спокойно говорить о том, как глумились, иезуитски издевались эти антипатриоты, эти гнилые ликвидаторы над выдающимися произведениями нашего времени. Мы выкурим из всех щелей людей, мешающих развитию нашего искусства... Странно прозвучало адвокатское выступление художника Мукомолова, пейзажики и портреты которого напоминают, мягко говоря, вкус раскусанного гнилого ореха, завезенного с Запада. Однако Мукомолов с издевкой пытался...» Ну, дальше этот отчет читать не нужно, дальше идут просто неприличные слова в мой семейный адрес... Во как здорово! А вы как думали!

— Не понимаю. Это... о вас? — проговорил Сергей. — Я читал зимой о космополитах. Но при чем здесь вы?

— При чем здесь я, Сережа? Меня просто обвиняют в космополитизме, в отщепенстве. В чуждых народу взглядах... Вот и все.

Мукомолов быстро стал зажигать спички, ломая их, глубоко затянулся, выдохнул дым, вместе с дымом выталкивая слова:

— Началось с того, что я пытался защитить одного критика-искусствоведа, его обливали грязью. Но я его знаю. Все неправда. Этому нельзя верить. Шум, свист, топанье — ему не

давали говорить. Ему кричали из зала: «Ваши статьи — это плевок в лицо русского народа!» А это культурный, честный, с тонким вкусом человек, коммунист, уважаемый настоящими художниками, смею сказать. Кстати, он тяжело заболел после этого полупочтенного собрания. И что, вы думали, было сказано после этого? — Мукомолов отсекающе махнул зажатой в пальцах папиросой. — Один наш монументалист на это сказал: «Нас инфарктами не запугаешь». Вот вам!..

Константин, с грустным вниманием слушая Мукомолова, положил ногу на ногу, слегка покачивал носком ботинка.

Сергей, хмурясь, спросил:

— Но почему... в чем обвиняют вас? Именно — в чем?

— Не знаю, не могу понять! Чудовищно все это! Мне кричат, что мои пейзажи — идеологическая диверсия. Что я преклоняюсь перед западным искусством, что я эпигон Клода Монэ! Но где, в чем влияние Запада? — Мукомолов недоуменно повел бородкой по картинам на стенах. — Не знаю, не понимаю. Ничего не понимаю.

Мукомолов сказал это уже с каким-то отчаянием и тотчас, спрятав газеты на полочке, преобразился весь: через порог, поправляя одной рукой волосы, мелким шагом переступила Эльга Борисовна, неся чайник. Мукомолов кинулся к ней, неловкий в своей старой расстегнутой куртке, подхватил чайник, с излишним стуком поставил на стол — тень Мукомолова качнулась на стене, по картине, — воскликнул с оживлением:

— Спасибо, Эленька! Будем чаевничать напропалую. Чай великолепно действует против склероза и, несомненно, омолаживает организм.

И тут же, опережая Эльгу Борисовну, начал молодо бегать от низкой застекленной тумбочки, заменяющей буфет, к столу, ставя чашки, бросая ложечки на старенькую скатерть. Эльга Борисовна, все проводя рукой по волосам, как бы прикрывая седые пряди, сказала смущенно:

— Почему вы сидите без света? Со светом веселее и лучше.

И повернула выключатель — зеленый, еще довоенный абажур над столом наполнился огнем. В комнате стало теснее: портреты, лесные и полевые пейзажи, казалось, придвинулись со стен, раскрытые окна превратились в черные провалы.

Сергей смотрел на Мукомолова, вытирал пот на висках. Теплые струи воздуха, запах нагретого асфальта вливались в духоту комнаты. Мукомолов наклонился над столом, нацеливая дрожащий носик чайника в чашку. Было тихо, жарко, все молчали. Крутой чай с паром лился в чашку. От пара, ползшего по скатерти, от молчания, от смущенной улыбки Эльги Борисовны было еще жарче, теснее, неудобнее, и еще более неудобно было Сергею оттого, что он не понимал до конца злой смысл того, о чем говорил сейчас Мукомолов, лишь чувствовал, что где-то рядом совершалось противоестественное, неоправданное, ненужное. Ради чего?.. Зачем?

— Идеологическая диверсия... — вспоминающим голосом заговорил Мукомолов, наливая чай в другую чашку.

— Федя! — с испуганной мольбой проговорила Эльга Борисовна и прикрыла глаза сухонькой ладонью. — Умоляю, оставь эту тему... Федя, я тебя прошу...

— Эленька, я старый человек, и мне нечего бояться, — рассерженно фыркнул носом Мукомолов. — О, наше молчание, равнодушие не приводят к добру! Ну хорошо, я не скажу ни

слова. Я буду молчать, как старый шкаф!

И Мукомолов неуспокоенно тыльной стороной пальцев ударил снизу по бородке.

— Я знаю, что с тобой будет, — чуть слышно сказала Эльга Борисовна. — За вчерашнее выступление, Федя, тебя исключат... выгонят из Союза художников. Что мы будем делать? Что?

В голосе ее внезапно зазвенели слезы, и сейчас же Мукомолов трескуче закашлялся и преувеличенно живо, бодро заходил вокруг стола; наконец, преодолев приступ кашля, он забежал в угол, где лежали гантели и гири, там вытянул руку, согнул в локте и, сощурился, с детской наивностью пощупал свои мускулы.

— Ну и что? У меня хватит силы! Пойду в декораторы. Нам много не надо — проживем!

— Вы видели этого сумасшедшего? — тихо спросила Эльга Борисовна.

Мукомолов присел к столу, покрутил ложечкой в стакане, отхлебнул, благодарно покивал Эльге Борисовне и, видимо утоляя жажду, выпил в несколько глотков весь стакан, сказал:

— Ах, как хорош космополитский чай!

— Все это пройдет, — неотрывно глядя на чашку, к которой не притронулась, произнесла Эльга Борисовна. — И не надо портить настроение мальчикам. Витя бы тебя тоже не понял... Просто, Федя, произошла ошибка... Все пройдет, все успокоится.

— Ошибка, Эленька? Может быть! Но никто не хочет таких ошибок! — воскликнул Мукомолов и протестующе отодвинул стакан. — Чудовищно все! Чудовищно, потому что несправедливо!

Громко закашлявшись, Мукомолов вскочил, подошел к окну и там, сгорбясь, закинул руки за спину, сцепил пальцы. Потом плечи его поежились, он плечом неловко стер что-то со щеки и снова, решительно распрямив спину, сцепил пальцы на пояснице.

Сергей и Константин переглянулись; этот жест Мукомолова, это движение плеча к щеке, и неуверенные слова Эльги Борисовны «все пройдет» неприятно и остро ожгли Сергея, и он сказал вполголоса:

— Что бы ни было, Федор Феодосьевич, я бы боролся... Здесь какая-то ерунда и ошибка.

Он произнес это, злясь на себя за чужие, ненужно бодряческие слова, за то, что ничем не мог помочь и еще не мог полностью осознать все. Он знал только одно — была открытая и жестокая несправедливость в отношении безобидно тихой семьи Мукомоловых, всегда связанной в его памяти с именем Витьки. И, сказав об ошибке, он верил, что это не может быть не ошибкой.

— Я не такими представлял космополитов, как вы, Федор Феодосьевич, — добавил он; — Ерунда ведь это.

— И на этом спасибо, Сережа, — пробормотал Мукомолов.

Но он не отошел, не повернулся от окна, все сильнее сцепляя за спиной пальцы. Эльга Борисовна, опустив глаза, трогала маленькой ладонью угол стола, Константин ложечкой рисовал вензеля на скатерти.

Молчали. Они поняли, что им нужно уходить.

— Спокойной ночи, Федор Феодосьевич.



— Спокойной ночи, Эльга Борисовна.

Когда несколько минут спустя они поднялись на второй этаж в комнату Константина, Сергей упал в кресло, вздохнул через ноздри и грубо выругался. Константин извлек откуда-то из глубин буфета две бутылки пива, заговорил с усмешкой:

— Н-да, успокоили, называется, старика... Ему наши жалости — до лампочки. Нет, у нас не соскучишься! — И он поставил бутылки на стол, отчаянно щелкнул пальцами. — Все равно жизнь продолжается. Выпьем, Сережа? Остались две последние. Из энзэ. Остатки студенческой роскоши.

— Давай выпьем. Что происходит, Костыка?

— Обычный перегиб палки! Подожди. А что от Нины? Письма, телеграммы? Мне хотелось бы ее сейчас увидеть. Улыбка женщины успокаивает. А, чуть говорю, из какой-то оперетты.

— Нина на Урале, Костыка.

6

В конце июня Сергей шел один из института к метро.

В глубине узких темнеющих переулков особенно чувствовался летний вечер с жарковатым запахом пыли.

Он шел мимо высокого забора, над которым и в зеленеющем небе висел среди верхушек лип острый, как волосок, молодой месяц; доносились из-за деревьев крики задержавшейся волейбольной игры, удары мяча. Возле одного крыльца вспыхивал огонек, темнели силуэты: девушка в белых босоножках сидела на раме прислоненного к перилам велосипеда, парень, обнимая ее, зажигал и гасил ручной фонарик; девушка кротко взглянула на Сергея, помотала ногой, с улыбкой отвернулась.

Ему некуда было торопиться. Он любил в поздние сумерки бродить по москворецким переулкам.

Он вышел к метро, долго стоял перед витриной «Вечерки», потом долго читал объявления на афишной будке: не хотелось домой, не хотелось спускаться в метро, в сквозниковый подземный воздух, уходить сейчас от этих тихих летних сумерек, от пыльного заката, угасающего за площадью.

В институте было собрание перед каникулами и практикой, длинная речь директора, студенческий капустник, танцы, буфет, дешевые бутерброды, духота, разговоры. Он устал, и после разговоров, и после суеты институтского зала было приятно стоять здесь, около метро, — овеивало будоражащим воздухом вечера, и была свобода и совсем неожиданное одиночество. Он испытывал неясное удовлетворение — все кончилось, цель достигнута, экзамены сданы. «А дальше? А дальше что? Летняя практика на шахтах? Да, практика. А дальше? А Нина? Когда я ее увижу?»

Он знал, что скоро увидит ее.

И ему хотелось стоять здесь, возле метро, читать заголовки газет вперемежку со свежими

афишами, но читал он невнимательно: об испытании американцами атомной бомбы на островах Тихого океана, о солдатских сборах западногерманского «Стального шлема», о начавшихся концертах Московской филармонии, о летних гастролях Аркадия Райкина в саду «Эрмитаж» — заголовки газет кричали, рекламы концертов успокаивали, говорили о жизни обычной, мирной.

В этот теплый вечер лета были, казалось, прозрачная тишина, умиротворение, покой во всем.

Нина должна была приехать в начале июля. Он знал, что скоро ее увидит.

В конце марта ранним утром он проводил Нину до такси и, не стесняясь шофера, поцеловал ее.

— Это вообще какая-то глупость: ты должна уезжать каждый год? И всегда к черту на кулички — Урал, Сибирь, Бет-Пак-Дала.

— На вокзал не провожай. За минуту на вокзале можно возненавидеть друг друга. В Бет-Пак-Далу еду первый раз — ты это знаешь. После Урала заеду туда на неделю. Меня посылают. Вот и все.

— Кажется, твой муж там? — спросил Сергей очень спокойно.

— Его снимают и переводят.

В уголках ее губ проступили морщинки, и эти морщинки, впервые увиденные им, были почему-то неприятны ему, но он ответил с нежностью:

— Мне неважно это. Я жду тебя, Нина. Счастливо, в общем.

Когда она поцеловала его и села в такси и машина, завывая мотором, свернула за угол, улица стала неправдоподобно пустынной, серой, на подсыхающих мостовых стояла ранняя мартовская тишина. В этой тишине белым, усталым за ночь светом горели фонари, и далеко на вокзалах перекликались гудки паровозов. Он представил: где-то на окраинах Москвы начиналось полное утро, мокрые от тумана поезда пришли на рассвете, ожидая, шипели на путях; и крыши вагонов, и платформы холодны, влажны по-весеннему.

И он представил, как она вошла в теплое купе вагона Москва — Свердловск, уже вся отделившись от него, от прошедшей ночи, когда они оба ни часу не спали, — и без цели зашагал по гулкому тротуару Ордынки.

«Его снимают и переводят». Раз — прошлой осенью — муж ее прислал короткую и странную телеграмму, состоявшую из трех слов: «

Поздравь счастливой охотой », — и Нина, прочитав ее вслух и обратный адрес: «Почтовое отделение Жумбек», — сказала:

— Значит, у него не ладится с экспедицией. Тогда — страшная, истребительная охота. А потом плов и водка... Я ненавидела эту охоту. Но он там полный хозяин и это ценит больше всего. Набрал себе в экспедицию каких-то сорванцов. А ведь знаешь, он способный геолог, только разбросанный, несдержанный человек.

Он молчал, делая вид, что это не касается его.

Три года продолжалась их связь, и он хорошо знал ее, но порой она казалась старше, опытнее его, и он чувствовал едва заметную настороженность по ее чересчур внимательному взгляду в упор; по тому, как иногда звонила вечером из геологического управления, робко объясняя усталым голосом, что задержится сегодня и нет смысла приходить ему, только не нужно обижаться; по тому, как, идя с ним по улице, она задерживала глаза на лицах детей, мальчиков — и он видел, как размягчалось, становилось беззащитно-нежным ее лицо.

Однажды он спросил ее:

— Что с тобой, Нина?

— Ты действительно меня любишь? Ты никого не сможешь так, как меня?

— Я люблю тебя. Я не представляю, что бы со мной было, если бы я не встретил тебя тогда. Я прихожу к тебе и забываю все.

— И только-то, Сережа?

— Нина, мне даже приятно, когда ты молчишь. Наверное, такое бывает... к жене.

— И ты ни разу не сомневался, Сережа?

— В чем?

— Ну, в том, что я нужна тебе? Именно я...

— Ты спрашиваешь это?

Поднявшись на тахте, чуть наклонясь вбок, подобрав ноги, она пальцем кругообразно водила по стеклу звонко стучащего на тумбочке будильника. И наконец сказала полусонным голосом:

— Как-то не так у нас, Сережа.

— Что же не так? — спросил он.

— Пойми меня только правильно, я никогда не говорила об этом, — заговорила она с неуверенностью. — Нам нужно что-то делать, Сережа, что-то решать окончательно. Меня иногда унижает... вот это... то, что между нами три года уже. Я сама себе кажусь седьмым днем недели. Я хочу, чтобы ты понял меня... Я устала жить как на перекрестке, Сережа.

Он понял, о чем говорила она, и понял, что никогда серьезно не задумывался над этим. Он привык к тем отношениям, которые сложились между ними за эти годы. Нина сказала:

— Сережа, я начинаю думать, что тебе просто так удобно: приходить ко мне, когда тебе нужно.

— Ты не хочешь меня понять...

— А я уже так не могу.

В то раннее мартовское утро, когда он провожал Нину в экспедицию, когда она сказала, что ненавидит последние минуты на вокзале, Сергей возвращался с чувством внезапной и мучительной пустоты, он сознавал: все, что было связано с Ниной, должно быть решено им, а не ею.

Сергей вошел в вестибюль метро, постоял в очереди у кассы.

Впереди тоненькая, с выгоревшими волосами девушка звенела мелочью на вытянутой ладошке, и паренек в тенниске отсчитывал, застенчиво перебирал на ее ладошке деньги, отсчитал и протянул в кассу:

— Два билета, пожалуйста.

Лето в полную силу чувствовалось и под землей: рокот эскалатора, летящий сквозняк, пестрые платья, белые брюки, спортивные майки, молодые лица и руки, кофейно покрытые загаром, — все напоминало о золотистом песке дачных пляжей, о водной станции, накаленной солнцем, о взмахах весел, прохладном дуновении свежести по реке.

Эскалатор равномерно опускал Сергея, и он наслаждался этой механической плавностью движения.

Он стоял рядом с тоненькой девушкой: у нее были теплые, без блеска глаза, с нижней ступеньки она неподвижно смотрела на парня в тенниске, и он, облокотившись на поручень, смотрел на нее таким же долгим, размягченным взглядом, медленно краснея.

И Сергей невольно отодвинулся, как бы не замечая их робкой близости, которой они еще стеснялись: им было, видимо, по восемнадцати...

Полз, стрекотал эскалатор, сзади шуршал «Вечеркой», по-домашнему зевал в газету дачный мужчина в соломенной шляпе и, зевая, толкал в ноги Сергея сеткой, набитой консервными банками. Спеша подымались, плыли навстречу, перемещались лица на соседнем эскалаторе, веяло струей подземной прохлады навстречу Сергею. «Им по восемнадцати. А мне уже двадцать пять...»

— Простите, молодой человек! Вы что, не спешите?

Тугая сетка, набитая консервными банками, жестко нажала в бок, прошуршала, задев его, соломенная шляпа, и Сергей посторонился, навалиясь на поручни. И в ту же секунду что-то знакомое, светлое мелькнуло среди лиц на соседнем эскалаторе — он не ясно увидел, а почувствовал это знакомое, мелькнувшее там, — обернулся. Но тут ступеньки эскалатора ушли из-под ног, кончились, и силой движения вниз его толкнуло на каменный пол.

Вырвавшись, он протиснулся сквозь хаос бегущих от перрона к соседнему эскалатору толп. Еще не совсем веря, скользя глазами по быстро поднимающемуся потоку людей на ступенях, увидел удаляющийся вверх белый плащик, повернутое в профиль загорелое лицо, рванулся к перилам.

— Нина!..

«Она вернулась?!»

Он крикнул, но она не услышала его — эскалатор заглушил голос, — она только сняла серенький берет, тряхнула головой — волосы рассыпались по плечам. И что-то сказала, улыбаясь, стоявшему рядом человеку в кожаной куртке — была видна спина его, прямая шея. Он склонился к ней, и Сергей успел заметить незнакомое, дочерна выдубленное солнцем большое лицо, крупный и твердый подбородок... И Нина, и лицо это поплыли вверх, смешались в сплошном черно-белом потоке.

Сергей, с двух сторон стиснутый текущими к эскалатору людьми, уже чувствовал, что не мог обмануться, хотя увидел их так коротко, нереально, как будто их и не было.

— Гражданин, не мешайте!

— Вы тут... заснули? Растопырился!

Его толкали к эскалатору, его повлекло, как в водовороте. Он плечами попытался высвободиться из этой потянувшей его вперед тесноты, сделал несколько шагов вперед, и тугой людской поток понес его за собой на ползущие вверх ступени, и он стал подниматься, соображая: «Кто это, ее муж? Это он? Она вернулась с ним?..»

В вестибюле он сбежал с эскалатора, вглядываясь в толпу, в движущиеся лица, но здесь не было их. Он вышел из метро, торопливо достал сигареты, оглядываясь, сдерживая сбившееся дыхание. Площадь кипела легковыми машинами, переполненными троллейбусами, чернеющими около остановок пешеходами, неоновый свет лился на асфальт на головы людей.

И он увидел их. Они стояли на переходе через площадь, пропуская вереницу машин, — Нина без берета, в коротком плащике, широкоплечий, даже грузный, человек в куртке, держа чемодан, уверенно просунув руку под ее локоть, что-то говорил ей, и она чуть-чуть кивала ему.

«Значит, она вернулась с ним? Но она дала телеграмму: «Выезжаю днями»... Почему она дала неточную телеграмму? Значит, он вернулся?..»

Он уже твердо знал, что этот человек с дочерна загорелым лицом — ее муж, что она вернулась из экспедиции не одна. Он теперь увидел его и против желания чувствовал, что грубовато-резкая внешность этого незнакомого человека не вызывала в нем неприязни, и первое его неосознанное решение — подойти к Нине — мгновенно показалось ему сейчас непростительным мальчишеством, каким-то глупым шагом.

Вереница машин пронеслась, и он видел, как они перешли площадь, как человек в куртке поддерживал Нину под руку, как в такт походке волновался ее плащик, потерялся в сумраке вечера на той стороне площади.

Только тогда он двинулся по улице, и словно бы из пелены доходили до слуха гудки автомобилей, шум троллейбуса, кипение вечернего города, и возникала мысль, что вот здесь все кончилось, будто долго подымался по лестнице, счастливо торопился, затем с размаху открыл последнюю дверь, а за ней — провал, мертвенная пустота внизу...

«Нет! Не может быть! Не может быть!..»

7

— Я, ей-богу, умею держать утюг в руках, я не такой уж негодный парень, Асенька. И не пижон, поверьте. Наглаживал себе брюки с юных лет, научился этому мастерству в совершенстве.

— Ну что вы врете, Костя! — сказала Ася строго. — Ясно по вашим брюкам: вы их на ночь кладете под матрас. Не пускайте пыль в глаза. Вот пепельница. Можете сидеть, и курить, и наблюдать молча. Вы поняли?

Было десять часов вечера.

В комнате тихо, по-домашнему пахло снежной свежестью выглаженного белья, белейшей стопкой сложенного на краю стола. Ася в ситцевом сарафанчике, в тапочках на босу ногу — смуглые плечи обнажены — поспешила палец, осторожно потрогала зашипевший в ее руках утюг; помотала пальцами, стала гладить, от старательности высунув кончик языка; лицо озабоченно, капельки пота выступили над верхней губой.

— Ах, Ася, как вы жестоки ко мне! Ни в чем не доверяете. Вы смотрите на меня как на не приспособленного ни к чему балбеса. Прошу вас, не надо.

Константин ходил вокруг стола, смешливо косил брови, говорил жалобно, полусерьезно, однако не пытаясь, как обычно, вызвать у нее улыбку, смотрел на ее движения утюгом, на разгоряченное лицо, видел дрожащие росинки пота на верхней губе, втайне наслаждаясь и нежностью к этим чистым капелькам, и легкостью ее движений, — она не прогоняла его, как прежде, а снисходительно разрешала быть здесь, и он был рад этому.

— Ася, ей-богу, очень жарко сегодня, и еще ваш утюг... Дайте же мне. Я помогу. Я умру от безделья.

— Да, давайте говорить о погоде. Какой душный вечер! — смеясь, сказала Ася и сдунула волосы со щеки. — Действительно: просто какая-то Сахара! Я, например, чувствую себя бедуинкой.

Она постриглась недавно, и как-то незнакомо, без кос, обнажилась ее шея, от этого Ася будто стала выше ростом, и было что-то новое, взрослое в ее плечах, спине, голых руках, даже в интонации голоса.

Ася вопросительно посмотрела на Константина, опять сдунула волосы со щеки — видимо, не привыкла к новой прическе, короткие волосы мешали ей, — потом спросила с легкой насмешкой:

— Лучше скажите, как вы там сдали свои горные машины? Всякие свои штреки, копры? Наверно, было бормотание, а не ответ?

— Крупно плавал, но потом прибило к берегу. Сдал. Не будем касаться грустных воспоминаний.

— Теперь, конечно, на практику?

— Ох, придется, Ася.

— А я так похудела за экзамены, даже тапочки сваливаются. Чертовски трудный был первый курс. В медицинском вообще трудно учиться. Впрочем, это не жалобы, а факт. Я довольна.

И Ася набрала в рот воды из стакана, надув щеки, брызнула на белье, спросила, словно вспомнив сейчас:

— Вы, кажется, хотели удирать из института?

— Была чудовищная попытка, Ася.

— «Попытка»! Вы просто патологический тип, — сказала Ася с осуждением и блеснула на Константина глазами. — Сами не знаете, чего хотите! Ну чего вы хотите вообще?

— Ася, есть вещи, которые долго объяснять. Просто у меня сохранились животные признаки. Иногда сам себя не понимаю. Потом — я ведь чуточку старше вас.

— Не козыряйте старостью. Как можно не понимать себя? Просто не Костя, а Гамлет, принц

датский!

— Ася!

— Тише, не кричите, как в гараже, папа спит! Будете кричать тут, я вас прогоню немедленно.

Он увидел на спинке стула пижаму Николая Григорьевича и понял — его нет дома, она обманывала.

— Ася, я шепотом...

— Ну?

— Ася...

— Я знаю, что я Ася. Уже девятнадцать лет знаю. Ну что вы, честное слово! — Она настороженно посмотрела на него.

— Ася... Я... буду брызгать вам... водой. Клянусь, сумею, вы будете довольны. Вот через неделю уеду на практику, и такого усердного дурака не найдете, который будет вам брызгать водой. Я сделаю это талантливо.

Константин с дурашливой и умоляющей гримасой потянулся к стакану, но тотчас Ася, проворно повернувшись к нему, выхватила стакан, гладкое стекло скользнуло в ее пальцах, и Константин торопливым движением подхватил стакан на лету, расплескивая воду на ее сарафанчик. От неожиданности Ася ахнула, поспешно двумя руками отряхивая намокший подол, взглянула быстро — чернота глаз будто от головы до ног уничтожающе перечеркнула Константина.

— Терпеть не могу, когда мужчина лезет в женские дела! Ну что с вами делать? Облили меня талантливо, вот что! Уходите сейчас же, вы мне не нужны со своей помощью!

Она наклонилась, сдвинув колени, начала выжимать намокший подол, лицо стало сердитым; когда она наклонилась, Константин увидел трогательную нежную округлость ее груди в разрезе сарафанчика и сейчас же отвел глаза, растерянный, боясь, как бы она не перехватила его случайный взгляд, боясь ее стыда и гнева. Ему хотелось поцеловать ее в худенькую склоненную шею.

— Ася, я сейчас на кухню... я сейчас воды... — пробормотал Константин, с неуклюжей осторожностью поставил стакан на стол и, не решаясь оглянуться на нее, почему-то на цыпочках подошел к раскрытому окну. В черноте двора сопело, хлюпало, шелестело, точно ломали веточки на кустах: сквозь световой конус сыпались капли дождя, свежего, неожиданного, летнего.

— Ася, я сейчас... — повторил он виновато. — Я сейчас...

И высунул голову, подставил ее быстрым теплым струям, покрутил головой в этой льющейся сверху влаге, снова сдавленно говоря туда, в дождь, будто убеждая, казня себя:

— Мне на кухню... мне на кухню... О, болван!

— Что вы там делаете? — крикнул Асин голос за его спиной. — Купаетесь? Тогда идите в ванную! — И она несдержанно засмеялась. — У вас такой вид, будто вас из бочки с водой вынули! Возьмите мой зонтик!

Он, чувствуя на своем лице глупую улыбку, сказал:

— Ваш зонтик, Ася, нужен мне как рыбе галоши. Просто мне хочется набить себе физиономию, глупую, развратную физиономию. Не смейтесь, я себя знаю! Великолепно знаю!

— Что, что? — шепотом спросила Ася и, покраснев, машинально провела руками по влажному сарафану. — Что вы так смотрите? Вы совершенно мне гладить не даете. Вы что это сказали?

И она, вроде рассерженная его словами и тем, что он мешал ей, задернула на окне половину занавески, уже заявила полуснисходительно:

— Когда вы начинаете говорить, всегда что-нибудь ужасное ляпнете.

— Ася, я сам знаю, что я не ангел, но вы обо мне думаете очень уж плохо, — глухо сказал Константин. — Вы почему-то все, что угодно, можете мне говорить. А я ведь не мумия.

— Лжете, в глаза лжете! Вы сами какую-то глупость сказали!

Из темноты окна наносило плеск дождя, стук капель о подоконник, брызги летели на худенькие плечи Аси, они были неподвижны, она смотрела, замерев (так показалось ему), только покусывала нижнюю губу, — и вновь его охватило желание поцеловать ее в подбородок, в тонкую обнаженную шею.

И, боясь этого, боясь себя и ее, он сделал веселое выражение, по-дурацки бодро, так показалось ему, выговорил:

— Я ухожу, Ася.

— Уходите! — сказала она. — Буду рада!

Когда он несколько дней не видел ее, ему тревожно было — вечерами он ждал спешащий стук Асиных каблучков по коридору, ее голос на кухне заставлял его вздрагивать, он даже знал, когда набирала из крана воду — доносился снизу стремительный плеск: она зачем-то отворачивала кран до отказа. Иногда хотелось встретить Асю не дома, не в коридоре, а одну на улице, серьезно и отчаянно сказать ей: «Ася, если бы вы меня знали, все было бы иначе. Я могу быть другим... Просто была война. Я могу все забыть... Я даже могу быть серьезным, только поверьте мне. Только поверьте».

И, лежа на диване по вечерам, он думал об этом: то, что она была моложе его на шесть лет, жила, думала иначе, чем он, не знала всего, что знал он, и то, что она была сестрой Сергея, создавало нечто непреодолимое между ним и ею.

Он сказал обрывисто:

— Я ухожу, Ася... Вы только на меня не сердитесь.

— Уходите, пожалуйста! Я не задерживаю! Буду очень рада!

Он взялся за ручку двери и, пересиливая себя, спросил грустно:

— Вам со своей холодностью легко жить на свете? Почему вы такая холодная, Ася?

— Холодная? Пусть я лед, снег, камень! Не читайте мне нотации. Лучше быть холодным, злым, чем легкомысленным, пустым! — заговорила Ася с непонятной мстительностью. — Вы себя достаточно показали! Терпеть не могу грязных людей!

Ее голос толкнул его в спину, и он не сказал ни слова, распахнул дверь и, торопясь, закрыл



ее, шагнул в коридор.

— Костя!

Он услышал, как сильным толчком раскрылась дверь, сразу же обернулся — в проеме двери стояла Ася, вся напряженная, глаза встревоженно увеличены. Он видел одни глаза, огромные, блестящие сплошной чернотой.

— Костя, Костя, — прошептала она. — Подождите! Идите сюда, в комнату, в комнату!.. Костя, Костя!

И втянула его в комнату, схватив за руку, дрожь сухих пальцев передалась ему, он непроизвольно порывисто сжал их с нерассчитанной нежностью, и внезапно она испуганно выдернула руку и стала перед ним, почти касаясь его груди, опустив голову, — он чувствовал чистый запах ее волос, — теребила на узенькой талии поясок сарафанчика, как бы опасаясь посмотреть ему в лицо. Потом тихонько отошла от Константина в угол комнаты, оттуда поглядела пристальным взглядом, вдруг, зажмурясь, ладонью шлепнула себя по одной щеке, затем по другой, говоря:

— Вот тебе, вот тебе!

— Ася... — только произнес Константин.

— Костя, вы ничего не спрашивайте. Хорошо? Хорошо? Дайте слово ничего не спрашивать! — ожесточенно, едва не плача, проговорила Ася и топнула ногой. — Ах, какая я дура! Сама себя ненавижу! Это ужасно! Мне надо было мужчиной родиться, брюки носить! Просто ошиблась природа... Ненавижу себя!

И резко отвернулась, беспомощно и косо глядя на темное, сыплющее дождем окно. Константин на цыпочках подошел к ней, помолчав, сказал шепотом:

— Если бы вы были мужчиной, я бы умер, Ася...

— Что? — с ужасом спросила она. — Что?

— Я бы умер, Ася...

В двенадцатом часу вечера пришел Сергей.

Во второй комнате молча сбросил намокшие ботинки, надел старые тапочки и, выйдя к Асе и Константину, спросил угрюмо:

— Где отец? Опять торчит в своей бухгалтерии? Великий бухгалтер наших дней! — добавил он раздраженно. — У самого сердце ни к черту, а сидит до двенадцати часов. Наверно, думает, без его подсчетов весь мир перевернется. Государственный деятель!

— Не смей так говорить об отце! — сказала Ася сердито. — Ты очень грубо говоришь об отце. И грубо разговариваешь с ним всегда! В тебе жестокость какая-то! Прекрати, пожалуйста, эти глупости!

Морщась, Сергей лег на диван, закрыл глаза; лицо было осунувшимся, отчетливо проступала морщинка на переносице, и Константин спросил медлительно:

— Что случилось, Серега?

— Так. Ничего. Дождь идет. Ладно. Я спать хочу. Пошли все к черту!

Он чуть покривился, подбил под голову маленькую диванную подушку, уже стараясь не слушать ни голоса Константина, ни Аси, ни плеска дождя, усилием воли заставляя себя заснуть.

8

В его сознание, замутненное сном, тупо ворвалось мгновенно возникшее движение — как будто рев танкового мотора за окном, как будто голоса людей, шаги, дребезжание стекол над самым ухом, — и, ничего не понимая, он открыл глаза, вскочил на диване.

Темнота недвижно стояла в комнате, глухо, с сопением, с бульканьем хлестал дождь, звенел по стеклам, бил по железному козырьку парадного.

«Фу ты, черт! — подумал он облегченно. — Откуда танки? Чуть лезет в голову! Который час? Рассветает?»

Он потер кисть, замлевшую от неудобного лежания во сне, потянулся за часами на столе, но тотчас отдернул руку, словно ударили по ней: сильное дребезжание стекол над головой заставило его быстро повернуться к темному окну, плотно слившемуся со стенами.

— Кто там? — крикнул Сергей.

— Быстро, откройте!

Кто-то по-чужому настойчиво стучал, было слышно хлюпание ног по лужам во дворе, но странно: в коридоре не звонил звонок, чужой голос не повторил «откройте» — все стихло. Сергей соскочил с дивана, на ходу зажег электричество и, открывая дверь в коридор, на какую-то долю секунды замедлил поворот ключа — внезапно пронеслась мысль о воровской банде «Черная кошка»: ходили слухи, что она появилась в Москве. Но сейчас же, почему-то сомневаясь в этом, вышел в коридор, тут, перед дверью, переспросил громко и недовольно:

— Кто там? К кому?

— Откройте! Проверка документов!

— Попытаюсь.

Он щелкнул замком, отступил в сторону.

Ворвалась дождевая свежесть, облила холодом грудь Сергея. Шаги по ступеням, движение, приглушенный голос: «Мамонтов, вперед!» — и, еще не увидев людей, их лиц, Сергей понял, что это не то, о чем подумал он. Слепящий свет карманного фонарика полоснул его по лицу, по глазам, скакнул вперед, в коридор, выхватил мокрый воротник плаща, погон, лакированный козырек фуражки мягко прошедшего вперед человека, и другой человек, остановившийся возле Сергея, посветив фонариком, спросил:

— Вы кто? Фамилия?

— Вам кого нужно? Вы кто? Из милиции? Уберите фонарик, что вы светите мне в лицо? — нахмурясь, сказал Сергей, невольно подумав, что это могли прийти за Быковым, снова

спросил: — К кому?

— Я спрашиваю вашу фамилию! — властно произнес голос. — Фамилия?

— Положим, Вохминцев.

— Идите вперед, Вохминцев. Зажгите свет в коридоре. Вперед, вперед. В комнату, гражданин Вохминцев! — скомандовал начальственный голос, и до Сергея ясно донеслись из комнаты тревожные голоса Аси, отца. И он увидел, как вспыхнул свет в коридоре, в комнате и к настезь раскрытой двери, стуча каблуками, подошел, сделал поворот кругом и застыл с белобровым негородским лицом солдат в шинели, по-уставному поставил винтовку у ног.

Увидев все это, он вошел в комнату, еще полностью не сознавая, убеждая себя, что происходит, произошла страшная ошибка, невероятная обжигающая нелепость, и, еще не веря в это, остановился, вздрогнув от голоса, — низенького роста сухощавый капитан в плаще с погонами государственной безопасности (на погонах блестели капли дождя) держал в желтых пальцах какую-то бумагу, говорил спокойно, тусклым, гриппозным голосом:

— Вохминцев Николай Григорьевич? Вот ордер на арест. Собирайтесь.

Отец в исподнем белье, только пиджак накинут на плечи, — все это делало его жалким, незащищенным, лицо болезненно-небритое, будто в одну минуту постаревшее на десять лет, — мелко подрагивая бровями, даже не взглянул на бумагу, взгляд перескочил через голову капитана, встретился с глазами Сергея и непонимающе погас. Он мелкими глотками два раза втянул воздух, согнулся и сразу ставшей незнакомой, старческой походкой, не говоря ни слова, вышел в другую комнату. Капитан двинулся за ним, оттуда, из второй комнаты, донесся его носовой голос:

— Быстро, гражданин Вохминцев. Прошу быстро!

Было видно в открытую дверь, как он, оставляя следы грязи на полу, прошел к письменному столу, вприщур окинул стены, стол, потолок, неторопливо набрал номер телефона, сказал в трубку сниженно:

— Да. Мамонтов. Мы здесь. Да. Слушаюсь. Хорошо. Слушаюсь.

В комнату из коридора испуганно выдвинулась толстая, укутанная в платок дворничиха Фатыма — понятая, как догадался Сергей. Второй офицер, старший лейтенант, ручным фонариком указал ей на стул. Фатыма села, робко озираясь. Старший лейтенант, с крепким деревенским лицом, тонкогубый, со светлыми степными глазами, глядел на Сергея в упор, расставив ноги.

«Отец вернулся поздно ночью. Я не слышал, когда он вернулся», — мелькнуло у Сергея, и приглушенные голоса в коридоре, и чужие голоса в квартире, и Фатыма, и следы на полу, и разнесшийся запах армейских сапог, мокрых плащей, наклоненная к телефону худая и чужая шея низенького капитана, и его слова, произнесенные в трубку, и эта вся грубо заработавшая машина вдруг вызвали в нем бессилие, злость и страх перед страшным, неотвратимым, беспощадно что-то ломающим в жизни его, отца, Аси. И в то же время не исчезала мысль о том, что все это какое-то недоразумение, что сейчас капитан, разговаривавший по телефону, положит трубку, извинится, объявит, что произошла ошибка... Но капитан положил трубку, потом, внимательно разглядывая стол, бумаги на нем, скомандовал, не поворачивая головы:

— Поторопитесь, поторопитесь, гражданин Вохминцев! Быстро! Прошу.

И Сергей бросился в другую комнату, туда, к отцу, которого торопил, подхлестывал этот чужой голос. Отец не спеша одевался, но никогда так неловко, угловато не двигались его

локти, его руки искали и сомневались, словно бы вспоминали те движения, которые нужны были, когда человек одевается. И то, что он стал повязывать галстук, как всегда, задрав подбородок, опустив веки, — и этот задранный подбородок, опущенные веки бросились в глаза Сергею своей жалкой, унижающей ненужностью. И его снежно-седые виски, крепко сжатые губы, небритые щеки показались Сергею такими родными, своими, что, задохнувшись, он выговорил хрипло:

— Отец...

— Что, сын? — спросил отец, и непонятно затеплились его глаза. И повторил: — Что, сын?

Ася лежала на постели, судорожно натягивая одеяло до подбородка, в огромных блестящих зрачках ее плавал ужас и в шевелящихся бледных губах был тоже ужас. Она повторяла, вздрагивая:

— Папа, папа, папа... Что ж это такое? Папа...

— Э-э, интеллихенция, халстуки завязывает. Хватит! — раздался сзади командный голос — старший лейтенант с деревенским лицом, со светлым пронзительным взглядом проследовал к отцу, выхватил из его рук галстук, швырнул на стул. — А ну кончай, давай выходи. Давай прощайся.

— Ваша работа не исключает вежливости, — сухо сказал отец.

— Папа! — вскрикнула Ася, дрожа, вся потянувшись к отцу от постели, так, что одеяло сползло, открыло голые руки, и отец с каким-то новым, незащищенным выражением наклонился к ней, поцеловал в лоб, сказал едва слышно:

— До свидания, дочь... Обо мне плохого не думай... Прости... Вот оставляю одних...

А когда обернулся к Сергею в своем старом, потертом пиджаке, не успев застегнуть воротник сорочки — на сорочке нелепо блестела запонка, — когда в глазах его будто толкнулась виноватая улыбка, Сергей сильно обнял отца, ткнулся виском в колючую щеку, выговорил о ожесточении и надеждой:

— Отец, это ошибка! Все выяснится. Ошибка, я уверен — ошибка, я уверен, уверен, отец...

— Знаю, ты не любил меня, сын, — серым голосом проговорил отец. — Я для тебя был чужой... Почти чужой...

Отец как-то странно и болезненно, обняв Сергея, беспомощно поглядел на с ужасом прижавшую ко рту одеяло Асю, на стены комнаты, на письменный стол, проговорил:

— Живите как надо.

— Хватит, пошли! — прервал старший лейтенант, нетерпеливо кивая на дверь, и отец быстро пошел и только задержался на пороге, на секунду дрогнув плечами, точно еще хотел повернуться, и не повернулся, исчез в коридоре, в его сумрачном колодце.

Все было унижающим, противоестественно оголенным в присутствии этих людей в защитных плащах: и прощание отца, слова его, и то, что Сергей, глотая спазму, застрявшую в горле, не крикнул в эту минуту ему: «До свидания, папа!..»

— Ася... — зачем-то тихо позвал Сергей и не договорил.

В это время низенький капитан, аккуратно расстегнув плащ, подошел к книжному шкафу, растворил дверцы, вынул книгу, полистал ее, потряс, бросил на стул, гриппозно хлюпнув

остреньким носом, достал другую... Ася, бледная, комкая на груди одеяло, со страхом смотрела на книжный шкаф, на без стеснения листавшего страницы капитана, и Сергей заметил: вдруг бескровные губы, брови ее задрожали, она прижала одеяло к подбородку, вся сжалась, застонала в одеяло, подавляя рыдания.

— Ася... я прошу тебя... Оденься, — глухим голосом проговорил Сергей.

И в тот момент, когда в другой комнате он сдернул с вешалки летнее Асино пальто, зычный окрик остановил его:

— Ку-уда?

Старший лейтенант, прочно загородив дорогу, рванул из его рук Асино пальто, торопливо стал ощупывать карманы, подкладку, и Сергей почувствовал чужую силу, чужие пальцы, хватающие карманы, и внезапно, стиснув зубы, выговорил:

— Уберите руки!

Старший лейтенант изо всей силы держал пальто. Сергей видел, как упруго набухли желваки, стали мучными скулы старшего лейтенанта, твердо впились ему в лицо светлые глаза. Со сжавшей его злобой Сергей упорно смотрел в побелевшие, жесткие, готовые на все глаза, и в его сознании скользнула мысль, что он никогда не видел такое мучное, видимо жившее ночной жизнью лицо. Сергей произнес с трудом:

— Отпустите пальто! Я пока не арестован!

— Сидеть! В комнате сидеть! Никуда не выходить! Вот здесь сидеть! — яростным шепотом крикнул старший лейтенант. — Ясно?

— Князев! — окликнул капитан невнятно.

Видимо, он вынужден был сдержаться, не отводя от Сергея белого взгляда, отпустил пальто, узловатой кистью привычно провел по боку, где под плащом оттопыривалось, мотнул головой.

— А ну на место! Скаж-жи, быстряк!

Потом с ощущением бессилия Сергей сидел на диване, чувствовал: рядом ознобно вздрагивала Ася, укутанная в пальто, полулежала, прислонясь затылком к стене, мертво вцепившись пальцами в его руку. Он не знал уже, сколько времени шелестели страницы книг, выбрасываемых из шкафа, сколько времени ходили по комнатам чужие люди, зачем-то отодвигая шкафы от стен, заглядывали в щели; не знал, зачем трясли книги над полом, ища в них что-то.

Ему хотелось курить, непреодолимо хотелось втянуть в себя горький ожигающий дым, помнил, что сигареты в правом кармане пиджака в другой комнате на спинке стула перед диваном, но не вставал, не желая выказывать волнения, которое унизило бы его, лишь успокаивающе стискивал ледяные пальцы Аси и слегка отпускал их, гладил их.

А они делали, видимо, привычную свою работу, не снимая плащей, фуражек, не разговаривая. Капитан сидел на краешке стула, по-птичьему согнувшись, опустил острый носик, желтыми, прокуренными пальцами шевелил страницы книг, тряс их, кидал на пол, изредка лез за скомканным платком, трубно сморкался, промокал носик, вытирал губы, глаза, покраснев, гриппозно слезились. И Сергею казалось, что его желтые пальцы оставляют следы гриппа на книгах, на стекле шкафа, на вещах, к которым он прикасался.

Дождь плескал по асфальту двора, и было чудовищно странно, что, как всегда, в стекле

жидко светился дворовый фонарь, трясущийся от дождевых струй.

Старший лейтенант, широко, по-деревенски хозяйственно раздвинув ноги в хромовых, слегка собранных в гармошку сапогах, обрызганных грязью, сидел в сдвинутой на затылок фуражке за письменным столом, порой настороженно косясь на Сергея, читал бумаги отца, листал их, поплюнув палец; с излишним стуком выдвигал ящики, в которых лежали письма, документы, ордена, конспекты Сергея, недоверчиво нахмуриваясь, выкладывал ордена, документы, письма перед собой. И были ненавистны Сергею его цепкие руки, плоская спина, плоская широкая шея, светлые степные волосы, заляпанные сапоги, собранные щеголеватой гармошкой. Старший лейтенант тщательно и подробно просмотрел документы, сложил их стопкой отдельно, хмыкнув, достал из ящика какую-то бумагу.

— А ну... иди-ка сюда!

С усмешкой держа в одной руке исписанный листок бумаги, он поднял другую руку, из-за плеча поманил пальцем Сергея.

— А ну-ка сюда иди! Это твое? — И локтем отодвинул документы, ордена в сторону, положил локоть на стол, читая про себя, шевеля губами.

По медлительности, нехорошей усмешке его, с какой он мог глядеть на непристойность, по мелкому почерку на тетрадном листке бумаги Сергей сейчас же догадался, что, очевидно, у него письмо Нины, и, испытывая желание встать, выхватить письмо из этой цепкой узловатой руки, сидел не двигаясь, стиснув зубы, — заболело в висках.

— А? Как же? Любовью занимаешься? Кто она? — различил он негромкий голос.

Сергей проговорил:

— Прошу не тыкать! Кто она — не ваше дело! Идите руки вымойте с мылом, протрите спиртом, прежде чем касаться чужих писем!

— Как не стыдно! Как вам не стыдно! — сдерживая плач, крикнула Ася, вонзив пальцы в ладонь Сергея. — Вы ведь советский человек!

— Встать!

— Вот как? А дальше что? — спросил Сергей и, как в темной дымке, встал, смутно видя перед собой посветлевшие добела глаза, готовый при первом движении этого человека сделать что-то страшное, готовый ударить его, уже не сознавая последствий, уже не думая, чем это кончится. И он снова спросил: — Ну? Дальше что?

— Князев! — простуженным голосом позвал капитан и поднес платок ко рту, гриппозно чихнул и утомленно, с выражением страдания склонился над книгой.

— Освободить диван! Что тут в диване? — тише, подчеркивая в голосе злую вежливость, проговорил старший лейтенант. — Ну-ка, посмотрим!..

И Ася, не понимая, пошатываясь, испуганно поднялась, прижимая к груди полу пальто, и старший лейтенант тотчас откинул одеяло, простыню, оттолкнул ногой матрас, стал выкидывать из ящика пересыпанную нафталином зимнюю одежду. Потом выпрямился, обратил набрякшее краснотой широкое лицо и вдруг, даже с видом странного заискивания, сбоку заглянул в глаза Сергея.

— Так где же хранится троцкистская литература, а?

— Что?

— А ну оденьтесь-ка, покажите, где у вас сарай! Пройдемте, — неестественно улыбаясь, приказал старший лейтенант.

И когда Сергей прошел мимо неподвижно сидевшей с положенными на коленях руками Фатымы, мимо застывшего солдата в коридоре, когда толкнул дверь из парадного на улицу, старший лейтенант включил карманный фонарик, ободряя заискивающе-вежливо:

— Прошу, прошу...

Лил дождь, но темнота ночи поредела, в водянисто посеревшем воздухе чувствовался близкий рассвет, проступали силуэты домов, мокрый асфальт, мокрые крыши. Из водосточных труб хлестали потоки воды, дождь глухо шумел в черных, уже различных вдоль забора липах, когда шли к ним по лужам от крыльца, и затем мягко застучал, забарабанил над головой по толю сараев, после того как Сергей резко, с каким-то мстительным щелчком откинул мокрую ледяную щеколду, и оба — он и старший лейтенант — вошли в горько пахнущую березовыми поленьями тьму.

— Вот наш сарай, — сказал Сергей. — Ищите!

Капли, просачиваясь сквозь дырявый толь, с тяжелым однообразным звуком падали в щепу.

Желтый луч фонарика пробежал по белым торцам поленьев, сложенным штабелем, скакнул вниз, вверх; вспыхнула влажная щепка на полу, изморосно блеснула отсыревшая стена за штабелем поленьев, свет прямым коридорчиком уперся в стену, поискал что-то там.

— А ну отбрасывайте поленья от стены! — скомандовал лейтенант. — В угол — дрова!

— Что-о? — спросил Сергей. — Дрова перекидывать? Хотите искать — перекидывайте! Нашли идиота! Ищите!

Старший лейтенант круто выругался, отбросил несколько поленьев в угол, внезапно луч фонарика впился в пол возле заляпанных грязью сапог, Сергей увидел перед собой ртутно скользнувшие глаза, едкий табачный перегар коснулся губ.

— О себе не думаешь, ох, много болтаешь, парень. Ты институт кончаешь, Сергей... Видишь, имя даже твое знаю. Давай по-простому, я тоже воевал, — с неумелой мягкостью заговорил он. — О себе подумай, тебе институт закончить надо, инженером стать. А можешь его и не закончить... Я воевал, и ты воевал. Я коммунист, и ты коммунист. Жизнь свою не порть. Я в лагерях видел всяких. Где у отца троцкистская литература?

Сергей молчал: крупные капли шлепались в щепу, одна попала Сергею за ворот, ледяным холодом поползла по спине. Он проговорил насмешливо:

— Вот здесь, за дровами, в подвале с подземным ходом. Ну ищи, откидывай дрова! Найдешь!

— Смеешься, Сергей?

— Плачу, а не смеюсь.

— Та-ак.

Старший лейтенант вплотную приблизил белеющее лицо к лицу Сергея, заговорил, тяжеловесно разделяя слова:

— Смотри... другими... слезами... умоешься. — И резко возвысил голос: — А ну выходи из сарая!

В комнатах все носило следы чужого прикосновения — валялись книги на стульях, на диване, на полу; настезь были открыты дверцы буфета, книжного шкафа, шифоньера, выдвинуты ящики стола — все как будто насильственно сместилось, было сдвинуто, неопрятно обнажено.

Капитан, обтирая покрасневший носик, уже устало ссутулился за обеденным столом, писал что-то автоматической ручкой, слезящиеся глаза его на сером немолодом лице моргали страдальчески — он дышал ртом, лоб морщился, короткие брови изредка подымались, как у человека, готового чихнуть и сдерживающего себя.

Перед ним на скатерти лежали на свету два обручальных кольца — отца и матери, хранимых почему-то отцом, наивно светились позолоченные старинные серьги матери, кажется, подаренные ей молодым Николаем Григорьевичем еще в годы нэпа, слева стопкой лежали телефонная книжка, документы, бумаги, старые письма.

— Есть еще золотые вещи и драгоценности? — спросил капитан, обращаясь к Асе утомленно.

— Нет, — шепотом ответила Ася. — Нет, нет...

Капитан склонился над бумагой — светлая капелька собралась на кончике носа, звучно упала на бумагу. Он через силу сделал нахмуренное лицо, вместе с кашлем продолжительно высморкался — вся маленькая сухая фигурка заерзала, зашевелилась, щеки покраснели, и было жалко, неприятно видеть его старательно скрываемое смущение. По-прежнему хмурясь, он смял платок, сунул в карман, сказал тихим голосом старшему лейтенанту:

— Кончайте.

Тот, упершись кулаками в стол, напряжив плоскую шею, медлительно, точно не слыша капитана, читал то, что было написано на бумаге, облизывая губы, думал сосредоточенно.

— Буфет, — наконец сказал он и показал кивком на буфет. — Входит в опись?

— Пожалуй.

Капитан опустил матового оттенка веки, взял ручку. Терпеливо проследив за движением сухонькой руки капитана, старший лейтенант, крепко ступая, вышел в другую комнату, споро собрал на письменном столе бумаги Сергея — записную книжку, письма, — вернулся, положил все это перед капитаном, сказал что-то коротко ему на ухо.

— Пожалуй, — ответил капитан, помедлив, и маленькой своей рукой стал собирать бумаги в кожаный портфель.

Он встал.

И Сергей понял, что, несмотря на свое звание, капитан этот тайно побаивается старшего лейтенанта, его наглой решительности и что вследствие этого старший лейтенант, несмотря на низшее свое звание, имеет большую власть, что они оба, делая одно дело, остерегаются, не любят друг друга. И, поняв это, чувствуя злое отвращение к ним обоим, сказал:

— Вы взяли мою записную книжку, мои письма. Они не имеют никакого отношения к отцу.

Старший лейтенант, поиграв желваками, глянул на ручные часы; капитан застегнул плащ, надвинул фуражку так, что выпукло стал выделяться бугорок затылка, и первый последовал к двери, неся портфель.

— Выходи, — махнул пальцем старший лейтенант Фатыме, и она, казалось, все время ареста



и обыска дремавшая на стуле, в углу комнаты, вскочила в полусне, заспешила, переваливаясь толстым телом, в коридор.

Выходя последним, старший лейтенант распрямил грудь, задержав воздух в легких, зорко прицелился зрачками на Сергея, козырнув, проговорил обещающе:

— Еще встретимся, Сергей Николаевич.

И перешагнул порог, не закрыв двери.

Все было кончено. Даже в коридоре потушили свет. Все неожиданное и насильственное ушло с ними, исчезло вместе с затихшими шагами на крыльце. Все стихло, только дверь еще была открыта в темноту коридора.

Сергей вскочил с дивана и так бешено, изо всей силы хлопнул дверью, что от косяков посыпалась штукатурка, зазвенели стекла в окнах. Он заходил по комнатам, наступая на книги, на разбросанную по полу бумагу, будто жадно искал что-то и не находил, потом бросился к окнам, распахнул форточки в серую муть утра, глотнул сырой воздух, как воду.

— Проветрить, проветрить! Проветрить, к чертовой матери! — говорил он. — Все к чертовой матери! Ася, Ася, дай мне папиросы, у меня в кармане!.. Или есть у нас водка, есть водка? Что-нибудь выпить... — заговорил он срывающимся голосом, стоя к Асе спиной около форточки.

Ася крикнула со слезами:

— Сергей, что с тобой?.. Сережа!

Она шарила в его пиджаке, висящем на стуле, не попадая в карманы; ее расширенные глаза, налитые ужасом, не отрывались от спины Сергея.

— Сережа, миленький...

Она приблизилась к нему, протягивая папиросы; стуча от нервного озноба зубами, одной рукой притискивая воротник пальто к подбородку, прошептала:

— Сережа, миленький... Что же это? Как же теперь?

Горячий колючий комок унижения и бессилия застрял в горле, и он не мог проглотить этот комок, и слезы душили, не давали дышать, мешали ему улыбнуться Асе — губы были как каменные. Он потер горло, точно сдирая на нем что-то липкое, проговорил с усилием:

— Ничего... Я с тобой. Я буду с тобой...

И обнял ее за худенькие трясущиеся плечи.

Не раздеваясь, уже в конце ночи задремал на диване, неудобно прикорнув на боку, и в дреме не покидало его острое, тоскливое ощущение неудобства, какое-то беспокойство, как будто воровски спал на краю вокзальной лавки среди беззвучно кричащих вокруг людей.

— Сергей, Сережа!..

Он рывком сел на диване — и сразу почувствовал свинцовую тяжесть в болевшей голове.

Было утро, солнце висело над мокрыми крышами.

Ася, собравшись комочком, лежала на своей кровати, укрывшись не одеялом, а пальто, дышала часто, жалобно всхлипывая во сне; синие тени проступили в подглазье. И Сергей, вспомнив все, подумал, что она звала его во сне, что он очнулся от ее голоса, позвал шепотом:

— Ася!..

Она не ответила. И тотчас громкий стук в дверь повторился и вместе с ним — громкий голос Константина в коридоре:

— Сергей, открой! Открой!

С тошнотворным отвращением к этому стуку Сергей встал, медленно повернул ключ, увидел на пороге Константина, заспанного, в расстегнутой на груди ковбойке, молча потянул из пачки сигарету, зажал ее зубами.

— Сережка! Отца? Ночью? — Константин обежал взглядом по комнате со следами беспорядка — книги, бумаги еще валялись на полу. — Сережка... ночью взяли... отца? Я слышал возню — ни дьявола не понял! Что молчишь, т-ты?..

— Да, — сказал Сергей. — Не все ли равно когда.

— И Ася?.. — Константин на цыпочках подошел к кровати, где, свернувшись калачиком, лежала она под пальто, наклонился с желанием помощи, прошептал: — Асенька...

Она на секунду посмотрела на него со страхом и повернула голову к стене, застонав, как от боли.

— Быков! — вдруг охрипшим голосом проговорил Константин. — Сволочь Быков! — крикнул он.

И рванул дверь, выскочил в коридор, и тут же Сергей услышал грохот его бега, бешеное хлопанье дверью в глубине квартиры и следом бросился за Константином в конец темного коридора, где была комната Быкова.

— Костя! Сто-ой!..

Он не успел догнать его — увидел в распахнутую дверь стол, белую скатерть, чайную посуду и куда-то в потолок обращенное страшное, налитое лицо Быкова. Константин, вцепившись в его шелковую пижаму, подняв его со стула, яростно тряс его так, что рыхло колыхалось короткое плотное тело, а тот, не отбиваясь, только толстыми складками съезжив шею, багровый, вздымал голову к потолку, хрип вырывался из его трубкой вытянутых губ.

— Па-аскуда! Сволочь!.. Это ты... это ты, б... доносы строчишь? Ты людей мараешь?.. Чай пьешь, сволочь, когда тебе каяться нужно! На коленях ползать! — Константин, крича, перекосив неузнаваемое лицо, сумасшедше дернул Быкова к себе, затрещала, лопнула, расплзлась пижама на груди, обнажая пухлую волосатую грудь. И в это же мгновение Сергей, напрягая мускулы, со всей силы оторвал их друг от друга. Быков в расплзшейся до живота пижаме отлетел к этажерке, ударился о нее спиной, от удара полетели на ковер фарфоровые слоники, Он тяжело сполз на пол, рыская по лицам обоим глазами загнанного зверя.

— Костя, подожди! Костя, стой! — крикнул Сергей, став между Быковым и Константином. — Подожди, я тебе говорю!

— Живет мразь на земле: ест, спит, ворует, ходит в сортир! — задыхаясь, еле выговорил Константин. — Ну что с ним делать? Что с ним делать? Убить, чтоб не вонял! За такую сволочь отсидеть не жалко! Подумать только, человеческим голосом говорит! А? Все берет от жизни, а сам копейки не стоит! Гроша не стоит!

— Ответите... за все ответите... я вас всех... ответите... истязание... — судорожным горлом выдавливал Быков, сидя на полу, и слезы побежали по щекам, он рванулся, пошарил руками по полу, слепо натываясь пальцами на фарфоровых слонов, и потом, покачиваясь и схватив себя по-бабьи за щеки, закричал визгливым шепотом: — Лю-юди! Люди-и! На помощь, на помощь!

— Люди, помогите этой мрази, поверьте этой шкуре! Люди-и! — передразнил Константин. — А ведь этой проститутке кто-то верит, а? Верят, а?

Быков, все покачиваясь из стороны в сторону, сжимал щеки ладонями, с одышкой выталкивая из себя крик:

— Люди, люди-и!..

Мигали влажные пухлые веки, выражение злости в его лице не соответствовало жалкой бабьей позе, неуверенному крику, разорванной на волосатой груди пижаме. И Сергей, испытывая отвращение к его голосу, грузному телу, к его хриплому дыханию, ко всему тому, что он знал о нем и не знал, спросил самого себя: «Мог ли он оклеветать отца? — И ответил сам себе: — Мог...»

Он ответил сам себе «мог», но все же не поверил, как без колебаний поверил этому Константин, и, чувствуя тяжесть в голове, не оставлявшую его после ночи, сказал:

— Пошли, Костя.

— Я еще доберусь до тебя, паук! — Константин с ненавистью отшвырнул носком ботинка валявшегося на полу фарфорового слоника. — Заткнись, самоварная харя!..

— Петя, что ты? Что они с тобой сделали? — взвизгнула жена Быкова, вбежав из кухни в комнату.

— Люди-и!.. Люди-и!.. На помощь! — все нарастая, все накаляясь, переходя в сиплый рев, несло из комнаты Быкова.

— Ты встанешь завтракать, Ася?

— Мне не хочется, Сережа. Я полежу.

— Что у тебя болит?

— Ничего.

— Ну что-нибудь болит?

— Нет.

— Ну что-нибудь?

— Нет. Немножко озноб. Это грипп. Возьми градусник. Пожалуйста...

— Ася, я принесу тебе в постель завтрак. Или, может быть, ты встанешь?

— Я не хочу есть. Возьми градусник. У меня просто грипп.

Он взял градусник, влажный, согретый ее подмышкой, долго всматривался в деления: температура была пониженной — тридцать пять и четыре. Ася лежала, укрытая одеялом, голова повернута к стене, освещенной низким ранним солнцем; белизна ее лба, в ознобе дергавшиеся веки, худенькая, жалкая шея вызывали в Сергее чувство опасности. Никогда он не испытывал такого страха за нее, такой близости к ней, к ее ставшему беспомощным голосу, будто лишь сейчас понял, осознал, что это единственно родной человек, которому был нужен он. «Я любил ее всегда, но не замечал ее жизни, не видел ее, был груб, равнодушен...» — подумал он, ни в чем не прощая себе, и проговорил вполголоса, нежно, как никогда не говорил с ней:

— Сестренка, не хочу слышать слово «не хочу». Ты должна позавтракать. Я сделал великолепную яичницу. Попробуй. Армейскую яичницу.

— Я спать... Больше ничего. Спать... — прошептала Ася, не поворачиваясь от стены, и, когда говорила это, край рта ее начал вздрагивать и сквозь сжатые веки медленно стали просачиваться слезы. Потом с закрытыми глазами кончиком одеяла она вытерла щеку, спросила по-прежнему шепотом: — Костя здесь? Пусть уходит, пусть уходит! И ты уйди... Я одна. Мне одной...

Сергей посмотрел на Константина. Тот стоял у двери, плечом к косяку, тоскливо покусывая усики, и, разобрав ее шепот, мрачно, с хрипотцой сказал:

— Асенька, я ухожу. Да, мы уходим, Асенька.

Когда оба вышли в соседнюю комнату, Константин после тягостного молчания спросил:

— Она видела все?

— Да.

— Ну что мы стоим как идиоты? — непонимающе воздел руки Константин. — Ну что, чем, как лечить ее? Что ты думаешь?

— Не надо орать. — Лицо Сергея было серо-бледным, заострившимся, как от болезни. — Я попросил бы тебя, — добавил он мягче.

В другой комнате была полная тишина.

— Жизнь бьет ключом, — произнес Константин ядовито. — И все по головке. Все норовит по головке. Н-да, стальную головенку нужно иметь. Ну что мы стоим дураками?

Сергей не узнавал его — шла от Константина какая-то непривычная для него и раздражающая нетерпеливая сила, когда он спросил опять:

— Слушай, ответь мне одно: ты хоть знаешь — он на Лубянке?

Сергей был разбит, опустошен ночью, не было сейчас желания говорить о том, что было несколько часов назад, в ушах, как во сне звучал стук в дверь, чужие голоса, шаги — и горькое удушье подступало к горлу; хотелось лечь, закрыть глаза.

— Костыка, уйди, я полежу немного, — проговорил он и лег на диван.

И тотчас что-то скользкое, вызывающее тошноту заколыхалось перед ним, и среди этого скользкого двигалась, мелькала не то пола плаща, намокшая от дождя, не то козырек фуражки, лакированно блестящий в мутной тьме, в которой почему-то пахло мокрыми березовыми поленьями, и звонко стучали капли, били в висок металлическими молоточками, и что-то черное, бесформенное непреодолимо надвигалось на него. И, пытаясь уйти от этого, что вбирало, всасывало его всего, пытаясь не видеть козырек фуражки среди удушающего запаха березовых поленьев, Сергей, глотая слезы, застонал и сам, как сквозь железную толщу, услышал свой стон...

«Что это? Что это со мной?»

Он судорожно вскинулся на диване, — слепило в окно солнце, под его пронзительной яркостью четко зеленела листва лип. Был полдень, тишина, жара на улице.

— Что я? — вслух сказал Сергей, чувствуя мокрые щеки, вспоминая, что он сейчас плакал во сне, и стыдился этого. — Что я? — повторил он, вытирая щеки, и тут только дошли до него голоса из глубины комнаты.

В углу комнаты на краю стула сидел Мукомолов, против него — сумрачный Константин; Мукомолов, подергивая, пощипывая бородку, смотрел в пол, говорил с возбужденным покашливанием:

— Это ужасно, чудовищно! Зачем это, зачем это, кому это нужно? Ужасно! Николай Григорьевич — честный коммунист. Я верю, я знаю. Кому нужен его арест?

— Таким сволочам, как Быков, — ответил Константин. — Вот вам ответ на все ваши вопросительные знаки. Чему вы удивляетесь? Подлецам верят! Верят их словам, доносам! А вам — нет!

— Не делайте обобщений, Костя! Стыдно! — шепотом вскричал Мукомолов. — Что значит верят? Ложь, цинизм! Я живу, вы живете, живут другие люди, миллионы советских людей. Подлецы — накипь! Именно — грязная накипь! Мы должны счистить эту грязь, да, да! Так, чтобы от нее брызги полетели, брызги! Это жаль, это горько! Но не все подлецы! Нельзя! Кроме того, эти органы — да, да! — контролирует Берия!..

— А кто его знает? — неохотно проговорил Константин. — Я с ним чай не пил.

Сергей, закрыв глаза, слушал голос Константина и думал, что все это было: его, Сергея, грубовато-ядовитые разговоры с отцом, и открытая насмешка, и грустные, что-то особо знающие глаза отца — сознавал теперь, что не мог ему простить усталости после войны, после смерти матери, его замкнутости, похожей на равнодушие, его ранней седины. Он не мог простить ему старости.

«Болен... Он был уже болен, болен! — подумал он и даже замычал, стискивая зубы, — вспомнил долгие лежания отца на диване по вечерам, тишину, шуршание газеты, молчаливую возню с позванивающими пузырьками за дверью и запах лекарств из другой комнаты. — У него все время болело сердце! Что я сделал? Как помог? Раздражался, злился!.. Один вид отца раздражал меня...»

Он пошевелился, весь в поту, прежнее удушье в горле, что было во сне, не отпускало его. «Что это со мной?» — подумал он, глубоко глотнул воздух и, преодолевая это незнакомое оцепенение тела, сел на диване, спросил:

— Как Ася?

Мукомолов, с яркими пятнами на щеках, сутулый, в своем длинном пиджаке, нелепой прыгающей походкой приблизился к дивану, бородкой повел на дверь в другую комнату.

— Там Эльга Борисовна. Ничего, ничего... Это, как говорится... — забормотал он неопределенно и чуть исподлобья все смотрел выцветшими глазами как бы сквозь Сергея, точно видел что-то свое. — Там они, да, да, женщины... — все бормотал он и вынул чистый клетчатый платок, высморкался и, вроде не зная, что делать, долго вытирал мясистый нос, бородку, покашливая. — Вам, Сережа... это полагается, да, да, члену партии... Это необходимо... здесь никого не обманешь... и нет смысла... Заявление в партком... Поверьте... так лучше... В партком института вам надо...

Мукомолов жадно закурил папиросу; казалось, задымилась вся голова.

— Николай Григорьевич арестован органами МГБ, и в этих случаях... да, да...

Сергей проговорил отчужденно:

— Это ошибка, Федор Феодосьевич. Отец будет дома. Зачем мне заявление?

— Да, да, да, — согласился грустно Мукомолов и подергал бородку так, что папироса затряслась в зубах.

— Никаких заявлений, пока своими ушами не услышу правду! — сказал Сергей, вставая с дивана. — Пока все не узнаю об отце. Я на Лубянку пойду, к министру пойду — все узнаю. Заявление! Зачем? Какое заявление?

— Сережка-а, — протянул Константин, — не будь наивняком. До министра ты не дойдешь. А осторожность — часть мужества, как сказал один умный человек. Не лезь напролом, Сережа... Напиши. Бумаги не жалко. На всякий случай.

Сергей проговорил:

— Такая осторожность — это мужество для сволочей. «Знать ничего не знаю, отца арестовали, я к этому отношения не имею». А я знаю, что отец не виноват.

Мукомолов рассеянно глядел в окно, на солнце, которое в оранжевой пыли садилось за крыши домов, Константин угрюмо рассматривал ноги, и Сергею было больно и неприятно то, что они слушали его невнимательно.

— Фамилия министра МГБ Абакумов, — напомнил Константин. — Рад, если ты дойдешь до него.

— Я все узнаю. Я потрачу на это все время, но узнаю все, — повторил Сергей. — Я все узнаю, все!.. Иначе не может быть.

— Действуйте, действуйте, Сережа, дорогой! — Мукомолов рывками заходил по комнате, рассыпая вокруг себя пепел от папиросы. — Нужно бороться, нужно не опускать голову! Простите, Сережа, мы здесь мешаем, мешаем!.. Вам надо побыть одному, обдумать все! Эля! — окликнул Мукомолов, замаявшись перед дверью. — Эля, Эля!

Дверь приоткрылась, и бесшумно вышла Эльга Борисовна, маленькая, хрупкая, движения тихи, близорукие глаза озабоченно прищурены; вечернее солнце красновато озаряло ее лицо.

— У нее не грипп, никаких признаков, — шепотом сказала она и зачем-то показала кальцеки на своей детской ладони. — У нее нервы, Сережа... Она бредит, плачет, бедная девочка. Ее преследуют какие-то ужасы... О, как это понятно, как понятно... Я позвоню на Петровку, у нас

знакомый врач... Федя, перестань курить, пожалуйста, и не кричи! Девочке нужны покой, тишина... Сережа, если ты позволишь, я буду с Асей. Бедная девочка сжимала мне руку, когда я сидела рядом... Боже мой, боже мой...

— Это... это серьезно? — спросил Сергей, желая сейчас только одного — чтоб с Асей не было серьезно. — Это... быстро проходит?

— Как я могу знать, Сережа? Надо вызвать хорошего врача.

— Уже, — мрачновато вмешался Константин. — Я вызвал профессора из Семашко. Этому профессору в тяжелые времена завозил дрова. Это не забывают. Будет через час.

— Спасибо, Костя, — сказал Сергей.

— Пошел... со своим спасибо! — ответил Константин, отмахиваясь. — Еще лобызаться, может, полезешь с благодарностью?

Мукомолов и Эльга Борисовна посмотрели на них удивленно, не проронили ни слова.

В комнате затрещал, словно вскрикнул, телефонный звонок. Сергей, вздрогнув, сорвал трубку, сказал «да», — и знакомый, чудовищно знакомый теплый голос прозвучал в мембране, как будто из другого, несуществующего реально мира:

— Сере-ежа...

— Его нет дома. — Он опустил трубку.

10

Справочная МГБ находилась на Кузнецком мосту — Сергей точно узнал адрес и быстро нашел ее.

После жары полуденной улицы, запаха бензина, гудения машин, горячего света стекол, после душного асфальта тревожно было войти в пахнущий холодным бетоном подъезд, в полутемную от запыленных окон приемную с кабинетно-темными дубовыми панелями, с застывшей здесь больничной тишиной. Люди сидели возле стен молча, не выказывая друг к другу любопытства, подобрав ноги под стулья, лица казались тусклыми пятнами.

Когда Сергей вошел сюда, охваченный преувеличенной решимостью, неисчезающим желанием действовать, и спросил громко: «Кто последний?» — и когда услышал бесцветный ответ: «Я», он почувствовал ненужность своего громкого голоса — сидящие на крайних стульях взглянули на него не без опасливого недоверия. Женщина в белом пыльнике, с усталым красивым лицом вздохнула; беззвучно захныкала у нее на коленях, кривя большой рот, некрасивая девочка лет пяти, придавливая к груди соломенную корзиночку; лысый, начальственного вида мужчина, бесцветно ответивший «я», помял кепку в руках и замер, держа ее меж колен.

— Я за вами, — спешно вполголоса проговорил Сергей, и этот кисловатый казенный запах приемной, этот чужой запах неизвестности сразу обострил ощущение беспокойства.

Лампочка сигналом зажглась, погасла над дверью, обитой кожей, и человек в углу неслышно

вскочил, лихорадочно-спешно засовывая газету в карман пиджака, и мимо него из серых тайных глубин комнаты одиноко простучала каблуками к выходу молоденькая женщина, непослушными пальцами скомкала на лице носовой платок, высморкалась, всхлипывая. Человек с газетой оглянулся на нее, оробело потянувшейся рукой открыл дверь, обитую кожей, и тихая, словно бы пустая, без людей, комната поглотила его.

Все молчали, прислушиваясь к слабо возникшим, зашуршавшим голосам за толстой дверью. Лысый мужчина начальственного вида мял кепку, глядел в пол. С улицы, залитой солнцем, глухо — сквозь двойные пыльные стекла — доносились гудки автомобилей на Кузнецком мосту. Девочка стеснительно завоzilась на коленях у красивой женщины, растянула губы, крохотные сандалики, ее белые носочки задвигались над полом.

— Тетя, пи-ить, — захныкала она тоненько и жалобно. — Тетя Катя, я хочу пи-ить. Я хочу-у...

— Подожди, родная, потерпи, деточка, — заговорила женщина, обняв худенькое тельце девочки, просительно посмотрела на соседней. — Сейчас наша очередь, и мы пойдем домой. Потерпи, потерпи, маленькая...

Все отчужденно молчали, не обращая внимания на красивую женщину и девочку в новеньких сандаликах. Лысый мужчина, неотрывно, тупо уставясь себе под ноги, мял кепку. Мальчик лет пятнадцати, в футбольной безрукавке, испуганно расширенными глазами следил за лампочкой над дверью, ерзал на стуле, весь напряженный, пунцовый. Рядом с женщиной старуха в темном платке, в новых сапогах, около которых темнел узел, старательно жевавшая из кулечка, заморгала на девочку красными веками, вынула из кулечка деревенский пирожок, помяла его, бормоча тихонько и непоследовательно:

— Покушай, покушай, милая. Ить я тут третий раз... Из Бирюлева... Вот зятю велели одежду привезти. И двести рублей... Две сотельных можно. В дорогу-то... О господи, грехи наши...

«Все они... так же, как я? — подумал Сергей, оглядывая сидящих в приемной, угадывая в них то, что было в нем самом. — Кто они? Как у них случилось это? Когда?»

Вспыхнула лампочка. Немой свет, сигналив, замигал над дверью; вышел тот человек с газетой, торчащей из кармана, спеша, зашагал к выходу, обтирая ладонью взмокший лоб.

— Валенька, пошли, Валенька... Бабушка, она не голодная... Спасибо...

Красивая женщина, бледнея, суетливо встала, потащила девочку за руку к двери, девочка протянула другую руку к пирожку, косо, нетвердо переступая сандаликами, и ее маленькое тельце оказалось точно распятым между дверью и этим пирожком. Девочка в голос заплакала, упираясь сандаликами в каменный пол; женщина с растерянным лицом сердито втащила ее за дверь.

— О господи, грехи... — всхлипываяще забормотала старуха, аккуратно завернула пирожок в газету, по-мужски положила большие темные руки на колени.

«Они все узнают так же, как я... — думал Сергей, остро чувствуя эту появившуюся нить, которая связывала его и с лысым мужчиной, и со старухой, и с красивой женщиной, и с девочкой, ушедшими за толстую дверь. — Как у них случилось это? Так же, как с отцом? Или, может быть, муж этой красивой женщины или отец девочки в сандаликах — враг?»

Он мог и хотел поговорить со старухой, с лысым мужчиной, с беспомощным подростком в безрукавке, выяснить обстоятельства ареста, сравнить их и обстоятельства ареста отца. Но отчужденно разъединяющее людей молчание давяще стояло в этой тусклой от пыльных стекол приемной.



В дверь входили и выходили люди — пустела приемная. Она теперь гулко и каменно отдавала шаги. Никто не задерживался там, за обитой кожей дверью, более пяти минут. Время продвигало Сергея все ближе к сигналам лампочки, и со все нарастающим ожиданием он пересаживался на опустевшие стулья. И вдруг свет коротко зажегся вверху, словно резанул по зрачкам, но что-то, казалось, темно и душно надвинулось из безмолвия таинственной комнаты; широкой фигурой, шумно сопя, тенью прошел мимо лысый мужчина, расправляя смятую кепку на голове; и Сергей, как через очерченную границу, перешагнул за этот свет лампочки в чрезвычайно узкую, тесную, освещенную сбоку окном, похожую на коридор комнату.

За огромным — на половину кабинета — письменным столом, лишь с двумя тоненькими папками на углу, выпрямившись, сидел средних лет, уже полнеющий майор МГБ, ранние залысины были заметны над высоким лбом, одна рука держала папиросу у полных, с поднятыми уголками губ, близко поставленные к переносице карие глаза весельчака глядели сейчас заученно-покойно. Эту бесстрастность, как показалось Сергею, немолодой майор умел терпеливо сохранять в течение дежурства, потом, видимо, взгляд его тут же менял выражение, тотчас веселел, готовый к своей и чужой остроте.

— Слушаю, слушаю, — сказал он приятным бархатистым голосом и не отнял холеной руки с папиросой от губ. — Садитесь, молодой человек. Слева от вас стул.

— Я пришел выяснить насчет отца, — сказал Сергей, не садясь. — Я хотел бы узнать...

— Фамилия?

— Вохминцев.

— Имя и отчество?

— Николай Григорьевич.

Майор потянул папку от угла стола, раскрыл ее бледными интеллигентными пальцами, полистал, обволакиваясь дымом папиросы. И, хотя в эту минуту ничего не выражающий взгляд его пробежал по бумаге и он все выше подымал брови, листая, щелкая страницами в папке, Сергей, стоя перед столом, с задержанным дыханием ожидал внезапной виноватой улыбки на полукруглых губах майора, его вежливого извиняющегося голоса: «Простите, произошла ошибка, ваш отец уже освобожден. Он, возможно, ждет уже вас дома. Так что, молодой человек, простите за ошибку...»

— Вохминцев Николай Григорьевич?.. Ваш отец, Вохминцев Николай Григорьевич, одна тысяча восемьсот девяносто седьмого года рождения, находится под следствием.

— Под следствием?

Этот спокойный голос майора вдруг сдвинул, смял все в Сергее — все еще живущую в нем надежду, и тоскливая, сосущая пустота вновь холодком охватила его. Он сказал через силу:

— Мой отец не может находиться под следствием, он не виноват ни в чем. Его арестовали по ошибке...

— Следствие все покажет, гражданин Вохминцев. По ошибке никого не арестовывают в Советском государстве, смею заметить. Заходите. Узнавайте.

Светлые волосы над залысинами были успокоительно влажны, гладко блестели после утреннего умывания и причесывания, лицо мучнисто-белое, холеное, только темнота заметна была под близко поставленными к переносице глазами весельчака, — похоже, он плохо спал ночь. И голос его прозвучал слегка заспанно:

— Я вас не задерживаю, гражданин Вохминцев.

Рука майора заученно потянулась к кнопке. И на миг, приостанавливая это движение, Сергей подался к краю стола, где чернела маленькая кнопка сигнализации, проговорил голосом, заставившим майора глянуть любопытно-зорко:

— Объясните, пожалуйста, в чем его обвиняют?

Майор безмолвно разглядывал Сергея.

— Где он находится? В тюрьме? Можете ответить? Почему отца арестовали — я могу знать?

Майор не нажал кнопку и, выждав, сказал официально, — в голосе прозвучал оттенок раздражения:

— Ваш отец находится под следствием. Повторяю.

— Долго оно будет продолжаться... это следствие? — проговорил Сергей не в меру громко.

Он испытывал то прежнее ощущение непроницаемой стальной стены, притиснувшей его, то бессилие и отчаяние от противоестественной человеческой несправедливости, которую почувствовал тогда в сарае один на один со старшим лейтенантом, и, уже не веря даже в уклончивый ответ майора, опросил еще:

— Вы что-нибудь знаете о деле моего отца?

Голос майора был сух, вежлив:

— Ничего не могу ответить вам положительного, гражданин Вохминцев.

Сергей почувствовал, будто летит в черный провал каменного колодца без дна, — сдавленный подступавшими со всех сторон душными стенами, нескончаемо уходящими вверх, — он падал в эту неправдоподобную глубину, цепляясь за что-то, срывая ногти на пальцах... Ему казалось, он закричал в бездну колодца: «В чем обвиняют отца? В чем?» Потом из глубины проступило покойное лицо, близко поставленные к носу карие глаза человека веселого нрава; человек этот, видимо, привык здесь ко многому. Он торопился покончить с этим неожиданно затянувшимся посещением. Его рука лежала на кнопке сигнала.

— Ваш отец находится под следствием. Я вам сказал об этом русским и ясным языком. Больше ничего не могу добавить. Вы задерживаете посетителей, гражданин Вохминцев.

— Тогда разрешите все же спросить, зачем... на кой черт ходить к вам? Ходить для того, чтобы ничего не узнать?

— Вы, кажется, забываетесь, — внезапно откинувшись, не без любопытства во всей позе полнеющего сорокалетнего человека произнес майор и, обежав глазами лицо Сергея, добавил с выражением улыбки: — Иногда легко войти, трудно выйти. Не будьте чересчур уж смелым, бывает это очень опасно. Это абсолютно ваше личное дело — ходить или не ходить, — увидев вошедшую посетительницу, корректно проговорил майор и привычным движением отодвинул папку на край стола. — Вы ко мне? Прошу вас. Садитесь. Слева от вас стул.

— Спасибо за откровенность, — сказал Сергей.

Он вышел на улицу; везде был пестрый хаос толпы, поток машин стекал по Кузнецкому, была парная духота, и Сергей пошел по тротуару, как в жаркой печи, не ощущая внешних толчков жизни.

То, что он говорил майору в справочной МГБ, представлялось сейчас глупым мальчишеством, ненужным вызовом, не имеющим никакого смысла. Все шло от растерянности перед страшной, где-то вблизи неумолимо заработавшей машиной, той машиной, о существовании которой он изредка слышал, но работу которой не видел раньше. Железные шестерни с хрустом прошлись рядом, задели, смяли его, и прежняя уверенность в себе, что была так необходима ему, оборачивалась теперь беспомощной наивностью. Он с жадной надеждой еще искал точку опоры и, не находя ее, чувствовал, что, вот-вот переломав кости, насмерть разобьется; и все колебалось, рушилось, ускользало из-под ног.

«...Мы еще встретимся, Сергей Николаевич...», «Иногда легко войти, трудно выйти...» Нескрытый намек, предупреждение звучали в этом. Только наивной своей смелостью он заставил их говорить так. Кому нужна его смелость? Или что-то произошло, изменилось — и нет доверия, никому не нужна откровенность? Не лучше ли молчать и терпеть — это выход? Это выход? Но зачем тогда жить? «Не будьте чересчур уж смелым, бывает это очень опасно». Если б в войну кто-нибудь сказал так, он набил бы морду. Что ж, мера человеческой ценности изменилась? Кто мог это сделать? Кому нужно было арестовать отца? Зачем? Где истина? Кто ее знает? Знает и терпит? Во имя чего? В чем тогда смысл?

«Что я должен делать? Что делать?»

«Измениться. Взять себя в руки. Надеть маску милого, доброго парня. Со всем соглашаться».

«Не могу! Не могу!»

«Тогда тебе сломают судьбу, дурак! Не будь чересчур смелым. Будешь искать истину? Она давно найдена».

«Не могу, не могу, не могу! Не могу быть камуфляжным. Есть вещи, понятные раз и навсегда. С детства. С войны».

«Можешь, можешь! Должен. Иначе гибель!»

«Не могу, не могу!»

«Можешь! Сначала заставь себя, потом привыкнешь!»

«Не могу!»

«Можешь!»

Он приостановился на тротуаре, мокрый от пота, в ноги дышало жарой асфальта, пекло голову, и улица, оглушая визгом тормозов, гудками, летела, неслась перед ним — мимо сквера, мимо Большого театра, и от этого гула, блеска солнца стучало, колотило в висках.

«Под следствием... Я должен сейчас же поехать в институт. Я должен сегодня отказаться от практики. Что я должен делать теперь?»

...Теплые сквозняки продували троллейбус, охлаждая лицо, пестрота улиц скользила мимо, пропеченное зноем кожаное сиденье пружинило, кидало Сергея вниз-вверх; и позади шевелился в тесноте, в ровном шуме мотора, пробивался чей-то дребезжащий голос:

— Не смотрите, что я деревенская женщина, говорю, а я за вас, докторов, ухвачусь. Что хотите делайте, а его не упустите. А он все на фронте животом мучился. А тут вернулся, поест — схватится за живот. «Ой, мама, пропадаю!» Я говорю: «На фронте самые главные врачи были, чего ж ты у них не полечился?» — «Был я у профессора, — говорит, — мама, сказал: «Неизлечимо». — «Врешь, — говорю, — не был». — «Нет, — говорит, — не был. Я, —

говорит, — как они зашуршат это, сердце рвется. Ничего, я вином вылечусь». Три раза раненный он был, весь фронт провоевал. Ну вот, поехал он в аккурат перед Октябрьскими к дяде, чистое белье надел, гимнастерку новую, медали надел, а назад его мертвого привезли. Когда, значит, у него случилось, его сразу в больницу, а у них чего-то неправильно перед самой операцией. Его на самолет — и в Куйбышев. А летчик молоденький, в пути сбился да вместо Куйбышева в Кипели сел. А когда в Куйбышев прилетели, рассвет уже. Семь минут он пожил... и рвало все... лучше б на фронте его убило! Как вспомню я...

Сергей услышал хрипловатый визгливый плач, оглянулся: темное морщинистое лицо пожилой женщины, сидевшей сзади, было искажено судорогой, слезы текли по трясущимся морщинам; грубые, с рабочими буграми пальцы прижимали кончик черного головного платка к губам, к носу. Вся в черном, эта женщина деревенски и траурно выделялась здесь.

И Сергей почувствовал жгучую жалость к ее морщинистому лицу, к ее изуродованным работой рукам. Эта женщина, выделяющаяся черным платком, грубыми руками, казалась ненужной, чужой в этом городском троллейбусе, было чужим, некрасивым ее горе. И возникла вдруг связь, как из колючей проволоки сплетенная связь между ним и ею, и как будто опаляющим зноем повеяло ему в глаза...

Если на фронте солдат был убит не в бою, а возле окопа, выйдя по своей нужде, он даже тогда погибал для родных героически. Сейчас солдат умер в тылу обычной смертью, от болезни, и смерть его была ничтожной, никому не заметной, кроме матери его. А он не хотел такой смерти спустя четыре года после войны — смерти от случайности.

— Лучше бы на фронте его убило. Знала бы я... — не смолкали визгливые рыдания женщины, и что-то больно и резко подняло его с сиденья, подтолкнуло вперед, к выходу. И он спросил кого-то:

— Простите, вы не сходите?

И испугался звука своего голоса.

11

Секретарь деканата сказала ему, что в кабинете у Морозова партбюро, он нахмурился, постоял в нерешительности перед дверью, спросил:

— Это долго будет?

— Не знаю. А что вы такой бледный, Сережа? Какая-нибудь любовная история?

— Почему, Иннеса? И почему — любовная?

Секретарь деканата, испанка, была чрезвычайно подвижна, худа, наркотически блестящие, с черным отливом, яркие, во все лицо глаза; на ней была всегда клетчатая юбка, спортивная блузка с кармашками; она курила, пачка сигарет постоянно лежала в черной ее сумочке. Иннеса была из Каталонии — привезена в тридцать седьмом году в Россию, и говорила она с какой-то наивной, замедленной интонацией, выделяя слова еще заметным акцентом.

Сергей сказал:

— Худеют разве только от любовных историй?

— Конечно. Но я шучу! — Иннеса взглянула на него живо. — Вы говорили, у вас жена. Жена? У вас дети, ребенки? — Она подмигнула. — Сколько?

— У меня много детей, Иннеса, — усмехнулся Сергей. — Один в Рязани, другие в Казани.

— Молодец! Это хорошо!

Смеясь, Иннеса стала перед ним, расставив крепкие ноги, узкая юбка натянулась на коленях, туфли на каблучках — носками врозь, пальчиком показала от пола воображаемый рост детей.

— Так, так и так? О, я люблю детей. У меня будет много детей. Так, так и так. Когда я выйду замуж за большого, сильного русского парня. Вот с такими плечами, с такими мускулами! А зачем нахмурился, Сережа?

Она, вглядываясь в лицо Сергея, смешно сморщила губы, лоб, с ласковостью провела мизинцем по его бровям, разглаживая их, сказала:

— У мужчины должны быть прямые брови. Он мужчина. Надо всегда быть веселым.

— Мне очень весело, Иннеса, — ответил Сергей.

Он особенно, как никогда раньше, ощущал летнюю пустоту института, везде на этажах безлюдные аудитории, накаленные глянцем доски — и одновременно слышал голоса из-за двери кабинета, неясные, беспокоящие его чем-то. Он смотрел на Иннесу и чувствовал в естественной интонации ее голоса, в смешно наморщенных губах, во всей ее мальчишеской фигуре легкую непосредственность, которой не было у него сейчас. И, слыша голоса за дверью и ее голос с милым акцентом, он неожиданно подумал, что хорошо было бы уехать с ней, бросив все, в какой-нибудь тихий приречный городок на горе, работать и ждать, как праздника, вечера, чтобы в каком-нибудь деревянном домике, затененном деревьями, чувствовать ее нежность и доброту к нему...

Он вспомнил о Нине, и ему стало душно. «Я устал?» — подумал он, и тотчас — стук открываемой двери, приблизился говор голосов, шарканье отодвигаемых стульев, и он понял: там кончилось.

И тут из кабинета Морозова начали выходить члены партбюро, знакомые и малознакомые лица, кивали ему бегло, закуривали в приемной, и почудилось Сергею нечто настороженное, полуотталкивающее в их кивках, в коротком пожатии руки, в повернутых к нему спинах. Косов, с красной, сожженной, видимо, в Химках шеей, открытой распахнутым воротом, вплотную подошел к нему, переваливаясь по-морскому, железно стиснул локоть:

— Слушай, старик...

Сергей заметил, как пронзительно засинели его глаза, и, не отвечая ни слова Косову, шагнул в кабинет, готовый к тому, что могло быть, и не желая этого.

— Я к вам, Игорь Витальевич, — сказал он ровным голосом.

Морозов в комнате был не один. Он неуклюже возвышался над столом, собирая бумаги в портфель, полы чесучового помятого пиджака задевали разбросанные листки, узкое книзу, серое лицо угрюмо-сосредоточенно. Возле стоял Уваров, в белой тенниске на «молнии», сильной, покрытой золотистым волосом рукой подавал бумаги и объяснял ему что-то сдержанным тоном, тот слушал его.

В дальнем конце стола замкнуто сидел Свиридов, болезненно желтый, с провалившимися щеками, подбородок упирался в кулаки, положенные на палку-костылек.

Все это успел заметить Сергей, от всего этого дохнуло холодом, повеяло подсознательно ощутимой опасностью, увидел, как при его словах: «Я к вам», — Морозов резче стал защелкивать и никак не мог защелкнуть замочки портфеля, как приветливо и широко, как всегда при встречах, заулыбался Уваров и затем поднял голову Свиридов, оторвав подбородок от палки. «Что ж, — успокаивая себя, подумал Сергей, — он улыбнулся мне как равный равному».

— Знаю, что вы устали, но мне обязательно надо с вами поговорить, Игорь Витальевич, — выговорил Сергей, подчеркивая «с вами», давая понять, что хочет разговаривать один на один.

— А-а, так-так, — суховаато произнес Морозов. — Поговорить? Ну что ж. Садитесь. Здесь два члена партбюро, секретарь партбюро. — Он глянул на Свиридова и, садясь, будто обвалился на кресло, глубоко запустил пальцы в волосы. — Ну что ж. Говорите.

Была минута замешательства — и в эту минуту Уваров, улыбаясь с какой-то особой значимостью, пожал ему руку, пододвинул стул, сказал:

— Садись. Все свои. Поговорим, если ты не возражаешь.

— Спасибо. Я сяду.

И какая-то чужая сила заставила Сергея улыбнуться ему, когда он произнес это «спасибо», когда ощутил почти неподчиненное движение своих пальцев в ответном рукопожатии — и, готовый ударить себя, содрать свою улыбку с губ, заговорил, обращаясь к Морозову:

— Я не могу поехать на практику, Игорь Витальевич. У меня сложились тяжелые семейные обстоятельства. Я не могу... Как бы я ни хотел, я не могу. — Голос его ссыхался, спадал, он договорил: — Не могу...

— Какие же семейные обстоятельства, Сергей? Если это не секрет? — спросил Уваров тихим и сочувствующим тоном. — Говори откровенно, здесь все коммунисты. Говори, если можно.

— У меня тяжело больна сестра.

Морозов привскочил в кресле, как от ожога, взгляд, исподлобья устремленный на Сергея, загорелся гневом. Он звонко хлопнул ладонью по столу и, вытянув длинную шею, крикнул:

— Стыд и позор! Стыд и позор! С нашими студентами не умрешь от скуки, не позагораешь — цепь новостей! Сложные семейные обстоятельства, больна сестра — грандиозная причина, чтобы отказаться от главного! Вы, фронтовик, ответьте мне: в бой тоже не ходили, когда заболел ваш друг? А? Что? Не объясняйте, я сам за вас объясню. Знаете, что такое для инженера практика? Хлеб, воздух, жизнь! Ясно? Рассиропились, опустили руки, не нашли выхода! Безобразия, женское решение. Не узнаю, не узнаю, не хочу узнавать вас, Вохминцев!

— У меня больна сестра, — сказал Сергей, находя только эту причину, понимая, что она зыбка, недоказательна, но упорно повторяя ее, потому что это была правда.

— А, Вохминцев! — произнес Морозов, досадливо теребя взлохмаченные волосы. — Что же вы?..

— У тебя, кажется, семья состоит из трех человек: ты, отец и сестра, — сказал Свиридов своим обычным, округляющим слова голосом, упираясь подбородком в набалдашник палки,

зажатой коленями. — Так, может, отец побыл бы с сестрой? Возможно это?

«Вот оно, главное, вот оно», — проскользнуло в сознании Сергея, и лицо Свиридова как бы приблизилось к нему, и ввалившиеся щеки Свиридова сдвинулись, точно его пытала изжога, — он отставил палку, налил из графина в стакан, отпил — были слышны жадные щелчки глотков. Морозов, прижимая ладонь ко лбу, из-под этого козырька наблюдал за Сергеем, а ему нужно было вытереть пот на висках, но он не делал этого с усилием не меняя прежнего выражения лица.

— Отец не может быть с сестрой.

— Отец в Москве, Сергей? — спросил тихо Уваров.

— Да. Но какое это имеет значение? — возразил Сергей и тотчас увидел: Уваров, удивленно улыбаясь, развел над столом руками.

— Я имею право поинтересоваться как коммунист у коммуниста.

— Имеешь.

Морозов, не отнимая ладони от лба, из стороны в сторону качал головой и уже гневно не смотрел на Сергея, а словно бы страдальчески прислушивался к его голосу.

— Ах, Вохминцев, Вохминцев! — проговорил он. — Что же вы, что же вы!..

— Вот, Игорь Витальевич! Вот работа нашего партийного бюро, вот он — наш либерализм!

Свиридов с треском оттолкнул стул — опираясь на палку, восково-желтый, двигая прямыми плечами, быстро захромал перед столом.

— Вот, Игорь Витальевич! — Он выкинул сухой, подобно пистолету, палец в направлении Сергея. — Вот они, наши коммунисты! Ложь! Эт-то же страшно, коли есть такие коммунисты и иже с ними! Страшно! Ты знаешь? Знаешь?.. — И порывисто перегнулся через стол. — Вчера ночью был арестован студент первого курса Холмин. За стишки, за антисоветские стишки, которые строчил под нашей крышей! Вот они, смотри, — сочинения! — Он застучал ребром ладони по листу бумаги на столе. — Вот они. «А там, в Кремле, в пучине славы, хотел познать двадцатый век великий, но и полуслабый, сухой и черствый человек!» Понимаешь, что мог... мог написать этот... этот гад, который учился с нами!

— Я бы и не читал эту подлость вслух, — заметил Уваров. — Противно...

— При чем здесь я? — спросил Сергей с сопротивлением. — Знать не знаю никакого Холмина! Какое это имеет отношение ко мне?

— Отношение? Нужно отношение? Хорошо! — Свиридов съежил плечи, стискивая палочку, и плечи его превратились в острые углы. — Ты врешь нам, врешь недостойно коммуниста!

— Прошу поосторожней со словами...

— Брось! Ты не женщина! Слушай правду. Она без дипломатии! Ты врешь нам, трем членам партийного бюро, коммунистам, врешь! Не так? Твой отец арестован органами МГБ! И ты приходишь сюда и начинаешь врать, выкручиваться, загибать салазки! Как ты дошел до жизни такой, фронтовик, орденносец! Кому ты врешь? Партии врешь! Партию не обманешь! Не-ет! — Он затряс пальцем перед подбородком. — Не обманешь!

Морозов перебил его:

— Павел Михайлович! — И добавил несколько тише: — Прошу, не горячитесь.

— Я говорю правду, Игорь Витальевич! Я не перестану бороться с гнилым либерализмом, который развели в институте! Мы коммунисты и должны говорить правду в глаза! — не так накаленно, но жестко выговорил Свиридов и заковылял к Сергею. — Ты знал, что, как коммунист, обязан был написать в партбюро о том, что отец арестован? Или ты первый день в партии?

— Мой отец невиновен. Произошла ошибка.

— Ты что — гарантируешь? Подумай трезво — органы ошибочно не арестовывают. Может быть, гарантируешь невиновность Холмина, а? Давай не будем разговаривать по-детски. Факты — упрямая вещь. Ты что же — органам МГБ не доверяешь?

Сергей встал, и что-то горячо повернулось в нем, как в самые ожесточенные минуты боя, он уже не хотел оценивать отдельные слова Свиридова, бьющие в лицо сухой пылью, он улавливал и понимал лишь общий смысл близкой опасности. Он еще ждал, что Морозов вступит в разговор, но тот, прикрыв лоб козырьком руки, молча глядел в окно.

— Может быть, ты скажешь, что Холмина арестовали по ошибке? — цепко и зло спросил Свиридов. — Вот наш коммунист, твой товарищ Аркадий Уваров, сам нашел эти поганые стишки в его столе. Ты понял, чем пахнут эти стишки?

— Нехорошо, Сережа, нехорошо, — мягким голосом заговорил Уваров. — Сын за отца, конечно, не отвечает. Но ведь были у тебя, Сережа, личные контакты с отцом, разговоры откровенные были. Чего уж скрывать. И если ты замечал что-либо — надо быть бдительным... И тем более ты обязан был сообщить об аресте отца в партбюро.

Все время, когда Свиридов говорил, он сидел, опустив веки, но при словах его о найденных в столе стихах он из-под век глянул на Свиридова с короткой ненавистью и, заговорив, сейчас же перевел взгляд на Сергея — голубизна глаз была непроницаемо улыбочивой.

— В этом случае коммунист должен быть выше личного, Сережа. Отец это или жена... Знаешь, наверно: в гражданскую войну бывало — сын против отца воевал. Классовая борьба не кончена еще. Наоборот, она обостряется. Если поколебался — моральная гибель, конец...

И Сергей понял: это была тихая, но беспощадная атака на уничтожение — Свиридов верил каждому слову Уварова. Было четыре года затишья, звучали случайные редкие выстрелы — устойчивая оборона, белый флаг висел над окопами — расчетливый Уваров выждал удобные обстоятельства, и силы, которым Сергей теперь не мог сопротивляться, окружали его, охватывали тисками, как бывало только во сне, когда один, без оружия попадешь в плен — немцы теньями касок вырастают на бруствере, врываются в блиндаж, связывают, и нет возможности даже пошевелить рукой...

В эту секунду он осознал все — в бессилии он отступал. И вдруг его недавняя унижительная улыбка, фальшивое, произвольное рукопожатие показались ему взяткой, которую он, растерянный, впервые за все эти годы дал Уварову за лживый между ними мир.

— Не знал, — проговорил Сергей хрипло. — Не знал... Почему я не знал? А что я должен говорить об отце? Подозревать отца? За что? В чем? Отец делал революцию... Он старый коммунист... Подозревать отца? Ты что говоришь? Что ты мне советуешь? Так только фашистские молодчики могли...

Он взглянул на Уварова, на его мужественный, сильный подбородок — стол разделял их. Уваров сидел неподвижно, полуприкрыв глаза, и утомленно-сожалеющим было его лицо.



— Вохминцев! — крикнул Свиридов, хромая к столу. — Молчи! За эти слова — знаешь? Гонят из партии! Ты... коммунист коммуниста! Как смеешь?

— Он уже не коммунист, — печальным голосом произнес Уваров. — Жаль, но он в душе уже не коммунист. Разложился... Очень жаль! Хороший был парень.

— Я плевать хотел на то, что ты думаешь обо мне. И не вам, Свиридов, судить. Потому что вы верите не себе, а ему, вот этому «принципиальному» парню... с душой предателя! — проговорил Сергей, как в холодном тумане. — Вы верите ему, я буду верить себе!

— Достаточно! Прекратите! Можете идти, Вохминцев. Когда будет нужно, вам сообщат. Идите, идите...

Был это голос Морозова, и Сергей, все время ожидавший вмешательства, искоса посмотрел на него: то, что Морозов в течение этих минут как бы не участвовал и не замечал боя, который шел рядом, и то, что он сейчас неуклюже и не вовремя оборвал этот бой, уже ничего не решало.

— Вам, Вохминцев, необходимо в партбюро заявление... в связи с отцом. Все, что нужно. Можете завтра принести. Это вам ясно?

И Сергей нехотя и упрямо ответил:

— Заявление, Игорь Витальевич, я писать не буду. Отец не осужден. А то, что он арестован, знаете сами.

— Идите! — Морозов полоснул глазами в сторону двери. — Слышите вы? Идите! Немедленно!

— Жаль. Очень жаль, — сказал Уваров задумчиво.

Он вышел из кабинета, в горле жгла металлическая сухость, ломило в висках — головные боли в последние дни стали повторяться, — и все туманилось в сером песочном свете: приемная, солнце на паркете, кожаный диван, столик с телефоном; и голос Иннесы тоже был вроде бы соткан из серого цвета:

— Как, Сергей?..

Он машинально посмотрел на ручные часы, хотя безразлично было, сколько прошло времени, и странно улыбнулся Иннесе.

— Вам не хочется холодного пива или мороженого? В жару это идея, правда?

Не разобрал, что ответила она, помешал звук открываемой двери — Уваров со Свиридовым выходили из кабинета Морозова, — и, повернувшись спиной к ним, Сергей договорил нарочито спокойно:

— Вам не хочется выпить, Иннеса? Закатиться куда-нибудь в ресторан — великолепная идея! Разлагаться так разлагаться.

Он затылком почувствовал: замедлив шаги, они проследовали в коридор. Он был рад, что они слышали его. В конце концов было ему все равно.

— Seriously, Иннеса, — сказал он иным тоном, через силу, естественно. — Не хотите ли вы

куда-нибудь пойти со мной? Ну в ресторан, в кафе, в бар — куда хотите. Мне хотелось бы...

— Я не могу. На работе, Сережа.

— Какие формальности, Иннеса! Институт пуст, никого нет, одни уже на практике, другие на каникулах, черт бы их драл. Морозов сейчас уйдет. Что ему тут делать? Идемте, Иннеса! Вы ведь говорили, мужчина должен все время улыбаться.

— Потом. Ладно? Завтра. Ладно? Но завтра ты не захочешь. — И, заглядывая ему в глаза, спросила: — Замучился... Плохо тебе?

Она сильно, по-мужски взяла его за руку и слегка прикоснулась губами к щеке — это был какой-то дружественный знак понимания, — спросила снова:

— Замучился, Сережа?

Она больше ни о чем не спрашивала.

— Нет, — сказал он и зачем-то тронул щеку, где коснулись ее губы, усмехнулся: — Нет. Счастливо, Иннеса.

— Счастливо-о! — ответила она. — Завтра ты не придешь, нет?

— Я не знаю, что будет завтра.

12

Вернулся домой поздно.

Он долго не попадал ключом в отверстие замка, а когда открыл дверь, в первой комнате — полумрак; светил в углу на диване зеленый ночник, и прямо перед порогом стоял Константин, покусывая усики.

— Ты? — спросил Сергей, пошатываясь.

— Я.

— Как Ася?

— Ты готов? — спросил Константин серьезно.

— Я спрашиваю, как Ася? Какого... ты еще?

— Все так же. Был профессор и врач из районной. У нее что-то нервное. Нужен покой. Ты где надрался? И в честь какого торжества?

— Ася, Ася... — сказал Сергей, нетвердыми шагами подошел к дивану, сел, сутуло наклонился, расшнуровывая полуботинки. — Пьют от слабости, — заговорил он шепотом. — Я понимаю. Я не от слабости... Я никогда ничего не боялся... даже смерти... Ни-че-го...

Сергей ниже склонился к ботинкам, дергая шнурки, и вдруг согнутая, обтянутая рубашкой спина его затряслась, и неожиданно было слышать Константину глухие, сдавленные звуки,

похожие на проглатываемый стон. Он будто давился, расшнуровывая ботинки, все не разгибаясь, и Константин, в первый раз увидев его таким, заторопился с неистовой энергией:

— Сережка, идем в ванную, старина! Надевай тапочки. Пошли! Душ — великолепная штука. По себе знаю. Надирался как змей. Обдает свежестью — и ты как огурчик. Ко всем дьяволам философию! Истина в душе, за это ручаюсь! Где эти тапочки? Сейчас ты узнаешь, что человечество не даром выдумало душ!

— Не зажигай света, — шепотом попросил Сергей, не разгибаясь. — Я сейчас... подожди.

— Пошли, Серега. Поверь мне. Примешь душ — увидишь небо в алмазах. Пошли! Жизнь не так плоха, когда в квартире есть цивилизация.

Он обнял его одной рукой, довел до ванной, задевая за развешанное на кухне белье, пахнущее сыростью, сказал:

— Давай! Выход из всех положений.

Этот благостный душ был ожигающе свеж, колкие струи ударяли по плечам, по груди: сразу озябнув, Сергей подставил лицо, крепко зажмурясь, навстречу льющемуся холодному дождю, и в этом водяном плену, перехватывающем дыхание, вспомнил, трезвея, о тех солнечно-морозных утрах зимы сорок пятого года, когда после пота, грязи передовой он был влюблен в эту воду, в эту ванну — ни с чем не сравнимое чудо человечества, как тогда счастливо казалось ему.

— Теперь растирайся до боли! Почувствуешь себя младенцем! — Константин приоткрыл дверь, подал ему мохнатое полотенце, затем крикнул из кухни: — Я сейчас крепкий чай сочиню. И все будет хенде хох!

Сергей не отвечал, растираясь колючим полотенцем, — тишина была в доме, как на степном полустанке, и движений Константина на кухне не было слышно.

В распахнутое окошечко ванной прохладно тянуло ветерком летней ночи, чернело звездное небо за близкими силуэтами лип, и слабо доносились далекие паровозные гудки с московских вокзалов.

Когда Сергей вышел из ванной, Константин курил около плиты, незнакомо застывшими глазами смотрел на закипавший чайник, на тоненько дребезжащую крышечку.

— Я тебя ждал сегодня, — сказал он.

— Дай сигарету.

— Я тебя ждал. Хотел поговорить. Очень...

— Сейчас ничего не буду рассказывать. До смерти устал. Дай сигарету и спички. — Сергей ногой подволок к столу табуретку. — Ася меня ждала?

— Сначала была Эльга Борисовна, потом я. Ты ничего не знаешь?

— Я многого не знаю, Костька... — вяло сказал Сергей. — Но меня ничем уже не удивить.

— Н-да...

Константин полотенцем снял крышку чайника, прищурился на булькающий кипяток, проговорил непрочным голосом:

— Трудно мне сказать это тебе...

— Тогда не говори.

Было молчание. В ванне щелкали, отрывались от душа капли.

Константин все так же глядел на бурлящую воду, на пар, с тихой решимостью сказал:

— Слушай, Серега... Вот что. Я люблю Асю. Я хотел, чтобы ты... Я люблю ее. И вообще... это так.

Константин со всхлипом затянулся дымом сигареты так, что поднялась грудь под полосатой ковбойкой, и договорил с длительным выдохом:

— Я должен был тебе сказать. Я люблю Асю. С сорок пятого. Когда ты был еще в армии.

— На кой черт ты мне говоришь это? — Сергей хмуро посмотрел на Константина. — То есть как любишь? В каком смысле?

Никогда он всерьез не думал об этом, но порой все же появлялась мысль, что, наверное, когда-нибудь вечером зайдет за Асей совсем незнакомый парень, лица которого он не мог представить, ее однокурсник, наделенный теми качествами, которые могли бы понравиться ему; он всегда был спокоен за нее, ибо была непоколебимая уверенность, что не мягкий отец, а он спустит с крыльца любого, кто попытается хотя бы намеком оскорбить его сестру. Он считал, что обладает силой покровительства старшего брата в семье. И то, что Константин нежданно открылся ему, вызвало в нем не удивление, а чувство чего-то неестественного, не имевшего права быть. Он знал Константина со всеми его слабостями, и если бы он сказал сейчас о каком-то очередном увлечении своем, только не о любви к Асе, это было бы вполне естественно и закономерно.

— Вот что, — проговорил Сергей, — с меня хватит всего... Я всем сыт по горло. Не понимаю тебя. Ты прошел огонь, и воды, и черт те что, а Ася святая. Ей нужен парень... ее поколения. Что у вас общего? На кой черт ты говоришь это? Я хочу спать. Мне надо выспаться. Основательно выспаться, Костька. У меня что-то часто стала болеть башка. Я устал.

— Все-таки выпей чаю, — посоветовал Константин. И замолчал с мрачным, замкнутым лицом; смуглые пятна проступили на скулах, в темно-карих глазах пригасло обычное выражение иронически настроенного ко всему человека, раз и навсегда когда-то осознавшего зыбкость истины.

— Считай, что этого разговора не было, — сказал он, и, показалось Сергею, голос его не дрогнул. — Кстати, тебе... звонили... Звонила Нина. В десять вечера. Забыл передать. Я с ней очень мило поговорил. Возьми чайник.

Ручка чайника была невыносимо горячей, Сергей ощутил его ошпаривающую тяжесть и мгновенно перебрал чайник в другую руку.

— Спасибо. Уже не нужно.

— Что?

— Спасибо. Уже не нужно. Пойдем чай пить?

— Я ужинал. Пойду к себе. На верхотуру. Сверху, как говорят, виднее. Завтра утром — тю-тю! — уезжаю на практику. Под Тулу, — сказал Константин. — А все же, Серега, ты считал и считаешь меня за пижона. Так? Откровенно...

— Брось! Ты знаешь, как я к тебе отношусь?

— Нет! Но ведь кто понимал друг друга, как не мы с тобой, кто? И уж если откровенно... ты всегда был серьезный малый, и меня тянуло к тебе, а не тебя ко мне. И я у тебя кое-чему научился, а не ты у меня. Так?

— Брось сантименты, Костыка. Я просто был «чересчур смелым человеком» и ничему не научился. А жаль.

— Будь здоров! И не городи ерундовину перед сном — вредно.

Константин взбежал по лестнице на второй этаж.

Здесь, наверху, он прошел сквозь темноту коридора в свою комнату, ощупью нашел выключатель, зажег свет; и его окружил давно привычный ему хаос холостяцкой обстановки — пыльные книги в громоздком шкафу, иллюстрированные, затрепанные донельзя журналы, повсюду раскиданные на стульях, порожные бутылки из-под пива на подоконнике, кинофотографии Дины Дурбин над письменным столом, пепельница-раковина, переполненная окурками; на тумбочке — портативная с пластинками мировой «джазяги» радиола, по случаю купленная в сорок пятом году у летчика, приехавшего из Венгрии. Но чего-то не хватало ему. Он не находил себе места. Ему не хотелось спать.

Он включил радиолу на тихий звук, полулег в мягкое облезлое кресло, вытянулся в нем — пластинка раскручивалась, шипела, возникли точно отдаленные пространством звуки джаза, — и он, слушая хрипловатый низкий женский голос и потирая лицо, горло, морщась, напевал шепотом: «О, Сан-Луи, ты горишь вдали...»

Ночью Сергея разбудил телефонный звонок.

Минут сорок назад, чтобы уснуть, он принял люминал, найдя снотворное в аптечке отца, и сон тяжело потянул его во тьму. Он чувствовал, как засыпал, и чувствовал, как нарастает что-то беспокойное, смутное, то приближаясь, то удаляясь, — как человек, как летящее тело между небом и землей. Но это не было ни человеком, ни телом. Что это было, он не мог понять.

...Потом появились какие-то темные, как туннель, ворота, а позади — он видел — под луной блестела каменная площадь. И он вбежал под арку — преследовал его, настигал, бил его в спину грохот подкованных сапог.

Этот грохот раздавался на весь город. А людей нигде не было на пустынно мертвенных улицах. Только стучали, приближаясь, железные подковы сапог, отдаваясь тоской в сердце.

Он бежал через арку, через черный туннель, он заметил впереди светящееся под луной отверстие выхода. Но мысль о том, что он совсем один в городе, что у него нет оружия, кидала его как сумасшедшего из стороны в сторону. Щупая пустую кобуру, выбившись из сил, он домчался до выхода. Как спасение, как передышка, открылся этот выход... Четыре силуэта вышли навстречу ему, загородив проход из туннеля. Он не видел их лиц, не видел их мундиров, но знал — впереди немцы. И в то же время донесся металлически ударяющий цокот подков за спиной. И он понял, что пропал, что его окружили и нет выхода из смертельной ловушки — это конец, его предали...

Отступая, он еще напрасно рванул пустую кобуру на боку, — и тут что-то душное, цепкое навалилось на него, ломая тело, выкручивая руки. Вырываясь из тисков, он осознавал, что это последнее в его жизни, что он погибнет сейчас, и почему-то особенно ясно успел

заметить за спинами людей в черном чье-то очень знакомое огромное лицо с усиками, но кто это был — никак не мог вспомнить. И вдруг узнал это лицо по крутому подбородку, по улыбающимся губам и, узнав, крикнул, задохнувшись: «Уваров? Уваров!.. Где, сволочь, твой партбилет? Сжег?» — И от удара, падая под сапоги, уловил радостный знакомый рев: «В сердце! Бейте его в сердце! В сердце!.. Он сейчас умрет!»

Сергей очнулся от этого крика, от назойливого постороннего звука.

Открыл глаза — огромная, тяжелая, раскаленная, во все окно луна светила душно и нацеленно — прямо в зрачки ему. Он лежал, боясь оторвать взгляд от нее, боясь пошевелиться, скачущими рывками билось сердце; казалось — оно разорвется. «Это сон, неужели сон?» — спросил он себя, приподнялся — настойчиво звонил телефон, накрытый подушкой.

И этот придавленный настойчивый звук стряхнул с него одурманивающий кошмар сна.

Он вскочил с постели, снял трубку.

— Да, — сказал он хрипло, глядя на отсвечивающие под луной часы на столе. Шел второй час ночи.

— Прости, пожалуйста, я разбудила тебя? Ты спал? Сережа, я хочу тебя увидеть! Обязательно! Сегодня, сейчас!

— Кто это? — Он еще плохо соображал; колотилось сердце и после сна, и после торопливого в трубке голоса: — Кто это?

— Не узнаешь? Это я... Я тебе звонила! Я тебе вчера звонила, сегодня звонила...

— Кто это? Ты мне звонила? — переспросил он. — Нина?..

— Да, да! Я вчера вернулась, я тебе звонила. Послушай... Я звоню из автомата. Я сейчас приеду к тебе... Ты слышишь, Сережа?

— Я не могу сейчас, — выговорил он. — Я не могу... И не надо мне звонить.

— Сере-ежа!..

Он оборвал разговор и, накрыв подушкой телефон, с тоской почувствовал, что не так говорил, не так ответил, что не думал все это время о ней, о ее муже, который вернулся в Москву. И как только опять лег и увидел висевшую в квадрате окна чудовищно красную душную луну, почудилось — были порваны все реальные нити с миром.

Снова затрещал под подушкой телефонный звонок, похожий на задушенный крик. Он оглянулся на дверь в комнату Аси, затем схватил свою подушку и накрыл ею телефон — так было легче ему.

Телефон трещал слабым, жалобным звонком, сжатый подушками. Его звук походил на прерывистый комариный писк.

Потом он замолк. С ударами крови в висках Сергей лежал, не испытывая облегчения. Предметы в комнате сместились, потонули в тени — луна заметно сдвинулась над железными крышами к краю окна, был виден из-за рамы багровый раскаленный кусочек ее. И стояло в мире такое безмолвие, какое бывает, когда в лунную ночь переползает через бруствер на нейтралку разведка — туда, в сторону немого гребня немецких окопов...

Он услышал с улицы легкий шум подвывающего мотора, потом четкий и сильный щелчок

дверцы, и сейчас же побежал стук каблуков — уже во дворе.

«Неужели она? Не может быть», — подумал, еще сомневаясь, Сергей и потянул со стула брюки, от волнения не попадая ногами в штанины; робкий, короткий звонок забулькал в коридоре.

Он бросился к двери по темному коридору, нажал, открыл замок и, не говоря ни слова, быстро вернулся в комнату, оставив дверь открытой.

— Сергей!

— Здесь спят.

— Сергей!

В сумраке забелел плащ — она вошла, затихла, остановилась за порогом комнаты.

— Зачем ты приехала? — спросил он нерассчитанно громким голосом.

— Сережа, — сказала она и с робостью выступила из сумрака в лунный свет. — Я не могла ждать. Ты послушай...

— Зачем ты приехала? Для чего? — спросил он холодно.

— Сере-ежа-а, я ничего не понимаю...

Она как-то неумело, не по-женски заплакала, приложив ладони к груди, и, плача, опустилась на стул, сжавшись, локтями доставая колени. Он смотрел на нее растерянно.

— Идем, — сказал он. — Разбудим Асю. Идем. Я провожу тебя.

13

— Я сегодня узнала все...

— Что ты узнала?

— От Аркадия... от Уварова. Он не был два года и зашел сегодня...

— Ну и что? Что ты узнала?

— Послушай, Сергей, я жалею, что хотела помирить тебя с ним! Жалею! Думала, все проще... Я просто верила Тане. А он притворялся, ждал. И дождался.

— Ты это хотела мне сказать?

— Послушай, Сережка, перестань! Как все мелко, ужасно мелко по сравнению... что случилось с твоим отцом! Это самое страшное, что может быть. И еще смерть.

— Это он рассказал?

— Будь осторожен! Пойми, он не шутит, он пойдет на все. Не горячись на партбюро, будь доказателен. И взвесь все — это главное. Уваров не так прост! Знаешь, что он сказал? «Ну

все, конец, ваш Вохминцев испекся!» И какое было лицо — спокойное, лицо победителя! Сережа, послушай... Он сказал: завтра или послезавтра будет партбюро. У тебя есть время. Если оно тебе нужно. Знаю, ты можешь быть сильным, но ты... Пойми, они не шутят! Они не шутят!

— Что ж, спасибо... Я проводил тебя до Серпуховки.

— Подожди! — попросила она.

Они стояли на углу, в густой тени каменного дома, возле наглухо закрытого подъезда.

— Еще... — сказала она.

— Что «еще»?

— Еще проводи. Мне страшно. — Она поежилась.

Пустынная Серпуховская площадь с темным прямоугольником универмага, низким зданием шахты строящегося метро была огромной, безжизненно-синей; под лунной металлически блестяли дальние крыши, и маленькая фигурка постового милиционера посреди пустой площади казалась неподвижной, неживой. Луна будто умертвила город, и даже не было ночных такси, обычно стоявших на углу.

— Сергей...

— Пойдем, — прервал он.

Она замолчала. Он не смотрел на нее.

Но, когда свернули на узкую Ордынку, стало темнее на тротуаре от застывших теней лип, тихая мостовая за ними лежала мертвенно-гладкая, полированная под лунным светом. Он взглянул на Нину сбоку, и она чуть подалась к нему, словно хотела взять под руку, но не взяла, застегнула пуговичку плаща на горле, опустила подбородок. Они молчали.

Она шла, двигалась рядом, изредка касаясь его плащом, и он видел ее всю — от этих стучащих по асфальту каблучков, этого коротенького старого плаща до молчаливо сжатых губ, — и все было знакомо, нежно в ней, но одновременно не исчезала какая-то горькая неприязнь у него после того, как в этом же плащике он встретил ее с мужем возле метро, и муж говорил что-то, уверенно и не стеснительно обняв ее за плечи. Он хотел спросить просто: зачем он приехал, почему она не сказала об этом, но боялся, не хотел снова сбиться на тот отвратительный самому себе, неприятный тон, каким разговаривал, когда она вошла в его комнату: что бы ни было между ними, он не имел права унижать ее.

Ее каблучки стучали медленнее. Затихли.

— Мы почти дома, — послышался ее осторожный голос, и он увидел: она повернулась грудью, руки засунуты в карманы плащика, в глазах — ждущее выражение. — Спасибо. Ты меня проводил.

Он уловил этот взгляд и хмуро посмотрел вверх. Над аркой ворот, под тополем эмалированная дощечка с номером дома была, как прежде, мирно освещена запыленной лампочкой. Вокруг желтого огня хаотично вились ночные мотыльки, стучались, трещали о стекло, был легкий шорох в листве.

— Я не имел права, — сказал он, — разговаривать так с тобой...

— Еще, — попросила она, несмело улыбаясь краями губ, и робко сняла мотылька, упавшего



ему на плечо. — Упал к тебе, — сказала она, — прости...

— Что, Нина?..

— Скажи что-нибудь еще. Я прошу...

Она раскрыла ладонь, поднесла к глазам, внимательно рассматривала белого мотылька, который полз по ее пальцам, и Сергей видел ее наклоненный лоб, руку, и в эту минуту ненужное внимание к этому мотыльку вдруг показалось ее правдой, ее естественностью.

— Ну, теперь все, — сказала она и стряхнула мотылька.

— Что «все»? О чем ты говоришь? — спросил он и так порывисто обнял ее за плечи, что у нее безвольно-жалко откинулась голова. — Я не понял, что «все»?

— Я люблю тебя, Сере-ежа... А ты? Ты?

Она качнулась к нему, повторяя: «А ты? Ты?» — и он, чувствуя, что задыхается, стал сильно, как будто хотел ей сделать больно, целовать ее в губы, в подбородок, в глаза.

— Я хочу тебе объяснить. Да, мой муж был в Москве. Ты знаешь, что с ним случилось?

— Нет.

— У него неудача с экспедицией. Его отзывали в Москву, а он не ехал. Он боялся встречи с московским начальством. Ему могут больше не дать экспедицию.

— Он воевал?

— Да. Он майор, командовал саперной ротой.

— Ну и любил тебя?

— На второй месяц сказал, чтобы я не ограничивала его свободу. Потом узнала, что он ездил в районный городок к одной женщине. Я собрала чемодан и перевелась в другую экспедицию. Потом — в Москву. Не будем говорить об этом...

Они помолчали.

— Я только сейчас вспомнила... Знаешь, что он сказал? «Сергей — декабрист, а наше время не для декабристов».

— Кто это сказал?

— Уваров. Ты понимаешь, что это значит?

— То, что сволочь, для меня не открытие. Но он забыл, что наше время не для таких подлецов, как он.

— Он сказал, что ты уже не коммунист, что тебя выгонят из института, Сережа. Но я не хочу верить...

— Если даже со мной что-нибудь случится, я пойду работать шахтером, забойщиком, я могу носить мешки, грузить вагоны. Я все могу... Только... Только бы...

— Что, Сережа?

— Только... Я хотел бы, чтобы никто не брал чемодан и не переводился в другую

экспедицию.

— Сере-ежа-а, ты не должен об этом... Ты никогда не думай, что я могу... Я могу бросить все, понимаешь? И пойти с тобой уголь грузить, что угодно! Я не знаю, как это передать — что я чувствую к тебе... Как это передать?

— Этого не будет, чтобы ты грузила со мной уголь, этого никогда не будет... — говорил он с нежностью и отчаянием, исступленно обнимая и целуя ее в ледяные губы. — Ты увидишь, этого никогда не будет...

В тишине тоненько и звеняще тикали часы на стене.

Константин, уже одетый, сидел в кресле, растирая рукой грудь, — зябкость утра, вливающаяся через открытое окно, щекотно касалась кожи лица, — и прислушивался к ранней возне воробьев в дворовых липах. Потом воробьи с резким шумом брызнули под окнами из розовеющих ветвей: стукнула форточка на нижнем этаже — одинокий звук эхом раздался в пустоте спящего двора. Ему представилось почему-то, что форточку закрыли в комнате Аси, и Константин, вмиг очнувшись, вспомнил о времени своего отъезда.

«У меня есть четыре часа, — думал он. — Я сначала зайду к ней, потом я пойду

туда ... Успею ли я все сделать, все как нужно, все как надо? А что раньше, коленки дрожали — не мог отнести эти деньги? Вот они, быковские десять тысяч. Что ж, деньги лежали у меня две недели. Долго собирался. Будет вопрос: «А чемоданчик-то с бостоном в Одессу вы привезли?..» Что докажешь? А может, сказать — нашел деньги?.. К черту их! Смотреть на них не могу! Так что же, Костенька, действуй, вперед, милый, подан свисток атаки, хватит лежать в окопах, в тебя стреляют, в Сережу, в Асю... и не холостыми патронами, а бьют наповал, в голову целят!..»

Константин, охваченный холодком, встал к чемодану и, раскидав белье, вынул со дна завернутую в газету пачку денег, вложил ее, туго надавившую на грудь, во внутренний карман.

Сделав это, он стал бросать белье и ковбойки в чемодан и, захлопнув крышку, щелкнул никелированными замками — все было готово. Он знал, что не вернется сюда до осени — практика на шахтах длилась два месяца. Он оглядел комнату без сожаления — этот когда-то уютный и привычный ему беспорядок — и ничего не тронул, ни к чему не прикоснулся, только накрыл старой газетой ящик радиолы. «Оревуар, старина!»

«Вот и все, Костенька, — сказал он себе, — вперед, милый!»

Когда, заперев комнату, Константин спустился по лестнице на первый этаж и тут, стараясь не натолкнуться на вешалки, прошел тихий коридор, нигде не было ни звука — дом еще спал. Константин задержался перед дверью Вохминцевых с желанием постучать, разбудить и Сергея и Асю, но, так и не решившись, подsunул под дверь записку в конверте, написанную ночью.

Старый и чистый асфальт двора показался в этот час зари огромным и пустынным. И было странно, что во всех окнах неподвижно висели алеющие занавески и были закрыты двери парадных — везде покой, сон, и только одна стая проснувшихся на рассвете воробьев все сновала, чирикала, возилась в липах над окнами Вохминцевых, и от этой возни дрожала, покачивалась там багровая листва.

Он стоял и смотрел на окна в комнате Аси: в тени они отливали скользким мазутным светом.

Потом, переборов себя, весь озябнув, он подошел и едва слышно, ногтем, не постучал, а притронулся к стеклу три раза.

И с замиранием в горле глядел вверх, ждал.

Он постучал еще — худенькая рука отдернула занавеску, за стеклом мелькнуло плечо Аси, распахнулась форточка над его головой, и он расслышал ее голос:

— Костя, Костя, это ты, да?

И Константин, увидев в это мгновение ее лицо в форточке, упавшие на глаза короткие волосы, сказал глухо:

— Я уезжаю в Тулу, Ася. На практику. До свидания. Я уезжаю...

— Костя, Костя, я слышала твои шаги. Ты ходил у себя в комнате. Ты разве не спал, Костя?  
— проговорила она шепотом в форточку, взобравшись на стул, и глаза ее испуганно увеличились. — Чемодан... Ты с чемоданом?

— Я уезжаю в Тулу, Ася, — повторил он. — Записка Сережке под дверь. Для него. До свидания, Ася, не болей... Ну его к черту — болеть! — Он улыбнулся ей. — До свидания! До осени!

— Костя, Костя, что же будет?

— Прекрасно будет.

Он прощально поднял руку, пошевелил пальцами, все стараясь улыбаться ей, и тогда увидел, как она прижалась лбом к стеклу и заплакала, со страхом глядя на него сквозь свесившиеся волосы, и стала кивать ему и тоже подняла руку, приложила ее к стеклу.

И он отошел от окна, не поворачиваясь, пошел спиной вперед по асфальту пустынного двора.

14

— Ася, я в институте задерживаться не буду. Тебе полежать надо. Зачем ты вставала к телефону?

— Ты спал. А из партбюро звонили два раза. — Она перевела на него темные на бледном лице глаза: сидела на кровати, в накинутом на плечи халатике, в тапочках на босу ногу, отвечала ему шепотом: — Ты ничего не слышал? Приходил Константин прощаться. Он уехал на практику. Оставил тебе письмо. Сережа, ты не вызывай больше врачей. Мне лучше. — Она отвернулась к стене. — Бедный папа, где он сейчас? Как мы будем без него? И как он без нас? Как он?

— Ася, позавтракай и ложись. Я не буду задерживаться. Я уверен: ошибки потому ошибки, что их исправляют.

Он спал всего часа три (вернулся домой на заре), и, когда вышел на крыльцо, на утреннее

слепящее солнце, все было, казалось, в песочной дымке, и что-то мешало глазам, резало веки, болели мускулы. Он чувствовал усталость, и долгое, намеренно тщательное бритье и горсть колючего одеколona не освежили его полностью.

— Добрый день, здравствуйте, Сергей Николаевич! — раздался из этого неясного, как бы суженного мира кашляющий голос. — Добрый день!

Возле крыльца, в жидкой тени, Мукомолов в нижней рубаше щеткой буйно чистил, махал по рукавам висевшего на сучке липы старенького пиджачка, в зубах торчала погасшая папироса. Завидев Сергея, он с лихостью потряс щеткой в воздухе в знак приветствия.

— А вы знаете, она права! — воскликнул он, смеясь одними глазами. — Да, да, женщины часто бывают правы! Могу сообщить вам — меня разбирали!

— Где разбирали? — спросил Сергей, не сообразив еще, и, хмурясь, зажег спичку, поднес к потухшей папиросе Мукомолова.

— В Союзе художников! — Мукомолов заперхал от дыма. — Нацепили столько ярлыков, что, будь они ордена — груди не хватило бы! Так и обклеили всего, как афишную будку. — Он закашлялся, щеки стали дряблыми. — Простите, Сергей, я несколько... очень устал, выдохся вчера. На это наплевать. Это все чепуха, мелочи, дрязги... Да, да. Это чепуха! Ниоткуда меня не выгонят, я зубастый!

Он согнал с лица возбужденное выражение — и сразу погас, морщины проступили в уголках глаз его.

— Простите меня, как с Николаем Григорьевичем? Что известно? А все остальное — чепуха, чепуха. Не обращайтесь внимания.

— Пока ничего.

— Н-да! А как Асенька?

— Кажется, лучше.

— Это уже хорошо. Заходите вечерком. Буду очень рад, очень рад.

Эта оживленность Мукомолова не была естественной, он заметно как-то постарел, борода островками заблестела сединой и словно бы согнулась спина, ослабла походка — это все видел Сергей, но в то же время не видел, все это смутно проходило мимо его сознания.

Только на троллейбусной остановке он понял, что торопился, хотя знал, что торопиться было бессмысленно.

Он несколько удивился тому, что заседание партбюро проходило в директорском кабинете.

Слои дыма замедленно переваливались в солнечных этажах над столом, и кожаные кресла в кабинете, зеленое сукно стола, графин с водой, белеющие листки бумаги, карандаши на них были неистово накалены июльским зноем. Уличный асфальтовый жар душно и масляно входил в окна, лица лоснились потом.

Сергей сидел в стороне от стола, около тумбочки, вентилятор, звеня тонким комариным зудом, вращался за его спиной. Прохладный ветер, дующий от шуршащих лопастей, немного

освежал его; он то видел все реально, то темная пелена нависала над глазами, и тогда лица Свиридова, Уварова, Морозова за столом не были видны отчетливо. И в эти минуты он пытался всмотреться в насупленное лицо Косова и в не очень хорошо знакомые лица остальных членов партбюро, в углубленном молчании чертивших карандашами по листкам.

— Если он не понял этого, то должен понять. Я говорю прямо, в глаза ему. Обман партии — преступление. Понял ли он? Нет, как видно, не понял...

Его удивляло и то, что сейчас он был спокоен; и он даже усмехнулся чуть-чуть, расслышав этот сухой голос Свиридова. Он стоял за столом прямой — прямые узкие плечи, ввалившиеся лимонные щеки двигались, когда, выталкивая изо рта жесткие, бьющие слова, поправил желтыми пальцами толстый узел галстука, застегнул среднюю пуговицу на пиджаке.

«Зачем он поправляет галстук, для кого это? Почему он не снял пиджак — для официальности? Или торжественной строгости? Почему он? Почему именно он?.. У него гастрит или язва? И больная нога... был ранен? Верит ли он в то, что говорит?»

— Я изложил членам партбюро подробно все как было, когда Вохминцев пришел отказываться от практики. Это только факты.

Сбоку взглянув на Сергея, Косов, мрачно-замкнутый, медленно вынул из кармана брюк трубочку с вырезанной головой Мефистофеля, с железной крышечкой, сосредоточенно начал набивать ее табаком.

«Кто подарил ему эту трубку? Кажется, Подгорный... На подготовительном еще, в сорок пятом...»

— Вохминцев, возьмите пепельницу, — ровным голосом сказал Морозов.

«Он что, успокаивает меня?»

Сергей встал, подошел к столу, взял одну из расставленных на зеленом сукне металлических пепельниц, сел на место. И спокойно поставил пепельницу на подлокотник кресла. Все посмотрели на него: внимательно — Свиридов, мельком, как бы хмуро осуждая, — Уваров, вопросительно, из-под ладони, которой прикрывал лоб, — Морозов. Директор института, весь сахарно-седой, подтянув заметное брюшко, этот постоянно веселый профессор Луковский, в чистой крахмальной сорочке, натянутой на округлых мягких плечах, с засученными до полных локтей рукавами (горный мундир висел на спинке стула), молча поерзал на кожаном сиденье кресла в глубине кабинета, тоже достал папиросу, проговорил: «Хм» — и опустил белые брови.

«О чем они думают сейчас все? Они. Все... О том, что я обманул партию? О чем думает Луковский? И он, кажется, неплохо относился ко мне... О чем думает Косов?»

— Я хочу добавить еще к этому следующее, и мне не даст соврать Аркадий Уваров. Однажды во время встречи Нового года — и я, и Аркадий Уваров были в одной компании — Вохминцев демонстративно пытался сорвать тост за Иосифа Виссарионовича Сталина. Да, это было. И видимо, это, мягко выражаясь, не случайно...

Желтые щеки Свиридова сжимались и проваливались, сухие губы выбрасывали, как ржавые режущие куски железа, слова, и Сергей, глядя на высушенное лицо его, почему-то некстати подумал, что ему вредно есть мясо, и представил, как он брезгливо ест, двигая провалами щек, и как жена его (какая она могла быть?) и дети (у него, говорили, было двое детей) глядят на его щеки. О чем он говорит дома? И как? Или ложится на койку с грелкой и жалко стонет, страдая от болезни?

— И последнее... — Свиридов сухощавой, будто из одной кости, рукой налил себе из графина воды, выпил брезгливо — задвигался кадык над толстым узлом галстука. — И последнее... — Он наклонил сурово окаменевшее лицо, нашел на столе листок бумаги, помолчал, значительно оглядел всех. — Последнее... Это заявление в партбюро от члена партии и члена нашего партбюро Аркадия Уварова. Я его прочитаю...

С однотонным шуршанием вентилятор вращался на тумбочке, дуя на волосы Сергея теплым ветром, и из окна отдаленно доносились шум улицы, гудки автомобилей, крики детей на бульваре. А рядом, здесь, в папиросном дыму, в душной от толстого ковра под ногами, от нагретых кожаных кресел комнате — здесь настойчиво металлически звучал голос:

— «...назвал меня фашистом. Я считаю, что это самое низкое, самое грязное политическое оскорбление. И я как коммунист прошу партийное бюро разобраться в этом. Член ВКП (б) с 1945 года Уваров».

«В сорок пятом году, значит... Где он вступил в партию, в запасном полку? Конечно, так. На фронте его не могли принять. И впрочем, в запасном полку, если бы знали... Но он знал, где вступить».

— Перед тем как перейти к обсуждению дела члена партии Вохминцева, перед тем как спросить его, как он дошел до жизни такой, хочу добавить: мы, члены партбюро, авангард, мы в первую голову несем ответственность за высокую идейность членов партии и беспартийных, мы виноваты в том, что развели гнилое болото в институте. Заявляю со всей ответственностью: спустя рукава, нечетко работали, без огонька и потеряли принципиальную партийную бдительность! Арест первокурсника Холмина и... это позорное дело члена партии Вохминцева должны быть суровым уроком для всех нас. Прошу высказаться. Думаю, регламент устанавливать не стоит, поскольку дело слишком серьезное.

В тот момент, когда Свиридов произнес «развели гнилое болото в институте», Уваров подтверждающе закивал с серьезным лицом, директор института профессор Луковский неудобно, грузно опять зашевелился в глубине кресла, строго поднял и опустил седые брови. Весь институт знал: своими косматыми бровями профессор Луковский в официальных разговорах обычно скрывал доброту, веселую подвижность маленьких живых глаз, и Сергей не видел сейчас их — брови низко опущены, двигались белыми гусеницами, и лишь дедовское его брюшко, округлые плечи говорили о прежней его домашности. Было тихо, карандаши членов партбюро чертили по листкам.

«Кто будет сейчас выступать? Уваров, Луковский? Ах, Морозов...»

Морозов отнял ладонь ото лба, бегло глянул на Свиридова, произнес с грустной шутливостью:

— В порядке реплики, Павел Михайлович. Вы уж, думаю, чересчур смело заострили...

Он улыбнулся, обнажая щербинку меж передних зубов, и показалось Сергею, что реплика эта была подана только для того, чтобы как-нибудь разрядить обстановку.

— Гнилой либерализм никогда, Игорь Витальевич, до хорошего не доводит, — жестко отрезал Свиридов. — Мы перед лицом фактов. А факты — упрямая вещь. Когда я шел работать к вам в партийную организацию, надеялся: преподаватели, опытные коммунисты, будут помогать мне. Не всегда помогают. Студенты больше помогают — это тоже факт. Да, факт! Я прямо скажу — могу гордиться Уваровым как коммунистом, который помогал больше всех. И об этом я буду докладывать в райкоме.

— Хм, — полукашлянул, полупромычал профессор Луковский, завозившись в кресле, по-прежнему скрыв глаза косматым навесом бровей. — Мм... Хм...

Все посмотрели на Луковского, но он молчал, сопел недовольно, скрестив пухлые руки на животе.

— Прошу высказываться коммунистов.

Снова было тихо. Морозов, пожав плечами, начал задумчиво водить карандашом по бумаге. И то, что он никак не ответил Свиридову, то, что Свиридов заговорил о помощи Уварова, то, что его слова о беспомощности преподавателей невольно прозвучали как угроза и предупреждение, вызвало в Сергее не злость, не гнев, а какое-то насмешливое чувство к Свиридову и к замолчавшему Морозову.

— Прошу высказываться, время идет, товарищи члены партбюро.

— Что ж вы, дорогой мой, а? Как же это? Не понимаю, голубчик!

Заговорил профессор Луковский, слегка наклонясь вперед, к стулу перед креслом, где висел его директорский мундир, с недоумением взглядывая из-под бровей на Сергея; голос зазвучал распекающим тенорком:

— Что ж это вы, а? Солгали партбюро... мм... скрыли... о своем отце... и потом отфордыбачили еще такое, что ни в какие уклады не лезет, голубчик. Обругали хорошего студента, партийца, своего однокашника, фашистом. Вы же сами отлично воевали, знаете, что такое фашизм. Вы что же, позвольте спросить... мм... кхм... убежденно оскорбили его таким политическим обвинением? Или вгорячах, так сказать, лягнули: на, мол, тебе, ешь!

— Абсолютно убежденно! — ответил Сергей, и при этих словах обмякло, стало растерянным лицо Луковского, разом повернулись головы, и Сергей увидел: плечи атлетически сложенного малознакомого студента в синей футболке как-то бугристо напряглись; но Уваров не обернулся, не изменил позы — продолжал спокойно рисовать на бумаге.

— Этим словом не ляпают, Вячеслав Владимирович, я хорошо знаю ему цену, с войны! — сказал Сергей.

— Тогда извольте доказательства, дорогой вы мой... доказательства, если уж... хм!

— Пусть он расскажет вам, за что я бил ему морду однажды в ресторане, в сорок пятом году. Думаю, он это честно не расскажет!

— Да, пусть объяснит. Пусть объяснит Уваров! — на все стороны оглядываясь, вставил мускулистый парень в синей футболке. — Все надо выяснить, товарищи. А как же?..

И только сейчас Уваров оторвался от бумаги, проговорил устало и покойно:

— Почему же ты так уверен, Вохминцев? Я расскажу. Почему же... Что ж, разрешите мне, уж коли так далеко зашло.

Он кивнул Свиридову, аккуратно положил карандаш на расчерченный листок бумаги, потом не спеша поднялся, печально улыбнулся всем голубыми, покрасневшими глазами.

— Вот видите, получается странно, — заговорил он с мягким удивлением и как бы смущенно пробежал пальцами по светлым волосам. — Я не хотел даже здесь выступать. Почему — я объяснял это Свиридову перед партбюро. Ну что ж, если уж так, я должен объяснить. Хорошо. Коротко расскажу по порядку. Мы знакомы с фронта. Здесь Вохминцев напомнил о ресторане, видите ли, о нашей встрече в сорок пятом году. — Он в раздумье передвинул карандаш на сукне, уперся в стол пальцами. — Право, не знаю, мне очень бы не хотелось вспоминать одну трагическую историю и... ну... косвенно, что ли, утяжелять вину Вохминцева. И так достаточно. Но уж если он сам затронул, я вынужден рассказать. В сорок

четвертом году, да, осенью сорок четвертого года, мы служили в Карпатах, я командовал второй батареей, Вохминцев — третьей. Да, я, кажется, не ошибаюсь — третьей. Ночью нас вызвали в штаб дивизиона, и Вохминцеву был отдан приказ немедленно выдвинуться вперед на танкоопасное направление, мне — прикрывать его орудиями с фланга. Ну, получилось, говоря вкратце, вот что: Вохминцев, то ли не разобравшись в обстановке, то ли еще почему — не буду додумывать — завел батарею в расположение немцев, в болота, так что орудия нельзя было развернуть, а утром немецкие танки в лоб расстреляли батарею. Да, погибли все, исключая вот... — Он с выражением мимолетной боли коснулся ладонью виска, указал в сторону Сергея. — Вохминцева. Но и он был ранен. Я прибыл утром к Вохминцеву, и тут случилось странное: он стал обвинять меня в том, что я погубил его батарею, не поддержал огнем. Но дело в том, что я и не мог поддержать его батарею, так как Вохминцев завел орудия на пять километров в сторону, к немцам, а стрелять, как известно, надо было прямой наводкой. Добавлю, что от трибунала Вохминцева спасло ранение и эвакуация в тыл. А потом, как это бывает на войне, затерялись следы. Вот первое. — Он наклонился к столу и, вроде бы отмечая первое, стукнул карандашом по бумаге.

«Вот, значит, как!.. — подумал Сергей. — Вот, значит, как он...»

— Забыл, — проговорил Уваров и поднес руку к влажному лбу, — забыл о главном. Мы случайно встретились в ресторане в сорок пятом году. И там была, как говорят, неприятная стычка между нами. Это еще первое. Второе. — Уваров, словно стесненный необходимостью добавлять подробности, помедлил немного. — Это уж совсем разговор не для партбюро, и стоит ли об этом говорить — не знаю... Второе... совсем личное. И может быть, отсюда ко мне постоянная неприязнь, ненависть, что ли. И здесь я не знаю, что делать. Начиная с фронта, Вохминцев все время испытывает ко мне какую-то странную ревность, совершенно непонятную. — Он удивленно пожал плечами, развел руками над столом. — Не знаю — ну в чем ему завидовать мне? Мы равны. Вот все. Я просто должен был объяснить, почему я не хотел выступать на партбюро. Но я протестую против политического оскорбления, недостойного коммуниста. — Голос Уварова окреп, подтвердил и снова зазвучал смягченно: — Часто я думал, прошло много времени с войны. А время меняет людей... Вот и все, — повторил он и сел с неловкостью, точно извиняясь за вынужденное выступление, и как после принужденного, неприятного труда очень утомленно ладонями провел по лицу, будто умываясь, стирая незаметно пот, закончил почти сконфуженно: — Простите, говорил сумбурно, наверно, не совсем убедительно. Здесь много личного...

— А свидетели есть у вас? — донесся из угла комнаты низкий голос парня в футболке, и в тишине слышно было, как заскрипел стул под его телом. — Есть?

И голос Уварова ответил с улыбкой:

— Для этого нужно искать однополчан, фронтовиков. Но я ничего не пытался доказать.

В эту секунду Сергей, не подымая глаз, совсем неощутимыми нажимами загасил сигарету в пепельнице на подлокотнике кресла — он боялся, что рука дрогнет, столкнет пепельницу, уже наполненную окурками, боялся, что он встанет, шагнет к столу, где спокойно и как бы смущенно, но незаметно вытирал со лба пот Уваров. Ему хотелось сказать: «Подлец и сволочь!» — и ударить, вкладывая всю силу, по этому смущенному, лоснящемуся лицу, как тогда в «Астории», как тогда, в сорок пятом...

Но он не в силах был встать, не мог подойти к столу, — он сидел, опасаясь самого себя, чувствуя, что может сейчас заплакать от бессилия.

Все молчали. Жужжал вентилятор в духоте комнаты.

«Что я молчу? Что я молчу?..» — мелькнуло в голове Сергея.



— Значит, батарею погубил я, а не ты? — чуть вздрагивающим голосом проговорил Сергей.  
— Теперь понимаю... Переставил нас ролями: меня на свое место, себя — на мое. Я завидовал тебе? Может, поэтому? — Ему трудно было говорить; он перевел дыхание. — Потому, что на твоей совести двадцать семь человек убитых? Если нужно, я многих могу назвать по фамилии... Ты не останавливался ни перед чем. За твое шкурничество в Карпатах ответил твой подчиненный, командир первого взвода Василенко. Когда танки расстреливали батарею, ты удрал и отсиживался в каком-то блиндаже, а потом раненого Василенко отдали под суд, хотя в штрафной должен был идти ты. Но на тебя доказательств не было — все погибли. Жаль, что меня ранило... И после я тебя не нашел на фронте...

— И что бы вы сделали, Вохминцев? — оборвал Свиридов, подозрительно косясь на Уварова. — Что?

— Дайте договорить! — громко бросил Косов. — Не перебивайте!

— Ты забыл одну деталь, Уваров. Когда танки добивали твою батарею, Василенко, уже контуженный и раненый, успел позвонить мне, и я приехал. Но среди убитых тебя не нашел. И если бы меня не ранило в тот же день, ты был бы в штрафном, а не Василенко.

— Ближе к делу, Вохминцев, — опять перебил Свиридов, по-прежнему изучающе-внимательно взглядывая в сторону Уварова. — Конкретнее!

— Потом я встретил его в сорок пятом и набил ему морду публично, и он не защищался и почему-то не поднял дела против меня. Ну а потом он заявил, что я еще до ареста должен был сообщить об отце куда следует.

— Как не стыдно, Сергей! — с упреком произнес Уваров, легонько поигрывая карандашом на столе. — Нельзя же так. Нельзя... Так далеко можно зайти. — Он вздохнул и, показалось даже, сокрушенно потупился при этом. — Может быть, мне, товарищи, все же не стоит присутствовать здесь ввиду... исключительного случая? Я бы попросил членов партбюро... — Лицо его стало скорбно-серьезным, и он непонимающе поглядел на Свиридова, затем на неподвижно сидевшего Морозова. — Я попросил бы членов партбюро, чтобы это дело разбирали без меня. Есть мое заявление. Секретарь партбюро все факты изложил. Кажется, мое присутствие накладывает на серьезное дело что-то личное.

— Это, кстати, умно придумано, — сказал Сергей, усмехаясь. — Молодец! Но ты объясни, где ты вступил в партию, в запасном полку?

— Ну а если так? — без выражения спросил Уваров. — Что же тогда?

— Я это знал. Кто тебе давал рекомендации?

Не повернув к нему головы, Уваров как будто не расслышал его вопроса, и на миг Свиридов настороженно впился в лицо Уварова замершими зрачками.

— Ну кто, кто давал рекомендации? Назови. Забыл? — поторопил Свиридов. — Кто? Помнишь ведь?

— Подполковник Басов и майор Черенков. Но я все же попросил бы товарищей разбирать это дело без меня.

— Они, конечно, не знали тебя по фронту? — все так же настойчиво и резко проговорил Сергей. — Не знали?

— Ну и что же?

— Ничего. Просто на фронте свистели пули — и ты был ясен как на ладони, а в тылу

опасности нет — и ты ловко умеешь надеть на себя маску доброго парня. И в бинокль тебя не разглядишь!

Остро пекло солнце. Густо плыл дым над столом, смещая, затуманивая лица. Профессор Луковский, насупленный, ушел весь в кресло, белые его руки были сведены на папиросной коробке, лежащей на коленях. Косов смотрел перед собой непроницаемо синими глазами, посасывая трубку; угрюмо оглядывался то на Уварова, то на Сергея мускулистый парень в синей футболке, пытаюсь, видимо, сказать что-то, и не говорил; и в ту минуту показалось Сергею, что Морозов из-под козырька ладони все время наблюдает за ним, а карандашом водит по бумаге машинально. «Неужели они не чувствуют все?» — скользнуло в сознании Сергея, и тотчас медлительный строгий тенорок заставил его взглянуть на Луковского.

— Зачем же, дорогой вы мой? Оставайтесь... хм... Вы член партбюро, и мы не вправе вас упрекнуть... мм... в личном. Я только хотел бы, чтобы вы не касались воспоминаний, хотя здесь все запутано и... серьезно, надо сказать. С обеих сторон. Перейдем к настоящему. Павел Михайлович, мы отвлеклись. А у меня, дорогой, полтора часа времени.

И Луковский, засопев, подался телом в кресле, показывая на ручные часы.

С подозрением слушавший до этого и Уварова и Сергея, Свиридов внушительно постучал карандашом по графину.

— Неорганизованно проходит партбюро. Ближе к делу. Конкретно. Факты, все говорят факты. Мы не можем не верить коммунисту Уварову, поскольку фактов нет против него. Он не обманывал партбюро, не скрыл ареста своего отца, не оскорбил члена партии, товарища, гнусным политическим ярлыком. А так, знаете, Вохминцев, вы завтра на любого — погубил, убил... Для этих вещей доказательства нужны. Суровые доказательства. А мы тратим время на ваши домыслы и соображения. Факты, факты нужны. Прошу высказываться по существу вопроса. Слушал я, и даже неловко как-то, Вохминцев, знаете ли. Да, неловко, стыдно. Прошу высказываться! А вам посоветовал бы посидеть и крепко подумать над своими ошибками, товарищ Вохминцев. У меня как секретаря партбюро создается впечатление, что вы ничего понять не хотите.

«Значит, ничего не нужно?» — подумал Сергей уже с ощущением, что все губительно рушится, ломается и он не может ничего изменить. И вдруг впервые в жизни он почувствовал непреодолимую жуть одиночества не оттого, что так просто решалась его судьба, а оттого, что ничего нельзя было доказать, оттого, что не верили ему, не хотели верить.

— Прошу высказываться конкретнее, — проник из духоты комнаты, как сквозь толщу, неумолимо сухой голос Свиридова, и странная мысль о том, что какая-то высшая человеческая справедливость не может остановить этот голос, что он, Сергей, ненавидит эти впалые щеки Свиридова, его толстый узел галстука под кадыком, его подозрительные, щупающие глаза, его прямолинейность, — эта мысль не вязалась с тем, что в руках Свиридова его, Сергея, судьба и он, Свиридов, направляет ее так, как не должно быть.

— Разрешите?

Сергей увидел, как сквозь серый туманец, низкорослую фигуру Косова; трубка, зажата в кулаке, погасла; возбужденный басок его стал ударять, кругло звенеть над столом.

— Выступление Уварова для меня — это нежное бляение оскорбленной овечки. Посмотришь на его «хилые» плечи — и не подумаешь, что он беззащитен. Его пытаются оклеветать, а он только улыбается и объясняет все личными отношениями. Абсолютно не верю в его фронтовые, так сказать, мемуары — рассказал все так, будто в обществе в платочек чихнул скромненько. Чепуха какая-то и, простите, баланда! Какого же святого молчал раньше Уваров, если уж так подробно изложил сейчас преступление Вохминцева на фронте? Хочу

спросить и Вохминцева: почему до сих пор молчал и он? — Косов исподлобья повел на Сергея засиневшими глазами, косолапо перевалился с ноги на ногу. — Как парторг курса я должен сказать: Вохминцев совершил ошибку, и она, конечно, требует наказания. Но меня удивляет вот что: Вохминцев, грубо говоря, — подсудимый, и мы все судьи. Так, кажется? И судья — Уваров как член партбюро? А я бы хотел, чтобы мы одновременно поставили вопрос и об Уварове. Павел Михайлович, это и от вас зависит. — Он решительно обернулся к Свиридову. — Я Уварова плохо знаю, кашу с ним вместе не ел, под одной крышей не спал и на разных курсах. Он выступал здесь, будто не обвинял, а ласкал насмерть Сергея. А я не верю тихоням с плечами боксеров!

— Вот как бывает, товарищи члены партбюро, — дошел до Сергея прыгающий от изумления голос Свиридова. — Парторг курса... Идеиную, политическую незрелость вы показали, товарищ Косов! Не о коммунисте Уварове здесь идет речь, как вы знаете. Вы не верите Уварову, так говорите? А почему? Где факты? Как вы можете о своем товарище-коммунисте... Так необоснованно?

Свиридов замолк, в упор, не мигая, изучал лицо Косова, севшего уже на свое место; кончики ушей у Свиридова отливали на солнце восковой желтизной.

Косов, не отвечая, возбужденно набивал в трубку табак, прижимая его крепкими пальцами, неожиданно засмеялся резковато и зло, махнул трубкой над столом:

— Бог не выдаст, свинья не съест. Меня ведь коммунисты курса выбрали парторгом! Они и переизберут, если уж надо.

Свиридов привстал, опираясь на костылек, переложил с места на место лист чистой бумаги перед собой, произнес иссушенным и как бы отталкивающим голосом:

— Вы отдаете себе отчет, товарищ Косов, как коммунист понимаете, что разбирается дело политического звучания? Я лично как секретарь партийной организации до последнего вздоха, до последнего... буду бороться за идейную чистоту партии...

Он трудно сглотнул, с гримасой потянулся к графину, но воды себе не налил, распрямился за столом.

— Коммуниста Уварова мы в обиду не дадим! Нет, не дадим, товарищ Косов! Кто хочет выступить?

«Он не верит ни одному моему слову, что бы я теперь ни говорил, — снова подумал Сергей. — И не верит уже Косову...»

— Вы говорите о бдительности и принципиальности, о чистоте говорите, — нашел в себе силы сказать Сергей. — Но рано хоронить моего отца и меня.

— Мы никого не хороним, товарищ Вохминцев! — не дал договорить Свиридов, застучав карандашом по графину. — Мы разберемся в вашем проступке объективно. Прошу не подавать реплики, вам будет предоставлено слово.

В эту минуту все молчали.

Он знал, что, если после всех выступлений признает свои ошибки, как бывало иногда с другими на партбюро, это смягчит многое. И, не в силах уже преодолеть немое чувство отъединенности, слушая глуховатый голос выступавшего Морозова, кажется, мягко защищающего его и в чем-то сомневающегося, затем журчащий тенорок Луковского, вставшего за креслом со сложенными по-домашнему руками на животе, потом вновь различая жесткий голос Свиридова, он почти на ощупь осязал два слова, змеисто поползшие

в жарком воздухе комнаты «выговор» и «исключить»; и «выговор» возникал в его сознании как нечто ватное, извилистое, серое; «исключить» — режуще-острое, со смертельным жалом на конце. И он только думал сейчас о том, что непоправимо проиграл время, что был нерешителен когда-то и теперь не мог, не умел ничего доказать. И как-то все эти секунды, с неослабевающим напряжением ожидая еще чего-то, что должно произойти, — он почувствовал вдруг тишину, надавившую на уши, — сквозь дым в комнате прояснилось лицо Свиридова на фоне белой стены, сбоку от портрета Сталина, и голос Свиридова прозвучал, чудилось, над головой:

— Ну как, Вохминцев, не осознали свои ошибки? Будете говорить?

«И он воспитывает меня? И он считает, что воспитывает? — почему-то удивленно подумал Сергей, и в сознании мелькнуло одновременно: — Сказать? Выступить? Признать? Значит, отказаться от всего? От всего?» И, переборов молчание, ответил:

— Нет.

И, ответив это, зачем-то взглянул на стучащие в серой пелене часы и, когда вынул сигарету из смятой в кармане пачки, сигарету, на вкус не ощутимую им сейчас, и зажег быстро спичку, подумал еще: «3 часа 21 минута. Все!»

В 3 часа 22 минуты началось голосование. Пятеро проголосовали за исключение, двое за выговор — Морозов и атлетический паренек в футболке; Косов и кто-то молчаливый, тихий, на кого он не обратил внимания, воздержались.

— Исключить из членов... из членов Вэ-Ка-Пе-бэ... — донесся до Сергея речитативом плывущий голос Свиридова, диктующий в протокол.

Было душно.

«Этого никогда не будет, чтобы ты грузила уголь, никогда не будет...»

Все кончилось. Ему казалось, кабинет давно опустел, по он еще слышал стук отодвигаемых стульев, негромкие голоса вышедших людей и, когда увидел медленной развалкой подошедшего Косова, сказал шепотом:

— Потом, Гриша, потом.

А рядом — шорох надеваемых пиджаков, сдержанный говор, шаги, кто-то рвал листки с записями, но его не интересовало, что делают, говорят эти люди, и он не смотрел на них, он не мог смотреть на них. Ему хотелось одного — чтобы они как можно быстрее, немедля, ушли отсюда, из этой комнаты, где было партбюро: ему необходимо, ему нужно было сказать все этому добряку директору Луковскому. В те длительные секунды, когда происходило голосование, неожиданно появилась мысль, что нужно что-то делать. И он понял, что теперь следовало делать, — ему нельзя было больше оставаться в институте. Уйти из института... здесь уже не было для него места. Уйти, не раздумывая, потому что позже его все равно попросил бы об этом Луковский.

Он курил, и ждал, и еще находил в себе волю, чтобы сидеть здесь и ждать, пока все выйдут из кабинета. У него удушливо давило в горле и, казалось, подташнивало от выкуренной пачки сигарет. Потом сразу стихло в кабинете. Тогда он встал. От его движения пепельница соскользнула с подлокотника кресла, упала мягко, без стука, окурки высыпались на ковер. Он не стал подбирать их.

— Ну что еще? Что еще?

В опустевшей комнате, перед дверью, выжидая, сложив перекрещенные сухощавые руки на

костыльке, стоял Свиридов, подозрительно и изучающе смотрел на Сергея.

— Что? — спросил он строго. — Обиделся? Ты что ж, на партию обиделся? Ты думаешь, мы против тебя боролись? А? Мы за тебя боролись. Партия воспитывает, а не карает. Чтобы ты понял, что член партии...

— Вы что думаете, партия состоит из таких дубарей, как вы? — выделяя слова, сквозь зубы проговорил Сергей.

— Ты... — Свиридов угрожающе ковыльнул к нему, опираясь на костылек, синева залила впалые щеки, рот стал плоским. — Ты с-смотри!

— «Вы», а не «ты». Я вступил в партию потому, что видел не таких, как вы! А вам бы я и коз пасти не доверил, а не то что возглавлять парторганизацию. Впрочем, когда-нибудь вам и коз не доверят!

— Молчи, Вохминцев!.. — Свиридов ударил костыльком об под. — Ты что? Ты что?

— Я отказался от последнего слова. Это последнее.

И Сергей в этот миг, боясь не сдержать слезы, жестким комком застрявшие в горле, подошел к столу, взял листок бумаги, карандаш и, не садясь, остановившая рвущийся, скачущий почерк, написал:

«Директору Московского горнометал. ин-та проф. Луковскому

Прошу отчислить меня из ин-та в связи с семейными обстоятельствами.

Студ. 3-го курса Вохминцев».

В коридоре, впиваясь в пол, стучал, удалялся костылек Свиридова.

— Вы, дорогой мой, ждете меня?

— Вас. Вот возьмите.

— Что это? Позвольте, дорогой...

Надевая мундир, застегивая пуговицы на брюшке, профессор Луковский, проворно втискиваясь между стульями, приблизился к своему креслу за огромным письменным столом со статуэткой шахтера над чернильным прибором, упал в кресло, читая, — косматые брови взметнулись, приоткрыли глаза, добрые, усталые.

— Что ж это, а? Как же это, а? Зачем же вы, дорогой мой? Прекрасный студент, умный ведь вы малый, а что наворотили. Зачем вам нужно было... хм... скрывать, оскорблять... ммм... Уварова... ведь тоже прекрасный студент, активист, выдержанный человек... Ай-ай-ай, Вохминцев... Горняки, будущие инженеры, властелины земли. И зачем вы это настрочили? Вгорячах? Мм? Ну признайтесь. С обидой махнули: на вот тебе, ешь!

Луковский качал седой львиной головой своей, тыкал пальцем в заявление Сергея и, весь домашний, доброжелательный, был участлив, расстроен, и это особенно неприятно было видеть Сергею. Он сказал официально:

— Я прошу вас подписать мое заявление, профессор. Я многое делал вгорячах, но это

совершенно осмысленно.

— Прекрасные студенты, умницы, вы же станете гордостью горного дела... Надежда, так сказать. Да, убежден. И как же это вы, Вохминцев, а? Сначала от практики отказались... Потом... — Луковский махнул своей маленькой детской рукой, произнес не без досады: — Партбюро... и исключили ведь. А? Пятерки... ведь пятерки, ведь пятерки у вас. Помню отлично.

— Я прошу подписать мое заявление, профессор.

Он подумал о том, что Луковский искренне не хочет подписывать заявление, но также был уверен, что завтра придет к нему Свиридов, стуча своим костыльком, и он, Луковский, подпишет все, что потребуют от него.

— Ай-ай-ай, молодежь... Один стишки, другой это вот сочинение принес. А! Читай, мол, старик, как разбегаются студенты. А о жизни, о профессии думаете? Или так все? Шаляй-валяй? Вы что же, изменяете профессию? Разочаровались?

— Вячеслав Владимирович!

— Как же это... хм! Как же это случилось, Вохминцев, дорогой вы мой? Мм? И что же мне делать, вашему директору?

— Случилось так, профессор, что подлец выиграл бой, — ответил Сергей как можно спокойней. — И во многом руками умных людей. До свидания. Я зайду еще.

Он шел по длинному коридору, он почти бежал мимо пустых аудиторий, бесконечные стены мелькали серой лентой, разрезанной световыми квадратами окон, а его словно гнало что-то, торопило — скорее, скорее выйти, выбежать отсюда...

— Вохминцев!

Он вздрогнул от оклика. За поворотом коридора на лестницу из закутка безлюдной студенческой курилки поднялся со скамейки неуклюже высокий, нахмуренный доцент Морозов, не глядя в глаза, кожаной папкой перегородил путь.

— Сергей, слушайте, — выговорил он. — Вечером, часов в десять, зайдите ко мне домой. Сегодня.

— Зачем же это? — не понял Сергей. Морозов был неприятен ему сейчас. — Неясно, Игорь Витальевич. Зачем?

— Мне надо поговорить с вами. Зайдите. Я буду ждать.

— Благодарю вас. Я не приду.

Он вышел на бульвар.

Свет солнца на песке, пятна теней на аллеях, голоса детей; шумно скользящий поток машин за железной оградой, слитый гул улицы — все это была свобода, ощущение жизни, ее звуков.

Но он еще жил, думал в собранном, как оптическим фокусом, мире и не мог выйти из него. Он пошарил по карманам — осталась последняя измятая сигарета в пачке, — сел на теплую скамью, расплосованную тенью. И кажется, сбоку отодвинулась незнакомая девушка в сарафане, в босоножках, с развернутой книгой на коленях, взглянула на него мельком.

А он смотрел на институт за бульваром, холодный и враждебный, пусто блестящий этажами окон.

«Ну что же, как же теперь? Что теперь?» — спросил он себя и неожиданно, как бы чужой памятью, вспомнил о записке Константина, вынул ее из бокового кармана — узкий почерк был небрежен, мелок, неразборчив.

«Сергея!

В 11:30 уезжаю в Тульский бассейн (7-я экспериментальная шахта, последнее слово техники) на лето. Уезжаю с чертом в печенках, но ехать надобно.

Под радиолой найдешь мою сберкнижку с доверенностью на твое высокое имя. Там кое-что осталось — все мои капиталы от шоферской деятельности. Я все лето на государственных харчах, ресторанов там, ясно, нет. Мне эти гроши — до феньки. Тебе с Асей могут сподобиться. Этот старикан, профессор из Семашки, берет 150. Жужжит, если на рубль меньше. Я его предупредил — пусть заваливается без вызова.

Сергея! Я все ж тебя люблю, хотя ты никогда не относился ко мне всерьез, бродяга. И даже не рассказал, что у тебя. (Хотя знаю — ты в сорочке родился.) Ты просто думал, что в башке у меня — джаз и распрекрасные паненки. Бог тебе судья!

Обнимаю тебя, старик. Привет и выздоровления Асе.

Твой Костька.

Если что, стукни телеграмму, и я брошу все и явлюсь перед светлыми очами твоими. Хотя знаю, что телеграмму ты не стукнешь. Я понял это тогда вечером.

Еще раз обнимаю, старик!»

Они вместе должны были ехать на 7-ю экспериментальную...

Как нужен был сейчас ему Константин с его смуглой донжуанской рожей и ернической улыбкой, с его полусерьезной манерой говорить, с его набором пластинок, с его броско-модными ковбойками и галстуками, с его безалаберностью, с его привычкой покусывать усики и независимо щуриться перед тем, как он хотел сострить! Нет, ему нужен был Константин, нет, без него он не мог жить.

Он перечитал записку; девушка в сарафанчике закрыла книгу, испуганно обернулась, когда он, застонав, откинулся затылком к спинке скамейки и сидел так зажмурясь.

— Вам плохо, может быть?.. — услышал он робкий голосок.

— Что? Что вы! Жара... Вы видите, какая жара... — Он постарался улыбнуться ей. — Нет, нет, не беспокойтесь...

— Простите, пожалуйста.

Она встала, одернула сарафанчик; поскрипывая босоножками, пошла по аллее, часто оглядываясь.

Целый день он бродил по городу.

Раскаленный асфальт, удушливо горький запах выхлопного газа от пронесившихся мимо машин, знойные улицы, бегущие толпы на перекрестках, очереди у тележек с газированной водой, брезентовые тенты над переполненными летними кафе, дребезжание трамваев на поворотах, скомканные обертки от мороженого на тротуаре, разомлевшие люди, потные лица — все перемешивалось, двигалось, город жил по-прежнему, изнывал от жары, и ломило в висках от блеска, от гудения, от запаха бензина.

Уехать!.. Куда? У него три курса института. Уехать, да, уехать немедленно, на шахту в Донбасс, в Казахстан, в Кузнецкий бассейн, на Печору! Что ж, он сможет работать шахтером, он знает неплохо горное дело. Новые люди, новая обстановка, новые лица... Работа... Его она не пугает: уехать!.. А Ася? А Нина? Уехать, бросить все? Это невозможно!

Почти инстинктивно он зашел на углу универмага в автоматную будочку, всю накаленную солнцем, снялжигающую ладонь трубку, механически набрал свой номер и, когда зазвучали гудки, тотчас же нажал на рычаг — что он мог сказать Асе сейчас?

Он постоял, глядя на эбонитовый кружок номеров, потом с мучительной нерешительностью, с заминкой, набрал номер Нины. Гудки, гудки. Щелчок монеты, провалившейся в автомат. Голос:

— Алю-у, Нину Александровну? Нету ее...

И он повесил трубку, обрывая этот голос.

Он захлопнул дверцу автомата, сознавая, что недоделал, не решился на что-то, и медленно двинулся по размякшему асфальту под солнцем.

«Уехать? От всего этого уехать? От Нины, от Аси? Невозможно. Не могу!.. А как же жить? Что делать?»

В поздних сумерках он сидел в кафе-поплавке напротив Крымского моста, пил пиво, курил — не хотелось есть, — глядел на воду, обдувало предвечерней свежестью, небо багрово светилось под гранитными набережными; городские чайки вились над мостом, садились на воду, визгливо кричали; возле скользких мазутных свай причала течение покачивало, несло пустые стаканчики от мороженого, обрывки бумаги — уносило под мост, где сгушалась темнота.

«Почему люди любят смотреть на воду? — спрашивал он себя. — В воде перемена, тяга к чему-то? Тяга к счастью, что ли? Но почему человеческая подлость живет две тысячи лет — со времен Иуды и Каина? Она часто активнее, чем добро, она не останавливается ни перед чем. А добро бывает жалостливо, добро прощает, забывает. Почему? Социализм — это добро, вытекающее из развития человечества. Коммунизм — высшее добро. А зло? Впивается клещами в наши ноги. Как могут быть в партии Уваров, Свиридов, тот старший лейтенант? Может быть, потому, что есть такие, как Луковский, Морозов?.. Морозов, Морозов... „Зайдите ко мне. Надо поговорить“. О чем?»

Он не допил пива и расплатился.

— Пришли, Сергей? Очень хорошо, я вас ждал. Очень ждал. Я был уверен, уверен, что вы



придете. Садитесь вот здесь. Хотите выпить, Сергей? Вы будете водку или коньяк?

— Благодарю. Я ничего не хочу.

— Ну как же так, если уже... Я бы хотел с вами... Вы можете побыть немного у меня?

— Вы просили, чтобы я пришел?

— Я вас ждал, Сергей. Я вас ждал.

Был Морозов в пижаме, короткой для его длинной сутуловатой фигуры, неудобно как-то торчали кисти рук, видны были безволосые голые ноги в стоптанных шлепанцах. Говоря, Морозов сгибался около низкого столика, на котором в тарелках нарезаны были колбаса, сыр; неловко ввинчивал штопор в коньячную бутылку, казалось, был углубленно занят этим.

Тесный кабинет Морозова в его квартире на Чистых прудах сплошь забит книжными шкафами, тахта со смятыми газетами, письменный стол перед раскрытым окном завален горами книг, рукописей, на тумбочке возвышалась миниатюрная, сделанная из железа модель копра. Тюлевая занавеска шевелилась, легко надувалась ветром над столом, касаясь рукописей, сквозь эту занавесь точками проступали огни над черными Чистыми прудами.

В квартире тишина. Слышно было, как, про шумев, поднялся лифт на верхний этаж.

«Нужно ли было приходить? — подумал Сергей, следя неприязненно за неловкой возней Морозова с бутылкой. — Он ждал?»

— Я никогда не думал... Делают пробки! Крошево, шлак! — вскричал Морозов, задержав штопор. — И ни к богу! Протолкнуть ее, что ли?

— Сразу видно, что вы не воевали в конце войны, — сказал Сергей. — Дайте я открою. По вашему умению вижу: часто пьете.

Он выбил пробку ударом ладони, поставил бутылку на стол.

— Я просто хочу с вами выпить, да, выпить! — заговорил Морозов и стал наливать в рюмки, расплескивая коньяк. — С некоторого времени я пью сухое вино, но хочу дербалызнуть коньяку. С вами.

— А за что именно? — Сергей усмехнулся. — Это странно... Преподаватель пьет со студентом. Завтра Свиридов состряпает личное дело — лишь стоит узнать. Не опасаетесь?

— Пейте, Сергей!

— Я не хочу. Благодарю.

Морозов выпил поспешно, неумело, скривился, ткнул вилкой в кружочек колбасы, торопливо пожевал, снова налил и, чокнувшись, опять выпил как-то по-мальчишески, неаккуратно, будто хотел опьянеть быстрее. Сергей наблюдал за ним с некоторым удивлением, но не выпил, закурил только.

— Дайте, что ли? — сказал Морозов и потянул из пачки на столе сигарету. — Тысячу раз бросаю курить и никак. У меня в войну после завала на «Первой», в Караганде, легкие малость — да бог с ним! Дайте прикурить.

— Вот спички.

— Пейте. Почему вы не пьете?

— Думаете, Игорь Витальевич, только так можно состряпать откровенный разговор?

— Оставьте, Сергей. Мне просто захотелось с вами выпить. Вы слишком прямой парень, чтоб мне подумать... Не будем банальными идиотами. Вы знаете, как я отношусь к вам, — вы способный, умный парень, и это я всегда ценил. Что уж там — вы сами замечали. Студент чувствует, как относится преподаватель.

— Ну и что? — спросил Сергей. — И что же вы, интересно, думаете об Уварове? То же самое?

— Сложно думаю, Сережа, сложно. Да. Но тактически, если хотите, он был ловчее вас. Опытнее. Не знаю всего, но чувствую, этот парень ловко и неглупо устраивает свою жизнь. Никто не поверил ему, но чаша весов склонилась в его сторону. Вы понимаете? Все было против вас. Он понял обстановку и выбрал удар наверняка.

— Какую он понял обстановку?

— Пейте, Сережа. Я не могу пить один. Пейте, закусывайте и наматывайте на ус. Еще ничего не кончено.

— Благодарю. Я не хочу. Какую он понял обстановку?

Морозов, похоже, хмелел, лицо его не розовело, а бледнело, встал и заходил по комнате своей ныряющей, неуклюжей походкой, шаркали по паркету шлепанцы.

— Это особый разговор. Есть много причин, которые влияют на обстановку...

— Каких причин? — спросил Сергей. — И почему они влияют?

— Не знаю. Это сложный вопрос. Возможно, тяжелая международная обстановка, могут быть и еще внутренние причины, не знаю. Но идет борьба... И все напряженно. Все весьма напряженно сейчас. А в острые моменты у нас часто не смотрят, кому дать в глаз, а кому смертельно, под микитки. И иные поганцы, учитывая это, делают свое дело, маскируясь под шумок борьбы. Здесь мешается и большое и малое. Вот как-то раз после лекции подходит ко мне Свиридов. «Есть сигнал от студентов — не слишком ли много рассказываете о новейших машинах Запада? Думаю, все внимание отечественной технике должно быть, подумайте о сигнале».

— Свиридов! — повторил Сергей и придвинул к себе пепельницу. — Такие, как Уваров и Свиридов, подрывают дело партии, веру в справедливость. А вы понимаете все, молчите и оправдываетесь международной обстановкой и иными причинами. Неужели вас перепугала фраза Свиридова?

— Нет, не перепугала. Но я ответил, что подумаю, — покривился Морозов. — Хотя, как вы знаете, в моих лекциях западной технике уделено мизерное внимание. Свиридов прям, как линейка. И он тупо, по-бычьему проводит борьбу за идейную чистоту института. «Факты, факты!» Не учитываете, что нашлись бы один-два студента, которые написали бы: да, в лекциях доцента Морозова были космополитические тенденции. И пока суд да дело, очень жаль было бы отдавать кафедру какому-нибудь патентованному дураку, который выпускал бы недоучек. Здесь я приношу пользу, это я знаю не один год. Не будете возражать?

— Нет.

— Несмотря ни на что, человек должен приносить пользу.

— Игорь Витальевич, зачем и к чему говорить здесь прописные истины? Именно для этого вы позвали меня — с воспитательной целью? К черту летит все ваше умное молчание, когда

ломают кости! А вы мне вкручиваете что-то похожее на проблему разумного эгоизма. Я это читал еще в девятом классе. На черта она мне!

Морозов зашаркал шлепанцами по комнате, серые небольшие глаза его смотрели на Сергея грустно.

— Хочешь сказать, почему я молчал? — спросил он вполголоса, переходя на «ты». — Почему?

— Нет. Это мне ясно.

— Не совсем. Тактически созданся очень неудобный момент. Поверь, я немного опытнее тебя. Так я молчал, потому что весь бой за тебя впереди. Хотя и не знаю, чем он кончится. Если бы ты не скрыл об аресте отца...

— Я уверен и всегда буду уверен, что отец невиновен. Вы же понимаете, что мое заявление об аресте отца — это расписка в моей трусости.

— Все понимаю. Но есть факт, как говорит Свиридов. Объективный факт. И очень серьезный. Беспощадный. Но весь бой еще впереди.

Наступило молчание. Было слышно, как среди безмолвия дома прошел с шорохом лифт, на верхнем этаже стукнула дверца.

— Поздно! — проговорил Сергей и внезапно взял рюмку, наполненную коньяком. — Ваше здоровье! — чуть усмехаясь, сказал он несдержанно-вызывающим голосом. — Я все равно знаю, что когда-нибудь буду в партии. Я все же вступал в нее не в счастливый момент. А в сорок втором. Под Сталинградом.

— Что «поздно»? — спросил Морозов. — Не понял. Что «поздно»?

— Я уезжаю, Игорь Витальевич, — сказал Сергей, сильно сжимая в повлажневших пальцах рюмку. — Как говорят — в жизнь. Что ж, поеду куда-нибудь в большой угольный бассейн... Вот вам и ваша польза — горные машины. Не примут забойщиком, не возьмут на врубровку, на комбайн, пойду рабочим, на поверхность — уголь грузить. Посмотрю...

— Куда?

— Еще не знаю. Все равно. Лишь бы шахта. Что ж, давайте за это выпьем, Игорь Витальевич.

Огни над Чистыми прудами по-ночному просвечивались сквозь надуваемую ветром легкую занавеску. И эта уютная комната на третьем этаже, с умными книгами на полках, тахтой, рукописями, коньяком и рюмками на столике и разговор этот — все вдруг показалось отрывающимся от него. Да, были за тесной комнаткой на Чистых прудах другие города, люди, лица — в это мгновение все, что он мог вообразить, отчетливо существовало, было где-то, и решение ехать представлялось непоколебимым, единственно верным. И возникло минутное облегчение.

— Что ж, давайте за это, Игорь Витальевич. А не за разумный эгоизм!

Но Морозова не было рядом; он в раздумье сел за письменный стол, отодвинул груды книг, рукописей, горбато ссутулив костистые плечи, стал что-то нервно, быстро писать, не оборачиваясь, ответил:

— Пей. Я мысленно.

Сергей, однако, держа рюмку, поставил ее на столик, не выпив, — глядел в молчании на Морозова. Странно было: он сутулился, как человек, привыкший работать над книгами, но громоздкие плечи, спина в несоответствии с этим казались грубовато-шахтерскими, недоцентскими.

— Вот, — проговорил Морозов, подходя, провел языком по краю конверта. — Вот! — И он, плотно припечатывая ладонью, заклеил конверт на столике. — Мой совет тебе: езжай в Казахстан, — прибавил Морозов отрывисто. — На «Первую». В Милтуке. Передашь письмо секретарю райкома Гнездилову. Акиму Никитичу. Здесь все указано: адрес и прочее. Я проработал с Гнездиловым пять лет. Да, был у него главным инженером. Езжай! И вот что еще, знаешь ли... — Морозов с неуклюжестью выдвинул ящик, вытянул из-под бумаг пачку денег. — И вот, знаешь ли, на первый случай... Да, видишь ли, таким образом...

— Не надо. У меня есть. Почему-то все мне предлагают деньги.

— Ну вот... Теперь выпьем, Сергей.

— Что ж, давайте.

Он медленно, поглаживая перила, вдыхая знакомый запах лестницы, поднялся на второй этаж и здесь, на площадке под тусклой запыленной лампочкой в сетке, увидев знакомые до трещинок, старые, обшарпанные стены перед дверью, переждал немного, не находя в себе сразу решимости нажать кнопку звонка, — все, мнилось, исчезнет, оборвется, упадет куда-то в черноту бездны: и стены, и почтовый ящик, и лампочка в сетке, и ее шаги, и шуршащий звук платья, и всегда обрадованно сияющие глаза навстречу ему, и голос ее: «Ты?» И с тем, что он не будет приходить сюда, не мог, не хотел согласиться и не мог, не хотел поверить, что они расстанутся надолго.

Он знал: это было самым страшным, что могло еще произойти в его жизни.

Сергей нажал кнопку звонка, и, когда дверь открылась, он все еще держал руку на звонке, как будто не в силах был представить, что она по-прежнему здесь.

Нина стояла в передней. Он обнял ее молча и даже зажмурился, ощутив знакомый запах теплых волос.

— Что? Что?

— Я люблю тебя... И больше ничего... И больше ничего...

— Сережа, что?

— Я люблю тебя, — повторял он с сжимающей горло нежностью, прижимая ее к себе, чувствуя напряжение ее тела, дрожь ее пальцев на своей спине.

— Что? Что? Мне страшно, Сережа...

— Я люблю тебя. Я люблю тебя!..

— Что, Сережа, что?..

Это письмо-записку — свернутый, помятый и грязный треугольник без штампа, без печати — он вытащил утром из почтового ящика, и потом, когда читал его, едва разбирая написанные химическим карандашом и рвущим бумагу неузнаваемым почерком неясные слова, он еще не до конца сознавал, что это письмо отца, что это его так неузнаваемо изменившийся почерк, а когда прочитал и разобрал слабую, убегающую вниз, к обрезу грязного листка, подпись отца, он подумал, что за одну встречу с ним, за то, чтобы увидеть его хоть раз, он мог бы отдать все.

«Дорогой мой сын!

Прости меня, если все, что случилось со мной, отразится на твоей судьбе, на судьбе Аси, на вашей молодости.

Верь, что я всегда любил тебя, Асю, мать, хотя ты никогда не мог простить мне ее смерти. И многое ты не мог простить мне после войны. Я помню твою неприязнь, твой холодок ко мне, а я ничего не мог сделать, чтобы его разрушить. Мы не совсем понимали друг друга, и в этом моя вина, только моя.

Мой дорогой сын Сергей!

Если ты когда-нибудь узнаешь, что со мной что-нибудь случится, — верь, что я и другие были жертвы какой-то страшной ошибки, какого-то нечеловеческого подозрения и какой-то бесчеловечной клеветы.

Что ж, и смерть, мой сын, бывает ошибкой. Ты знаешь по войне. Нет, самое страшное не допросы, не грубость, не истязания, а то, когда человек не может доказать свою правоту, когда силой пытаются заставить подписать и уничтожить то, что он создавал и любил всю жизнь. Все должно кончиться, как ошибка, в которую невозможно поверить, как нельзя верить, что все чудовищное, что я видел здесь, прикрывают любовью к Сталину.

Поверь мне, что я невиновен.

Поверь мне, что я коммунист, а не враг народа, как тебе будут говорить обо мне.

Поверь мне, что для меня дело партии — это все мое, чем я жил.

Что бы ни было, мой сын, будь верен делу революции, только ради этого стоит жить! Я верю в твою непримиримую честность.

Люби Асю. И береги ее. Она еще ребенок.

Придет время, и оно, мой сын, само разберется в судьбах правых и виновных.

И прости мне то, что мне не хватало сил быть образцом для тебя. А каждый отец хочет этого.

Помни, что я всегда любил вас.

И последнее... Я понял, что должен уехать очень далеко...

Крепись и не горюй. Смерть — не самое страшное...

Твой отец».

В сумерках Сергей вошел во двор института. Огромное здание проступало в сером воздухе; все там было тихо, пусто, сумрачно, лишь за деревьями светилась короткая полоса окон на втором этаже — то был читальный зал библиотеки.

Подняв воротник плаща, Сергей стоял на институтском дворе под тополями, капли пробивались сквозь листву, ударяли по плечам, по лицу его — неприятно холодили брови влагой, и слегка знобило от дождевой сырости.

Целый день он бродил по дождливому городу, без цели шагал по лужам, потом в сумерки стал петлять по мокрым и узким переулкам вокруг института, но, когда увидел со двора яркую электрическую полосу окон читального зала, как бы оборвалось все: лекции, экзамены, разговоры в курилках в конце коридора, горные машины, полуночный треп Косова и Подгорного в общежитии, куда он вместе с Константином заходил иногда поздним вечером, заходил просто так...

«Значит, все? Это — все?»

Став под деревьями, он посмотрел в глубину институтского двора, на флигельки общежития, уже тоже опустевшего, — под желтыми окнами морщилась, лопалась дождевая вода на асфальте.

И не хлопали двери, не звучали голоса — все казалось безлюдным.

Он пришел сюда, чтобы увидеть Косова и Подгорного, — знал, что они уезжали сегодня на практику в Донбасс. Он хотел их увидеть.

Когда, миновав двор с прилипшими к асфальту листьями, он на миг заколебался перед дверью общежития, а потом ступил через порог в коридор, освещенный одной матовой лампочкой, остро и едко пахнуло навстречу нежилой обстановкой: стояли сдвинутые к стенам столы, на них — оголенные сетки вынесенных кроватей, зашуршала заляпанная известью бумага под ногами, загремела пустая консервная банка, тут был сыроватый запах ремонта.

На двери во вторую комнату острием заржавленного рейсфедера было приколото объявление: «

Убедительно просим коменданта не беспокоить и не врываться. Уедем сами. У нас час отдыха. Спасибо за внимательность. С почтением Косов, Подгорный, Морковин ».

Сергей усмехнулся, толкнул дверь.

В комнате был хаос: везде чернели кроватные сетки, матрацы вздыблены, свернуты в рулоны, на тумбочках кипами лежали старые конспекты, стол завален обрывками чертежей, на подоконниках валялись пузырьки из-под туши — и здесь был тот же ремонтный беспорядок.

Час отдыха заключался в том, что в дальнем конце комнаты, на голой сетке, подложив под голову стопу учебников, лежал, вытянув ноги в носках, Подгорный и задумчиво курил, на ощупь стряхивая пепел в горлышко бутылки из-под пива, стоявшей на полу.

Рядом в широких и длинных болтающихся трусах, в майке, потно прилипшей к толстой спине, возился, трещал деревянным, как сундук, чемоданом Морковин; наваливаясь коленом на

крышку, он дышал озлобленно и шумно: что-то не умещалось. Подгорный не обращал на него внимания.

— Здорово, — сказал Сергей. — Час отдыха? А где Косов?

Он остановился посреди комнаты, руки в карманах, с плаща капало, капли шлепали по газетам на полу.

Подгорный быстро повернул лицо к нему, глаза округлились, лоб пошел гармошкой; и приподнялся, уставясь на ботинки Сергея, обляпанные грязью.

— Здоров... Сережка! Ты к нам?..

Морковин вскинулся возле чемодана, переступая толстыми, чуть кривоватыми ногами, учащенно замигал рыжими ресницами. И, хлюпнув носом, спросил с изумлением:

— Это как же? Значит, исключили тебя? И ты как? И на практику не едешь?

Подгорный затолкал окурочек в горлышко бутылки, оборвал его ядовито:

— Ты бачил, Сережа, морковинский сундук? Думаешь, он горную литературу везет?

Заблуждение. Старые галоши, разбитые ботинки, драные рубахи — як собака рвала, а все в сундук кладет. Хозяин! Пригодится на практике. А ты думал! Он знает. Три часа укладывает. Во, погляди, Серега. Да еще на сундуке замок. Он у нас голова-а! Мыслитель! Аж над башкой сияние.

— Отцепись! — Морковин дернул носом, не отводя взгляда от Сергея. — И на практику уже не едешь? — опять спросил он, съезживаясь. — Значит, все теперь? Как же тебя, выключили?

Он, видимо, наивно не понимал, как могло случиться это с Сергеем, и Сергей, осматривая комнату общежития, молчал, как будто необычным был его приход сюда, куда часто приходил он прежде.

— Вот, заметил? Над башкой нимб мыслей. Сокра-ат! И за что ему четверки ставят, мыслителю калужскому? — съязвил Подгорный. — Садись, Сергей. Ну що стоишь? Григорий по «Гастрономам» бегаёт. Консервы на дорогу... Сейчас прибудет. — Он вроде раздраженно покачался на кровати, зазвенел пружинами. — Слухай, Морковин, шел бы ты погулять по коридорам. Ну погуляй, погуляй, хлопче!

— Не лезь! — зло огрызнулся Морковин. — Куда ты меня выгоняешь?

И демонстративно сел на чемодан, выставив толстые колени.

— Да! — Подгорный тоскливо перекатил глаза на Морковина. — Бес его возьми, ведь через два часа уезжаем. Слышь, Сережка, через два...

— Значит, через два часа? — проговорил как бы про себя Сергей и, не вынимая рук из карманов, зашагал по комнате; под его ногами шелестела бумага, сырой плащ задевал за угол стола, за спинки кроватей; он, казалось, пьяно, по-большому пошатывался; лицо за эти дни осунулось, похудело. Потом он задержался против окна, вынул одну руку из кармана, зачем-то начал трогать, переставлять на подоконнике пустые пузырьки из-под туши, сказал, не обращаясь ни к кому в отдельности:

— Ладно. Собирайтесь. Мешать не буду. Косова подожду, прощусь и поеду спать.

Голос Подгорного прозвучал за спиной его:

— Ты шо думаешь делать?

— Что делать? — повторил Сергей, все переставляя пустые пузырьки. — Уеду на шахту. Буду работать. Это все.

— Шо-о?

— Что тебя удивляет, Мишка?

— Значит?..

— Когда человека исключают из партии, его исключают и из института, — ответил Сергей, подбросил на ладони пузырек, поставил его на подоконник. — Тебе что — это неизвестно? Я подал заявление. Не стоит ждть, когда Свиридов напомнит об этом Луковскому. Я все понимаю, Мишка. И ты все понимаешь. Не надо удивляться!

В ту же минуту он повернулся от окна — раздались шаги в коридоре, дверь распахнулась: Косов в намокшем старом бушлате не вошел, а шумно, отфыркиваясь, ввалился в комнату, держа две авоськи, набитые банками консервов, свертками, бушлат был не застегнут, шея и грудь розовы, мокры, насечены дождем. Он с размаху грохнул авоськи на стол, сдернул флотскую фуражку, отряхивая ее, крикнул весело:

— Братцы, на улицах штормяга! Шлепал по «Гастрономам» каботажным рейсом на полный ход, вгрызлся в очереди, что твоя врубовка. Иес, сэр, овер ол! А ну кинь кто-нибудь закурить! Сережка? И ты тут?

Он увидел Сергея, веселое выражение стерлось с загорелого лица его, косолапо, враскачку, как ходил по морской привычке своей, не желая отвыкать, ринулся к нему, стиснул его кисть.

— Салага, черт! Я искал тебя два дня! Оборвал в автомате телефон. Где ты пропадал? Мы же сегодня отчаливаем...

— Я знаю, что ты звонил.

— Салага ты. Пакостная морда. Кустарь-одиночка. Вот кто ты! Исчез — и концы обрубил. За это шею бьют! Спасибо, что пришел!

Косов на радостях, не выпуская руки Сергея, рванул его к себе, как всегда, играя силой, увесисто ударил другой рукой по плечу, заговорил, всматриваясь в его лицо:

— Неужто все-таки на меня обиделся? Или чихнул на всех левой ноздрей через правое плечо? Этого не знал за тобой. Ты копилка за тремя замками. Копилка. Если обиделся — скажи в глаза, чего крутить?

— Какая обида! Пошел ты... знаешь? — Сергей выдернул руку из маленьких железных пальцев Косова, хмурясь, достал пачку сигарет, протянул Косову. — За что мне на тебя обижаться? Ну что смотришь? Бери сигарету. — Косов ногтями вытянул сигарету. — Черта в сумку! Я еще не умираю, Гришка.

— Идиотские дела, старик, — сказал Косов. — Все как-то через Пензу в Буэнос-Айрес. У нас часто зуб дергают через ухо. Вот что я тебе скажу.

— Тут на кровати Холмин спал, — как-то не очень внятно пробормотал Морковин, заворочавшись на своем чемодане. — Вот тут он... Знаешь, Сергей?

— Здесь? — Сергей покосился на кровать.



— На этой, — мрачно ответил Косов. — Его переселили из третьей комнаты к нам, пожил пять дней — и амба! Тихий был парень, в очках, без конца читал Маркса и Гегеля. Причем на немецком языке. Читал и курил. Две пачки «Памира» выкуривал в день. Был с виду пацаненок.

— Его... здесь арестовали?

— Нет. Но сюда приходили ночью двое с комендантом и перерыли всю тумбочку и весь матрац.

— Между прочим, имел интерес... интерес имел Уваров к стихам цего Холмина, — сказал Подгорный, со стуком высыпал на стол из одной авоськи банки консервов, договорил как бы между делом: — Частенько приходил: ты, говорят, стихи отлично пишешь, дай почитать. А Холмин всю любовную лирику Морковину читал. А контрреволюцию он тебе читал, ну?

Жмуря золотистые глаза, он глянул на замершего Морковина — тот, запинаясь, ответил шепотом:

— Какую контрреволюцию?.. Он про природу стихи писал. А никакой контрреволюции не было.

— Понимай шутки, Володька. Без шуток, браток, тяжело будет на свете жить, — серьезно сказал Подгорный, выволок из-под кровати потертый чемодан, стал как камни кидать туда банки консервов. — Продукты у меня. Назначаю себя завскладом.

И с такой силой захлопнул крышку чемодана, что задребезжали пружины на кровати.

Подгорный разогнулся, длинное и смуглое лицо сумрачно, угольно-черные брови сошлись над тонкой переносицей.

— Ты чего молчишь? — спросил он Косова.

Косов ходил кругами по комнате, в расстегнутом бушлате, раскачивая плечами, замкнутый, дым сигареты таял за спиной. Услышав слова Подгорного, спросил рассеянно:

— Что?

— Сережка уходит из института, — неудивленно объяснил Подгорный. — Слышал? И вообще...

— Тебе что — предложили? — спросил Косов, дернув ворот рубашки, словно было жарко ему.

— Не предложили, но предложат, — сказал Сергей. — Это ты знаешь.

У Косова что-то дрогнуло в лице.

— Знаю! Но ты думаешь, старик, что так все время будет? Знаешь, я ходил в войну на Балтике, такие ночные штормяги бывали — штаны трещат. Вспомни, чертов хрыч, сколько раз казалось на фронте — все, конец, целовались даже, как перед смертью. И все проходило. Да что я тебя агитирую за Советскую власть! Я тебя лозунгами прошибать не буду! Знаешь, что главное сейчас — бороться, но не наворотить глупостей, не подставлять под удар задницу!

Твердый голос Косова отдавался в ушах Сергея, а Косов, все раскачиваясь, цепкой походочкой ходил странными спиралями вокруг стола, рубил маленьким кулаком воздух. Сергей чувствовал озноб на затылке, он зяб, руки в карманах плаща не согревались, и болью

резал по глазам свет оголенной — без колпака — лампы, висящей на шнуре над столом. И черный бушлат Косова, черные окна с потеками дождя, голые кровати со свернутыми матрацами — все было неуютно, тускло, обдавало словно сырым сквозняком, и не верилось, что Косову было жарко — грудь обнажена под бушлатом, не верилось, что в этой сырой комнате Морковин в трусах сидел на своем, казалось, холодном чемодане и затаенно снизу вверх глядел то на Косова, то на Сергея.

Сергей спросил:

— Хочешь сказать — мне не уходить из института? Ждать, когда Луковский попросит? Хватит! Хватит, Гришка. Я не пропаду. Будет время — кончу институт. Думаешь, я с охотой ухожу? Разыгрываю оскорбленную гордость?

— Забываешь про нас! — разгоряченно сказал Косов и качнулся к Сергею. — Я соберу ребят, мы пойдем к Луковскому, в райком...

— Мне Свиридов сказал, — Сергей усмехнулся. — Мое исключение — это борьба за меня. Партия не карает, а воспитывает.

— Партия — это не Уваров и Свиридов, леший бы задрал совсем! — крикнул Косов. — Партия — это миллионы, сам знаешь. Таких, как ты и я!

— Но в райкоме верят Свиридову...

— Мы слишком много учитываем и мало действуем! — не дал договорить Косов. — А надо действовать. Бог не выдаст, свинья не съест!

— Я все время придерживался этого. Но я уже решил, Гришка. Ничего переигрывать не буду. Все уже сделано. Я уже был у Луковского. Поеду в Казахстан.

— Это что — твердо? — спросил Косов.

— Я не пропаду. Разве во мне дело сейчас?

Он чувствовал едкий запах извести из коридора, до боли резал глаза яркий свет лампы на голом шнуре. И лица Косова, Подгорного, стоявшего в одних носках на полу, и похожее на блин робкое лицо Морковина, наблюдавшего за ним со своего чемодана, вроде бы отдаленно проступали в этом оголенном свете лампы. И в эту минуту он понимал, что знает нечто большее, чем все они.

— Самое страшное, Гришка, не во мне.

Одновременно взглядывая на Морковина, Косов и Подгорный замялись с каким-то недобрым напряжением. И тот, обняв круглые колени, придавив их к груди, растерянный, вдруг густо покраснел и покорно и тихо потянул из-под матраца брюки, начал, не попадая ногой в штанину, надевать их.

— Тю! — произнес Подгорный. — Ты куда ж?

— На вокзал, — уже натягивая рубашку, путаясь в пей, ответил срывающимся голосом Морковин. — Я мешать не буду. Я ведь не партийный... В одной комнате живем, а разговоры врозь. Как же жить вместе? А может, я... как и вы... Сергея тоже понимаю... понимаю... Может, вы думаете, что я... думаете, что я...

Его пальцы никак не могли найти пуговицы на рубашке, и когда Сергей увидел его опущенное и будто что-то ищущее лицо и слезы обиды, внезапная жалость кольнула его. И он, как и Косов и Подгорный, недолголюбивавший Морковина за его постоянную расчетливость, за его

излишнюю бережливость (деньги от стипендии прятал в сундучок на замке, живя иногда впроголодь), сказал дружески:

— Посиди, Володя. Никто из нас не думает...

Тогда Подгорный с нарочитой ленцой почесал в затылке, сказал: «Ах, бес, ну воображение!» — и тут же грубовато-ласково обхватил Морковина, посадил на чемодан.

— Ну шо ты козлом взбрыкнул? И слушать не хочу — уши вьянуть. На вокзал вместе поедем. Уразумел?

Морковин, съезжившись на чемодане, все искал, тормозил пуговицы старенькой черной, приготовленной в дорогу рубашки, — и Косов выругался, с сердцем отшвырнул носком ботинка кусок ватмана на полу. Сказал:

— Забудь про эти слова! С ума сойти от твоих слов можно. Понял, Володька?

И долго смотрел под ноги себе.

— Это долго не может быть, не может, Сережка. Знаешь, — заговорил он, — мне вчера один тут... знакомый рассказал. Одного журналиста арестовали за то, что у него в мусорной корзине газету с портретом Сталина нашли. Ну за что, спрашивается? Кому это нужно? Бред! Может так долго продолжаться? Нет. Уверен, как черт, что нет.

— Знаю, — ответил Сергей. — Если бы я не был уверен! Не знаю — дождутся ли там ?

Подгорный, сузив глаза, подтвердил задумчиво:

— От главное. Ой, чи живы, чи здоровы все родичи гарбузовы, есть така песенка, братцы...

Косов, как бы отталкиваясь маленьким кулаком от железных спинок кроватей, кругами заходил по комнате.

— Когда я набирал себе в разведку, то всегда узнавал ребят так. Подходил к какому-нибудь верзиле сзади и стрелял над ухом из нагана. Вздрагивал, пугался — не брал. Пугливых в разведке не надо. И пугливых в партии не надо. Мы что — трусим? Полны штаны? Нет, надо идти в райком, братцы! Сами себя перестанем уважать. Нет, Сережка, надо, надо! Все равно надо! Этот дуб Свиридов под ручку с Уваровым такую чистоту в институте наведут — ни одного стоящего парня не останется! Ну ты как, Мишка? Ты как?

Подгорный ответил после раздумья:

— Дашь сигнал к атаке — пойду. Танки артиллерию поддерживали. И наоборот. — И темно-золотистые глаза его улыбнулись Сергею не весело, не с фальшивой бодростью, а как-то очень уж грустно.

В ознобе Сергей прислонился спиной к косяку двери, стараясь согреться, но чувствовал, как мерзли от промокшего плаща лопатки, а голова была туманной, горячей, — и смутно появившаяся на секунду мысль о том, что он может заболеть, вызвала странное, похожее на облегчающий покой желание полежать несколько дней в чистой постели, забыться, не думать ни о чем. Он знал, что этого не сможет сделать.

— Я провожу вас до автобуса, — сказал он. — Вам, наверно, пора? Собирайтесь — я подожду.

— А! — отчаянно произнес Косов, рубанув рукой по воздуху. — Деньки, как в бреду... беременной медузы! Собирай, братцы, манатки! И — гайда до осени. А осенью — или пан, или пропал. Или грудь в крестах, или... — Он поднял свой чемодан и резким движением бросил на стол.

— Пан. Прошу пана — пан, — без улыбки отозвался Подгорный.

Они собрались быстро — студенческое количество их вещей не требовало большого времени для сборов, в пять минут все было готово. Косов одним нажатием колена на крышку управился и с чемоданом Морковина, сказал, небрежно пробуя на вес: «Чемоданчик ничего себе — аж углы перекошились!», а Морковин затоптался возле Косова, отворачивая свое круглое конопатое лицо, пробормотал с беспокойством:

— Разве уж тяжелый?

— Ладно! — обрезал Косов. — Пошли. Понесешь мой чемодан, я — твой. Боюсь, для твоего чемодана у тебя слабы бицепсы.

А когда выходили они из общежития и Косов легко перемахнул из одной руки в другую тяжелейший деревянный чемодан Морковина, Сергей почему-то вспомнил известную слабость Косова — продемонстрировать свою силу: о нем говорили, что, если потребуется перенести все шкафы и столы из аудиторий во двор и обратно, Косов один сделает это с удовольствием.

И хотя Сергей понимал, что и Косов и Подгорный знали то, что знал он, и чувствовали все, как он, и оценивали многое так же, однако он все время ощущал свое отличие от них — это письмо отца в нагрудном кармане под плащом — и думал, что они не знали всего так оголенно, больно и так ясно.

Они вместе — все четверо — дошли до автобусной остановки и здесь, остановившись на краю тротуара под фонарем, в стеклянный колпак которого буйно хлестали дождевые струи, стали прощаться.

— Старик, до осени, — сказал резковато Косов, глядя на Сергея угрюмо, исподлобья, не желая быть растроганным в последнюю минуту, но так стиснул кисть Сергея, точно всю силу надежды вкладывал в это рукопожатие.

— Перемелется, Серега, мука буде. Ось поверь — мука буде, — выговорил Подгорный с дрожащей улыбкой и легонько обнял его. — Ось поверь, мука буде...

— Счастливо, — сказал Сергей, скрывая голосом рвущуюся нежность к ним и слабо веря, что они расстанутся ненадолго.

И когда взглянул на Морковина, на его как бы замкнутое в поднятый воротник куртки и напряженное желанием помощи лицо, увидел его часто мигающие от дождевых капель веки, он еле внятно услышал его прерывающийся от волнения шепот и почувствовал вцепившиеся в его руку пальцы.

— Ведь я тебя всегда... хорошо к тебе... Ты не замечал, а я уважал... И сейчас... Прощай покуда, Сергей.

— Ладно, Володя, ладно, — сказал Сергей. — Счастливо вам.

Они сели в автобус, и теперь не было видно лиц за замутненными стеклами, лишь мутно темнели силуэты, и эти освещенные окна качнулись, сдвинулись, поплыли в мокрую и жидкую тьму улицы, и потом огни автобуса стали мешаться с огнями фонарей, совсем исчезли, а тут, на мостовой, где только что стоял автобус, пустынно поблескивал асфальт, усыпанный

прибитыми к нему дождем тополиными листьями.

Сергей повернулся и пошел, глубоко засунув руки в карманы промокнутого плаща, пошел по темному тротуару, один среди этой безлюдной, шуршащей дождем улице, а озноб все не проходил, его била нервная дрожь.

«Что ж, и смерть, мой сын, бывает ошибкой...», «Поверь мне, что я невиновен...» — вспомнил он, и рвущие бумагу буквы, написанные химическим карандашом, всплыли перед его глазами.

18

В начале августа после трех суток езды сквозь сожженные степи в прокаленном зноем металлическом вагоне Сергей сошел с поезда на новеньком вокзале «Милтукуголь» и под морозящим дождем вышел на привокзальную площадь, сладковато пахнувшую углем, незнакомым южным запахом.

Город начинался за площадью, вокруг которой по-раннему редко светились окна, и там меж очертаний домов, меж черными шелестящими карагачами, как показалось ему, в самом центре города проходила одноколейная дорога — свистяще шипел маневровый паровоз, мелькали над крышами багровые всполохи, и там протяжно пел рожок сцепщика, доносился лязг буферов, глухой грохот по железу.

Нагружался, видимо, уголь, он гремел в бункерах, и не сразу Сергей различил в сереющем воздухе рассвета справа и слева над улицами неясные очертания копров.

Он вдруг удивился тому, что он уже здесь, а Ася далеко отсюда, в Москве, под присмотром Мукомоловых, и вспомнил последний разговор их, когда она сказала, что все понимает и поэтому отпускает его. Она все поняла, Ася.

На краю площади, до блеска вымытые дождем, виднелись два такси, как в Москве, мирно горели зеленые фонарики. Одна из машин тронулась, сделала медленный разворот по краю площади, затормозила около Сергея. Опустилось стекло, проворно высунулась голова молодого парня-казаха в модной кепочке без козырька. Он крикнул:

— Салам, начальник! Куда везем?

— Я не начальник, — ответил Сергей и переложил отяжелевший под дождем чемодан в другую руку. — Нужно в райком.

— Садись, будь любезен, подвезем. — Шофер мастерски, сквозь щелку зубов сплюнул на асфальт, весело и охотно раскрыл дверцу. — Давай! Откуда сюда?

— Из Москвы.

— Э-э, москвич?

— Был.

Он влез на сиденье рядом с шофером и еле успел достать мокрыми пальцами сигарету, как парень резко затормозил машину, облокотился на руль, подмигнул всем своим

выпуклоскулым и подвижным лицом.

— Все, начальник!

— Что?

— Приехали. Райком.

— Уже? — не поверил Сергей, плохо понимая, и все-таки полез за деньгами. — Сколько с меня?

— Веселый парень, анекдоты рассказываешь! — замотал головой и озорно, молодо захохотал шофер. — Какие деньги — пятьсот метров ехали! Только сигарету дай, московскую. «Прима» у тебя? Вот райком! Только рано еще. Спят. Может, в гостиницу поедем? Чего думаешь? Давай.

— Нет. Я подожду. Спасибо. Возьми всю пачку. У меня есть.

Двухэтажное здание райкома было темным.

Он присел на чемодан под навесом. Он мог ждать под этим навесом хоть целые сутки, хоть неделю.

Только в десять часов утра он увидел секретаря райкома Гнездилова. Невысокий, кряжистый человек в просторном брезентовом плаще, казавшийся от этого тяжелым, квадратным, грузно ступил в приемную, где пожилая заспанная машинистка безостановочно, пулеметными очередями стучала на машинке, задержал взгляд на Сергее, сидевшем на диване, глянул на чемодан, поставленный у его ног, сказал сочным голосом:

— Доброе утро, Вера Степановна. Это ко мне товарищ?

— К вам, Аким Никитич. Сидел, представьте, с ночи под навесом, пока райком был закрыт. Из Москвы.

— Из Москвы? Ну так. Проходите, коли ко мне.

Сергей вошел в кабинет.

— Так, так, — говорил Гнездилов, уже за столом прочитывая письмо Морозова, характеристики, документы Сергея, изредка взглядывая недоверчивыми глазами. — На шахту? Работать?

— Да.

— Понятно. А отец арестован, так? Осужден?

— Да. На десять лет. Я узнал только это.

— А ты что же — обманул партбюро?

— Нет.

— Та-ак. Понятно. А Игорь Витальевич твой декан?

— Да.

— Что это ты заладил: да, нет, нет, да. Как заведенный. Эдак мы с тобой и не договоримся. Будем мекать да бекать. Ты что, злой очень?

— Я жду вашего решения. Я вижу, что вас не обрадовали мои характеристики, — сказал Сергей.

Очень тесный кабинет секретаря райкома, загроможденный простым письменным столом и длинным, закапанным чернилами другим столом, поставленным к нему перпендикулярно, и деревянной вешалкой в углу, где висел брезентовый плащ Гнездилова, представился вдруг серым, неуютным, и вся простота его стала выглядеть неестественной, и простоватый этот разговор ненужно наигранным, нарочитым.

— Вон как ты крепко рубанул: «Не обрадовали характеристики»! Да, с такой характеристикой, дорогой товарищ студент, в золотари не возьмут. Вот таким образом получается.

Большое лицо Гнездилова с резкими чертами — мясистый нос, широкие брови, широкий подбородок — было слегка опухшим после сна, задумчиво-хмуро; голова, наголо бритая, наклоненная над бумагами, казалась массивной.

— Эк как ты: «Не обрадовали характеристики», — продолжал Гнездилов. — Что ж, ты не согласен с исключением? Ошибки не понял? Ну как на духу говори!

— Нет, с исключением я не согласен.

— Упрямый ты, что ли? А это что? Зачетная книжка? На третьем курсе науки проходил. Ну что ж, пятерок много. А это что, тройку схватил? Характер, что ли, неуравновешен, так? Ну что ж ты мне скажешь? Что с тобой делать? Что ты будешь делать, если прямо скажу «нет»?

— Что ж, поеду в другое место.

— А если и в другом месте? Пятно ведь везешь. И какое пятно!

— Поеду в третье.

— Значит?..

Гнездилов, хмыкнув, пытливо обвел Сергея черными глазами, а крупная его ладонь не спеша поглаживала шею, наголо, до синевы бритую голову.

— В грузчики пойду, — ответил Сергей. — Или рыть землю.

— От отчаяния?

— Нет. Я в войну много покопал земли.

Было долгое молчание.

— Вот что! — наконец сказал Гнездилов, и рука его тяжело опустилась на стол, где лежали документы Сергея. — Ты знаешь, куда приехал? Хорошо знаешь?

— Знаю.

— Так вот что — пойдешь рабочим в комплексную бригаду на «Капитальной». Понял, что это такое? Осваивать в лаве новый комбайн. Изучал у Морозова небось?

— Да.

— Ну вот. Предупреждаю, на третьем участке все сложно. Все вверх ногами. Сто потов с тебя сойдет, ночей спать не будешь, ног и рук не будешь чувствовать — такая работа! Ну?

«Рабочим комплексной бригады? — мысленно повторил Сергей. — Что он сказал — рабочим комплексной бригады? Он что, шутит?» И немедля он хотел сказать, что очень хотел бы этого, но проговорил вполголоса и сдержанно:

— Вы, кажется, забыли, что я...

— Я ничего не забыл! — жестко перебил его Гнездилов и снял трубку телефона. — Ты мою память еще узнаешь. Я все дела твои изучу, парень, и запомни; глаз с тебя спускать не буду.

— Значит, вы серьезно?.. — почти шепотом выговорил Сергей. — Спасибо... Я ведь... я ведь готов был и в грузчики, — доверительно и тихо добавил он. — Мне уже было все равно, Аким Никитич.

Телефонная трубка задержалась над столом, Гнездилов строго покосился из-под бровей.

— А не справишься с работой — в грузчики, в сторожа переведем! Это обещаю. — И, набрав без спешки номер, заговорил своим крепким голосом: — Бурковский? Привет, мученик! Опять горишь? Долго у тебя будет дым без огня? Когда я на твоём месте сидел, у меня, брат, дыма не было! Врубовки? А ты проси и врубовки! Что, я тебе буду ходатайства писать? Нажимай, требуй, из рук выхватывай! Экий у тебя дамский характер! Вот что. Закажи от своей шахты номер в гостинице и давай немедленно ко мне. Разговор есть. Ну! — Бросив трубку, он тяжело поднялся над столом, проговорил: — Давай, Вохминцев. А через месяц позову тебя сюда. И спрошу на всю Ивановскую. Спрошу строго. Иди. Гостиница направо за углом. Рядом. Сегодня отдохнешь, а завтра — под начальство к Бурковскому. Твой начальник участка. Если он тебя возьмет. Тут я, знаешь, не виноват.

Только возле самой гостиницы он понял, что произошло. Он еще не верил в то, что он будет жить здесь и что сюда может приехать Нина. Моросило. Расстегнув плащ, откинув капюшон, Сергей стоял около подъезда каменной, по-видимому недавно выстроенной, четырехэтажной гостиницы с новенькими вывесками: «Парикмахерская», «Ресторан» — и не входил в нее, — сдавливая дыхание, билось сердце, и он губами ощущал — дождь был тепел.

А вся неширокая улица перед гостиницей была затянута водяной сетью, мимо домов двигались, скользили мокрые зонтики, и пронесся, шелестя по мостовой, глянцевито-зеленый автобус, тесно наполненный людьми в брезентовых комбинезонах. И где-то близко звучал в сыром воздухе рожок сцепщика. С лязганьем буферов, замедленно пересекая улицу, прошли к железному копру шахты, черневшему за крышами, товарные платформы, их тяжело подталкивала «кукушка». Пар от нее с шипением вонзался в туман.

Дождь не переставал, и небо было низким, мутным. А он все не входил в гостиницу — смотрел на железный копер шахты, на «кукушку», на платформы, на дома — а по лицу его скатывались теплые капли.

И в эту минуту он чувствовал себя непобежденным.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 1953 ГОД



— Такси, стой!

Человек выскочил из пустого арбатского переулка, спотыкаясь, бросился на середину мостовой навстречу машине, — Константин затормозил; человек заочневшими пальцами стал рвать примерзшую дверцу и не влез — упал на заднее сиденье.

— До Трубной! Быстрее, быстрее!

Константин из-за плеча взглянул на пассажира — молодое, острое книзу лицо спрятано в поднятом воротнике, иней солью блестел на мехе; кожаный и весь будто скользкий от холода чемоданчик был поставлен на колени.

— Ну а если поменьше восклицательных знаков? — спросил Константин. — Может, тогда быстрее?

— Быстрее — ты не понимаешь? — визгливо крикнул парень. — Оглох?

Ночной Арбат был глух, пустынен, с редкими пятнами фонарей на снегу, посверкивала изморозь в воздухе, на капоте машины, на стекле, по которому черной стрелкой ритмично пощелкивал, бросался то вправо, то влево «дворник».

— Что ж, поехали до Трубной, — сказал Константин.

Когда после синеего пространства Арбатской площади, без единого человека на ней, с темным овалом метро, пошли слева за железной оградой заваленные снегом бульвары, Константин мельком посмотрел в зеркальце: парень сидел, сведя руки на чемоданчике, шумно дышал в поднятый воротник.

Ночью в опустошенной морозом Москве — среди вымерших зимних улиц, погасших окон и закрытых подъездов, среди сугробов возле ворот и заборов — машина казалась островком жизни, едва теплившимся в скрипучем холоде, и у Константина появлялось едкое ощущение нереальности ночного мира, в котором люди жили странной, отъединенной от дня жизнью.

Держа одну руку на баранке, Константин зубами вытянул из пачки сигарету, и, когда чиркнул зажигалкой, зябкий голос раздался за спиной:

— Дай курнуть, шофер!

Константин из-за плеча протянул пачку, замерзшие пальцы парня тупо выдирали сигарету.

— Огоньку дай!

Ровно шумела печь, распространяла по ногам тепло. Константин, поправив зеркальце, мазнул перчаткой по оранжевому от наплывавших фонарей стеклу, сказал лениво:

— Слушай, мальчик, а ты хороший тон знаешь? Имеешь понятие, что такое... ну, скажем, деликатность? Или перевести на язык родных осин?

— Молчи! Огоньку дай — и все, понял?

— Надо научиться слову «спасибо», мальчик.

— Молчи, говорю! — Парень жадно прикурил, отвалился в угол сиденья, перхая при каждой затяжке.

До Трубной ехали молча; Константин не продолжал разговор, насвистывал сентиментальный мотивчик: за три года работы в такси он давно привык к странностям ночных пассажиров и только на углу Петровки спросил:

— Ну? Где прикажете остановиться?

— Чего? Чего ты?

— Трубная, — сказал Константин и, затормозив на площади, обернулся. — Прошу. Доехали, кажется.

И тут же встретился с приблизившимися глазами парня, губы его ознобно прыгали, трудно выталкивали слова:

— Трубная?.. Трубная?.. Ты подождешь меня здесь, на углу, ладно? Здесь... Твой номер запомнил — 26–72... Ты меня обождешь! И дальше... дальше поедем!

Спеша, вытащил из бокового кармана пачку денег, вырвал из нее двадцатипятирублевку, не отдал, швырнул на сиденье и выскочил из машины, дыша, как голый на морозе.

— Стоп! — крикнул Константин и опустил стекло. — А ну, потомок миллионера, возьми сдачу. И меньше прошу команд. Я не люблю командных интонаций. Аккуратно ладошкой держи монеты — и привет от тети!

— Ты!..

Паренек затоптался около машины, переступая на снегу модными полуботинками; глаза его сразу стали напряженными и плоскими, он дрожал то ли от холода, то ли от возбуждения; и, мотнув чемоданчиком, вдруг заговорил с бессильной злостью:

— Я за ней, понял — нет?.. Она в Рязань уехала... Чемодан собрала и уехала! Мне в Рязань надо! Я ее из Рязани привез, женился, а она... Ух, догоню ее — убью! Из общежития уехала!.. Понял? Или нет?

— От кого уехала?

— Да не от тебя!.. — срывающимся голосом закричал парень. — Я тут на Трубной к матери, а потом в Рязань! Пять бумаг будет твоих. Ну, шофер, ну? Ну, шесть сотен хочешь?.. Всю зарплату отдам! Ну, не понимаешь, да? Мать у меня здесь, на Трубной! Скажу ей — и все! Подожди здесь — и в Рязань! Шесть бумаг отдам!

— Шесть бумаг? Все понял. К сожалению, на первом посту за Москвой задержат машину, и меня выпрут из парка. Мои рейсы в городе, парень.

— Трусишь, таксист? — взвизгнул парень. — Трусишь? Да?

Константин со скрипом поднял прилипшее от мороза стекло, — парень, размахивая чемоданчиком, побежал через пустырь площади к черной арке каменного дома. Там в студеном пару, в радужных кольцах горел фонарь. Парень вбежал под арку, слился с ее темнотой.

Константин развернул машину на площади, поехал в центр.

Выезжая на Петровку, он оглянулся — за задним стеклом мелькнуло возле арки туманное пятно фонаря. «Трусишь?» — вспомнил он и грудью почувствовал легкую нагретую тяжесть трофейного пистолета во внутреннем кармане. Он сказал: «Трусишь?»

После участвовавших в последнее время случаев ограбления такси и после незабытой недавней встречи с тремя молодыми людьми по дороге в Лосинку, которая едва не стоила Константину жизни, он брал в ночные смены маленький и плоский немецкий «вальтер», привезенный с фронта. Так было спокойнее.

В центре он остановил машину возле «Стереокино». Это было удобное место — перекресток путей из трех ресторанов, два из них работали до поздней ночи.

Поворачивая машину от Большого театра к заснеженной площади Революции, Константин увидел возле здания кинотеатра, под мерзлыми тополями, одинокую, поблескивающую верхом «Победу» и, подъезжая, осветил фарами номер такси.

«Михеев, — определил он. — Как всегда, здесь».

Константин вылез из машины, подошел к «Победе» и, потеряв на холоде руки, открыл дверцу, улыбаясь.

— Ну что — покурим, Илюша? Дай-ка огоньку, держи сигарету! Кончай ночевать, сделай гимнастику и подыши свежим воздухом!

Михеев, парень с широким круглым лицом, сонным, помятым, вытащил из машины плотное, как бы замлевшее от долгого сидения тело; разминаясь, поколотил кулаками себя под мышками, выдохнул:

— Ха! Дерет, шут его возьми! Вздремнул малость, Костя... Пассажиров, чертей, мороз разогнал, без копейки приеду, ситуация, мать честная! Это ты мне — сигарету?

У Михеева чуть-чуть косили к носу круглые, будто немигающие глаза, и именно это придавало его широкоскулому и губастому лицу нечто птичье, — всегда настороженное.

— Прошу, Илюша, — сказал Константин, щелчком выбивая сигарету из пачки. — Вот огоньку, же ву при, мой дорогой, спичек нет.

От этих щелчков вылетели из пачки две сигареты, одну успел подхватить Михеев, другая упала под ноги. Михеев, досадливо кряхтя, поднял ее, обтер о рукав.

— Брось, — сказал Константин. — Снег, Илюша не убивает бактерии.

— Так прокидаешься — без штанов ходить будешь. Можно взять, что ль? — Михеев аккуратно заложил вторую сигарету за ухо и зажег спичку, прикрыв ее ладонями, прикурил, после этого дал прикурить Константину. — Миллионщик ты, Костяка, честное слово, и откуда рубли у тебя? — заискивающе сказал он. — Дорогие куришь... А я — гвоздики, на жратву еле...

— Ох ты, прелесть чертова! — засмеялся Константин. — Ты же больше меня зарабатываешь, Илюша. В сундучок кладешь? Под матрац? Ну, для чего тебе деньги? Женщин, Илюша, ты боишься, в рестораны не ходишь. Ну, когда женишься?

— Без порток, а о женитьбе думать? — сказал Михеев. — Жене деньги нужны. Вот тогда...

— Значит, с деньгами женишься, Илюша?

Михеев сделал вид, что не расслышал вопроса.

— Тут рассказывали, — заговорил он, — во втором парке шофера убили! Шпана. Гитарной струной удавили. Сзади накинули та... Триста рублей у него и было-то, видать. — Михеев сплюнул, бережно подул на кончик сигареты, поправил ее пальцем, чтоб не сильно горела. —

Удавили-то возле Тимирязевки, а выбросили в Останкине. Машину нашли в Перловке. Вот сволочи... Давил бы я их своими руками. Вешал бы прямо. Неповадно было бы. Что с нашим братом делают!

— Нашли? — спросил Константин.

— Чего? Кого нашли-то? — презрительно фыркнул толстыми губами Михеев. — Найдут, хрен в сумку. Бывает, невинного скорее найдут. Они только штрафовать умеют. А чтоб преступника... — Он крепко выругался и снова сплюнул. — А третьего дня одного... из третьего парка — молотком. Череп пробили. А у него — ни копыя. Только из парка выехал... Что с нашим братом делают!

Вся огромная площадь была в слабом свечении зимней ночи — не переставая, сыпалась изморозь, роилась вокруг белого света фонарей. За бульварчиком проступали тяжелые и угрюмые, белеющие клочками снега меж колонн очертания Большого театра со вздыбленной в черноту неба квадригой. И было темным, казалось пустым здание гостиницы «Метрополь». Только одно окно покойно светилось над площадью в высоте этажей. Все стыло в тишине, мороз шевелился, трещал на бульваре, в карнизах кинотеатра. Давно погасшая огромная реклама — бородатое лицо Робинзона Крузо на ней — была, чудилось, посыпана кристаллами.

Константин, присев на крыло михеевской «Победы», оглядел площадь, ее мрачную пустоту, спросил:

— Ну, Илюша? Еще какие новости?

Михеев смотрел на гостиницу «Метрополь», на единственное горевшее окно, глубокие складки тоскливо собрались возле рта.

— Какой-то иностранец коньяки-виски пьет или с бабой... занимается... — проговорил он. — Вот у кого денег-то! Мне на всяких иностранцев не везет. Ни одного не возил. Я б его пощекотал на счетчик...

Константин задумчиво покусывал усики.

— Ну ладно, Илюша, кончай ночевать. Пошли искать пассажиров. Первые — твои, вторые — мои.

— С удовольствием! У тебя ведь счастливая рука! — оживился Михеев, затапывая в снег докуренную до ногтей сигарету. — Ежели б ты... я б с тобой всегда на пару работал. Везет тебе! К ресторану пойдём?

— Да.

«Уехал ли тот паренек с чемоданчиком? — подумал Константин, идя с Михеевым мимо «Гастронома», мимо огромных стекол магазина «Парфюмерия» к ресторану «Москва». Снег по-живому визжал под ботинками, звук этот разносился на всю улицу. Может, стоило все же отвезти его в Рязань?»

— Детей травят, — сказал Михеев.

— Что?

— В родильных домах. Родился мальчик — и вдруг раз! — умирает. В чем дело? Оказывается, врачи. Поймали трех. В Перове... Слышал? А то в аптеках еще — лекарство продают. А в них — рак. Раком заражают. Через год — умирают... Одну аптеку закрыли. В Марьиной роще. Арестовали шмуля. Старикашка, горбатый... Американцы подкупили...

— Что за чепуху ты прешь! — Константин насмешливо взглянул на Михеева. — Ну, что треплешь, сундук?

— Я при чем? — обиделся Михеев. — Послушай, что люди говорят... Не веришь? Какая же тебе чепуха, ежели...

— Ну что «ежели»?

Михеев не успел ответить. Они завернули за угол метро. Перед гостиницей морозный туманец рассеивался клубящимся оранжевым светом ярко и широко освещенных окон, — и внезапно слева с каменных ступенек от дверей ресторана, прорезая тишину, послышался тонкий вскрик:

— Пу-усти-ите!.. — И опять: — Пустите-е! Ой, бо-ольно!.. Бо-ольно!..

Михеев, округлив глаза, дернул за рукав Константина.

— Подожди!.. Кричат, что ль?

И, озираясь на ступени, Константин неясно увидел вверху, меж колонн, несколько угловато метнувшихся фигур, непонятно сбившихся в кучу; и сейчас же человеческая фигура вырвалась оттуда, нелепо согнувшись, бросилась вниз по ступеням — человек оскользнулся, упал, покотился по ледяным ступеням, вскрикивая:

— Дима, беги!.. Что же это?.. Дима!.. Не трогайте!

— Что за черт! — сказал Константин. — Драка, кажется?

Оттуда, от колонн, трое бросились вниз, следом за человеком, прыгая через ступени, зазвеневший голос донесся сверху:

— Сто-ой, мерзавец!

— Морды бьют. Надрались, — хихикнул Михеев. — И откуда деньги?

Человек в черном пальто вскочил, затравленно оглядываясь, позвал шепотом:

— Дима... Дима! Беги! — И закрутился на месте, словно ища шапку.

Он кинулся по тротуару в ту сторону, где стояли Константин и Михеев, не заметив их, и Константин увидел испуганное белое лицо, черную ссадину на лбу, короткие, слипшиеся волосы. На миг человек этот остановился, хватая ртом воздух, вильнул в сторону, побежал по мостовой к улице Горького.

— Держи-и, держи-и его!..

Трое сбегали по ступеням, поворачивали в сторону мечущегося по мостовой человека, и Константина как будто сорвало с места («блатного хмыря ловят!») — в несколько прыжков он настиг этого петляющего по мостовой, выкинул ногу, встретив жесткий толчок по голени, и человек с размаху упал грудью вниз, вытянув руки. И в ту же секунду, когда он упал, Константин услышал топот ног, громкие злые голоса за спиной.

— Молодец!.. Ловко!.. Молодец! — прохрипел, подбегая, невысокий, квадратный в плечах человек (плечи подымались, ходили вверх-вниз), плоское и сильное курносое лицо блестело потом.

С бегу он тыкнул в грудь Константина растопыренными пальцами, слегка оттолкнул, проговорил хрипло:

— Спасибо, помог!

И, наклонясь над лежащим лицом вниз человеком, ударил его ногой в бок.

— Ты с кем, мокрица?.. А т-тя... произведу в дерьмо!.. На! На! На...

Низенький этот с озверелым лицом бил ногами по безжизненно распластанному телу, при каждом ударе выдыхая воздух, будто дрова рубил, учащенно, поршнями двигались его локти. Тело на мостовой слабо зашевелилось, задранное к лопаткам пальто сбилось бугром, руки уперлись в снег — человек, сделав усилие, вскочил и толкнул низенького в подбородок как-то неловко, двумя кулачками. И Константин только сейчас ясно успел разобрать вблизи его лицо — юное и бледное лицо мальчишки лет двадцати.

— Дима, Димочка!.. — умоляюще крикнул он, отступая от низенького. — Не бейте Диму!.. За что?

Набычив шею, низенький грузно рванулся на него, взмахом кулака сбил на мостовую. И затоптался, забегал над ним, носком ботинка ударяя под ребра.

— А-а, ты у меня попоешь! — выдыхал низенький. — Я те покажу Диму!.. А ну, где этот Дима? Вы нас запомните, гниды!..

Константин почувствовал, что все расплывается перед глазами, все становится нереальным, тусклым, и вдруг ему стадо больно и трудно глотать — сразу ссохлось в горле.

Смутно увидел, как справа от него, вобрав голову в плечи, растерянно отступая спиной, двигается по мостовой Михеев, а возле метро — двое в расстегнутых пальто молча и старательно избивают, гоняя от одного к другому, высокого паренька в короткой куртке. И доносились отрывистые всхлипы паренька:

— За что? За что? Что я вам сделал? За что? Что я сделал?..

— А ну прочь, подлецы!.. Стой, сволочи! Пр-рочь!..

Константин только краем сознания понял, что это был его голос. Стиснув зубы, он в три шага достиг низенького, яростным ударом заставил его пригнуться, закрыться и тотчас подлетел к тем двум в пальто, что гоняли высокого паренька в куртке, и отшвырнул их от него. Эти двое, дыша паром, кинулись на Константина, удары в челюсть, потом в грудь оглушили его.

Они наступали с двух сторон, угрожающе и осторожно. Один кашлял, сплевывал на снег чем-то тягучим. И в этот миг Константин ощутил тишину. Он почувствовал — что-то произошло, неуловимое, не увиденное им. Двое смотрели куда-то мимо него, и когда Константин инстинктивно взглянул на низенького, тот правой рукой суматошно хватал что-то, лапал у себя под пальто — и он понял все.

— Стой, сволочь! Опусть руку! — крикнул Константин и, лишь в это мгновение вспомнив о пистолете, торопясь, рвущим движением выхватил «вальтер» из внутреннего кармана, шагнул к низенькому. — Назад! Назад, сволочь! Назад!..

— Оружие?.. — сипло выдавил низенький, пятясь. — О-оружие?..

— А ну, спиной ко мне — и марш! Бегом! — со злобой скомандовал Константин. И махнул пистолетом. — Бегом, к Манежу! Бы-ыстро!

Заплетающейся рысцой низенький и двое в расстегнутых пальто побежали к Манежу. Отбежав метров сто, они остановились. Чернели силуэты на снегу. Потом долгий милицейский свисток просверлил ночь; от гостиницы «Националь» приближалась к ним

темная фигура постового.

— Быстрее, ребята! Смывайся отсюда! — подал команду Константин лежавшим на мостовой парням.

Тот, первый, подымая лицо в крови, зажимая одной рукой нос, пытался встать; другой, в куртке, помогал ему, тянул за плечи, непрерывно повторяя сквозь стоны:

— Гоша, Гоша, бежим, бежим... Ты слышишь, быстрее, миленький!..

— Быстрее, быстрее, ребята! — лихорадочно выкрикивал Константин, с особой остротой сознавая, что все это безумие, что он не хотел этого, но ничего уже нельзя изменить. — Ну, что? Что? Вон туда — бегом! На улицу Горького, во двор! Бегом!..

«Я должен сейчас добежать до машины!.. А может быть, там уже кто есть?.. Добегу ли я? Только бы на кого-нибудь не натолкнуться!.. Где Михеев?..»

Вталкивая пистолет в карман, он рванулся к угловой станции закрытого метро, возникшее странно пустыми огромными стеклами, резко завернул за угол и мимо безлюдного подъезда гостиницы побежал по тротуару к «Стереокино». Не слышал позади ни милицейского свистка, ни шума погони, ни окриков — все забивало, заглушало собственное дыхание и мысль, колотившая в мозгу: «Что же это? Как же это? Только бы никого не было возле машины!.. Только бы!.. Где Михеев?..»

И тут на краю тротуара, потирая рукой грудь, увидел; «Победа» Михеева, стреляя выхлопными газами, стремительно разворачивалась по кольцу площади, мимо мрачной и темной гостиницы «Метрополь», где по-прежнему в высоте этажей светило одно окно («иностранец коньяки-виски пил»), а его, Константина, машина, вся в блестках инея, по-прежнему стояла напротив кинотеатра.

Он раскрыл дверцу, упал на сиденье, руки и ноги сделали то, что делали тысячу раз. Он боялся только одного — чтобы не промерз мотор.

Мотор завелся... Опустив стекло, глядя назад в проем улицы, откуда можно было ждать опасность, он новел машину по эллипсу площади, сразу же набирая скорость.

2

Он остановил машину в одном из тихих замоскворецких переулков; сеялся снежок. Свет фонарей сузился, сжался — стал падать конусами, стиснутый мелькающей мглой; справа, за железной оградой, чернея, проступала сквозь снег пустая каменная церковка, свежая белизна снега не покрывала ее низких куполов.

Машина перегрелась, мотор бился, сотрясая железный корпус.

Левое стекло было открыто — Константин не подымал его все время, пока сумасшедше гнал «Победу», петляя по улицам, — внутри машина вся выстудилась. И Константин на ветру весь продрог, одеревенела левая щека, заоченели пальцы. Он с усилием оторвал их от баранки, закрыл глаза. Он ощущал холод на веках от выдавленных ветром слез.

«Где был Михеев, когда я?.. Видел он или не видел? — спрашивал себя Константин,

восстанавливая в памяти, как Михеев растерянно топтался на снегу в тот момент, когда низенький подбегал к пареньку, упавшему на мостовую. — Где Михеев?..»

И он вспоминал, как уже на Петровке обогнал его, трижды посветив ему фарами, и потом, выглядывая в окно, видел неотступно мчавшуюся следом машину Михеева, желтые качающиеся подфарники. Только перед Климентовским, вплотную притормозив перед светофором, ненужно мигающим в ночную безлюдность улиц, он с нетерпением подождал, когда подойдет «Победа» Михеева; тот притер завизжавшую тормозами машину, опустил стекло, высунул сизо-белое лицо и ничего не спросил, лишь рот немо искривлен был.

— В Вишняковский, к церковке! — глухо бросил Константин. — Там поговорим.

«Где же он был? Видел ли Михеев, когда я?.. — думал Константин, ощупывая негнущимися пальцами ствол пистолета в кармане. — Что я должен делать с ним? Выбросить? Спрятать? Те трое могли заявить. Могут проверить все ночные такси?..»

Он нерешительно вылез из машины, без щелчка закрыл дверцу. В переулке на двухэтажные деревянные дома, на навесы парадных мягко сыпался снежок, бесшумно ровнял мостовую, укладывался на железную ограду, на каменные столбы, на углами торчащее железо развороченных куполов и косо летел в темные проемы разбитых церковных окон.

«Да, в церкви, в церкви спрятать!..» — подумал он и еще неосознанно сделал шаг к закрытым церковным воротам, толкнул их, заскрежетало железо.

Он толкнул еще раз — ворота не поддавались. Константин подышал на пальцы, обожженные железом, и, спрятав руки в карманы, стал оглядывать ограду, постепенно приходя в себя: «Спокойно, милый, спокойно...»

Завывающий рокот мотора возник, приближаясь, в переулке, свет фар побежал по мостовой, зеленым глазом светил сквозь снег фонарик такси.

«Михеев?..» И он тут же увидел, как впритык к его машине подкатила «Победа» Михеева, — распахнулась дверца, и Михеев, без шапки, почти вывалился на мостовую, побежал к нему на подгибающихся ногах.

— Корабельников!.. Корабельников!.. Ты-и!..

— А шапка, Илюша, где? — как можно спокойнее спросил Константин. — В машине?

— Ты... ты что наделал? — набухшим голосом крикнул Михеев и схватил Константина за плечи, потряс с какой-то сумасшедшей силой. — Ты... Ты погубить меня захотел?.. Ты зачем пистолетом?.. Откуда у тебя? Ты кто такой? Зачем?..

Он все неистово тряс Константина за плечи, табачное дыхание его смешивалось с кислым запахом полушубка; выпукло-черные зрачки дико впились в зрачки Константина.

— Успокойся, Илюша. — Константин отцепил руки Михеева, проговорил: — И не кричи. Пойдем сядем в машину, подумаем... — И, подойдя к своей машине, раскрыл дверцу. — Лезь. Я с другой стороны.

«Он все видел. Где же он был? Почему я его не видел тогда?»

— Что ты наделал, что ты натворил, а? — бормотал Михеев, потирая кулаком лицо. — Господи, надо было ведь мне поехать с тобой! С кем связался!.. Го-осподи!..

— Слушай, Илюша, успокойся, приди в себя, — заговорил Константин медленно. — Как думаешь, кто были те... которые парнишек?.. Не знаешь?



— Почем я знаю! — крикнул Михеев, кашляя от возбуждения. — Люди были — и все!.. Тот, задний, подбежал ко мне как бешеный, а сам вроде выпимши... Ну я и говорю...

— Что ты говоришь? — быстро спросил Константин.

— Ну и говорю: водители, мол, такси...

— Так, — произнес Константин. — Ну?

— Что — «ну»? Что ты нукаешь? Что ты еще нукаешь, когда делов натворил — корытом не расхлебаешь!.. Что ты наделал? Не понимаешь, что ль? Малая девчонка какая!

Помолчав, Константин спросил:

— Ну а за что они парнишек... как по-твоему, Илюша?

— Мое какое дело! Я что, прокурор? — озлобленно выкрикнул Михеев и дернулся к Константину. — Ты зачем пистолетом баловал? Ты зачем?.. Не знаешь, что за эти игрушки в каталажку? Защитник какой! Какое твое собачье дело? И чего ты лез? И зачем ты, стерва такая, пистолет вытащил? Откуда у тебя пистолет? Жить тебе надоело?.. На курорт захотел?..

Голос Михеева срывался, звенел отчаянной, пронзительной ноткой; он снова вцепился Константину в плечо, стал трясти его, едва не плача. Молча Константин снял со своего плеча руку Михеева, стиснул ее и сидел так некоторое время, глядя ему в широкоскулое лицо. Михеев тяжело задышал носом, подавшись к нему всем телом:

— Что? Ты что?

— Слушай, Илюша. — Константин с деланным спокойствием усмехнулся, и только это спокойствие, как он сам понимал, выдавало его. — Тебе лечиться нужно, Илюша! У тебя, дружочек, нервы и излишне развитое воображение. — Константин засмеялся. — Ну вот смотри — похоже? — И, хорошо понимая неубедительность того, что делает, он нащупал в кармане железный ключ от квартиры, зажал в пальцах, как пистолет, показывая, поднес к лицу Михеева. — Ну, похоже, Илюша?

— За дурака принимаешь? — крикнул Михеев. — Хитер ты, как аптекарь! Глаза у меня не на заднице. Ну ладно, поговорили, — добавил Михеев уже спокойнее: — Я в тюрьму не желаю. Я еще жить хочу. Я не как-нибудь, а чтобы все правильно... Поехал я, работать надо... Я отдельно поеду, ты отдельно... Вот так... не хочу я с тобой никаких делов иметь.

Михеев заерзал на сиденье, нажал дверцу, вынес ногу в бурке, неожиданно задержался, растерянно пощупал голову.

— Эх, стерва ты, из-за тебя шапку потерял. Двести пятьдесят монет как собаке под хвост!

— Слушай, Илюша, — сказал Константин. — Здесь я виноват. Возьми мою. Полезет — возьми. Я заеду домой за старой... Вот померь.

Он снял свою пыжиковую шапку, протянул Михееву, тот взял ее, некоторое время подозрительно помял в руках; натянул, вздыхая через ноздри, сказал:

— А что же ты думаешь — откажусь, что ль? Нашел дурака! Эх, связался я с тобой!.. — и вылез из машины.

Константин подождал, пока Михеев развернет свою «Победу» в переулке, потом тронул машину и уже неторопливо повел ее, петляя по замоскворецким улочкам, в сторону

Павелецкого вокзала. Он не знал, куда ему ехать сейчас: то ли к вокзалу — поджидать утренние поезда, то ли вот так ездить по этим переулкам, до конца продумать все, что случилось...

Не переставая падал снежок, замутняя пролеты улиц.

3

В конце сорок девятого года Константин перебрался в опустевшую квартиру Вохминцевых, вернее, перенес свои вещи со второго этажа на первый — так хотела Ася; и его освободившуюся холостяцкую «мансарду» немедленно заселили — через неделю комнату занял приятный и скромный одинокий человек, работавший инженером в главке.

Семейство Мукомоловых прошлым летом переехало в Кратово, недорого сняв там половину дачки — поближе к русским пейзажам, — и лишь по праздникам оба бывали в Москве. Константин редко видел их; квартира стала нешумной, казалась просторной, но к этой тишине, к этому простору дома никак не могла привыкнуть Ася.

В новом своем состоянии женатого человека Константин жил, словно в полуяви. Иногда утром, просыпаясь и лежа в постели, он с осторожностью наблюдал за Асей, чуть-чуть приоткрыв веки. Она невесомо двигалась вокруг стола, ставя к завтраку чашки, звеневшие каким-то прохладным звоном, и Константин, сдерживая дыхание, зажмуриваясь, испытывал странное чувство умиленности и вместе с тем праздничной новизны и почти не верил, что это она, Ася, его жена, двигается в комнате, шуршит одеждой, отводит волосы рукой и что-то делает рядом; и он не мог полностью представить, что может разговаривать с Асей так, как никогда ни с кем не говорил, прикоснуться к ней так, как никогда ни к кому не прикасался. Он вспоминал ее стыдливость, ее неумело отвечающие губы, то, что было ночью; в ее закрытых глазах, в напряженной линии бровей было ожидание чего-то еще не очень нужного, не совсем испытанного ею; и он слышал иногда еле уловимый голос ее, пугающий откровенностью вопроса: «А тебе обязательно это?»

Он молчал, боясь прикоснуться к ней в эти минуты, смотрел на ее стеснительно повернутое в сторону лицо, и что-то непонятное и горькое выросло в нем. Когда же после такой ночи, проснувшись, он смотрел на нее, свежую, уже одетую и будто обновленную чем-то, знал: только что стояла в ванной под душем. И Константин тогда со смутной болью как бы вновь слышал в тишине ее слова, знал также: сейчас Ася не будет вспоминать, что говорила ночью, что она радостна ощущением своей утренней чистоты. И он ревновал ее неизвестно к кому, не до конца понимал ее стремление по утрам словно отделаться от той, другой жизни, без которой она, как казалось ему, могла обойтись и без которой не мог жить, любить ее, обойтись он.

Он всегда опасался открыть глаза утром и не увидеть Асю.

Тогда сразу портилось настроение, пустота комнат уныло пугала его. Он оглядывал ее вещи, учебники по медицине на столе, поясок на спинке стула, мохнатое влажное полотенце в ванной, которым она вытиралась. Насвистывая, ходил из комнаты в комнату, не находил себе дела.

Ему казалось, что он отвечал за каждую ее улыбку и ее молчание, за пришитую к его кожанке пуговицу, за растерянный подсчет денег перед стипендией, за ее слова: «Знаешь, я еще могу

походить год в этом пальто — не беда. Медики вообще народ нефорсистый, правда, правда».

В сорок девятом году он намеренно завалил два экзамена в институте и без сожаления ушел с четвертого курса, устроился в таксомоторный парк — и был доволен этим. Он был уверен, что именно так переживет трудную полосу в своей жизни и в жизни Аси, а позднее сумеет вернуться в институт.

Константин пришел домой в одиннадцатом часу утра.

Привычная процедура конца смены: сдача путевки, мойка машины, разговор с кассиршей Валенькой — и он был свободен на сутки. Но он не торопился со сдачей путевки и денег и не торопился с мойкой машины — все делал, как обычно, шутя, но в то же время поглядывал на ворота гаража, поджидал машину Михеева, — ее не было.

Потом, потрепав по румяной щеке Валю, он сказал ей что-то о коварстве румянца (пошлость!) и легковесно поострил с заступающей сменой шоферов, сидя в курилке на скамье.

«Победы» Михеева не было.

Ждать уже стало неудобно.

Константин вышел из парка, по обыкновению весело помахав Валеньке, и не спеша двинулся за ворота.

Все настойчивее падал снег. Он уже валил крупными хлопьями, приглушал звуки, движение на улице. Обросшие снегом трамваи — мохнато залеплены номера, стекла — медленно наползали на перекрестки и беспрерывно звенели; вместе с ними побеленные до дуг троллейбусы пробивались сквозь снегопад. Неясными тенями скользили фигуры прохожих.

Снег остужал лицо, пахло пресной и горьковатой свежестью, но было тяжело дышать, как в воде, давило на уши.

«Михеев, — думал он под толчки своих шагов. — Задержался. Это ясно. Не набрал денег за смену... Опоздал... Я позвоню в парк из дома. Ася... Она уходит в поликлинику в десять. Как хорошо, что она ушла! Я все обдумую... У меня будет время обдумать».

В парадном он снял кожаную, на меху куртку, стряхнул снежные пласты, смел веником с ботинок. В коридор вошел утомленно — здесь сумрачно, тепло, из кухни душно шел сытый запах квартирных супов.

Он открыл дверь своим ключом.

С улицы сквозь толщу мелькающей пелены не пробивалось ни одного звука. Только глухо просачивались неразличимые разговоры из кухни. И два голоса — мужской и женский — с бесстрастной красотой дикции сообщали придавленному снегом миру о наборе рабочей силы, о том, что в московских кинотеатрах идет новый фильм, — Ася забыла выключить радио. Константин прошел во вторую комнату и выключил. Потом, не снимая ботинок, лег на диван, положил руки под затылок; волосы, мокрые от растаявшего снега, охладили голову.

«А что, собственно, произошло? — попытался он себя успокоить трезво. — А, черт совсем возьми! Тысячи такси в Москве... Да станут ли искать? Да что, собственно, произошло?»

Он пригрелся на диване, тяжелая дремота скосила его, понесла, он стал падать куда-то, и чьи-то лица, подступая из темноты, провожали его в этом неудержимом, все ускоряющемся полете, и позванивало от скорости опущенное стекло дверцы, и не было силы поднять стекло, густой снег, летящий в глаза, ноздри, душил его. И он чувствовал, что произошло что-то, должно было произойти... Телефон, телефон звонит!..

Константин, очнувшись, огляделся еще не проснувшимися глазами. Все так же шел снег. Тикал будильник на письменном столе. Телефон молчал.

«Михеев! — подумал он. — Это Михеев!..»

Он соскочил с дивана, быстро набрал номер телефона диспетчерской.

— Валенька, — сказал Константин ласково, — как там мой кореш Илюша — вернулся?

— Десять минут назад домой ушел, — посмеиваясь, ответила кассирша. — А что, соскучился?

— Тронут сообщением, Валенька, — сказал Константин. — Ну, пока, красавица!

Он говорил пошлость, знал, что это пошлость, но все же говорил так — это освобождало его от чего-то.

Константин положил трубку.

На столе под стеклом лежала фотокарточка Аси — кто-то «щелкнул» из одноклассников (стоит на полевом бугре, ветер скосил в одну сторону платье над коленями и волосы на одну щеку, лицо загорожено книгой от солнца). Эту фотографию он любил и не убирал, хотя Ася иногда протестовала: «Спрячь ее, я тебе не кинозвезда!»

Константин, помедлив, задернул занавеску на окне и после этого вынул из бокового кармана маленький «вальтер».

Пистолет умещался на ладони весь, со скошенной перламутровой рукояткой; были выбиты мизерные цифры на металле — «

1763 », и рядом — знакомое: «

Got mit uns ». Над спусковым крючком — никелированный прямоугольничек: «

Вильгельм фон Кунце ».

Изящный, аккуратный пистолетик напоминал игрушку, которую все время хотелось держать в руках, трогать отшлифованный металл.

«Вальтер» этот попал к Константину в сорок третьем.

Низенький «бээмвэ» без камуфляжа, запыленный, гладко-черный, на всей скорости вкатил в то опустевшее село в двух километрах от левого берега Днепра, откуда утром отошли немцы к переправе.

Всю войну он ползал за немецкую передовую за «языками», ползал на животе и локтях, а эти на машине сами перли ему в руки — и он, стоя у крайнего плетня, первый полоснул из автомата по моторной части, по скатам. Их было трое, немцев. Двоих он уже не помнил, третьего запомнил на всю жизнь. В нем было что-то прусско-театральное, даже виденное уже: сухое лицо, прямая, с ограниченными движениями шея, надменные седые брови, две старческие складки вдоль крупного носа; кресты и медали зазвенели под полами черного

глянцевитого плаща, когда разведчик нестеснительно обыскал его; от оберста пахло духами, он был до бледности выбрит.

Он отдал оружие — «парабеллум» на широком ремне, новенький планшет; когда отдавал все это, нервно пожевывал бескровные губы, но глаза были спокойны, задумчиво-выцветшие. Потом от деревни шли осенними лесами, опасаясь столкнуться на дорогах с оставшимися группками автоматчиков.

А на третьем километре этот оберст коротко сказал что-то другому, и тот, сконфуженный, с заискивающим потным лицом, залопотал, показывая на ноги, на свой зад, на землю. И Константин понял: просили отдых. Оберст сидел на пне, привалясь спиной к дереву, в распахе непромокаемого плаща неширокая грудь, металлические пуговицы подымались дыханием; вдруг маленькая рука дернулась под плащ к левой стороне груди, стала рвать пуговицы, и искоркой блеснуло в руке, словно бы треснуло за его спиной дерево. И он, привстав, откинув на влажный песок крохотный пистолетик, упал лицом вниз, кашляя судорожно, спина туго выгибалась, он будто давился. Лоб был прижат к козырьку высокой, соскользнувшей фуражки. Был виден седоватый затылок с глубокой выемкой шеи.

Он выстрелил себе в рот. Константин не сумел предупредить этот выстрел: при обыске в селе разведчики не нащупали плоского пистолетика под ватной набивкой мундира. И Константин не мог простить себе этого. Таких «языков» он не брал ни разу.

Через час после допроса пленных и просмотра карт и бумаг ПНШ-1 вызвал Константина.

— Люблю я тебя, Костя, и осуждаю, — сказал он, довольно подмигивая. — Доставь ты этого оберста — носить бы тебе звездочку. Да ладно, бог с ним. Бумаги и карты распрекрасные приволок ты — цены им нет! Возьми-ка вот этот «вальтеришко», помни оберста. Пистолетик-то не так себе — фамильный. С серебром. Считай своей наградой. Беру это дело на себя. Ну, давай к хлопцам. Водки я там указал выдать.

Таким образом стало у него два пистолета: свой, уставной ТТ и этот немецкий «вальтер». Всякого оружия хватало вдоволь, но этот пистолетик был как бы шутиливой наградой.

Он сдал свой ТТ в Германии в дни демобилизации, «вальтер» же не сдал и в Москве: он мешал ему. Сначала пистолет умещался в любом кармане, потом забыто валялся в книжном шкафу за старыми томками Тургенева. Но в сорок девятом году было тщательно найдено для него секретное место — в толстом томе Брема он вырезал в серединных страницах гнездо, пистолет вплотную входил туда, и Брем был спрятан в углу шкафа.

Он стал носить его только после того, как трое парней ноябрьской ночью по дороге в Лосинку ударом сбоку вышибли его из машины, а затем, оглушенного, поставили перед собой (сзади третий железными пальцами сжимал и отпускал сонную артерию на шее), с заученной ловкостью проверили его карманы.

Он не хотел больше испытывать унижающее бессилие и чувствовать на себе чужие натренированные пальцы.

Константин достал из книжного шкафа том Брема — и «вальтер» прочно лег в свое гнездо. Он поставил Брема во второй ряд книг, за старым собранием сочинений Тургенева. И это почти успокоило его.

«Да что, собственно, случилось? — опять подумал он, пытаясь настроить себя на обычную волну. — Все обошлось и прекрасно обойдется. Все в жизни обходилось. Предопределять судьбу? Зачем и для чего?»

Сев на край стола, он поглядел на фотокарточку Аси и набрал номер поликлиники. Долго не

подходили там, наконец бархатистый профессорский баритон дохнул в трубку:

— Да-а! У телефона.

— Анастасию Николаевну. Кто? Представьте себе, муж.

— Узнал по голосу, молодой человек. Сейчас. Если потерпите.

Далекий щелчок — это положили трубку на стол, потом неясный говор в мембране и ее голос:

— Костя?

Неужели так просто можно сказать: «Костя?»

— Я жду тебя, — тихо сказал он, глядя на ее фотокарточку: ветер все прижимал юбку к ее коленям, я жарко, как перед грозой, светило летнее солнце. Сколько тогда ей было лет?

— Ты ужасающий экземпляр, — сказала Ася со смехом, и голос и смех ее имели свое значение, понятное только ему.

— Я жду тебя. Вот... и все, — повторил он, не отрывая взгляда от фотокарточки (о чем она думала тогда, защищаясь книгой от солнца?). Он сказал: «Я жду тебя», вкладывая в эти слова свое значение, которое лишь она могла ощутить и понять по звуку его голоса. — Я жду тебя. И как видишь — немного люблю тебя... Чепуха? Дичь? Сантименты? Позвонил муж, оторвал от работы? И лепечет какую-то чепуху. Идиотство, конечно. Так и скажи этому профессорскому баритону. Я просто соскучился. Я так соскучился, что мне хочется выпить...

— Какой же ты у меня дурачина, Костя! Ужасный! — сказала Ася и опять засмеялась. — Ты просто Баран Иванович, ты понял? Я не буду задерживаться.

— Я жду тебя.

И, уже повеселевший, Константин соскочил со стола, прошел в первую комнату, насвистывая, выудил из глубин буфета начатую бутылку «Старки». Налив рюмку, он выпил, затем сказал: «Есть смысл» — и закусил кусочком колбасы. А после этой рюмки и пахучего кусочка колбасы вдруг почувствовал, что сильно голоден, и почему-то захотелось яичницы с жареной колбасой, — последний раз ел вчера в четыре часа дня.

В кухне пустынно, тепло после готовки квартирных завтраков. Методично капала вода из крана.

Константин с грохотом толкнул сковородку на плиту, начал с таким веселым нажимом резать колбасу, что кухонный столик закачался, зазвенели, стучаясь друг о друга, баночки из-под майонеза. И тотчас услышал бормотание, посапывание в дальнем конце кухни — как будто проснулся кто-то там от грохота сковороды.

Константин взглянул, почесывая нос.

— Это вы, Марк Юльевич? Кажется, вы стоите на карачках? Потеряли что-нибудь? Будильник? Ходики? Бриллиантовую «Омегу»?

Марк Юльевич Берзинь, заведующий часовой мастерской, латыш, новый сосед, по какому-то сложному обмену переехавший с семнадцатилетней дочерью в смежные комнаты Быкова, стоял на четвереньках под своим кухонным столом, повернув лысую голову в сторону Константина; хищно поблескивала лупа в глазу, спущенные подтяжки елозили по полу.

— Вы напрасно острите, вы понятия не имеете, — сказал он. — Я всегда говорил: мыши — это позор советскому быту. Мы живем не где-нибудь в Аргентине. Я, как дурак, расставляю мышеловки по всей кухне. Я разорился на мышеловках. — Марк Юльевич вздохнул. — Вы посмотрите. Наклонитесь, наклонитесь.

Константин заглянул под стол Берзиня.

— Не очень доходит, Марк Юльевич.

— Дойдет, — коротко сказал Берзинь, — когда пооббивает пальцы о защелку. С меня хватит этого опыта. Ползая под столом, я окончательно расстроил нервы. — Он деловито нацелился лупой на мышеловку, поставленную возле мусорного ведра. — Вы только взгляните: аккуратно объела сало — и удрала. Как это действие называется?

— Да черт с ними, — засмеялся Константин. — Плюньте на мелочи!

Берзинь вылез из-под стола с возбужденными жестами человека, который должен что-то доказать, движением брови освободился от лупы (она упала ему в ладонь) и закачал лысой головой.

— Это скороспелые выводы! Вы посмотрите — здесь была крупа? Что сейчас?

Он снял с кухонной полки стеклянную банку, поставил на плиту перед Константином. В банке среди шелухи гречневой крупы сидела мышь, носик дергался, обнюхивая стекло, ушки прижаты испуганно, лапки подобраны под себя. Марк Юльевич рассудительно заметил:

— Она сожрала крупу я не смогла вылезти. Вы думаете, это просто мышь? Нет! Разносчик чумы, бешенства и других заболеваний. Я не могу допустить, — в квартире есть женщины и дети. Моя дочь, как ребенок, боится мышей. Я понимаю Тамару. Думаю, что и ваша жена не очень довольна, когда мыши играют в кастрюлях. Надо бороться... Мы — мужчины... Мы это забываем.

— Наверно, — ответил Константин охотно. — Что вы будете делать с этим представителем грызунов? Пристукните ее шваброй. И к черту — мусор!

Берзинь поправил на плечах подтяжки, просунул большие пальцы под них, начал воинственно ими пощелкивать.

— Где швабра? — спросил он. — Вы совершенно правы!

Марк Юльевич нашел взглядом швабру, однако все медленнее щелкал подтяжками, раздумывая.

— Мм... Нет, — проговорил он. — Это жестоко.

Вздохнув, он двумя пальцами взял банку, подошел к окну и не сразу открыл вмерзшую форточку, — крупные хлопья залетели в кухню, тая на голой макушке Марка Юльевича. Он поежился, но все же вытряхнул мышь из банки в снег, после чего воинственно заявил Константину:

— Вот так мы будем делать.

И, храбро выпрямившись своим маленьким круглым телом, подтянув выступавший из просторных брюк живот и похмыкав носом, спросил грозно:

— У вас какие часы? Марка?

— Швейцарские. Еще фронтовые.

— Хм, да... Зайдите как-нибудь. Я уверен — в них килограмм грязи. У меня нет никаких сомнений.

Двадцать минут спустя Константин, опьянев от завтрака, полулежал на диване; тепло разливалось по телу, но спина еще никак не могла согреться, только сейчас внятно чувствовал лопатками знобящий холодок — промерз за ночь.

«Быков... Переехал... Сейчас в его комнате Берзинь с дочерью. Домашний очень. Пригласить бы его сейчас на рюмку „Старки“. Но, кажется, пьет одно молоко».

Он поднялся, включил радиолу и стал ходить, сунув руки в карманы, из одной комнаты в другую, насвистывая. Свист его вливался в сумасшедшие ритмы, возникало ощущение воздушной легкости, покоя, удовлетворенности жизнью: у него была Ася, деньги, здоровье, был смешной Берзинь в квартире, эта радиола, книги, свобода, которую давала ему работа в такси...

«Что еще нужно человеку, черт побери! Власть, слава? Не создан для этого. Меня тошнит, когда надо командовать людьми. Досыта покомандовал на фронте. Полгода назад предлагали пост начальника колонны. „Три курса института, идейно подкованный товарищ, грамотный, но почему вы не в партии? Такие, как вы...“ Они позабыли взглянуть в мою анкету: родители — тю-тю, отец жены — тю-тю...

„Спасибо, я еще не дорос“. А что случилось, собственно говоря? Что со мной случилось? О чем это я? Ничего не случилось. Просто фокстротик. Рюмка „Старки“... Легкомысленный фокстротик — и ничего не случилось. А что может со мной случиться? Ровным счетом ничего».

Насвистывая, он подошел к книжному шкафу, в стекле увидел отраженное свое лицо, с интересом всмотрелся и подмигнул себе: «Ну как? А? Живешь?»

«Все прекрасно, конечно. Все отлично будет».

Но вместе с тем его смутно и неосознанно тревожило что-то, будто чувствовал присутствие постороннего живого существа. И, подняв глаза, понял, что это было или могло быть частью того : тиснением отсвечивали толстые корешки томов Тургенева, за которыми глубоко стоял том Брема.

«К черту! Выбросить все это из головы! Чтоб не было в памяти? А что может случиться?»

Он раскрыл дверцы шкафа.

С правой стороны на третьей полке виднелся маленький томик в сером переплете. Уголовный кодекс. Этот кодекс они купили в пятидесятом году и целый вечер листали с Асей, когда узнали, что Николай Григорьевич осужден на десять лет без права переписки.

«Пятьдесят восемь, пункт десять... Прелестная статейка. А что же, интересно, за хранение огнестрельного оружия? Тоже — прелесть? Ах вот... За хранение огнестрельного оружия... Так. Пять лет. Пять лет. Пять лет за этот фамильный „вальтер“? Однако никаких доказательств. Была пустая площадь. Только те двое и те трое... Кто они? Михеев? А что может сделать Михеев? Спокойно, так говорят в Одессе. Ша — и не ходи головами, команда была. Никакой фантазии. Вот так пока и будем жить. И нечего изумляться и поворачивать голову в разные стороны — закутишь шею винтом».

Он захлопнул дверцы шкафа, иронически скривись своему отражению, и, подойдя к буфету,



налил еще рюмку «Старки».

Фокстротик кончился, затихал на пронзительной нотке.

Шипела, скользя по черному диску, игла.

Константин перевернул пластинку, поставил рычажок на «громко», рассеянно слушая нарастающую вибрацию труб, придушенный голос джазового певца.

Он не услышал стука в дверь — в комнату виновато вдвинулся из коридора Берзинь, сложил на животе руки, барабаня пальцами.

— Костенька, я прошу извинить, — у меня такое впечатление, что у вас в комнате конный базар. Сильно ржали лошади, хрюкали свиньи. Я прошу извинить. Томочка делает уроки. И... не делает, а слушает ваши джазы. Я понимаю, конечно, у каждого свои слабости... но можно чуть-чуть потише, я еще раз извиняюсь...

Константин сделал приглашающий жест.

— Садитесь. Вы знаете, Марк Юльевич, что музыка хорошо действует на сердечно-сосудистую систему?

— Первый раз слышу.

— Вы знаете, что Глинка и Римский-Корсаков воспринимали музыку как цветные пятна?

— Ай-ай-ай...

— Вы знаете, что Пифагор утверждал, что музыка врачует безумие?

— Ужасно, — сказал Берзинь. — Разве?

Взглянув на удивленное лицо Марка Юльевича, Константин с веселым видом выключил радиолу.

— Конный базар закрыт. Передайте Томочке, что в ее возрасте джаз разрушающе действует на нервную систему. Скажите ей, что это цитата из солидного медицинского автора.

4

В седьмом часу он, как обычно, встречал Асю возле метро «Павелецкая».

В наступающие предвечерние часы он не мог оставаться дома — томила бездейственная тишина зимних сумерек, — и Константин испытывал нетерпение скорее увидеть ее, радостно и быстро выходящую в толпе из дверей метро и с улыбкой берущую его под руку: «Костя, дурачина, ты давно меня ждешь?» — и эти почти привычные по интонации слова ее постоянно вызывали в нем какую-то всегда новую и невнятную боль, как только он пальцами чувствовал Асину кисть в нагретой перчатке.

Снег перестал, и была особая молодая чернота в небе, прозрачность и свежесть в воздухе и белизна на тротуарах, на заборах, на карнизах.

Метро весело-ярко пылало праздничным огнем электричества; за ним ровный свет магазинов спокойно лежал на белой пелене, но уже скребли на мостовых дворники, темнея ватниками в перспективе улицы. Вместе с теплым паром метро поминутно выталкивало из себя спешащие толпы людей, и все длиннее вытягивались очереди на автобусных остановках и за «Вечеркой» около голой лампочки газетного киоска.

Люди не шли, а бежали мимо Константина, растекались в разные стороны от беспрестанно открывающихся дверей. Куда они спешили? Знали ли они то, что порой испытывали он и Ася? И Константин глядел на лица мужчин и молодых женщин, особенно ясно слышал голоса, смех и торопливое хрупанье снега под бегущими мимо него женскими ногами, иногда замечал короткие встречные взгляды — и, почти мучимый завистью, думал, что все они спешили или должны были спешить к тому, без чего не мог жить он и чего стеснялась и боялась Ася. «Мы заслужили это?..»

— Костя! Дурачок, ты давно?

Он вздрогнул даже, услышав ее смеющийся голос.

Ася сбегала к нему по ступеням, размахивая чемоданчиком. Подбежала, глаза радостно засветились, взяла его под руку, воскликнула:

— Ну, долго ждал, соскучился? Что ты такой... чертик с рожками... даже не улыбнешься! Не рад? А то возьму и вернусь, буду спать в кабинете главного врача на диване.

Он улыбнулся ей.

— Ты хоть на жальчайший миллиметр любишь меня?

Она посмотрела снизу вверх, и он увидел только ее молодо сияющие глаза, в глубине которых был смех.

— Ну, если метрически... то на жальчайший километрик! Согласен? Ну пошли, возьми мой чемодан. Мне будет приятно твое внимание. — И спросила чуть-чуть осуждающе: — Почему от тебя, дурачина, пахнет вином?

— Я никак не мог тебя дождаться, Ася. — И сейчас же он добавил полушутливо: — Бывает, когда я не могу тебя дождаться.

— Не оправдался! Сентиментальность не учитывается. Это в последний раз. Есть?

— Слушаюсь, — сказал Константин.

Они шли по Новокузнецкой улице, мимо деревянных заборов, пахнущих холодом метели, мимо глухо запорошенного школьного бульвара за низкой оградой.

Рука Аси легонько и невесомо лежала под локтем Константина, и предупредительно сжимались пальцы, когда он делал чересчур спешащий шаг, а он хотел, чтобы ее пальцы сжимались чаще, лежали плотно ощутимой и твердой тяжестью под его локтем, хотел чувствовать каждый ее шаг, движение ее тела рядом с собой, близкое ее дыхание. Он думал: «Любит ли она меня?» — и с тревожным вниманием видел и себя и ее как бы со стороны: себя — тридцатилетнего парня с усиками, в щеголеватой кожаной куртке, эдакого знавшего виды опытного малого; ее — тонкую, в узком пальто и с зеркально-черными нелгущими глазами; и, будто глядя так со стороны, улавливал любопытные взгляды прохожих на себе и на Асе — и молчал против обыкновения.

Ася тронула его за рукав.

— Почему ты сегодня ничего не спрашиваешь?

— Не могу смотреть на тебя и говорить одновременно. Не получается синхронности.

— Но ты как-то странно смотришь на прохожих. Особенно на женщин. Они улыбаются тебе. Это интересно — почему?

— Я смотрю на тебя и на прохожих. Знаешь, о чем они думают?

— Кто — эти женщины?

— Они думают, что я соблазняю тебя. Они принимают меня за потрепанного донжуана, тебя — за десятиклассницу...

— Но у меня покрашены губы, — сказала Ася. — Теперь я буду их красить еще больше. Это спасет тебя. Согласен?

Он ответил опять полусерьезно:

— Зачем? Пусть будет так. Я просто действительно очень соскучился по тебе. Если бы ты запоздала на десять минут, я бы поехал в поликлинику. За тобой.

— Какой ты странный, Костя, бываешь!

Асина рука выскользнула из-под его локтя. Она, казалось, машинально сжала на железной ограде бульвара комок пухлого снега, задумчиво подержала его в перчатке и бросила за ограду в косые тени на фиолетовых сугробах. Фонарь невидимо светил там, где-то в высоте деревьев.

— Костя, — негромко сказала она. — Ты веришь, что ты — мой муж? И что я — твоя жена? Веришь?

«Зачем она спросила это?» — подумал он и почувствовал, как стала неприятно горячей колючесть шерстяного шарфа, жавшего шею.

— Нет, Костя, ты ответь, — повторила она. — Ты веришь? Я спрашиваю серьезно.

— Я?

— И я... — вполголоса проговорила Ася. — Я даже не представляю иногда: ты, Костя, — мой муж? — Она стояла перед ним, вся вытянувшись. — Прости, Костя, я никак не привыкну... А ты?..

— Да, — сказал он.

— Вот видишь, Костя, как все ужасно получается... Ты бы вот сейчас просто поцеловал меня, а ты стесняешься. И я. А разве муж и жена этого стесняются? Нет, нет, нет! — заговорила Ася быстро, как будто преодолевая препятствие. — Прости меня. Я даже иногда боюсь идти домой... потому что... потому что... ну ты понимаешь... А разве это должно быть? — Она смотрела ему в грудь, трогая пальцем его пуговицу. — Что-то не так, Костя. Я не умею... не научилась, наверно, быть женой. Я все время помню, что ты друг Сережи, что ты... Почему это? Какая-то глупость, Костя, прости! Я просто не умею, как другие женщины. Я дура, дура — и больше ничего. Ты, конечно, не все понимаешь?

— Да, — повторил он по-прежнему, глядя ей в растерянное лицо.

— Идем, а то на нас оглядываются, — сердито сказала Ася и взяла его под руку. — Мы соберем толпу. Лучше уж играть в снежки или делать какую-нибудь глупость! Пусть тогда

смотрят.

Они пошли, но уже не было у Константина того недавнего возбуждения от праздничной чистоты запорошенных улиц, не было той радостной боли ожидания, когда он встречал Асю, — сразу изменилось, точно стерлось все после этих ее слов, которых он всегда опасался. Константин хотел заставить себя сказать просто и ясно то, что не стоит говорить об этом, что он не может и одного дня жить без нее и поэтому не имеет права обижаться.

Но он сказал, выдавливая слова, застревавшие в горло:

— Ася... верь себе и делай, как ты хочешь...

— А ты? А ты? — с досадой перебила Ася. — Ты же старше меня, ты же мужчина... Объясни ты — я выслушаю все.

— Я сам не научусь быть мужем. И я виноват в этом.

— Что же тогда делать? Что же? Это ужасно, если мы начинаем об этом говорить! Счастье, говорят, муж и жена. А ты разве счастлив? — спросила она с той твердостью, как будто ждала ответа: «Несчастлив».

— Я? Да, — глухо проговорил он и, помолчав, спросил резко и фальшиво: — Ну а ты, Ася?

— Самое страшное, что я не знаю...

Они завернули за угол. Сухо поскрипывал снег в переулке.

— Асенька, родная, это просто чепуха невероятная, — с натянутой улыбкой сказал Константин. — Дичь и чушь.

Она ответила нахмурясь:

— Нет, это неполноценность. Я чувствую... Но я никакая не женщина. И никакая не жена, Костя!

— Мы уже дома, — сказал Константин, испуганно как-то взглянув на ворота. — Я должен... Я схожу за сигаретами. Прости, Ася. У меня кончились сигареты. Я сейчас...

Он осторожно высвободил ее руку из-под локтя, повернулся и пошел назад, ожидая за своей спиной ее оклика, но не услышал. Дуло метельным холодком из темноты бульвара, а весь переулок был в чистой пороше, и отпечатались на ней свежие следы — его и Асины.

«Зачем она говорила это? Зачем?» — подумал он и без всякой цели зашагал к перекресткам, к огням в любой час оживленной Пятницкой, особенно узкой в этом месте, постоянно наполненной народом, уютно горевшей окнами, отсвечивающей зеркалами парикмахерских, стеклами пивных киосков.

Справа в глубине тихого и провинциального Вишняковского зачернела полуразрушенная церковка, проступала в звездном небе куполами, и уже с притупленной остротой мельком он вспомнил то, что произошло прошлой ночью. «А было ли это? Да черт с ним, что было! Главное другое, вот что случилось!»

Константин толкался по Пятницкой среди кишевшей здесь толпы, незнакомых лиц, мелькающих под витринами, среди чужих разговоров, заглушаемых скрежетом трамваев, среди этого вечернего, непрерывного под огнями людского потока, старался точно вспомнить причину возникшего между ними разговора, но не находил нити логики, и возникал, заслоняя все, жег вопрос: «Не может быть!.. Значит, у нее другое ко мне, чем у меня к ней? „Не знаю“.

Она сказала: „Не знаю“. Страшнее этого ничего нет! Пике... А стоит ли выводить машину из пике?»

Он глотал крепкую свежесть морозного воздуха. Было ему жарко. И садняще щипало в горле. Он все медленнее и бесцельнее шагал по тротуару навстречу скользящему мимо него течению толпы.

Да, все равно нужно было купить сигарет. У него были сигареты, но ему надо было запастись. Обязательно купить.

На перекрестке Климентовского и Пятницкой он зашел в деревянный павильончик — не слишком пустой в этот час, не слишком переполненный, — протиснулся меж залитых пивом столиков к заставленной кружками стойке.

— Четыре «Примы».

— Костенька?..

Он взглянул. И без удивления узнал в продавщице розовощекую Шурочку, работавшую когда-то в закусочной на бульваре; прежним, пышущим здоровьем несокрушимо веяло от ее лица, только слишком броско были накрашены губы, подчернены ресницы, а халат бел, опрятен, натянут торчащей сильной грудью.

— Костенька, никак ты, золотце? — беря деньги красными пальцами, ахнула Шурочка. — Сколько я тебя не видела! Чего ж ты! Женился небось? И дети небось?..

— Привет, драгоценная женщина, вновь ты взошла на горизонте, солнышко ясное! — сказал Константин, рассовывая «Приму» по карманам, обрадованный этой встречей. — А ты как? Пятеро детей? Парчовые одеяла? Солидный муж из горторга?

Они стояли у стойки, за его спиной шумели голоса.

— Да что ты, Костенька! — Шурочка прыснула, поднеся руку ко рту. — Да никакого мужа, что ты!.. Откуда? — сказала она со смешком, а брови ее неприятно свело, как от холода. — Пьяница только какой возьмет!

— Не ценишь себя, Шурочка. Ты — красивейшая женщина двадцатого столетия.

— Пива хоть выпей, подогрею тебе. Иль водочки... Не видела-то тебя, ох, давно! Посиди. Как живешь-то? Совсем интересный мужчина ты, Костя!

Она торопливо налила ему кружку пива и аккуратно подала, разглядывая его, как близкого знакомого, своими золотистыми кокетливыми глазами, в углах которых заметил Константин сеточки ранних морщин. И вдруг поймал себя на мысли: уверенно считал себя еще совсем молодым, но тут ему захотелось очень внимательно посмотреть на себя в зеркало. Он подмигнул Шурочке дружелюбно и отпил глоток пива.

— Все прекрасно, Шурочка, — сказал Константин. — Знаешь, есть японская поговорка? «Тяжела ты, шапка Мономаха, на моей дурацкой голове». Крупицы народной мудрости. Алмазы. Японские летописи! Найдены в Египте. Времен Ивана Шуйского. — И он сам невольно усмехнулся, повторил: — На моей дурацкой голове.

Шурочка опять прыснула, все так же влюбленно глядя на Константина, сказала, махнув рукой перед своей торчащей грудью:

— Счастливый ты, Костя, веселый, шутишь все!

— Хуже, Шурочка.

— Инженером небось стал?

— Последний раз слышу. По-прежнему приветствую милицию у светофоров.

— Ах, какой ты! — не то с восторгом, не то с завистью проговорила Шурочка и, опустив глаза, тряпкой вытерла стойку. — Водочки, может, а? — И наклонилась к нему через стойку, виновато добавила: — Может быть, зашел как-нибудь, я здесь недалеко живу. За углом. Одна я...

— Александра Ивановна!

Кто-то приблизился сзади, дыша сытым запахом пива, из-за спины Константина стукнул о стойку пустой кружкой; белела кайма пены на толстом стекле.

— Александра Ивановна, еще одну разрешите? — В голосе была бархатная приятность, умиление; бабьего вида лицо благостно расплывалось, добродушные щелочки век улыбочивы. — Еще... если разрешите...

Шурочка не без раздражения подставила кружку под струю пива, потом подтолкнула кружку к человеку с бабьим лицом, он взял и подул на пену.

— Благодарю, Александра Ивановна, чудесное у вас пиво. — Он ухмыльнулся Константину, извинился и отошел к столику.

— Кто это? — спросил Константин.

— Да не знаю, противный какой-то, — шепотом ответила Шурочка, наморщив брови. — Целыми днями тут торчит. — И договорила по-прежнему виновато; — Может, придешь, Костенька, а?

Константин грустно потрепал ее по щеке.

— Я однолюб, Шурочка. К сожалению.

— Ох, Костенька, одна ведь я, совсем одна...

— Рад был тебя видеть, Шурочка.

С треском дверей, с топотом вошла в закусную компания молодых парней в каскетках и обляпанных глиной резиновых сапогах — видимо, метростроевцы; здоровыми глотками закричали что-то Шурочке, спинами загородили ее, осаждая стойку, и Константин из-за их плеч успел увидеть ставшее неприступным Шурочкино лицо; она еще искала глазами Константина, передвигая на стойке пустые кружки. Он кивнул ей:

— Привет, Шурочка! Всех тебе благ!

Константин вышел из закусной — из душного запаха одежды, из гудения смешанных разговоров, — жадно вдохнул щекощущий горло воздух, зашагал по Климентовскому.

Пятницкая с ее огнями, витринами, дребезжанием трамваев, беспрестанно кипевшей, бегущей толпой на тротуарах затихала позади.

Климентовский был тих, весь покоен; и была уже по-ночному безлюдной Большая Татарская, куда он вышел возле наглухо закрытых ворот дровяного склада; темные заборы, темные окна, темные подъезды. Лишь пусто белел снег под фонарями на мостовой.

Он двинулся по улице — руки в карманах, воротник поднят, шагал нарочито медленно, ему некуда было торопиться, знал: домой он не пойдет сейчас.

«Такую бы Шурочку, кокетливую, красивую и преданную, — думал он, пряча подбородок в воротник. — Жизнь была бы простой и ясной, как кружка пива. Понимание, покой, обед, теплая постель... И все было бы как надо. Но все ли?»

— Все спешат, все спешат... Бутафория!

Впереди за углом дровяного склада, против уличного зеркала закрытой парикмахерской покачивался с пьяным бормотанием черный силуэт человека — он делал что-то, нелепо двигая локтями; похрустывал под его ботинками снег.

— Салют! — сказал Константин. — Вы, кажется, что-то ищете?

Человек этот, неверными движениями поправляя шляпу, вглядывался в зеркало, почти касаясь его лицом, говорил прерывистым сипящим баритоном:

— Ш-шля-ппа — это бутаф-фория!.. Бож-же мой, бутафория! — И качнулся к Константину в клоунском поклоне, едва устоял на ногах. — Добрый вечер, молодой челаэк! Я р-рад...

Лицо было властное, бритое, темнели мешки под глазами; пальто распахнуто, кашне висело через шею, не закрывая крахмального воротничка, спущенного узла галстука.

— Все спешили домой, к очагам и чадам... В объятия усталых жен, — заговорил человек. — В домашней постели в любовной судороге забыться до утра, уйти от насущных проблем. Дикость! Бутафория... Трусость! Философия кротов!.. — Он горько засмеялся, все лицо исказилось, и не смеялось оно, а будто плакало.

Константин сказал:

— Банальный конец.

— Как вы?.. — внимательно спросил человек.

— У всех бывали банальные концы, — ответил Константин. — Вы где-то здесь живете? Может быть, вас проводить? Я охотно это сделаю из чувства товарищества.

— Где я живу, — забормотал человек, угловатыми движениями обматывая кашне вокруг шеи. — На земле... Частичка природы, познающая самое себя. Когито эрго сум! Декарт. Смешно подумать! Сжигание самого себя во имя идеи. Свой дом, стол, кровать, жена... Сжигание! Боимся потерять все это. А он доказал...

— Кто? — спросил Константин.

— Человек. Профессор Михайлов. Он... Один из всего ученого совета... Он в глаза сказал декану, что тот бездарность и, мягко выражаясь, калечит студентов... А мы... мы предали его. Человека... Мы молчали... Во имя собственной безопасности. Мразь! Отвратительные животные. Молча похоронили светило с мировым именем. А Михайлов был вне себя. Он один декану заявил: «Вы вне науки, вы по непонятным причинам сели в это кресло, вы просто администратор в языкознании... вы... лжец, карьерист и догматик!» А мы... не смогли...

— Какого же черта? — пожал плечами Константин. — А впрочем, ясно. Идемте, я вас провожу.

— Вам незнакома, молодой человек, работа «Вопросы языкознания»? Истина уже не рождается в спорах. Нет столкновений мнений. Есть, мягко говоря, директива.

— Где ваш дом? Застегнитесь хотя бы.

— Простите, я дойду сам... Я должен прийти, — запротестовал человек и начал искать на пальто пуговицы. — Подлость живуча. Подлость вооружена. Две тысячи лет зло вырабатывало приемы коварства, хитрости. Мимикрии. А добро наивно, в детском чистом возрасте. Всегда. В детских коротких штанишках. Безоружно, кроме самого добра... Не-ет, добро должно быть злым. Иначе его задавит подлость. Да, злым! А я ученик профессора Михайлова. Я...

— Дойдете? — прерывая, спросил Константин.

Его раздражали вязкая цепкость слов актерски поставленного голоса, холеное лицо, круглые мешки под глазами этого незнакомого и неприятно пьяного человека.

— Бут-тафория, — выдавил человек, в горле его странно забулькало, лицо вдруг съежилось, и он, бросив под ноги шляпу, стал топтать ее ногами, вскрикивая: — Мы не интеллигенты, нет!.. Мы не интеллигенты. Мы не представители науки. Мы не соль земли. Мы не разум народа. Мы попугаи. Комплекс бутафории!

Константин смотрел на него удивленно: человек неожиданно вцепился в рукав Константина, прижал трясущуюся голову к его плечу — запахло одеколоном.

— Знаете, — Константин со злостью отстранился. — Что я вам — жилетка? Рыдаете в меня? Вы профессору порыдайте! Какой вы там еще... разум народа? Идите спать. Ведь проснетесь завтра, будете вспоминать, что наговорили тут, и сами себя за шиворот к декану отведете. Привет, дорогой товарищ! — Константин сделал насмешливый знак рукой, зашагал по тротуару, не оборачиваясь.

На бульваре среди площади Павелецкого вокзала сел на торчавшую из сугроба скамью, снова подумал с тоской: «Ася, Ася. Что же?»

Он сидел один на бульварчике, отдаленно скрипели шаги, у освещенных подъездов вокзала звучали голоса носильщиков, под вывездившим небом разносились мощные гудки паровозов. И он не находил в себе сил встать, идти домой.

5

В коридоре не горел свет. Константин в нерешительности постоял перед дверью; он был уверен, что Ася спала, он хотел этого; потом вошел и так тихо опустился на диван, что пружины не скрипнули.

Слабый желтоватый ночник в углу распространял по стене сонный круг, и поблескивал кафель теплой голландки; необычным, настороженным покоем веяло от закрытой двери в другую комнату.

Константин разделся, постелил на диване и лежа закурил, поставил на грудь пепельницу. Потемки пластами сгустились под потолком, куда не проникал свет ночника, тишина стояла во всем доме, и он слышал однообразный стук капель в раковине на кухне.

Ему нужно было уснуть. И он пытался думать не о том разговоре около метро, а о Шурочке с ее кокетливым лицом, о том пьяном человеке, яростно топтавшем свою шляпу возле



парикмахерской, но все это ускользало куда-то, заслонялось пустынной площадью, квадратным низеньким человеком, его сильным курносый лицом, наклоненным над распластанным на мостовой телом, — и Константин сквозь наплывающую дрему услышал, как что-то, стукнув, упало на пол, и с мгновенно кольнувшим испугом подумал, что это пистолет выпал из бокового кармана...

— «Вальтер»... — прошептал он и круто перегнулся на диване, ткнулся пальцами в пол и сразу увидел пепельницу, опрокинутую, блестящую круглым донышком на полу.

И уже облегченно вытянулся, положил руку на грудь, в ладонь его туго ударяло сердце.

— Костя? — слышался Асин голос.

Он лежал, не снимая руку с груди, красновато-желтый сквозь закрытые веки свет ночника колыхался волнами.

— Костя... ты не спишь?..

Он не ответил и не открывал глаз.

— Костя... — Шаги, легкое движение рядом.

Красный свет ночника стал темным — и Константин ощутил возле подбородка осторожный мятлый холодок поцелуя, дыхание на щеке; и молча, не открывая глаз, он протянул руки, с несдержанной нежностью скользнул по Асиным теплым плечам, по материи халатика, ища по ее дыханию губы.

— Ты только ничего не говори, — попросил он.

— Костя... очень злишься на меня? — прошептала Ася и тихонько прикоснулась щекой к его виску. — Я просто сама не знаю, что тебе наговорила!

— Асенька, обними меня. И — больше ничего.

— Костя, ты знаешь почему?

— Что?

— То, что будет...

Разомкнул веки — увидел близко ее беспокойно поднятые полоски бровей, ее оголенную шею и шевелящиеся, как будто вспухшие губы.

— Я боюсь этого... Я не сумею. Я становлюсь какой-то другой. Меня все раздражает. Я сама себя раздражаю.

— Асенька, но ты же врач... Ты должна знать. У тебя перестраивается организм. Я это сам читал в твоём справочнике. Я внимательно читал. Да о чем, Ася, я тебе говорю? Ты знаешь это лучше меня в тысячу раз.

— ...Перестраивается в худшую сторону. Мне кажется, что я не перенесу этого. И вместе со мной он.

— У тебя ничего не заметно, Ася... у тебя даже фигура не изменилась. Ты такая же, как была.

— Мне просто иногда страшно. За него. Очень.

— Ася, поверь, ничего не случится. Я совершенно уверен. Честное слово — все будет в порядке. Асенька, полежи со мной. И мне больше ничего не надо. Ты меня понимаешь немножко? Если бы женщины на этом свете хотя бы слегка любили и понимали мужчин, я бы поверил в бога.

— Зачем ты это говоришь?

— Глупость, конечно, говорю. Полежи, пожалуйста, со мной.

Ася легла рядом, легонько прижалась носом к его шее, сказала полувопросительно:

— Я полежу просто так.

— Да. У тебя холодный нос, девочка.

— Костя, кто такой Михеев? Он звонил два раза, говорил какую-то ужасную ерунду. Какими-то намеками. Он завтра утром к тебе придет. Почему он должен прийти? Что-нибудь случилось?

— Нет.

— У вас никакого несчастного случая? Ты ничего не скрываешь?

— Нет.

Он приподнялся на локте и долго, задерживая дыхание, разглядывал ее лицо: одна щека прижата к подушке, возбужденные глаза скошены в его сторону ожидающе; и он будто только сейчас заметил, что кончик носа у нее чуточку вздернут — он поразился этому.

— Асенька, — шепотом проговорил Константин, — ты когда-нибудь чувствуешь, что ты...

— Дурак ты мой, — сказала Ася, — ужасный...

Она прикусила губу там, где он поцеловал, не отводя от его лица темных зрачков.

— Потуши свет, — попросила она. — Я тебя прошу.

Константин проснулся с чувством отлично выспавшегося и отдохнувшего человека, радостный ощущением ясного и теплого утра, которое должно было быть в комнате, и, не размыкая глаз, наслаждался и молодым здоровьем своего тела, и бодрыми трелями трамвайных звонков на улице, и влажными шлепающими звуками за окнами (казалось, сбрасывают с крыш мокрый снег), и поскрипыванием рассохшегося паркета от движений Аси по комнате, и приглушенно тихим голосом радио из-за стены — передавали гимнастику; а когда он открыл глаза, то на секунду зажмурился от совсем весеннего света и воздуха, который имел запах земляничного мыла, тончайшей пыли.

Была приоткрыта форточка над диваном, — едва видимыми тенями струился волнистый парок. Разбиваясь брызгами, позванивали капли по карнизу, и, загорая низкое водянистое солнце, что-то темное летело сверху мимо оттаявших стекол, и раздавались под окном плюхающие удары.

— Ася! — громко позвал Константин, потягиваясь. — Асенька, весна, что ли? Как там у классиков? «Весна берет свои права...» Нет, эти классики — ребята молодцы!

А вся комната была в светлом тумане, и в нем, располосованном лучами, возле тумбочки с телефоном стояла Ася, в строгом рабочем костюме, который надевала в поликлинику, теребила провод, говорила удивленным голосом:

— Да откуда вы, говорите? Не нужно звонить — просто заходите... Опять твой Михеев, — сказала она, вешая трубку. — Представь, звонит из автомата в трех шагах от нашего дома. Он что — стеснительный такой?

— Асенька, — проговорил Константин. — Ты опоздаешь в поликлинику. Половина десятого. Кто стеснительный — Михеев? Чересчур осел, прости за грубость. Все напутал. Наверно, говорил с тобой одними междометиями?

— Я уже к нему привыкла вчера, — сказала Ася, откинув волосы; солнце отвесно било ей в лицо. — Я все же дождусь его... этого Михеева. Он меня заинтриговал. Просто любопытно: зачем он?

— Он неотразимый мужчина, ловелас, холостяк. И конечно, мушкетер. Это все у него есть. В избытке. Милый человек. Правда, Кембридж не кончал.

Константин, уже одетый, только не застегнута была байковая домашняя ковбойка, подошел к Асе, успокоительно поцеловал ее в край рта.

— Ася, я могу поклясться... Ну вот он, черт его подери! Наверно, будет просить подменить его. Как всегда.

Звонок дернулся в коридоре, затрещал и смолк, и Ася, сейчас же выйдя и не закрыв дверь, звучно, быстро щелкнула в коридоре замком. Донесся как бы натруженный голос Михеева: «К Корабельникову можно?» — и откашливание, топот, и в вопросительном сопровождении Аси Михеев — в бараньем полушубке, шапка на голове — медведем шагнул в комнату, не глядя на Константина, а любопытно, вприщур озирая стены.

— Здоров, Константин. В постелях валялся?

— Привет, Илюша, — сказал Константин. — Поздравляю.

— С чем это?

— С весенней погодкой.

— Какая там весна! Закрутит еще. — Михеев покосился на Асю с явным неудобством от ее внимательного взгляда. — Извиняюсь, с вами это я по телефону?

— Да. Раздевайтесь и садитесь, — сказала Ася. — Давайте я повешу ваши полушубок и шапку.

— Да нет. Мне, значит... вот, — хмуро замялся Михеев и неловко снял шапку, вытер ею лоб. — Разговор... Промежду мною и вашим мужем.

Ася, отвернувшись, сказала:

— Ну, хорошо. Я пошла, Костя, не провожай.

— До свидания, Ася. Я буду встречать.

И когда вышла она и потом бухнула пружиной дверь парадного, Михеев, все стоя, переводил немигающие птичьи глаза с неприбранного дивана на книжные полки, от буфета на коврик в другой комнате; коричневое его лицо словно застыло.

— Культурно живешь, — проговорил наконец Михеев. — Чисто, книги читаешь. А это жена твоя? Цыганочка, что ли? Нерусская? Так глазищами меня и стригла, ровно ножницами. Нерусская, так?

— Француженка, — сказал Константин. — Привез из Парижа до революции. Балерина из оперы, внучка Альфреда де Мюссе. Раздевайся, Илюша. Ты все же шофер такси, культуру, так сказать, в массы несешь!

— Ладно уж...

Михеев не снял полушубка, сел, оперся локтем об угол стола, пристально и заинтересованно продолжая осматривать мебель в комнате, задержал внимание на Асиных тапочках около дивана, поерзал на стуле.

— Если б я женился, покрепче женщину взял, — сказал он завистливым голосом. — Былинка больно — жинка твоя. Оно, конечно, дело понятия. Худенькие да интеллигентные — аза-артные! — И он вроде бы улыбнулся, на миг показав зубы. — Говорят. Я сам это дело не уважаю.

— А я не уважаю, когда ты бросаешься в философию, — насмешливо проговорил Константин. — Так, дорогой знаток женщин, можно и промеж ушей схлопотать. Это я тебе обещаю.

И, перехватив взгляд Михеева, свернул, сунул постель в ящик дивана, задвинул тапочки под стол, спросил:

— Что новенького скажешь, Илюшенька?

Михеев притиснул рукой шапку к коленям, произнес, задетый тоном Константина:

— Ох, Костя, не ссорься со мной. Я тебе нужный человек. Насмешничаешь? Как бы не заплакали...

— Я же люблю тебя, Илюша. За широту натуры. За доброту люблю. Завтракать будешь? Есть «Старка».

Подумав, Михеев прерывисто втянул воздух через ноздри.

— Не пью я. Завтракал. — И переспросил угрюмо: — Что новенького, говоришь, Костя? Хорошо. Я вчерась позже тебя с линии вернулся. Туда, сюда, путевой лист, деньги сдал. Курю. Глядь — начальник колонны выходит. И директор парка. Чего-то говорят. У директора рожка — что вон эта стена. Белая. Стали осматривать машины. Ко мне подходят. Посмотрели «Победу». И вопрос: «Вспомните: на каких стоянках бывали?» Отвечаю. А начальник колонны: «В районе Манежной стояли?» — «Нет», — говорю.

— А дальше?

— А что — «дальше»! — вскрикнул Михеев, захлебываясь. — Ночь не спал, все бока проворочал. Завтра в смену выходить, а никакой уверенности. Как теперь работать будем? И чего тебе надо было, дьяволу, этих сопляков защищать? Родные они тебе? А ты револьвер вытащил! Откуда револьвер у тебя?

Константин зажег спичку, бросил ее в пепельницу, потом вытянул указательный палец.

— Из этого можно стрелять, Илюша?

— Оп-пять двадцать пять! — с горечью выкрикнул Михеев. — Чего ты мне макушку вертишь?

Без глаз я? Или уже за дурака считаешь?

— Думай что хочешь, Илюша, — сказал Константин. — Только представь себя на месте пацанов. Тебя бы дубасили, а я бы рядом стоял, в урну сплевывал. Как бы ты себя чувствовал, Илюша?

— А за что меня избивать? Не за что меня избивать!..

— Да неважно «за что», дьявол бы драл! — Константин вскипел. — Ладно, все это некстати! Не о том говорим!

Он замолк, уже внутренне ругая себя за бессмысленную вспышку против Михеева, а тот глядел в окно — веки были красны, крупные губы поджаты страдальчески.

— Политика ведь это, — проговорил Михеев. — А знаешь, как сейчас... Во втором парке паренек один книжку в багажнике нашел. Ну и читать стал. А через неделю его — цоп! — и будь здоров. А за твою пушку, ежели раскопают...

— Какая пушка, Илюша? — перебил спокойно Константин. — О чем ты?

Михеев потискал шапку на колене, наклонил мрачное лицо к столу, повторил тоскливо:

— Политика это. Тебе, может, трын-трава, а мне — как же?

— Ты здесь ни при чем, Илюша, — сказал Константин. — Если что — отвечу я. И не думай об этом. Выбрось из головы. Не преувеличивай. Вспомни: никто нас не видел. Никого не было. Ни черта они нас не разглядели. Слушай, я жрать хочу — присоединяйся! Бутерброд сделать?

— Аппетиту нет, — простонал Михеев. — В горло не лезет.

— Заранее объявляешь голодовку? — Константин отрезал себе кусок колбасы, сделал бутерброд. — Тебе не пришлось воевать, Илюша?

— Начальника разведки фронта я возил. Генерала Федичева.

— Так или иначе. Артподготовки нет — сиди поплевай на бруствер и наворачивай консервы в окопе. Тогда не убьют, не ранят, не контузят. Аппетит потерял — половины башки недосчитаешься. Все мины, брат, тогда летят в тебя. Арифметика войны, Илюша.

— Пропаду я с тобой, — проговорил Михеев. — Ни за чих пропаду. Какое у тебя отношение к жизни? А? Нету его! Беспутный ты, глупый, отчаянный человек! — Михеев вскинул багрово-красное лицо, зло глянул на Константина. — Вот сидит... и колбасу жует. Артиста изображает. И чего я связался с тобой, с дураком культурным! Разве у тебя какое стремление в жизни есть? Разве тебе в жизни чего надо? Вон в квартире все имеешь. С телефоном живешь! — Михеев, завозившись на стуле, презрительно и твердо договорил: — А я, может, в жизни больше тебя понимаю! И мне из-за тебя в каталажку? За красивые глазки, что ли?

Константин отодвинул стакан недопитого чая, подавляя внезапный гнев, произнес:

— Сопляк, дубина стоеросовая! «Что я говорю? Зачем я говорю ему это?» — подумал он и, успокаивая себя, спросил иным, уже шутливым тоном: — Слушай, Илюша, ты коров видел? Ответь мне: почему корова ест траву, солому, хлеб, а цвет дерьма одинаковый?

— Ты чего? — испуганно вскинулся Михеев. — Глупые вопросы. Не знаю!

— Не знаешь, Илюша? Я тоже нет. Что выходит? В дерьме, не разбираемся, а о жизни судим!

Так получается? Значит, оба мы с тобой в жизни мало что понимаем. Только вот что, Илюша: никакого револьвера у меня нет и не было. Не понимаю, почему ты заговорил об этом? Ну, черт знает что может показаться со страху! Нет, никакого револьвера нет! И прошу тебя, Илюша, успокойся ты!

Всматриваясь в угол куда-то, Михеев вдруг упрямо заговорил, двигая крупными губами:

— Отнеси ты его... сдай куда надо. Покайся. Ведь простить могут все же: мало что бывает. Как к человеку пришел, посоветовать, может, опыта у тебя нет. Начнут копать это дело. Не таких ловют.

— Знаешь, а мне не в чем каяться и нечего относить, — ответил Константин. — Пойми же меня наконец, Илюша!

— Ну что ж... Я по-человечески хотел посоветовать, — выдавил Михеев и надел шапку, насунул двумя руками на лоб. — Я, видно, политику больше тебя понимаю... Жареный петух тебя еще не клевал, видать! — Расширяя дыханием ноздри, спросил тихо: — Ты что ж, может, меня соучастником считаешь?

— Нет. Ты тут ни при чем.

— Бывай. Ладно. Шито-крыто.

— Ну, будь здоров, Илюша! Договорим на линии! — Константин похлопал его по плечу. — Пока! И не думай ты об этом!

Однако он никак не мог успокоиться после того, как с насупленным лицом ушел Михеев, а потом, полчаса спустя, все шагал по комнатам, скрестив руки, подробно, по деталям вспоминая весь разговор с ним, и, чувствуя приступ отчаяния от совершенной им сейчас ошибки, он вновь начинал подробно вспоминать свои слова, как будто хотел найти неопровержимые доказательства собственной правоты и неправоты.

«Я не так разговаривал с ним? Я должен был его убедить. Он все видел, он все знает, — думал Константин неуспокоенно. — Нет, в этом уже невозможно сомневаться. Но смог ли я его разубедить, да как это можно было?»

Все окно не по-зимнему горело солнцем, шлепали капли по карнизу, сбегали по стеклу; ударял по сугробам сбрасываемый с крыши снег.

«Хватит. Сейчас я ничего не придумаю. Поздно. Принять ванну, побриться — и все будет великолепно! Все будет отлично! Лучшие мысли приходят потом».

Константин перебросил банное полотенце через плечо, а когда вышел в коридор, из кухни семенящей рысцей выкатился Берзинь в широких смятых брюках, в опущенных подтяжках; шипящая салом сковородка была выдвинута в его руках тараном, от нее шел пар.

— Томочка, Томочка, я иду! Вы посмотрите. Костя, на эту ленивую девчонку. Нет, я шучу, конечно. Уроки, танцы. Пластинки! Я сам в молодости спал, как слон. Сейчас будем завтракать! Ох, если бы жива была ее мать, Костя!..

Тамара — дочь его, совсем юная девушка, заспанная, еще не причесанная, золотисто-рыжие волосы спадали с одной стороны на помятую подушкой щеку, — выглянула из двери бывшей быковской квартиры, сделала брезгливую гримасу.

— Па-апа, ну зачем так кричать? Просто весь дом ходуном ходит от твоего крика! Неужели ты не понимаешь?

И, заметив Константина, смущенно схватилась оголенной рукой за непричесанные волосы, ахнула, прикрыла дверь.

— Да стоит ли... в самом деле? — с неестественной беспечностью сказал Константин и, не задерживаясь, прошел в ванную. — Все будет хенде хох, Марк Юльевич...

6

Стояла оттепель.

В переулках снег размяк, потемнел, протаял на тротуаре лужицами, в них космато и южно блестело предмартовское солнце, дуло пахучим и мягким ветром, и в тени, в голубых затишках крылец осевшие сугробы были ноздревато испещрены капелью. Влажный ветер листал, заворачивал подмокшие афиши на заборах, по-весеннему развезло на мостовых.

Константин возвращался домой после ночной смены, шел по проталинам, под ногами разлетались брызги, голый местами асфальт дымился на припеке, и было тепло — он расстегнул кожанку, сдержнул шарф.

Вид улиц, уже не зимних, с оттаявшими витринами магазинов, с зеркалами парикмахерских (сквозь стеклянные двери виден покуривающий швейцар у вешалки), утренние булочные, пахнущие сухим ароматом поджаристого хлеба; красный кирпич облупленных стен; полумрак чужих подъездов; голуби, стонущие на карнизах; хаотичная перспектива мокрых московских крыш под зеленым небом — все это успокаивало и одновременно будоражило его. Он прочно считал себя человеком города. Он любил город: весеннюю суету улиц, чемоданы у гостиниц, вечерние светлы окон в апреле, ночные вокзалы, прижавшиеся пары на набережных, теплый запах асфальта в майских сумерках, людское движение возле подъездов театров и кино перед спектаклями и поздними сеансами, любил провинциальный конец зимы в замоскворецких переулках.

Константин дошел до Вишняковского, прищурясь от вспыхивающих зеркал луж, взглянул на старинную церковку, над куполами которой возбужденно носились, кричали галки. Ветер влажно погромыхивал вверху железом, а внизу — запустение, прохладные плиты, темный и старый камень под солнцем в белом помете птиц, почернел снежок на ступенях.

«Кажется, я хотел спрятать пистолет в этой церковке? — спросил он себя весело. — И кажется, едва не поторопился. Все идет как надо. Слава богу, все кончилось. И Илюша успокоился, словно ничего не было. Значит, все прекрасно!»

На углу Новокузнецкой он зашел в автоматную будочку — всю мокрую, на нее капало сверху, грязные стекла были в потеках, — быстро набрал номер поликлиники.

— Анастасию Николаевну. Кто спрашивает? Представьте, профессор, муж, — сказал он в трубку, разглядывая натоптанный пол; а когда минуту спустя услышал Асин голос, даже улыбнулся. — Аська... Бросай все, скажи, что твой дурацкий муж ошпарился чем-нибудь. Бывает? Конечно. Уважительная причина. Выложи ее профессору — и ко мне. Я брожу по лужам. И доволен. Взгляни-ка в окно. Вы там оторвались от жизни! Окончательно. Ничего не видите, кроме порошков хины. Ты чувствуешь весну?

— Костя, ты с ума сошел! — строго сказала Ася.

— Совершенно съехал с катушек. Бесповоротно. И на вечные времена. От весны. У меня даже температура. Тридцать девять и шесть! По Фаренгейту. По Реомюру. И Цельсию, кажется? — и Константин договорил с нежным, упорством: — Представь, что я соскучился... Я жду тебя. Я соскучился.

— До свидания, Костя, — сказала Ася спокойно: видимо, в кабинете была она не одна.

— Целую. Кто там торчит около тебя? Профессор? Судя по голосу — у него довольно дореволюционная борода и отчаянная лысина. Так?

— Хорошо, — ответила она и засмеялась. — Пока! Я все-таки задержусь.

— Все равно я соскучился, как старый пес, Аська! Напиши это крупными буквами на своих рецептах, ясно?

Он вышел из будочки на влажный воздух улицы, на капель, на брызжущее в лужах солнце.

В коридоре возле двери стоял деревянный чемодан, рядом — галоши. Войдя в сумрак коридора, Константин задел ногой за этот чемодан, удивленно чертыхнулся, но сейчас же мелькнула радостная мысль: приехал Сергей!

Расстегивая куртку, он вбежал на кухню — она была пуста. Он снова повернул в коридор — в это время навстречу ему отворилась дверь Берзиня: Марк Юльевич, излучая сияние, кивал на пороге, делая приглашающие жесты.

— Костя, сюда, пожалуйста, сюда! Я услышал, как вы пришли. К вам гость! Вас не было дома, ждал у нас! Пожалуйста! Я рад! Томочка — тоже.

— Ко мне — гость?.. Кто?

— Заходите, заходите!

Константин вошел.

В комнате за столом сидел сухонький человек в помятом пиджачке: полосатая сорочка, немолодое морщинистое лицо с узким подбородком неровно и распаренно краснело после выпитого горячего чая.

Константин вопросительно взглянул на кивающего Берзиня, на Тамару, молча сидевшую в кресле (свернувшись калачиком, подперев кулаком щеку), спросил неуверенно:

— Вы... ко мне?

— Вохминцев, значит, ты? — натягивая улыбкой подбородок, проговорил человек и встал, показывая весь свой маленький рост, через стол выставил руку. — Вроде похож и непохож на папашу. Я — Михаил Никифорович, стало быть. Здравствуйте! Разговор для вас серьезный есть. Издалечка, можно сказать... Вот, значит, в каком смысле. Сынок?

И его высокий, какой-то намекающий голос, взгляд прозрачных синеньких глаз будто кольнули Константина ошеломляющей догадкой, и он, мгновенно подумав о Николае Григорьевиче, сказал быстро:

— Здравствуйте! Идемте ко мне... Я не сын Вохминцева. Я муж дочери Николая Григорьевича.



— Спасибо за чаек, спасибо.

Михаил Никифорович вышел из-за стола, пожал руку Берзиню, потом Тамаре, которая рассеянно протянула лодочкой пальцы, и ныряющей, но уверенной походкой, в поскрипывающих сапогах последовал за Константином.

— Оттуда вы? Давно приехали? — спросил Константин уже безошибочно, когда через несколько минут он усадил Михаила Никифоровича за стол и поспешно достал из буфета водку. — Вы... Оттуда вы?

— Паспорток бы, извиняюсь, ваш глянуть одним глазком, значит, — своим высоким голосом сказал Михаил Никифорович, скромно, с руками на коленях сидя на диване, чуть возвышаясь над столом своей жилистой фигуркой. — Выпить я могу, так сказать, культурно... До шибачки не пью, а так, конечно, ежели нет никаких других горизонтов. А паспорток так... ежели вы зять с точки зрения законного брака.

Константин не без удивления достал паспорт и глядел, как он медленно читал, долго всматривался в штамп о браке, а затем сказал официально строго:

— Извиняюсь, Константин Владимирович. Дело сурьезное... Я вас никак видеть не должен. Я в командировке здесь, то есть на двое суток...

Константин, не отвечая, чокнулся с рюмкой Михаила Никифоровича, выпил и так же молча пододвинул ему горилку. Смешанное чувство любопытства и опасения сдерживало его от первых вопросов, и он убеждал себя, что спрашивать и говорить сейчас нужно как бы между прочим, случайно, уравновешенно.

Михаил Никифорович прикоснулся к рюмке с воспитанной осторожностью — мизинец оттопырен, — вдруг сурово нахмурился и, запрокинув голову, вылил водку в горло, тут же деликатно сморщился, стал неловко и сильно тыкать вилкой, царапая ею по тарелке. И, жуя, полез во внутренний карман пиджачка, из потертого портмоне вытянул смятый и сложенный вдвое конверт, подал Константину.

— Ежели сына, значит, нету по обстоятельствам, вам письмецо. От Николая Григорьевича. Да-а... Просил передать лично семье. Передайте, говорит, а вас там примут, стало быть. Да-а...

Константин не мог унять дрожания пальцев, разрывая конверт; положил письмо на стол, медленно разглядел грязный тетрадный листок, испещренный карандашными строчками, падающими книзу, к обрезу листка, — карандаш в нескольких местах прорвал бумагу.

«Дорогой мой сын! Ася не должна этого знать, поэтому я обращаюсь к тебе.

Я все же надеюсь, что через десять лет увижу вас. Теперь я, как многие, жду одного — узнать, что с вами, дорогие мои. Одно слово, что вы живы и здоровы, может изменить в моей жизни многое. Я тогда смогу ждать, надеяться и жить.

И вот что ты должен знать. В Москве 29 января была очная ставка с П. И. Б. Это было нечеловеческое падение, и еще одного человека... (зачеркнуто), которого я считал коммунистом... Но поверь мне, что я все выдержал.

Главное — передай Асе, что я жив, и поцелуй ее крепко.

Береги ее.

Обнимаю тебя. Твой отец.

Сообщать мой адрес бессмысленно.

Напиши несколько слов и передай тому, кто передаст тебе эту записку».

Константин сложил письмо, но сейчас же вновь, будто не веря еще, скользнул глазами по фразе: «В Москве была очная ставка с П. И. Б.» — и, помедлив, остановив взгляд на этой строчке, почувствовал, как кожу зябко стянуло на щеках, сказал:

— Что ж, выпьем?

Михаил Никифорович, в ожидании пряменько сидевший на диване, только сапоги поскрипывали под столом, отозвался высоким голосом:

— С вами-то чего ж не выпить? Ежели по единой! — И руки снял с колен, волосы пригладил преувеличенно оживленно. — У нас горькая — страсть редко, по причине далекого движения железной дороги и так и далее. Больше бабы на самогон жмут без всяких зазрений домашних условий. Со знакомством!

И выпил, опять деликатно сморщившись, покрутил головой, понюхал корочку хлеба, передергивая бодро и живо локтями.

— Хор-роша горькая-то!..

Константин посмотрел на его повеселевшее личико, на грубые, темные, узловатые руки, на вилку, которую он держал неумело, но уверенно, и его поразила мысль, что, видимо, человек этот — надзиратель, что Николай Григорьевич находится под его охраной, и, сразу представив это, с усилием спросил:

— Вы охраняете заключенных?

Михаил Никифорович жевал, взглядывая на Константина, как глухой.

— Курил сигаретку-то... — Он вытер под столом руки о колени и взял из пачки сигарету аккуратно. — Сладкие бывают, да-а... (Константин чиркнул зажигалкой.) Эх, зажигалка у вас? Очень, можно сказать, культурная штука. А бензин как?

— Я шофер. — Константин вынул удостоверение, раскрыл его на столе перед Михаилом Никифоровичем и, перехватив его взгляд, добавил: — Вы не бойтесь, я не трепач. Просто интересно. Ну, много там у вас... заключенных? В общем, если не хотите, не отвечайте. Выпьем лучше. Вот, за вашу доброту. — И он прикрыл ладонью письмо на столе.

Наступило молчание.

— Шофер, значит, ты? — Михаил Никифорович, натягивая улыбкой подбородок, вдыхал дым сигареты, прозрачные синенькие глаза казались блестками. — А вид у тебя ученый... Очки на нос — ну что профессор... — Он тоненько засмеялся. — Вредный народ-то, однако, профессора, знаешь то или нет, Константин Владимыч? Ай тут ничего не знают? С виду соплей перешибить можно, а все против, откровенно сказать, трудового народа. Вот что я тебе скажу, ежели ты простой шофер и должен понимать международную обстановку. Враги народу...

— Кто враги? Профессора?

Михаил Никифорович сделал жестким лицо, на лбу проступили капли пота, заговорил строго:

— Пятилетки, значит, и строительство, подъем рабочей жизни и колхозы, значит. Читают нам лекции, объясняют все хорошо... А они, профессора, прекрасно образованные, против

гениального вождя товарища Сталина. Я что тебе скажу, послушай только, — внезапно поднял голос Михаил Никифорович. — Убить ведь хотят, каждый год их ловят. То там шайка какая, то тут. Фашистов развелось в городах-то ваших — плюнуть негде! И везут их, и везут, день и ночь. Местов уже нет, а их везут... Ни сна, ни покоя. Чтоб они сдохли! Вот что я тебе скажу, Константин Владимыч, человек хороший... Каторжная у нас работа! Не жизнь, нет, не жизнь. Убег бы, да куда?

— Сочувствую, — сказал Константин, прикуривая от сигареты новую.

Видно было — Михаил Никифорович сильно захмелел, обильно влажными стали лоб, лицо; его синенькие глаза смотрели не улыбочиво, а искательно, вроде бы сочувствия просили у Константина. Узел галстука нелепо сполз, расстегнутый воротник рубашки обнажил темную хрящеватую шею.

— Какая же это жизнь? — снова заговорил он страдальческим голосом. — Ну, чего это я болтаю, а? Ну, чего болтаю, дурья голова! — залившись тонким смешком и мотая волосами над лбом, крикнул Михаил Никифорович. — Ну, скажи на милость — интерес какой! Язык болтает, голова не соображает, горькая, видать, в темечко шибанула! Никакого тут интереса нет, Константин Владимыч! Совсем жизнь наша неинтересная!..

— Вы рассказывайте, — сказал Константин. — Я слушаю...

— А чего рассказывать! — перебил Михаил Никифорович, качаясь над столом и смеясь. — Не жизнь у нас, нет, Константин Владимыч! Звери мы, что ли? А? Ведь не звери мы!.. Вы мои мысли уважаете? Или непонятное говорю?

Легши грудью на стол, Михаил Никифорович потянул Константина за рукав, пьяно замутненные глаза его, короткие серые ресницы заморгали, и Константин в эту минуту с ощущением острого комка в горле невольно отдернул руку. И тотчас же взял свою рюмку и выпил двумя глотками водку, проталкивая ею этот комок в горле, спросил:

— А... как Николай Григорьевич? Николай Григорьевич...

— Очень, можно сказать, хорошо.

Михаил Никифорович тоже опрокинул в рот рюмку; вздыхая, пожевал корочку хлеба, затем высморкался в носовой платок, зажимая по очереди ноздри.

— Люди там, скажу тебе, разные бывают: один — зверем косится, другой — можно сказать, с пониманием. — Тщательно вытер покрасневший носик, затолкал платок в карман. — Когда на даче, то есть, по-вашему сказать, в карцере, сидел, я ему кусок хлеба, а он мне: «Спасибо, вы же от себя отрываете». Как человеку. Мы обхождение понимаем, не звери, Константин Владимыч. Какого заядлого когда и постращаешь, чтобы, значит, не особенно. А кому и скажешь: мол, понимай отношение справедливости жизни: кормят тебя, вражину, поят, одевают — чего же тебе, шляпы на голову не хватает, такой-сякой! А к вашему тестю уважение есть, уважают его: сурьезный, молчит все.

— Как его здоровье? — спросил Константин.

— Очень, можно сказать, хорошее. Два раза в госпитале лечили его, — ответил Михаил Никифорович. — Вернулся — хорошо работал, не отдыхал даже. Об этом, так сказать, сомлеваться нельзя. Месяц назад повел его к пункту, чего-то у него закололо. Фершел, тоже человек сознательный, постукал, говорит: «Ничего здоровье...»

— Он никаких лекарств не просил... чтобы вы привезли?

— Лекарств-то?

Михаил Никифорович восторженно, выражение пьяной расслабленности сошло с его влажного лица, покрытого красными пятнами. Он обеспокоенно глянул на будильник, отстукивающий на тумбочке, задвигал плечами и локтями, точно бежать собрался, крикнул высоким голосом:

— Это же время-то сколько! Беседа — хорошо, а дело забыл, пустая голова! Опоздаю я в магазины — баба начисто со света сживет! — И захихикал, все двигаясь на диване. — В универмаг мне надо в ваш! Бе-еда! Просьба у меня к вам, Константин Владимыч, вот, значит, совет ваш... По секрету сказать, никакая командировка у меня сурьезная, а в Москву за одеждой и так далее, двое суток мне дали...

Он суетливо вытащил из потертого портмоне зеленый листок бумаги, развернул перед собой на скатерти озабоченно.

— Купить мне надо, можно сказать. Жене — полушалок, куфайку шерстяную, детишкам — ботиночки, пальтишки, брату — сапоги хромовые. Из продуктов: сахару — пять килограммов, чаю — восемь пачек, колбасы — два килограмма, конфет — один килограмм. Где все это закупить можно, Константин Владимыч? Совет прошу. На два дня я из дому только!

— Где думаете остановиться?

Константин, отъедняя слова, спросил это, в то же время думая об Асе, об этом почти необъяснимом присутствии Михаила Никифоровича здесь, в доме, о длинных темных разговорах его, вызывающих тупую боль в сердце; и не отпускало его едкое ощущение удушья.

— Сродственников у меня в Москве никого. А с Николаем Григорьевичем разговор был... Ночку мне только и переночевать, ежели вы... — проговорил с заминкой Михаил Никифорович, виноватой улыбкой натягивая подбородок, и Константин прервал его:

— Хорошо. Одевайтесь. Пойдем в магазины. Я покажу... где купить!

Письмо отца Ася читала не в присутствии Михаила Никифоровича — с испугом пробежав первую строчку, молча ушла в другую комнату, закрылась на ключ и там затихла.

Константин, не без колебания решивший показать письмо, хмуро прислушиваясь, сбоку поглядывал на дверь и машинально подливал водку Михаилу Никифоровичу — после магазинов ужинали в десятом часу вечера.

Михаил Никифорович, довольный покупками, согретый до пота водкой, которую пил безотказно, устроившись на диване среди разложенных вещей, пакетов с сахаром, кульков и свертков, вытирал платком осоловелое лицо, возбужденно обострял слипающиеся глаза, борясь с дремотой.

— Дети, конечно, за родителей страдают, — говорил, прочищая горло кашлем, Михаил Никифорович. — И женщины, жены то есть. А разве они виноваты? Скажем, отец супротив власти делов наворотил, а они слезьми умываются.

«Каких же делов наворотил Николай Григорьевич?» — хотелось усмехнуться Константину и жестокими, как удары, словами объяснить, рассказать о честности Николая Григорьевича, о давних взаимоотношениях его с Быковым; и когда он думал о Быкове, что-то нестерпимо злое, бешеное охватывало его. «Быков, — думал он, плохо слыша Михаила Никифоровича. — И Ася, и Сергей, и Николай Григорьевич, и я — все Быков, все от него... И это письмо, и

надзиратель. И Николай Григорьевич — враг народа. Что докажешь! Да Быков... Нет, и от него, и не от него. Очная ставка — знали, кого вызывали! Ах, сволочь! Что же это происходит? Зачем? Очная ставка? И поверили ему, хотели ему поверить!..»

— Женщины очень уж страдают... — говорил Михаил Никифорович, и каким-то серым цветом звучал его голос. — К эшелонам повели колонну, несколько сотен. И тут, значит, такая несурезица случилась. Недалеча от товарного вокзала бабы откуда ни возьмись — из дворов, из закоулков, из-за углов к колонне бросились. Кричат, плачут, кто какое имя выкликает. Они, значит, к тюрьме из разных городов съехались, прятались кто где. Ну, крик, шум, плач, бабы в колонну втерлись, своих ищут... Конвойные их выталкивают, перепугались, кабы чего не вышло до побега. Затворами щелкают... И — прикладами. Командуют колонне: «Бегом, так-распротак!» Побежала колонна, баб отогнали прикладами-то. И тут, слышу, один заключенный слезу вслух пустил, другой, вся колонна ревмя ревет — бабы довели, не выдержали мужчины, значит. Кричат: «За что женщин? Дайте с женами проститься!» А разве это разрешено? Не положено никак. А ежели какой побег? Конвойные в мат: «Бегом! Бегом!» Как тут не обозлиться?

— Перестаньте! — услышался ломкий и отчужденный голос Аси.

Она вышла из комнаты, стояла у двери, не закрыв ее.

— Перестаньте! — повторила она брезгливо.

Сухими огромными глазами Ася глядела на сморщенное сочувствием, потное лицо Михаила Никифоровича, сразу замолчавшего растерянно; в ее опущенной руке белел конверт, и Константин почему-то отчетливо заметил — как кровь — чернильное пятнышко на ее указательном пальце. И быстро посмотрел ей в глаза, спрашивая взглядом: «Что? Что?»

— Передайте отцу это письмо, если сможете! — сказала Ася холодно. — И, если не трудно, ответьте мне одно: он здоров? Я врач и хочу послать лекарства... с вами. Но я должна знать.

— Очень даже, можно сказать, здоров. — Михаил Никифорович зачем-то незаметно потрогал детское пальто на диване. — Так и велел передать он. А что у нас? У вас газы, автомобили, дышать невозможно, а у нас воздуху много. Очень даже много. Для детей хорошо. Продувает. Скажу вам так. Перед отъездом ходил я тут с Николаем Григорьевичем, то есть папашей вашим, в медпункт...

И Константин, чувствуя, как от слов этих больно начинает давить виски, вмешался:

— Ася, он здоров, Михаил Никифорович мне подробно рассказывал. Нужно обязательно нитроглицерин. В сорок девятом у него болело сердце.

— Это я знаю, — сухо сказала Ася. — У меня на столе, Костя, я приготовила все лекарства.

Она повернулась и вышла в свою комнату, на простившись с Михаилом Никифоровичем даже кивком, и он, ощутив, видимо, ее ничем не прикрытую холодность, засовывая оставленное Асей письмо в кожаное портмоне, произнес с ноткой обиды:

— Очень сурьезная... жена ваша.

Он вздохнул глубоко и шумно, потупясь, снова украдкой пощупал, помял полу лежавшего на диване детского пальто и, оставшись довольным, стал тереть колени под столом.

— Лекарствов, можно сказать, не надо бы, — внушительно покашляв, заговорил он. — У нас кто этими лекарствами баловать начинает — залечивается до больницы.

— Завтра я отвезу вас на вокзал, — сказал Константин, давая сигарету в пепельнице. — Вон

там подушка, простыня. Устраивайтесь. Спокойной ночи.

Ася уже лежала в постели — ладонь под щекой, возле — развернутая книга на подушке, — не мигая, смотрела в стену, на зеленоватый круг от ночника.

Константин разделся в лег рядом, после молчания сказал:

— Теперь мне кое-что ясно.

— А мне — ничего, ни-че-го... — шепотом ответила Ася, водя пальцем по зыбкому пятну света на обоях, — был виден краешек ее напряженного глаза, поднятая бровь. — Боже мой, Быков, очная ставка... И этот надзиратель у нас в квартире. И хоть бы что... Все смешалось. Как же так можно жить? — Она оперлась на локоть; глаза, отыскивая взгляд Константина, требовательно блестели ему в глаза. — Ты слышал, что он говорил! Я не могу это представить. Что-то делается ужасное... Почему, Костя? Для чего? Почему?

— Асенька, — проговорил Константин. — Можно, я потушу свет?

Он погасил ночник и снова лег на спину, подложив кулаки под голову, чернота сжала комнату, лишь лунный свет холодной полосой упирался в подоконник, как зеркалом, отбрасывал блик в темь потолка; из-за стены доносилось всхлипывание, свистящее дыхание носом. Где-то во дворе гулким отзвуком хлопнула дверь парадного.

— Он спит, — с отчаянием сказала Ася. — Ты видел, как он трогал руками это детское пальтишко? Неужели у него есть дети?

— Трое.

— Нет. Если так — тогда страшно! Если бы ты знал, как я ненавижу Быкова и тех... кто поверил ему! Нет, хоть раз в жизни я хотела бы посмотреть ему в глаза! Именно в глаза!..

— Ася... — тихо сказал Константин.

Он прижался лицом к ее груди и, мучаясь от ощущения своей беспомощности сейчас, робко обнял ее и, зажмурясь, лежал так некоторое время, потираясь губами о ее пахнущую детской чистотой шею.

— Асенька... ты плохо меня знаешь. Я знаю, что делать, — убеждающе сказал Константин. — Этот Быков еще пострижется в монахи. Так должно быть на этом свете. Нет, он еще поваляется у меня в ногах. Я знаю о нем все, чего никто не знает. Вот этого только я хочу!

Она быстро отвернула лицо, шепотом сказала в стену:

— Не надо, не надо этого говорить! Не смей! Ты меня не понял. Я не хочу, чтобы оклеветали и тебя. Ты теперь не один! Ты ничего не должен делать, ни-че-го!

В полночь Константин встал; лунный косяк передвинулся по комнате — теперь твердо освещал стену, были видны цветы обоев. Свет этот был так беспокоящ, вливал такое холодное безмолвие в комнату, что Константин, одеваясь, улавливал дыхание Аси сквозь шуршание своей одежды.

«Не надо, не надо этого говорить!» — звучало в его ушах, как через заведенный моторчик. Он никак не мог заснуть, и эта давящая усталость бессонницы шумела в голове. Тогда, после

этих слов Аси, Константин вдруг почувствовал неожиданную отчаянную растерянность, какую-то рвущую душу нежность к ней, к этим словам ее, а после, когда она заснула, он, боясь повернуться, изменить положение, чтобы не разбудить ее, лежал в липко окатившем его поту, замлело, затекло все тело; и когда, измучась, отгоняя лезшие в голову мысли, с расчетом взвесить все, что могло быть, поднялся в полночь, решение было неотступно ясным.

«Еще ничего не случилось, — убеждал он себя. — Неужели это страх? Еще ничего не случилось. Пистолет... Спрятать надежнее пистолет. Немедленно. Сейчас, сейчас. Зачем я рискую?»

Он опасался разбудить Асю, заскрипеть дверцами книжного шкафа и, осторожно открывая, приподнял створки — они легонько скрипнули в тишине комнаты, — отодвинул книги и достал толстый том Брема: как в дыму, гладко поблескивал в нем под лунным светом «вальтер».

Он сунул его во внутренний карман пиджака, колющим холодком ощутил грудью плоскую тяжесть, оглянулся через плечо на тахту — Ася спала. Постоял немного.

И опять, опасаясь скрипа двери, на цыпочках, поспешно вышел в другую комнату. И тотчас натолкнулся на отлетевший стул, заваленный грудой одежд, поставленный перед порогом. Сразу же оборвался храп, взлохмаченная тень, фистулой свистнув носом, вскочила на диване, из окна высвеченная косым столбом луны, — Михаил Никифорович испуганно вскрикнул:

— А? Кто?

Константин, от неожиданности выругавшись, запутался ногами в одежде, упавшей на пол, торопливо стал поднимать ее, в тот же миг тупо зашлепали ко полу босые ноги — он, нахмурясь, выпрямился с чужим пиджаком в руках.

Михаил Никифорович в исподней рубашке, в кальсонах, синей тенью стоял перед ним, выкатив остекленные страхом и лунной глаза, повторял одичало:

— Ты что это? А? Как можешь?

И рванул к себе пиджак из рук Константина, сжал его в горстях, проверил что-то, твердыми пальцами скользнул по карманам, все повторяя одичалым голосом:

— Ты что же, а? Как можешь? Документ тут был, а? — И схватил Константина за локоть.

— С ума сошли, черт вас возьми! — Константин резко перехватил жилистую кисть Михаила Никифоровича и зло оттолкнул его к дивану. Тот с размаху сел, откинувшись взлохмаченной головой. — Вы что — опупели? Сон приснился? — шепотом крикнул Константин. — Какие документы? А ну проверьте их! Какого черта стул у двери ставите? Забаррикадировались?

— А? Зачем? — прохрипел Михаил Никифорович и, уже опомнясь от сна, отрезвев, посунулся на диване, желтые руки замельтешили над пиджаком, достал зашуршавшую бумажку, жадно вгляделся в нее под луной. И затем, странно поджав худые ноги в кальсонах с болтающимися штрипками, потерянно забормотал: — Это что ж я? С ума тронулся? Аха-ха-ха! Извините, Константин Владимыч, извините меня за глупые слова...

— Тише вы! Жену разбудите! — не остывая, выговорил Константин. — Спице лучше! И положите пиджак под голову, если боитесь за документы. А дверь не баррикадируйте!

— Извиняюсь, извиняюсь я...

Константин повернул ключ в двери, вышел в темный коридор, не зажигая света, прошел в

кухню, тихую, лунную. Здесь, успокоясь, подождав и выкурив сигарету, намеренно спустил воду в уборной, несколько минут постоял в коридоре.

Затем на носках приблизился к порогу своей квартиры.

Всхрапывание, посвистывание носом доносились из комнаты. «Позавидуешь — он все же с крепкими нервами», — подумал Константин.

Потом, вслушиваясь в шорохи спящей квартиры, отпер дверь в парадное.

Через двадцать минут вернулся со двора.

Он спрятал «вальтер» в сарае, под дровами.

Утром Константин поймал такси в переулке, повез Михаила Никифоровича на вокзал. По дороге мало разговаривал, зевал, делая вид, что плохо выспался и утомлен, изредка поглядывал на Михаила Никифоровича в зеркальце.

Тот молчал, вытягивая узкий подбородок к стеклу.

Возле подъезда вокзала Константин облегченно и сухо простился с ним.

7

Когда Константин вошел в насквозь пропахший бензином гараж — в огромное здание времен конструктивизма тридцатых годов, с уклонными разворотами на этажи, вразнобой гудевшими моторами перегоняемых машин, с шумом, плеском воды на мойке, возле которой вытянулись очередью прибывшие «Победы», — он увидел в закутке курилки человек семь шоферов заступающей смены.

Стояли, сидели на скамье перед бочкой, покуривая, и лениво переговаривались — как всегда, отдыхали перед линией.

Белое и морозное февральское солнце отвесно падало сквозь широкие стекла.

Михеев сидел на краешке скамьи, мял в руках Константинову шапку, заглядывал внутрь ее, казалось — не участвовал в разговорах; круглое, плохо выбритое лицо было угрюмым.

— Привет лучшим водителям! — сказал Константин, пожимая руки всем подряд, а Михеева еще и ударил ладонью по плечу. — Как, Илюшенька, настроение? Что ты видишь в донышке моей шапчонки?

Слова эти вырвались почти произвольно, однако он произнес их с испытывающим ожиданием. Михеев резко вскинул глаза на Константина, сомкнул пухлые губы, и Константин так же неожиданно для себя сказал оживленно:

— Недавно под настроение махнули с Илюшей «головными приборами». Он оторвал мою пыжиковую, а я его — заячью. Пришлось ее поставить на комод, как клобук мыслителя. Показываю соседям по квартире. Ажиотаж. Крики «ура». Выломали дверь. Был запрос из Исторического музея. Не успеваю снимать телефонную трубку. Что делать, братцы?

В курилке засмеялись. Михеев, не разжимая губ, молчал, кончики его ушей, полуприкрытые



волосами, заалели, ярко видимые под солнцем.

— За мной, Илюша, в воскресенье сто граммов с прицепом и даже с двумя, — произнес Константин, сел между Михеевым и пожилым шофером Федором Плещеем, удобно развалившимся на скамье.

— Его на маргарине не проведешь. Он тебя, Костя, разгуляет на твои деньги! — отозвался Плещей и скосил на Михеева глаза, ясные, независимые. — Ну, выдай-ка, Илюха, последнее сообщение. Стоит ли масло покупать в магазинах и лекарство в аптеках? Ну? Откровенно! С плеча лупани! Ты хорошо обстановку в стране понимаешь.

Было Плещеем лет сорок пять, тяжелый, крупный, даже грузноватый, с уже белеющими висками — от фигуры его, от умного и как бы неотесанного лица веяло самоуверенностью человека, знающего себе цену.

Работал он когда-то в грузчиках, и, может быть, вследствие этого и его нестеснительной прямоты, особенно густого баса, звучавшего иногда на все этажи гаража, сумел прочно и независимо поставить себя в парке.

— Так как же, Илюха? — повторил Плещей. — Масло можно покупать — или отравили его... эти самые? Или разве одну картошку можно? Расскажи-ка! Что говорил мне — сообщи всем. Полезно для высокой бдительности. Мы, брат, разных пассажиров возим. Ухо надо пристрелять. Ну, нажми на акселератор — и рубани за жизнь! И все станет ясным!

— Вы всегда разыгрываете и преувеличиваете, Федор Иванович, — сказал шофер Акимов, сдержанно обращаясь к Плещеем.

— Добряк! — захохотал Плещей. — Иисус Христос ты, Акимов!

Михеев поерзал, обеспокоенно перевел глаза на Акимова, на лицо Плещея, потом на молча раскуривавшего сигарету Константина.

Акимов — бывший летчик, — без шапки, светловолосый, в короткой, на «молниях» меховой куртке, стоял, прислонясь к бочке, с серьезной задумчивостью покусывая спичку. Сказал:

— Ну что мы все время Илюшу разыгрываем? Хватит.

— Майор милиции вынул лупу и посмотрел на физиономию пострадавшего, — вставил дурашливо Сенечка Легостаев.

С бутылкой молока в руке Легостаев топтался на цементном полу, легонько выбивал щегольскими полуботинками чечетку и в перерывах отпивал из бутылки — подкреплялся перед линией. Младенчески розовый лицом Сенечка выглядел старше своих лет из-за вставных передних зубов, делавших его лицо наглым и отчаянным.

Сенечка кончил выбивать чечетку, навалился сзади на плечи Акимова, ухмылкой выказывая стальные зубы, спросил:

— Слушай, Илюшенька, а не... этих ли отравителей у нас искали? Директор и механик по машинам шастали, опрашивали насчет стоянок и всяких происшествий?

Константин быстро посмотрел на Легостаева.

— Что, всех? — Константин пожал плечами. — Меня нет. Бог миловал от разговора с начальством.

— Да и тебя сегодня кадровик искал, — отхлебнув из бутылки, добавил Легостаев. — И

конечно, Илюшу. С самого утра бегал тут Куняев. Но тебя-то наверняка повышают, Костя! И Илюшу — как чикагского детектива. Дадут пару «кольтов». Пиф-паф! Налет на аптеки!

— Уверен — повышают. А почему нет? — сказал Константин. — Давно жду министерский портфель. Но только вместе с Илюшей. Отдельно не согласен.

«Значит, его вызывали? — взглянув на угрюмо молчавшего Михеева, подумал Константин. — Так! Значит, меня и его. Обоих...»

— Сопи, сопи, Михеев, — снисходительным басом произнес Плещей. — Это помогает. А у меня, знаешь, дети масло едят. У меня четверо пацанов. С аппетитом.

«К кадровику? — думал Константин. — Вызывали в отдел кадров? Зачем? Для чего я понадобился?» И уже смутно слышал, что говорили рядом, но, успокаивая себя, по-прежнему сидел, невозмутимо разваливаясь на скамье между Михеевым и Плещеем, цедил дымок сигареты.

— Да что вы, друзья, атаковали Илюшу? — сказал удивленным голосом Константин. — Парень он — гвоздь. Молоток.

Плещей поддержал Константина своим внушительным басом:

— Во-во, почти все знает, как в аптеке!

— Пресс! — согласился Легостаев и хохотнул. — Сам видел: в пельменной он масло жрет, аж затылок трясется на третьей скорости.

— Что напали, отбоя нет! — внезапно зло огрызнулся Михеев и неуклюже встал, напряжив шею. — А ты, Легостай, молчи! Знаю, как пассажиров под мухой с бабами знакомишь! С простигосподями... Чего ощерился? — Обернулся к Плещею: — Говорить с вами нельзя, Федор Иванович! Странно вы как-то разговариваете!

И пошел, раскачиваясь, к машинам, надевая на ходу шапку, оттопыривая ею алеющие уши.

— Обиделся никак — за что, кореш? — крикнул Легостаев и зашагал вместе с ним, размахивая бутылкой, стал что-то объяснять, снизив голос.

— Ну что вы сердите парня? — сказал Акимов умиротворяюще. — Есть люди, которые не понимают шутку, — ну и что? Я с ним одну комнату снимаю. Во Внукове. Честное слово, он обижается.

— Молоток, говоришь? — Плещей, точно не расслышав Акимова, двинул плечом в плечо Константина. — Молоток, да не тот. Не обтешется никак. Трепло! — Он постучал пальцем по скамье. — А? В Москве, говорит, мальчиков в родильных домах умерщвляют. Врачи, мол, и все такое. Все знает. Спасу нет. Орел — вороньи перья. Так, Костя, или не так?

— Не совсем уверен, Федор Иванович.

— Вы очень его прижимаете в самом деле, Федор Иванович, — вставил миролюбиво Сенечка Легостаев, подходя. — Больно он злится на ваши слова... Переживает. Ну его в гудок!

— Чихать я на обиды хотел, Сенечка, левой ноздрей через правое плечо! Мещанскую темнотищу из него выколачивать надо! — без стеснения грудным басом загредел Плещей. — В затишках говорить не умею. Не мышь я, Сенечка, чтоб под хвост шуршать!

— Не совсем уверен, Федор Иванович, — повторил Константин.

— Это в каком смысле? — не понял Плещей.

— В том же... Значит, меня вызывали в кадры?

— Я-то тебя не разыгрываю! Давай к Куняеву! — крикнул Легостаев. — Повышают, видать, студентов!

Отдел кадров находился в самом конце коридора.

Сюда из гаража слабо проникал подвывающий рокот моторов, здесь всегда была тишина с запахом пыли и засохших чернил, с таинственным шуршанием бумаг на столах. Здесь шоферы невольно снижали до шепота крепкие голоса — всех овеивало непривычной официальной устойчивостью, стук пресс-папье казался секретным и значительным, как и поставленная печать на справке.

В то время, когда Константин постучал: «Можно?» — и излишне уверенно дернул зазвеневшую стеклом дверь, начальник отдела кадров Куняев в старом, из английского сукна кителе сидел за простым двухтумбовым столом (на плечах серели невыгоревшие полосы от погон), листал папку, разглаживал листы, скуластое лицо было неподвижным, прямые пепельные волосы свешивались на лоб.

— Вызывали? — спросил Константин и бесцеремонно бросил шапку на облезлый сейф. — Кажется, вы интересовались мной, если я не ошибаюсь!

— А, товарищ Корабельников! — Куняев, весь подтянуто плоский, встал, смягчаясь одними серыми сумрачными глазами. — Все шутки шутите, это даже хорошо. Как работается? Садитесь.

Заученно он правой рукой поправил полы кителя, левая — протезная, в кожаной перчатке — мертво, неудобно уперлась в край стола.

— Это, товарищ Соловьев, наш шофер Константин Владимирович Корабельников, — сказал Куняев, кивнув куда-то в угол комнаты.

Константин, садясь, мельком глянул туда, различил между шкафами, за столиком в нише, сухощавого молодого человека в темном костюме; пальто и шляпа висели на гвоздике, вбитом в стену шкафа. Человек этот, читавший какую-то бумагу, приветливо ответил взглядом, — мягкая улыбка засветилась на его лице, — сейчас же подошел и сильно, дружелюбно потряс руку Константина тонкой и гибкой рукой.

— Очень приятно, Константин Владимирович.

И отошел к столику, снова стал читать бумагу внимательно под дневным светом окна.

Константин сказал, преодолевая наступившее молчание:

— Слушаю вас.

Куняев положил руку-протез на стол, опустил глаза к папкам и, поглаживая обтянутый кожаной перчаткой протез, спросил с шутливой фамильярностью:

— Как работается, товарищ Корабельников? Довольны?

— Мм... как вам сказать? Труд в свое время очеловечил обезьяну, товарищ Куняев.

— Хм!..

— Но в наше время является делом чести, доблести и геройства. Следовательно, я доволен. Зарплатой и своим начальством. И отделом кадров, — сказал Константин то ли насмешливо, то ли серьезно — можно было понимать как угодно.

Молодой человек у окна оторвался от бумаги и вынужденно заулыбался. Куняев, словно щекой почувствовав эту улыбку, тоже слегка раздвинул губы, сказал:

— Ну, ну! Все шутите, товарищ Корабельников! Вот вас в парке за это и любят. Это хорошо. Умная шутка украшает жизнь... создает бодрое рабочее настроение. С шуткой, как говорится, работается веселее...

— Не всегда, — ответил Константин, испытывая смертельное желание закурить, особенно оттого, что на шкафу висело: «Курить воспрещается», оттого, что на столе Куняева не было пепельницы, оттого, что не мог нащупать цель своего вызова.

Его неприязненно настораживало, что Куняев против обыкновения был тут не один и, казалось, не глазами, а щекой, плечами, всем телом своим ощущал присутствие этого молодого человека, который стеснял его, сбивал с обычного тона.

— Так вот... н-да... зачем я тебя вызывал, — стирая со скуластого серого лица не свою, а точно отраженную, заемную улыбку, и сухо, как всегда, заговорил Куняев. И подал через стол Константину анкету из папки. — Уточнить кое-что хотел. Посмотри насчет наград. И насчет родственников. Точно у тебя? Все в порядке? Добавлений не будет? Каждый год анкеты уточняем. Никаких у тебя изменений? Если есть, впиши. Вон ручка.

Куняев сказал это и стал упорно глядеть в другую папку, занятый следующей анкетой, прямые волосы спадали на выпуклый лоб.

— Уточнить?.. — Константин прикусил усики, подумал. — Угу.

— Читай анкету, товарищ Корабельников. Читай внимательно.

В голосе начальника отдела кадров прозвучало нечто раздражающе невысказанное, и Константин вопросительно повел глазами по анкете.

Давний почерк, синие домашние чернила, вспомнил: анкету заполнял еще в сорок девятом году. Он быстро нашел графу «Когда и кем награжден» — все ордена, медали были вписаны («Все в порядке, но что же?»), и тотчас отыскал вопрос о родственниках: «Есть ли репрессированные?» Здесь его почерком было написано: «

Отец жены, Вохминцев Николай Григорьевич, арестован органами МГБ в 1949 году ». «Так вот в чем дело!» Следствие длилось девять месяцев, и тогда он не знал, что Николай Григорьевич будет осужден на десять лет. Тогда еще не верилось! И он и Ася узнали об этом в пятидесятом...

«Что же — повторяется история с Сережкой? Значит, сейчас разговор пойдет о сокрытии истины? Этот молодой человек уточнил? Зачем он здесь? Так что же они будут говорить сейчас мне? Значит, за этим я и был вызван? Но почему... именно сейчас, сегодня, а не год, не пять дней назад? Почему сегодня?»

— Насчет наград — все правильно. Если, конечно, я не забыл вписать какой-нибудь значок вроде «отличный разведчик» или «отличный парень», — сказал Константин, заставляя свои глаза блестеть невинно-весело в сторону строго поднявшего лицо Куняева. — Что касается графы о родственниках, то надо уточнить, если это требуется по форме. Отец моей жены, Вохминцев Николай Григорьевич, после девятимесячного следствия осужден особым

совещанием на десять лет по статье пятьдесят восемь. Это я узнал в пятидесятом году. Впрочем, это неважно. Про анкеты вспоминаешь в исключительных случаях. Факт тот, что в графе этого уточнения нет. Разрешите вписать?

— Неважно, утверждаешь? Это как раз важно! — сухо произнес Куняев, из-под лба взглядывая на Константина. — Чего уж тут шуточки шутить. Не до шуток. Анкета — твое лицо. А лицо-то каждое утро умывают, а?

Константин с выражением непонимания сказал:

— Что меняет... если я впишу «осужден»?

Выпуклые скулы Куняева отвердели, белыми бугорками проступили желваки, пальцы правой руки нервозно защелкали по протезу.

— Что — шестнадцать лет тебе? Мальчик?

И сразу посуровел, покосился в угол комнаты — на молодого человека, сидевшего незаметно за чтением бумаг.

— Ты что — несовершеннолетний? Ответственности нет?

— Анкеты — всегда стихия, — вздохнул Константин. — Понимаю. Разрешите, я впишу сейчас?

Молодой человек отложил бумагу, провел ладонью по залысинам и, словно только сейчас услышав разговор, ясным взором поглядел на Константина, на Куняева, сказал несильным голосом, примирительно:

— Бывает. Забыл товарищ Корабельников. Это поправимо. Впишет в анкету, и все в порядке. Правда ведь, товарищ Куняев? — Он с неисчезающей доброжелательностью, вежливо кивнул ему. — Извините, пожалуйста. Не разрешите ли нам поговорить с Константином Владимировичем минут десять? Вы, Константин Владимирович, в пять застываете? Ну я не оторву у вас время.

Он подвинул стул, гибким движением сел напротив Константина, уже не обращая внимания на выходявшего из комнаты хмуро-замкнутого Куняева, подождал, пока затихли шаги за дверью. И потом с той же предупредительностью, с какой тряс, знакомясь, руку Константина, заговорил мягко:

— Надеюсь, вы не подумаете ничего плохого, если я буду с вами доверителен, Константин Владимирович. Пусть вас не огорчает эта пресловутая графа. В отделе кадров без бюрократизма, как говорится, не обойтись. Ну, осужден ваш родственник через девять месяцев следствия. Ну, вы запоздали сообщить. Это ясно. Тем более он не ваш отец, только родственник. Простите... Вы, наверно, удивляетесь: «Кто это со мной говорит?»

Молодой человек ловко извлек из внутреннего кармана удостоверение, показал его Константину.

— Чтоб не было недоразумения, представлюсь. Моя фамилия Соловьев. Я инспектор по отделам кадров. Меня интересует, Константин Владимирович, вот что. Вы служили в разведке во время войны?

— Да. Это записано в анкете.

— Ради бога, забудем про анкету. Передо мной вы, живой человек, анкета — это бумага, так сказать. — Соловьев с извиняющейся полуулыбкой кончиком пальцев прикоснулся к

стаканчику, наполненному отточенными карандашами. — Вы всю войну служили в разведке? Именно в разведке?

— Да.

— И, судя по вашим наградам, вы были хорошим и, так сказать, смелым разведчиком, отлично выполняющим задания командования. Вы, наверное, не раз приносили полезные данные, различные сведения о противнике. Я вижу, вы любили свое дело, правда ведь?

— Разведчиком я стал случайно. Как многие на войне стали случайно артиллеристами, пехотинцами, штабистами и прочими.

Соловьев, улыбаясь, ласково перебил его:

— Я понимаю. Но я говорю о результате. Вы же на войне не меняли свою профессию? Значит, она вам нравилась? Константин Владимирович, сколько у вас наград?

— Шесть. Я уже сказал об этом товарищу Куняеву. В анкете — точно.

— Ради бога! — несильным своим голосом и предупредительно воскликнул Соловьев. — Вы опять об анкете. Я хочу говорить о жизни, а вы об анкете! — Он даже оттопырил розовую губу. — Я вас не утомила? Мне кажется, вы чересчур скромничаете, Константин Владимирович. Мне почему-то кажется, что у вас больше наград, — какое-то интуитивное, понимаете ли, чувство. Ведь почти каждый офицер-разведчик награждается или холодным оружием, или же... огнестрельным. Я тоже немного воевал, не так, как вы, конечно, но знаком... Приходилось... встречаться и с офицерами разведки.

— Вы хотите спросить, награждался ли я оружием? Награждался ли я? Это вас интересует?

«Михеев!.. Да, Михеев!» — мелькнуло у Константина, еще не успевшего обдумать ответ, еще не успевшего нащупать все связи этого разговора, но чувствующего эти связи, и мгновенный страх незаметно и тихо надвигающейся опасности ощутил он.

Этот приятно воспитанный Соловьев сидел перед ним дружелюбно, уронив на край стола сложенную лодочкой мраморно-чистую, без следов волоса кисть, лицо длинно, бело, интеллигентно, как у людей, имеющих дело с книгами.

Высокие залысины научного работника, доцента, над залысинами чуть курчавились барашком темные волосы — узкий мысок над благородным лбом. И, излучая уважение, доверчивую внимательность к собеседнику, поминутно встречали взгляд Константина его мягко-карие, почти девичьи глаза. В этом лице, в голосе Соловьева не было острой опасности, мрачной темноты, скрытой предупредительными манерами, — и он вдруг представил себя в ином положении и в ином положении Соловьева — и, представив это и глядя на белую слабую руку на краю стола, покручивающую стаканчик от карандашей, он подумал еще: «Михеев! Он разговаривал с Михеевым...»

— Почему вы задали этот вопрос: награждался ли я оружием? — спросил Константин с наигранным изумлением. — Не понимаю вас, товарищ инспектор. Как говорили на Древнем Востоке: «Слабосильны верблюды моих недоумений!»

— Почему я задал этот вопрос? — корректно повторил Соловьев и смиренно наклонил голову, точно не желая замечать взгляда Константина и обострять разговора. — По долгу службы. Я обязан иногда просматривать старые документы времен войны. Простите, это не проверка, не подумайте лишнего! Это обязанность. Мне случайно попались в архиве ваши документы тысяча девятьсот сорок четвертого года. Мне непонятна ваша скромность, Константин Владимирович. В старой анкете записано вашей рукой, что вы награждены

оружием, пистолетом «вальтер» за номером... одну минуту... — Соловьев скользнул кистью за борт пиджака, достал из кармана листочек бумаги, развернул. — Пистолетом «вальтер» за номером одна тысяча семьсот шестьдесят три, — добавил он ровным голосом. — Пистолет, разумеется, получен вами за храбрость, за проявленную доблесть. Так зачем же так скромничать, Константин Владимирович? Нужно было внести эту заслуженную награду в анкету. И все было бы кончено. То есть все встало бы на свои места. Вы могли его сдать или не сдать — это уже дело военкомата. Меня интересует чисто человеческая сторона. Зачем скрывать награду, заслуженную кровью?

— Я действительно был награжден пистолетом «вальтер», — ответил Константин. — Но в сорок пятом году перед отъездом в тыл я сдал его в штабе дивизии в Будапеште. Следовательно, такой награды у меня нет.

Соловьев неслышно положил ногу на ногу, охватил щиколотку пальцами.

— У вас, конечно, есть документы о сдаче оружия?

— Какие могли быть документы в сорок пятом году, когда началось повальное движение славян на родину?

— Но... дается документ о сдаче наградного оружия. Именно наградного.

— В те времена подобные документы не выдавались. Все было проще.

Соловьев задумался на минуту; свет солнца из окна падал на его опущенные веки, на прозрачное от бледности лицо, четко просвечивал курчавый мысок над белым высоким лбом, и этот жестко курчавый мысок почему-то бросился в глаза Константину, когда губы Соловьева выгнулись внезапно полумесяцем, блеснула улыбка, но уже насильственная, нетерпеливая — Константин заметил это по странному несоответствию черных волос и белых зубов.

«Михеев!.. Михеев!..» — опять подумал он с ледяным потягиванием в животе.

Соловьев поднял глаза и спокойно, казалось, погрел ладонь на блестящем стекле: маленькая кисть была вроде бескостной, — белела на столе: он глядел на нее и продолжал улыбаться.

— Константин Владимирович, — заговорил он ласково, — наградное оружие — это ваша биография и это ваше дело. Ради бога, не подумайте, что это меня касается. Ради бога! Я готов забыть свои вопросы, простите великодушно. Но другое касается меня. — Ладонь Соловьева замерла на стекле. — Меня, как советского человека, и вас, разумеется, как советского человека и, если хотите, как бывшего разведчика, человека в высшей степени бдительного. Разведка — ведь это бдительность, я не ошибаюсь?

— Вы не ошибаетесь.

— Ну вот видите. И здесь, Константин Владимирович, мне бы очень хотелось чувствовать ваше плечо. Я говорю с вами очень откровенно, Вы — уважаемый человек, вас, как я знаю, любят в коллективе. Вы по образованию — почти инженер, начитанны, разбираетесь в людях...

— Не много ли достоинств вы записываете на мой счет? — сказал Константин. — Я ничем не отличаюсь от других. Вы меня мало знаете.

— Я вам верю, Константин Владимирович. Я от всей души... очень вам верю! — проникновенно, с подчеркнутой доверительностью в голосе произнес Соловьев. — Нет, я не ошибаюсь. Я представляю людей вашего коллектива. Хорошие люди. Очень хорошие люди... Но... в последнее время поступают не совсем хорошие сигналы... Мы, советские люди, не должны смотреть сквозь пальцы на некую легкомысленность, аморальность. Как называют,

темные пятна прошлого... Не так ли? Мы должны охранять чистоту советского человека, воспитывать... Вот, например, шофер Легостаев... Сенечка, вы его зовете... — Соловьев при слове «Сенечка», развеселившись, точно оттенил юмором имя «Сенечка», как бы пробуя его на вкус. — Веселый, хороший парень, верно ведь? А ведь что говорят: знакомит пассажиров с девицами легкого поведения, развозит их по каким-то темным квартирам... Правда разве это? Ну просто мальчишеская легкомысленность?.. Ну, что вы скажете об этом?

— Не знаю. Не замечал.

— Да, конечно, это не все знают, — согласился Соловьев совсем весело. — Да, да... С молодежью разговаривать по меньшей мере трудновато, тем более — воспитывать... Ох, молодежь, молодежь! Еще хочу посоветоваться с вами, проверить, что ли, Константин Владимирович. Сигналы тоже бывают ошибочны, неточны... Есть у вас... уже пожилой, уважаемый шофер, старый член партии Плещей Федор Иванович. Правда, что он груб, прямолинеен, резок, понимаете ли? Не так ориентирует коллектив... ну, в некоторых серьезных вопросах, — говорят, конечно, с преувеличением... Мне хотелось бы разобраться. Ну, как это так? Я слышал, — Соловьев беззвучно засмеялся, как смеются в обществе, давясь от услышанного мужского анекдота, — его даже... его ядовитого язычка... побаивается ваш директор... Гелашвили. Верно, а?

— Не знаю. Не замечал, — повторил Константин.

Его обматывала, туго и клейко опутывала паутина слов, тихо и ровно стягивающих, как невидимая сеть; в них не было ни осуждения, ни требовательного допроса — в них был только намек, смешливое, снисходительное любопытство немного знакомого с людскими слабостями человека, который не хочет ничего осложнять, ничего преувеличивать. Но сквозь текучую паутину слов, сквозь эти туманно мерцающие полувопросы Константин напряженно угадывал нечто такое, что не касалось уже его (это он ожидал все время разговора), а было ощущение, что его расчетливо и вежливо прощупывают, прощупывают его связи и отношения к Легостаеву, к Плещею; и Константин вдруг, ужасаясь своей смелости, похожей на опасную игру, прямо глядя в мягкие и ясные глаза Соловьева, спросил:

— А можно без езды по проселочным дорогам? Скажите, для чего этот разговор?

— Ну что ж, давайте, — живо и весело согласился Соловьев, и Константин, не ожидавший этого охотного согласия, с зябким холодком и напряжением во всем теле увидел, как зашевелились близкие губы Соловьева, потом услышал конец фразы: — ...понял, что вы достаточно умный человек! И я очень хотел, чтобы вы, именно вы, бывший разведчик, помогли нам...

— Кому — «нам»?

— Мне, — уточнил Соловьев, поправляясь. — Мне. Человеку, обязанному воспитывать людей, Константин Владимирович.

— То есть, — перебил Константин. — Тогда... что же я должен делать?.. Я не понял.

— Вы понимаете, Константин Владимирович, — произнес Соловьев и не спеша носовым платком чистоплотно провел по бровям, по ямочке на подбородке.

— Вы ошибаетесь, — вполголоса сказал Константин. — Должен вам сказать... Я работаю с отличными ребятами и ничего такого не замечал, не видел!

— Константин Владимирович! — с укоризненной мягкостью проговорил Соловьев и сделал расстроенное лицо. — Ай-ай-ай, я с вами разве ссорюсь? Разве был повод?



— Простите, — Константин поднялся. — Мне можно идти? У меня в пять — смена.

— Одну минуточку. — Соловьев тоже встал. — Потерпите одну секундочку.

Он взял Константина за пуговицу, словно бы в раздумье покрутил, нажал на нее, как на звонок; доброжелательной мягкости не было на его лице — сказал твердо:

— Да, хорошие ребята. Не сомневаюсь. Но как вы относитесь к тому, что у одного из ваших шоферов есть огнестрельное оружие, которое он пускает в ход с целью угрозы? Как вы назовете это, Константин Владимирович? Потом разрешите еще вопрос. После войны вы работали шофером у некоего Быкова Петра Ивановича?

— Да, работал, а что?

— Вы не ответили на первый вопрос.

Безмолвно Соловьев склонил набок голову, точки зрачков обострились, застыли, прилипнув к зрачкам Константина, этим молчанием и взглядом испытывая его.

— Вы, к сожалению, ошибаетесь, товарищ Соловьев! — глухо проговорил Константин, беря с сейфа шапку. — Вы глубочайшим образом заблуждаетесь. Вы сами говорили: сигналы бывают ошибочны. Так разрешите мне идти?

Не отводя зрачков от лица Константина и не меняя позы, Соловьев проговорил отчужденно и размеренно:

— К сожалению, я уже ничем не смогу вам помочь. Если кое-что подтвердится! До свидания, Константин Владимирович. На этой бумажке мой телефон. Возьмите. Может быть, пригодится. Желаю вам счастливой смены. Надеюсь, этот разговор был между нами...

«Вот оно что!» — подумал он.

В парке не было ни Плесца, ни Акимова, ни Сенечки Легостаева — выехали на линию.

Знакомый звук моторов, не прекращаясь, толкался в стекло, в цементный пол, в стены; эхом хлопали дверцы; усталой развалочкой шли шоферы от прибывавших из рейсов машин, толпились возле окошечка кассы, считали деньги, бережливо вытаскивая их из всех карманов, держали путевые листы; нехотя переругивались с дежурным механиком, щупающим царапины на крыльях, ударяющим носком ботинка по скатам. Были обычные будни, к которым Константин привык, которые были такими же естественными, как сигареты в кармане.

Но Константин, выйдя из коридора отдела кадров, сразу почувствовал какое-то резкое смещение, какую-то угловатую и тусклую неверность предметов, испытывая странное отъединение от всего этого, точно и звуки, и голоса, и машины, и лица шоферов, и солнце в окнах — все было временным, непрочным, не закрепленным в своей привычной реальности.

«Михеев! — подумал он, ища глазами. — Михеев!»

И Константин даже обрадовался: «Победа» Михеева ожидала на выезде, и он стоял возле. Была видна спина его, широкий и сильный наклоненный затылок. Михеев тряпочкой аккуратно протирал капот, закраины крыльев, но локти его двигались сонно, и спина, обтянутая полушубком, казалось, тоже спала.

«Вот он, Михеев! Вот он...»

— Люблю я тебя, Илюша, и сам не знаю за что! — проговорил Константин и сзади уронил руку на плечо Михееву.

Тот, вскрикнув, испуганно обернулся, длинные волосы щеткой легли на воротник, зеленоватые глаза округлились.

— Ты... зачем меня?.. Ты что?

И Константину показалось — Михеев ждал его.

— Ничего страшного. А все же мне кажется, что ты сволочь, Илюшенька! — сказал Константин, не отпуская напрягшееся плечо Михеева. — Очень похоже! Я не ошибся?

Михеев вырвал плечо, оцетинившимся медведем отпрянул в сторону, щеки побелели.

— Ты чего пристал? Сильный, что ли? — придушенно выкрикнул он. — Драться будешь? — И суетливым движением раскрыл дверцу, схватил гаечный ключ на сиденье. — Не подходи! Я тебе — смотри! Оглушу! Пристал!..

— Предупреждаю, заткнись!

Константин шагнул к нему, взялся за отвороты полушубка Михеева, с силой придавил спиной к дверце, так что тяжко дернувшаяся рука его, в которой был ключ, зацарапала по металлу, — и пошел к своей машине с невылитой, тошнотворной в эту минуту ненавистью к Михееву, к себе, к своему бессилию.

— Константин Владимирович!

Навстречу от курилки пробирался среди машин Вася Голубь, его сменщик, совсем мальчик, с мускулистой фигурой гимнаста; приблизился, сияя весь. Он грыз вафлю, раскрытую пачку протянул Константину.

— Подкрепитесь! Лимонная. Ждал вас, ждал! Запоздали. Я вам даже записку написал, в машине оставил. С драндулетом все в порядке, немного тормоз барахлил — подтянули. Возьмите вафлю, какие-то лимонные стали выпускать! Как у вас перед сменой?

— Прекрасное настроение, — сказал Константин. — Дай-ка попробую вафлю. Все хорошо, Вася.

Выехав из парка, он откусил кусок от вафли. Вкус ее был приторно-вязок, душист, как тройной одеколон. Он выбросил вафлю в окно, закурил терпкую и горькую сигарету.

8

— Нас, пожалуйста, на Тверской бульвар.

Он не взглянул на пассажиров, машинально переключил скорость. Потом донесся молодой басок, разговор и смех за спиной, но Константин не слушал, не разбирал слов — как он ни пытался после выезда из парка вернуть прежнее спокойствие, это уже не удавалось ему. Было ощущение рассчитанной или не случайно поставленной ловушки; он еще не верил, что

дверца захлопнется, но вдруг огляделся и увидел, что дверца позади задвигалась. И он еще понял, что полчаса назад ему терпеливо, вежливо и настойчиво предлагали выход. Но не понимал одного — почему, зачем и для чего это делали, если знали, что у него было оружие? Тогда с какой целью испытывали его?

«Так ли все это?»

— Ты не смейся! Ну, какое же это зло, Люба? — услышался громкий голос с заднего сиденья. — Это же скорее добро! Поверь. Она поймет, что я не отнимаю тебя у нее...

«Зло?.. — думал Константин, глядя на асфальт, мчавшийся под колеса островками блещущего под солнцем льда. — А что же — добро? „Добро“, — с неприязнью вспомнил он сморщенное, плачущее лицо человека, ночью топтавшего свою шляпу возле парикмахерской. — Именно... понятие из библии. Белого, непорочного цвета. Ангельской прозрачности. Голубинового взгляда. Божественно воздетого к небу. И венец над головой, черт его возьми! Прав был тот, топтавший шляпу? Да, именно! А добренькое добро наивно, доверчиво, как ребенок, чистенько, боится запачкать руки. Оно хочет, чтобы его любили. Оно очень хочет любви к себе. И я хотел любви к себе, улыбался всем, ни с кем не ссорился, дайте только пожить! Быков... настроил донос. Очная ставка! И — поверили!.. Но почему он спросил о Быкове?.. Изучал анкету? Наводил справки? Как это понять: „После войны вы работали с Быковым“?»

«Так что же? И с тобой так? Верить в чистенькое добро? И что же? И что же?»

Он очнулся оттого, что невольно глянул на пассажиров в зеркальце — в нем как бы издали дрожал пристальный взгляд девушки и донесся из-за спины убеждающий басок, особенно четко расслышанный Константином:

— Пойми, Люба, мама не будет возражать. Ты просто хочешь мне зла! Мы скажем ей все. У матери комната. Люба, ты должна жить у меня.

— Но я не могу, не могу! Я не хочу ссориться с твоей матерью. Мне кажется, она ревнует тебя ко мне.

— Люба...

В зеркальце возникла юношеская рука, поползла на воротник к подбородку девушки, и рыжая кроличья шапка парня надвинулась на зеркальце, загородила ее лицо, ее рот.

Константин сказал:

— Тверской бульвар.

Когда они сошли, он посмотрел им вслед. Они стояли на тротуаре, парень что-то быстро говорил ей, она молчала.

«А Ася... Ася! Как же Ася?»

Трое сели на Пушкинской площади — один грузный, головой ушедший в каракулевый воротник, щеки мясистые, лиловые от морозца, на коленях портфель с застежками на ремнях.

Отпыхиваясь, тучным своим телом создав на переднем сиденье тесноту, жирным баритоном

сказал:

— Прошу нажать, уважаемый водитель!

— Нажму, если выйдет.

Грузный человек рассеянно покопался в портфеле, подал какую-то бумагу двоим на заднем сиденье, потом, мучаясь одышкой, начальственно заговорил:

— Ну и что же, что же, товарищ Ованесов? Вы считаете, что я волшебная палочка, что я вам из-под земли грейферные краны достану? Министр, только министр... Резолюция Василия Павловича — и пожалуйста! Выше Василия Павловича не прыгнешь — портки лопнут! Тр-ресь по швам — и по шее еще дадут!.. Ха, строители-мечтатели! Дети вы, дети! Расчеши вас муха!..

Молодой голос сказал сзади:

— Шахта будет пущена в эксплуатацию в этом году. Вы прекрасно знаете, что шахта союзного значения, с новейшим оборудованием. Шахта без грейферных кранов — чемодан без ручки, Михаил Михалыч! Как вы предлагаете — лес вручную разгружать? Рабочим носить бревна под мышками? Ошибаетесь, мы не дети! Мы и зубки можем показать, Михаил Михалыч! Мы будем драться, Михаил Михалыч.

В зеркальце — молодые вызывающие глаза с упрямством устремлены на грузного человека; тот захохотал, колыхнул животом портфель на коленях.

— Давай жми, Сизов, грабь, выколачивай, пиши письма! У меня пятнадцать новых шахт на шее, вот где! — Он похлопал себя сзади по каракулевой шапке. — Сроки! План! Проектная мощность! И все требуют, на горло наступают, дерут! Вы что ж думаете — я один решаю? Вам там в Туле хорошо, а мне, мне как?

Третий произнес:

— Вам лучше, как видно, Михаил Михалыч.

— Что, что? — осерженно пробормотал грузный. — Как это — лучше? Строители-мечтатели!.. Что? Как? Хотите в план анархию ввести?

— Вы, кажется, из Тульского бассейна? — неожиданно для себя спросил Константин. — Как я понял.

— А? — Грузный повел глазами в его сторону. — Что такое? Давай знай, такси, в угольное министерство! Нечего тут прислушиваться, понимаешь!

Не меняя выражения лица, Константин спросил:

— Вы не двоюродный ли брат коммерческого директора Петра Ивановича Быкова? Вы хозяйственник, не правда ли?

— Малахольный... Нас везет малахольный шофер! Вы трезвы, товарищ? — Грузный пыхнул хохотом, придерживая на коленях портфель. — Какой еще Быков, драгоценный мой?

Константин сказал:

— Мне показалось. Извините, если ошибся. Площадь Ногина. Прошу вас. Министерство угольной промышленности. По счетчику. И ни копейки больше.

Он остановил машину у подъезда, насмешливо взглянул на грузного, завозившегося с полкой

драпового пальто — доставал деньги.

Они вышли. Грузный, заплатив точно по счетчику, зашагал по хрустевшему стеклу застывших луж — к подъезду, у широкой двери сердито-удивленно оглянулся, двое тоже оглянулись — Константин с бесстрастным выражением смотрел на серое здание министерства.

На бульварах он обогнал «Победу» Сенечки Легостаева и притормозил машину, опустив стекло, — студёный воздух, металлически пахнущий ледком, мерзлой корой зимних бульваров, охолодил лицо. И тотчас Сенечка, заметив притершуюся рядом машину, нагло ухмыляясь, убрал стекло, крикнул Константину:

— Как делишки? Живем?

— Пожалуй.

— Вечером, Костька, время найдешь? Хочу познакомить тебя! Прелестные девушки! — Легостаев сдвинул со лба шапку, моргнул на заднее сиденье. — Как, а? Первый класс!.. Глянь! Убиться можно!

— Знаешь что...

— Так как? А?

К стеклу из глубины сиденья наклонились, прислонясь щеками, два женских напудренных личика — одинаковые пуховые шапочки, кругло подведенные брови, чересчур алые губы выделялись вместе с расширенными вопросительными глазами. Одна из них, оценивающе сощурясь, равнодушно поманила пальчиком в черной кожаной перчатке. Константин усмехнулся, отрицательно покачал головой. И тогда другая, постарше, вздернув черные выщипанные брови, грубовато просунула кисть к щеке молоденькой, рывком отклонила ее от стекла и, засмеявшись Константину мужским смехом, поцеловала ее в губы.

— Как? Шик! Парижские девочки! — подмигнул Легостаев восхищенно. — И такие по земле ходят! Дурак ты женатый, Костька!

— Я бы тебе посоветовал бросать все это к чертовой матери! — сказал Константин. — Ты это понял?

— Чихать я хотел! К чему придерешься? — крикнул Легостаев. — Пусть план с меня требуют! Чего бояться-то? Я человек честный!

— А я бы тебе посоветовал бросать это к черту, — повторил Константин. — Ты понял, Сенька?

— Живи, Костька!

«Победа» Легостаева свернула в переулок, и Константин, нахмурился, поднял стекло — машину продуло жестким холодом, выстудило тепло печки; он подумал почти с завистью: «Сенечка живет как хочет. Что ж, когда-то и я жил так, не задумываясь ни над чем. Но тогда не было Аси, тогда ничего не было. Было только ожидание. Что же это со мной? Страх за себя? За Асю? Страх? Может быть, опыт рождает страх? Привычка к опасности — вранье! Только в первом бою все пули летят мимо. Потом — рядом гибель других, и круг суживается...»

Он вывел машину на Манежную площадь и посмотрел на ресторан «Москва», испытывая щекочущий холодок в груди, затормозил в ряду машин у светофора возле метро, напротив входа в ресторан. Там, за колоннами, откуда от высоких дверей тогда ночью сбегали трое (он тогда увидел троих, как он помнил), сейчас никого не было. Только ниже ступеней толпа двигалась к метро, переходила на улицу Горького, выстраивались очереди на троллейбусных остановках — обычная зимняя будничная толпа. И, глядя на толпу, он почему-то успокоился немного.

«Но Михеев... Соловьев... — подумал опять Константин с прежним тошнотным ощущением. — Почему он спросил о Быкове? Почему он напомнил о Быкове?»

Красный свет в светофоре скакнул вниз, перешел в желтый, перескочил в зеленый.

Ряд машин тронулся.

Руки его, от волнения ставшие влажными, вжались в баранку, привычно гладкую, округлую поверхность ее; и в это время кто-то, запоздало выскочив из троллейбусной очереди, свистнул («Эй, эй, такси!»), но он проехал через перекресток на улицу Горького с облегчением, что не посадил никого.

На площади Пушкина свернул к стоянке такси — в очереди он был пятый, — вышел из машины купить сигареты. Он сунул деньги в окошечко табачного ларька и, когда брал сигареты со сдачей, сбоку пьяно навалился, ерзая плечом, молодой парень в кепочке, осипло говоря:

«Мне, трудящему человеку, „Беломор“». И Константин, теряя мелочь, не увидел, не успел разобрать черты его лица, выругаться.

В десяти шагах от ларька, на углу, около телефонной будочки вполоборота стоял невысокого роста, с покатыми плечами борца мужчина в спортивном полупальто, стоял, развернув газету, невнимательно пробежал строчки и одновременно из-за газеты взглядывал на площадь, на близкую стоянку такси, — и Константин почувствовал оглушающие горячие прыжки крови в висках.

Не попадая пачкой сигарет в карман, Константин двинулся по тротуару, внезапно свинцовая тяжесть появилась в затылке, в спине, в ногах. Эта тяжесть тянула его книзу, назад, непреодолимо требовала обернуться туда, на угол, но он не обернулся. Он с правой стороны влез в машину, включил мотор и лишь тогда, преодолевая эту тяжесть в спине, в затылке, оглянулся назад. Человека с газетой на углу не было.

«Все!.. — подумал Константин. — Я не мог ошибиться!.. Что же это, что же? За мной следят? Может быть, я не замечал раньше? Не обращал внимания? Или это мания преследования?»

9

— Квартира тридцать семь — на третьем этаже?

— Кажется.

На площадке третьего этажа, пахнувшей едкой кислотой, Константин отдышался, посмотрел в огромное окно, ощущая коленями накаленную паровую батарею. Машина стояла внизу у края

тротуара, на другой стороне этой тихой и узенькой окраинной улицы; желтели окна в деревянных домах.

И мимо них, мимо фонарей и машины косо летел легкий снежок.

Константин подождал на площадке, успокаиваясь перед темными дверями незнакомых квартир с черными пуговками звонков, почтовыми ящиками; запыленная, в разбитом плафоне лампочка тлела под потолком, на стены сочился свет, как в мутной воде.

— Тридцать семь...

Он вполголоса откашлялся, подошел к двери с номером «37» — массивной, дубовой, какие бывают только в старых домах, и тут же сильным нажимом позвонил два раза.

Звонок заглушенно прозвучал где-то рядом, за дверь; показалось, смолк, будто в далеком пространстве, и Константин позвонил еще раз — долгим, непрерывным звонком.

Он ждал, притискивая пальцем кнопку; этот раздражающе-серый огонь лампочки на площадке слабо освещал массивную дверь, и железный почтовый ящик, и потускневшую на нем наклейку какой-то газеты.

— Кто там?

— Простите, Быков здесь живет?

— А в чем дело? Кто?

— Откройте, пожалуйста.

Загремели ключом, щеколдой, защелкали французским замком, потом дверь приоткрылась, возникла в проеме, задвигалась полосатая пижама, половина освещенного лица, ежик волос. И Константин, рывком оттолкнувшись от косяка, шагнул в переднюю и сейчас же, не поворачиваясь, захлопнул дверь за собой, услышав сзади звонкий стук замка.

— Здравствуйте, Петр Иванович! — проговорил он. — Сколько лет, сколько зим! Не разбудил вас? Не узнали?

— Кто? Кто?

Быков, заметно постаревший, дрогнув опавшим, даже худым, лицом с темными одутловатостями под глазами, отшатнулся к шкафу в передней, не узнавая, стал подымать и опускать руки, выговорил наконец:

— Костя?.. Константин?..

— Угадали? Что ж мы торчим в прихожей, Петр Иванович? — сказал Константин наигранно-радостно. — Проводите в апартаменты, не вижу гостеприимства! А где же Серафима Игнатьевна?

Быков, изумленно собрав бескровные губы трубочкой, попятился от шкафа в комнату, из которой розовым огнем светил висевший над столом абажур, и, не сумев выговорить ни слова, указал рукой.

— Благодарю, — сказал Константин.

В комнате, громоздко заставленной мебелью, кабинетными кожаными креслами, старинным зеркальным буфетом, отливающим на полочках стеклом посуды, ваз, рюмок, Константин, не сняв куртки, тотчас упал в кожаное кресло, бросил на комод шапку, выложил на плюшевую

скатерть сигареты, спички, глянул на Быкова.

— Ну вот! — произнес он. — Теперь я вижу, как вы устроились. Кажется, неплохо. Адресный стол дал точный адрес. Прекрасный тройной товарообмен. Соседи не мешают?

— Рад я, Костя, рад... Пепельница... на буфете, Костя, — проговорил Быков и снова поднял и опустил руки. — Ах, Костя, Костя...

— Что же вы стоите, Петр Иванович?

В углу комнаты над диваном малиновым куполом светился торшер; на тумбочке стакан с водой, какой-то порошок; вдавленная подушка лежала на диване, и Быков сел возле нее, подобрал ноги в тапочках, пижамные брюки натянулись на коленях; все его неузнаваемо осунувшееся лицо пыталось выразить нечто похожее на улыбку.

— Костя... Костя... Да, Костя, вот живу здесь... Коротаем преклонные годы... Далеко от центра, от метро. Сообщение автобусом. И... и магазинов мало, — заговорил Быков слабым, растроганным голосом. — Магазинов мало... Неудобно я обменял, Константин, неудобно... Скучаю по старой квартире. А Серафима Игнатьевна гостит в Ленинграде, у дочки... Верочка замуж вышла... А я вот третий месяц как из больницы вышел, операцию перенес, Костя. Вот как получилось.

Константин намеренно не смотрел на Быкова, смотрел на коробок, по которому чиркал спичкой с нарочитой неторопливостью; закурил, сказал:

— А я, признаться... — Константин проследил, как дым сигареты шел к абажуру, струей толкаясь в него. — Признаться, я не думал застать вас дома, Петр Иванович.

— То есть как? Почему же, Костя? — спросил и поперхнулся вроде Быков. — Кончаю в восемь часов. В театры, концерты не хожу. Стар. И болен я... Да и никогда не ходил. У меня семья... сам знаешь. Эх, Костя-Константин, вспоминал тебя, все время помнил я. Как же я рад, что заглянул ко мне, обрадовал старика. Вот спасибо. Лады. А то бирюками живем... знакомых никаких нет. Спасибо. А я слышу, звонок, думаю: «Ну кто бы это, ошибся кто?» Пить мне категорически нельзя, а может, ты рюмочку пропустишь? Ах, спасибо, что пришел! Жаль, Серафимы Игнатьевны нет, она тебя... вспоминала...

Константин заинтересованно прищурился на него.

— Признаться, я думал, Петр Иванович, — упорно договорил он, — что вы давно... — Он показал перекрещенные пальцы. — Оказывается, нет. Приятно удивлен. Просто не верится. Ну что ж, видимо, не все сразу.

— Шутишь все? Неужто не изменился совсем? — Быков качнулся вперед, беспокойно заелозил по полу тапочками. — Ах, не изменился ты, Константин. Вроде вон седина на висках, а не изменился. Весело проживешь жизнь.

— Не верится. Неужели это вы, Петр Иванович Быков? — проговорил Константин. — Не верится.

Быков сидел перед ним, весь седой, отечный, моргая красноватыми припухлыми веками, и Константин видел его какое-то опавшее желтое лицо, его странно костистый покатый лоб, открытую волосатую грудь и спущенные на сливочно-белых ногах шерстяные носки, теплые тапочки — эти признаки домашности и семьи; видел ковры на стене, диван, громоздкую, не без претензии на роскошь мебель, как будто стиснувшую со всех сторон его, — и медленно повторил:

— Неужели это вы, Петр Иванович Быков? И я у вас когда-то работал?



— Что? — приоткрыл веки Быков и уперся растопыренными пальцами в диван. — Ты, Костя, вроде не в духе никак? Ах, шут тебя возьми, всегда ты был парень с шуточкой. Давай-ка, — он устало поднялся, старчески зашаркал тапочками, направился к буфету, — пропусти малую за здоровье да вспомним старое, мы ведь с тобой, Константин...

Константин покусал усики.

— Что ж, не пропустим, но — вспомним! Вот это ваш письменный стол, уважаемый Петр Иванович? Вот этот ваш? Что здесь — бумаги, деньги?

Быков уже держал графинчик, вынутый из буфета, повернул голову, замер; дверца буфета, скрипя, закрываясь, уперлась в его плечо, собрав складкой пижаму.

— Ты что, Константин? — спросил он и понял. — Никак за деньгами приехал? Чудак, сразу бы и сказал. Найдем. Вчера как раз получку получил. Да много ли тебе надо? Бери. Ничего, сведем концы с концами! Бери.

С графинчиком он приблизился к широкому письменному столу, выдвинул ящик, затем отсчитал в нем несколько ассигнаций.

— На, двести пятьдесят тут, потом отдашь, будет если... Ну садись, выпей маленькую. Где работаешь-то?

— В уголовном розыске, — сквозь зубы сказал Константин и двинулся к столу, упрямо и зло глядя в глаза Быкова. — Меня интересуют не водка, не деньги, Петр Иванович! Меня интересуют доносы. Все копии ваших доносов! Вы меня поняли? И если вы сделаете шаг к двери... — выговорил он с угрожающим покоем в голосе. — Я не ручаюсь за себя! Руки чешутся, терпения нет! Ясно? Будете орать — придушу вот этой подушкой. Все поняли?

Быков, болезненно выкатив белки, не закончил наливать из графинчика, синие губы собрались трубочкой, пробормотал:

— Ты — как?.. Как?..

Он стукнул графинчиком о стол около недолитой рюмки; щеки его стали пепельно-серыми, кожа натянулась на скулах.

— Эх ты, Константна, Константин!.. За кого ж принимаешь меня?.. О чем говоришь? Неужели серьезно ты?

— Благодетель вы мой, запомните — я вас не идеализирую! — Константин, все покусывая усики, твердо глядел сверху вниз в лицо Быкова. — Ну, я жду основное: копии доносов. Первый — на Николая Григорьевича Вохминцева. Второй — на меня. Хочу познакомиться с содержанием — и только. Вы меня поняли?

Стало тихо. Было слышно, как жужжал электрический счетчик на кухне.

Быков отрывисто и горько засмеялся.

— Эх ты, герой, ерой. — Он задергал головой; капельки влаги выступили на покрасневших веках. — Я к тебе как к человеку, Константин, а ты — эх! Герой, а у ероя еморрой! Налетчик! Ты знаешь, что за это тебе будет?.. Знаешь, что бывает по закону за насилие? За решетку посадят! Жизнь на карту ставишь?

— Да, Петр Иванович! Пока вы строчите доносики — ставлю. Пока.

— Значит, что ж — убить меня, Константин, хочешь?

— Может быть. Где копни доносов?

— Какие доносы? Обезумел? — вскричал Быков. — С Канатчиковой сбежал?

— Вот что, Петр Иванович, — сказал Константин. — Вы сейчас сделаете то, что я вам скажу, иначе... Когда у вас была очная ставка с Николаем Григорьевичем? В сорок девятом году? В этом же году вы настроили доносик на меня после истории с бостоном? Ну? Так? Или иначе?

— Врешь!

— Садитесь к столу! — Константин резко пододвинул бумагу на середину стола. — А ну, берите ручку, пишите! Вы напишете то, что я вам скажу.

— Что-о?

— Вы напишете то, что я вам продиктую! И это будет правдой.

— Да ты что — с Канатчиковой сбежал? — выговорил Быков и отступил к дивану, широкие рукава пижамы болтались на запястье. — Чего я должен писать? С какой стати? Чего выдумал?..

— Вы это сделаете! — оборвал Константин. — Сейчас сделаете! Садитесь к столу! Что смотрите?

Константин с силой подтолкнул Быкова к столу, чувствуя рукой его дряблое, незащищающееся тело, но то, что он делал в этой комнате, пахнувшей сладковатым лаком старой мебели, и то, что говорил, — все как будто делал и говорил не он, не Константин, а кто-то другой, незнакомый ему. И вдруг на секунду ему показалось — все, что делал он, слышал и видел сейчас, происходило как будто бы и существовало в отдалении: и странно малиновый купол торшера, и стол, и деньги на столе, и звук своего голоса, и ватный, ныряющий голос Быкова, и движения собственных рук, ощутивших дряблое тело. Где-то в неощутимом мире жили, работали, целовались, ждали, плакали, любили, гасили и зажигали свет в комнатах люди, где-то медленно шел снег, горели фонари и по-вечернему светились витрины магазинов, но ничего этого точно и осмысленно не существовало сейчас, словно земля, предметы ее потеряли свою реальную и необходимую сущность; и то, что он делал, не было жизнью, а было чем-то серым, отвратительным, водянистым, зажатым здесь, в этой комнате, как в целлофановом сосуде.

— Костя!.. Что же ты делаешь?

«Действительно, что я делаю с ним? — подумал Константин. — Так не должно быть. Я делаю противоестественное... Если все это можно делать, тогда страшно жить!»

Он посмотрел на Быкова.

Быков стоял перед столом в расстегнутой пижаме, пальцы корябали желтую грудь, покрытую седым волосом, зрачки застыли на руках Константина.

— Костенька, это что же, а? Зачем? По какому праву?

«А ему было страшно, когда писал доносы? — подумал почему-то Константин. — Мучила его совесть?»

— А по какому праву... — произнес Константин, и тут ему не хватило воздуха, — по какому праву вы, черт вас возьми, писали доносы, клеветали — по какому? Если у вас было право, оно есть и у меня! А ну садитесь и пишите: заявление в МГБ от Быкова Петра Ивановича. Что

стоите? Поняли?

— Что ты говоришь? Костя! — крикнул Быков и заморгал одутловатыми веками. — Какое заявление?

— Все вспомните. И о доносе. И об очной ставке двадцать девятого января, где вы... вели себя как последняя б...! Двадцать девятого января! Вот это и напишите, что оклеветали невинного человека, честного коммуниста! Напоминаю: двадцать девятого января была очная ставка!

Константин сдвинул локоть Быкова, подвел его к столу, и Быков, выставив короткие руки, словно бы слабо защищаясь, внезапно обессиленно повалился на стул и, сгорбясь, задергался, заплакал и засмеялся, выговаривая сдавленным шепотом:

— Что ж ты делаешь? Ты думаешь, вот... испугал меня? Да меня жизнь тысячу раз пугала... Эх, Константин, Константин. — Быков на миг замолчал, клоня дрожащую голову. — А если я тебе скажу, что много ошибался я. Если скажу... И на очной... вызвали, коридоры, тюрьма... не помню, что говорил! Ошибся!.. Только в одном не ошибся... Я ж знаю, что у меня за болезнь. Язву, говорят, вырезали! А я знаю...

— На меня тоже, старая шкура, перед смертью донос написал?

Быков вскинул свое желтое, в пятнах лицо, жалко отыскал глазами Константина, а слезы скатывались по трясущимся щекам, и он по-детски торопливо слизывал их с губ, повторяя:

— Не писал, не писал! На тебя не писал! Как к сыну к тебе относился. Спрашивали, плохого не говорил... А ты знаешь, сколько мне жить-то осталось? Знаешь? С такой болезнью...

— Хватит! — морщась, перебил Константин. — Хватит проливать слезы, Петр Иванович! Ей-богу, не жалко мне вас!

— Костя, Костя... Помру, вот рад будешь? А не хотел бы я... — вставая и покачиваясь, прошептал Быков и ладонью стал вытирать мокрое лицо. — Защищался я... А совесть у меня тоже есть. Что ж ты будешь делать со мной? Если я сам...

— В монастырь... Если бы можно было — в монастырь. К чертовой матери я отправил бы вас в монастырь, паскуда!

— Серафима Игнатьевна и дочь у меня...

Но когда Быков, обмякший, подавленный, тихонько постанывая, расслабленно опустился на диван, никак не мог раскупорить порошок на тумбочке, Константин не смотрел на него, сжав зубы от жгучего отвращения, от смешанного чувства жалости и вязкой нечистоты, и в это мгновение едва сдерживал себя, чтобы не выбежать из этой комнаты с одним желанием — глотнуть морозного воздуха, лишь ощутить освежающий и реальный холодок его.

Он не глядел на Быкова, испытывая ненависть к себе.

«Нет, нет, нет! — подумал он. — Жалость? К черту! К черту!»

Он круто выругался и выбежал из комнаты.

В машине он, как всегда, привычно очищал перчаткой стекло, смотрел мимо

поскрипывающей стрелки «дворника» на полосы фар, но не видел ясно ни скольжения фар по мостовой, ни по-ночному пустых улиц, синеющих новым снежком, по-прежнему падавшим с темного неба.

Константин гнал машину, чувствуя горячие рывки сердца при перемене сигналов на светофорах, далеко простреливающих миганием безлюдные пролеты улиц, инстинктивно скашивал взгляд на регулировщиков — и не было момента осмыслить то, что сделал...

После того как загорелся за площадью всеми освещенными залами Павелецкий и белая полоса окон привокзального ресторана с летящим на эти теплые окна снегом выдвинулась навстречу, унеслась назад и машина, нырнула в сразу показавшийся туннелем переулок, Константин затормозил машину под стеной дома и долго сидел, прислонясь лбом к скрещенным на руле рукам.

В первой комнате света не было.

Зеленый огонь настольной лампы косым треугольником упал под ноги ему, на пол, из полуоткрытой спальни, куда он вошел, и там загремел отодвигаемый стул — Константин остановился.

В проеме двери, загородив огонь, проступала темная фигура Аси.

Она запахивала на талии халатик.

И испуганный, непонимающий голос ее:

— Костя?.. Ты уже вернулся?

Она шарила по стене выключатель; Константин успел увидеть ее напрягшиеся под халатиком голые ноги, и тотчас вспыхнул свет; после темноты он был неожиданно ярок, и Константин отчетливо увидел лицо Аси, бледное, залитое электричеством, яркой чернотой блестели глаза.

— Ты уже вернулся?

— Нет. Я заехал по дороге, — преодолевая хрипоту, сказал Константин. — Я хотел тебя увидеть.

Она со вздохом опустила плечи.

— Я не ожидала тебя. Ты вошел тихо-тихо, и я почему-то испугалась.

— У тебя было открыто, — сказал он. — Ася, вот что... Я сейчас был у Быкова.

— Что? Что?

— Я был у него, — ответил Константин.

Темные увеличенные глаза Аси перебежали по его лицу, по его кожаной куртке, а пальцы теребили поясок халатика, и брови, и глаза ее будто не соглашались с тем, что сказал он.

— Ты? Был? У Быкова? — отделяя слова, проговорила Ася и отошла от него, ладонями зажала уши. — Слушать не хочу! Ничего не говори мне!

— Ася! — сказал Константин. — Ася, милая, ничего не случилось, я хотел объяснить тебе...

И тронул ее локоть; Ася почти брезгливо отстранилась, сказала шепотом, с гадливым отвращением:

— Ты был? У Быкова? Зачем?

Он растерянно проговорил:

— Ася...

— Зачем ты это сделал?

— Прости, если я...

— Зачем? Что ты наделал, Костя?

«Как объяснить ей все? — подумал Константин. — Как?»

Ася, зажмурясь, откинула голову и молчала. Он виновато приблизился к ней, увидел ее длинную шею, слабую выемку ключиц — и ему страстно захотелось осторожно обнять ее, успокоить, сказать, что он сам до конца не знает, для чего он это сделал; и ему хотелось объяснить ей, что в последнее время он живет, точно ухватившись за надломленную ветку над трясинной, что ему не дает покоя, его мучает какая-то неуловимая, скользкая, надвигающаяся опасность, что он живет с ощущением следящего взгляда в спину — и не может преодолеть это, и боится за нее, за себя. Ему хотелось почувствовать успокаивающую тяжесть ее ладони на своих волосах и покаянно лицом прижаться к теплоте ее колен. Он все время ощущал в себе нервное и злое напряжение, готовый ко всему — к драке, к непоправимой беде, к словам, которые разрушали и еще более усугубляли что-то.

— Ася, — ответил он, стараясь говорить спокойно, но не сделал, как хотел, не обнял ее, услышал свой фальшиво прозвучавший голос: — Честное слово... ничего не случилось.

— Ничего не случилось? Неужели ты не понимаешь? Ты не понимаешь? Он ни перед чем не остановится. Ты подумал о нас? О чем ты с ним говорил?

— Теперь он ничего не сделает. Он уже сделал...

— Что? Что он сделал?

Она взяла его за борта кожаной куртки, спрашивая:

— Что он сделал?

— Ася, родная, мы еще поживем, не надо ни о чем думать, — сказал он, по-прежнему пытаясь говорить спокойно.

— Ты сказал «еще»? Почему — еще?

— Я говорю о Николае Григорьевиче.

— Прошу тебя, скажи яснее, Костя.

Но в эту минуту у него не хватало сил посмотреть ей в лицо, и, медля, Константин легонько снял ее теплые влажные пальцы с бортов куртки, прижал их к подбородку, глухо договорил:

— Может быть, я не должен был, Ася... Но я не мог. Прости меня. Я... поеду.

И тут его поразило неестественно оживленный голос Аси:

— Если ты разрешишь, я сейчас оденусь и поеду с тобой! Хоть один раз в жизни хочу увидеть твою работу. Ты хочешь?..

Константин почти испуганно взглянул на нее — Ася решительно развязывала пояс халатика, торопилась, и по лицу ее он видел: она готова была одеться сейчас.

Он остановил ее поспешно:

— Асенька, этого нельзя! Ася, это не разрешается, меня просто снимут с работы. Этого нельзя!

Тогда она заложила руки в карманы халатика и так села на стул, сказала тихо:

— Ну иди, Костя.

— Не надо, — Константин наклонился к ней и, едва прикоснувшись, поцеловал в волосы. — Не надо ни о чем плохом думать. Ложись спать, Ася. Со мной будет все в порядке. Я уверяю тебя, со мной будет все в порядке.

10

К концу смены он был рассеян с пассажирами, получал деньги не считая, невнимательно и забывчиво переспрашивал, куда везти. Ощущение давящей тоски, неясности, не отпускающего беспокойства, никогда раньше не испытываемого им, заставляло его перед утром бесцельно гонять машину по Москве.

Ему было все равно: выработает он сегодня деньги или нет, и лишь немного проходило напряжение, когда он бесцельно мчал машину по пустынным переулкам без светофоров, неизвестно для чего подгоняя себя: «Быстрее, быстрее!» И как только привычно подкатывал к стоянке, инстинктивно приглушал мотор, тишина ночных улиц с ровным пространством мостовой удушливо наваливалась на него. Тогда он слышал, как в машине четко стучали, отсчитывали время часы с настойчивым упорством заведенного механизма.

Смена кончалась в девять утра. Константин ждал конца смены. Он точно не знал, что должен будет делать этим утром.

«Только не ждать, только не ждать, — убеждал он себя. — Я должен поговорить с Михеевым? Я хочу ясности... Но какой? Ну а дальше что?»

И независимо от того, как пойдет разговор с Михеевым, его мучило это «а дальше что?», и оттого, что он не в силах был полностью представить, что будет дальше, его охватывал нервный озноб, холодок змейками полз по спине.

Мотор был не выключен, печка работала, становилось душно, жарко в машине, пахло нагретым металлом, а он, подняв воротник, никак не мог согреться, и было горячо и сухо во рту.

Потом он не выдержал ожидания конца смены и в восьмом часу утра повел машину к парку.

Константин остановился на набережной, в трех минутах езды от гаража, — здесь он хотел

перехватить Михеева по пути. И здесь было удобно ждать, — тут такси проезжали к парку из центра.

Утро начиналось чистое, розовое, со звонким морозцем, с зеркально молодым, хрустким ледком на мостовой. Лопаясь, он брызнул трещинками под каблуками, когда Константин вылез из машины, разминаясь после долгого сидения.

Холодного накала заря надвигалась из-за дальних улиц, краснел лед канавы, подымался парок над незамерзшим стоком бань возле далекого моста. Там, за мостом, над крышами вертикально дымили фабричные трубы; дым не таял, стекленел в небе, и были безмолвны ближние улицы в ранней стуже утра.

Воспаленными глазами Константин оглядывал набережную и небо, хлебнул несколько раз на полную грудь горьковато-холодный воздух — и от глотков этого крепкого студеного воздуха немного закружилась голова. Похрустев каблуками по ледку, он залез в машину, и теперь не было желания двигаться, думать — вот так только сидеть, расслабив тело, ощущая эту пустоту, зябкость морозного утра, в котором, словно на краю света, стояла дымящаяся зимняя заря.

«Вот так хорошо», — подумал он.

Вместе с напряжением уходила грубая острота реальности, исчезала, покачиваясь, как на мягких рессорах, усталость, вся прошедшая ночь, разговор с Асей... И тут же как вспышка в темноте: «Михеев!.. А что Михеев? Что я должен делать с Михеевым?»

— Машина? Зачем машина? Кто водитель? Эй!

«Не заметил знак!» — вяло раздражаясь, подумал Константин и в ожидании долгого разговора с дотошным орудовцем разомкнул веки, принял удивленное выражение простецкого парня.

— А что, товарищ, разве?.. А где знак? История повторяется...

— Что?

— Один раз — как комедия, другой раз — как штраф.

И он приготовился зевнуть перед обычной нотацией, но не зевнул — за стеклом увидел бритое досиня лицо, круто выдающийся вперед подбородок; лицо кричало:

— Что? Кто сказал? Что сказал?

— Я, — договорил Константин. — Доброе утро, товарищ Гелашвили!

Он узнал машину директора парка.

Машина стояла впритирку, от работы мотора покачивался штырек антенны, и стекла, внутренность машины были в багровом освещении. Раскрыв дверцу, вынося ногу в хромовом сапоге на мостовую, Гелашвили рассерженно опрашивал:

— Почему? Почему, я интересуюсь? Корабельников!.. Сидишь и спишь? Кто разрешил? На курорт приехал? План перекрыл?

Гелашвили был в новом, белеющем меховыми отворотами полушубке, щегольски сидевшем на его сильной, атлетической фигуре, как отлично сшитый костюм; правая рука толсто забинтована, покоилась на марлевой перевязи — кажется, вчера поранился в мастерской. Левой рукой он решительно открыл заднюю дверцу Константиновой машины, спросил:

— Что — план перекрыл? Молчишь? Что молчишь?

Гелашвили, соединив в прямую линию брови, подозрительно осмотрел пол и сиденья, проверил, нет ли следов цемента или извести; материалы эти для перевыполнения плана шоферы иногда прихватывали частникам на коммерческих складах. А этого Гелашвили не прощал.

— Говори — слушаю! — сказал Гелашвили, проверив и багажник. — Почему не работаешь? Когда смена кончается, в девять? Разучился на часы смотреть? Самый образованный шофер парка, отличный водитель, в пример ставили! Пассажир ждет, скучает, а ты на курорте сидишь? (Это была излюбленная его фраза.) Не дам! Разговор короткий! Надоело — уходи, плакать не буду! Лодырей не надо! Я таких шоферов в каждой подворотне найду! Ну, говори, объясняй — слушаю! Куда смотришь? На меня смотри!

— Может быть, я и уйду, — сказал Константин, глядя на фабричные дымы, плавающие среди утреннего неба. — Может быть, — и, посмотрел в глаза Гелашвили, накаленные, неотступные.

— Воевал? — лающе спросил Гелашвили.

— Опять уточняется анкета?

— Ты как винтовку бросил! — крикнул Гелашвили, хищно сверкнув зубами. — Дезертир!

Константин хмуρο сказал:

— Не будь вы директором парка... А впрочем, если вы повторите, я найду не менее крепкие выражения...

— Что повторить? Что? — крикнул Гелашвили. — Может быть... Подумаю!.. Начальства испугался? Струсил? Говори, а я от правды не умру, почему стоял? Ну как мужчина говори! Не кисейная барышня — может, пойму! Ну что, пассажира ждал из этого дома? Объясни!

И Константин понял: он хотел, чтобы было именно так.

— Вы правы, жду, — ответил Константин.

— Завтра перед сменой зайдешь! Всякие дурацкие слухи ходят о тебе — надоело уже слушать!

Гелашвили сурово фыркнул, потом, сгибая атлетический торс, влез в свою машину и что-то резко приказал шоферу.

«Победа» Гелашвили расстелила дымок на багровом ледке асфальта, покатила по набережной в сторону парка.

«Всякие слухи? — подумал Константин, стискивая зубы. — Что ж, кажется, Илюша торопится. И кажется, он не так глуп! Нет! Он, оказывается, тертый парень, с виду ошибешься!..»

На часах было пять минут девятого.

Он повел машину к парку.

— Никак захворал, Костенька? Или ремонтировался на линии? Всегда сверх плана, а сегодня — кот наплакал. Если что — бюллетень бы взял.

— Умница, — сказал Константин. — Я всегда говорил, что без женщин мужчины пропали бы... Принимай деньги, Валенька, какие есть. Михеев вернулся с линии?



Кассир Валенька, курносенькая, вся светленькая, перебирая быстрыми пальчиками тощую пачку ассигнаций — ночную выручку Константина, — не задерживая пересчета, тряхнула кудряшками.

— Друг без дружки жить не можете! Он сдавал деньги — о тебе спросил. У него двоюродная сестра заболела. Торопился как бешеный. А ты, Костенька, у Акимова, у летчика, спроси. Он его за мойкой попросил посмотреть.

— Благодарю, Валенька.

И он не спеша двинулся к мойке, мимо машин, пахнувших после рейсов маслом, теплым бензином — привычным машинным потом. Завывание моторов уходило на этажи гаража — и в эти звуки знакомо вплетался прохладный плеск воды в мойке, возле которой выстроились прибывшие из ночных смен такси. Когда смолкали моторы, было слышно, как перекликались там голоса, звучные, как в бане.

— Привет, Геннадий, привет, Федор Иванович! — сказал Константин, еще издали завидев Акимова и Плещея около мойки.

Акимов, голубоглазый, с зачесанными назад белыми, точно седыми, волосами, в летной куртке на «молниях», рассеянно смотрел, как два мойщика — пареньки в рабочих халатах, — деловито суетясь, били струями из шланга в ветровые стекла. Федор Иванович Плещей, посасывая мундштук, прокуренным басом покрикивал, торопя мойщиков: «Бегай, бегай, как молодой в субботу!» — и его крупное, покрытое оспинками лицо было добродушно, массивная фигура стояла прочно на раздвинутых ногах.

— Еще раз здоров, что ли! — прогудел Плещей и в знак приветствия двинул косматыми бровями.

Акимов же ослепительно заулыбался.

— Как дела, Костя?

— Тебе известно, Геня, где Илюша? — спросил Константин и подмигнул мойщикам. — Здорово!

— Попросил проследить за мойкой, уехал к сестре — заболела, кажется, — ответил Акимов. — Или день рождения у нее. Что-то в этом роде. Пусть едет.

— Ну а зачем тебе этот долдон? — Плещей кашлянул дымом, ударом о ладонь выбивая сигарету из мундштука. — Нашел балаболку-дружка, знатока масла и аптек. Орел — вороньи перья!

— Да что вы, Федор Иванович! Парень как парень, — обиженно сказал Акимов. — Я ведь его лучше вас знаю, вместе живем. У всех у нас есть слабости. И у меня. И у вас ведь есть, Федор Иванович...

— Видел Иисуса Христа? — сказал Плещей. — А, черт тебя съешь! Тебя, брат, за доброту и наивность и из авиации выперли! — И, заметив, как покраснел и отвернулся Акимов, дружески тиснул его в объятии. — Ладно, я, брат, как грузчик, рубанул, не на паркетных полах воспитывался. Ну по кружке пивка в честь полочки? А? Посидим, помолотим языками за жизнь?

— Пожалуй, — согласился Константин.

— Не вышло, братцы, гляди на выход! Домашняя орава за мной, борщ стынет! Живите, братцы! Варька зорко оберегает меня от пива — толстею!

Он, довольный, крякнул, косолапо и неуклюже загребая ногами, пошел от мойки между машинами. Навстречу ему в окружении четырех мальчишек стройно шла в пуховом платке женщина средних лет, с цыгански смуглым, когда-то, видимо, очень красивым лицом, узкие глаза обрадованно блестели Плещею.

— Варька, молодец! Держи монеты! Есть свидетели — не выпил ни кружки! — Плещей беззастенчиво, на весь гараж чмокнул жену в щеку, отдал ей деньги, затем сгреб одного мальчишку, усадил верхом на толстую, бычью шею, приказал смеясь: «Держись за уши», — троих подхватил на руки; зашагал, обвешанный семейством, к выходу в сопровождении жены, смущенно следившей за ним из-под платка. Говорили, она была цыганка. Плещей увез ее из табора, когда работал грузчиком на волжских пристанях.

— Завидую ему, — задумчиво проговорил Акимов. — За такую жену и таких пацанов жизни не жалко.

— Да, — подтвердил Константин. — А ты не женат, Геня?

— Не вышло. Так пошли, Костя? Мне на метро до Таганки. До вечера буду в Москве, а потом к себе, во Внуково. Кстати, что передать Михееву? Мы с ним вдвоем по дешевке снимаем комнату в поселке. Скажи — я передам.

— Ты говоришь, ничего парень Михеев? — спросил Константин. — Ты это серьезно считаешь, Геня?

— А что, Костя?

— Знаешь, Геня, а что, если я с тобой поеду во Внуково?.. Если можно, я поеду. Ты не против? Мне нужен Михеев. Подожду его. Принимаешь в гости?

— В авиации говорят: не задавай глупых вопросов.

11

Дачный поселок находился в лесу, в двадцати минутах ходьбы от станции, заметенные улочки были скупо освещены фонарями, огни в окнах горели редко.

Двухэтажный деревянный дом стоял на окраине, за забором, среди гудевшего массива елей; и когда от калитки шли по тропке, едва заметной меж сугробов, сбоку сыпался колюче-сухой снег, сбрасываемый ветром с крыши сарая, обдавало пресным холодком дачной глуши, запахом мерзлых дров:

— Сейчас, — донесся спереди голос Акимова. — Сейчас отогреемся!

Пока Акимов на крыльце возился с ключом, Константин, продрогнув, оглушенный вольным шумом деревьев, смотрел в потемки, на тени елей, махающих лапами перед стенами дома.

В непрерывном гудении леса угадывались другие звуки: ветер бросая, комкал над поселком отдаленный лай собак.

— Ну и в глухомань вы забрались, — сказал Константин.

— Чем дальше от Москвы, тем дешевле, — ответил голос Акимова. — Тем более что хозяйева

здесь зимой не живут. Заходи. Да осторожней. Береги голову. Тут бочки, тазы, какие-то кастрюли — зачем, сам дьявол не поймет. А, бог мой! Я уже сбил ухом корыто. Нагибайся!

Послушно нагнув голову, Константин последовал за Акимовым через промерзший тамбурчик, вонявший бочоночной плесенью, затхлой кислотой капусты, наугад перешагнул порог в сплошную тьму; почувствовал, как наступил на что-то мягкое, живое; угрожающе сиплое мяуканье раздалось под догами, затем сверкнули две зеленые искры из темноты.

— А, черт! — выругался Константин. — А кошки, кошки зачем у вас?

— Оставили хозяева, ловить мышей.

— Ловит?

— Слишком воспитан. Спит в книгах, такой-сякой. А мыши погрызли все ножки столов. Нам наверх...

Акимов пошуршал по стене, щелкнул выключателем — вспыхнул в передней свет в пятнистом обгорелом абажурчике, стала видна дверь на первом этаже, забитая наискось доской, старые, облезлые обои, крутая, с перилами лестница на втором этаже.

На нижних ступенях, взъерошив шерсть, хищно шипела на Константина огромная худая кошка.

— Зверь, — заметил Константин и стал подыматься по ветхой деревянной лестнице на второй этаж за Акимовым. Скрип ступеней, шаги отдавались в даче, в нежилой пустоте забитых комнат, обдуваемых ветром.

...Минут через пятнадцать сидели за столом, застеленным газетами, в маленькой комнате второго этажа, пили из граненых стаканов портвейн, закусывали яичницей, поджаренной Акимовым на электрической плитке.

В печке, разгораясь, постреливая, жарко закипали в огне березовые поленья, тянуло деревенским дымком, становилось в комнате теплее, веселее, и Константин не без интереса глядел на запыленную этажерку, заваленную книгами, чужую старомодную и обветшалую мебель, на потертый ковер перед диваном, гипсовую голову Вольтера возле высокой лампы под абажуром юбочкой — и почему-то показалось, что неожиданно задержался в этом старом, пропахшем плесенью доме, случайно приобретая уют, огонь, а на рассвете надо двигаться к Висле в сыром тумане утра.

— Ты здесь с Михеевым? — спросил Константин, подливая вина Акимову и себе. — А это чей китель?

— Дачу сдает профессорская вдова, — ответил Акимов.

— А это твой китель, Геня?

На вешалке висел новый габардиновый китель с летными петлицами, но без погон, с полосой орденов и нашивками ранений — китель, словно недавно сшитый, приготовленный для парада, ни разу не надетый.

— Глаза мозолит. Демонстрация получается, леший его дери! — Акимов снял китель с вешалки, кинул его на диван, вниз орденами, сказал: — О чем ты хочешь поговорить с Ильей? Если нет смысла отвечать — вопроса не было. Мы иногда, как оглоблей, лезем в чужую душу.

Константин после колебания спросил:

— Слушай, Геннадий, значит, ты считаешь Илью честным парнем? Только откровенно.

— А что ты называешь честностью?

— Знаешь что... пошел ты! Честность есть честность со времен... когда человек стал человеком.

— Понимаю. Подожди.

Акимов лег на раскладушку, сосредоточенно уставясь в потолок, на зыбкую тень абажура, свет лампы падал на лицо его, глаза стали ясными; с минуту он будто прислушивался к гудению ветра над крышей, слитному реву деревьев, царапанию и писку в щелях чердака; в Константин невольно посмотрел на потолок — он был низок, крыша, чудилось, вибрировала, где-то хлопал оторвавшийся кусок железа.

— Ты что? — спросил Константин. — Выпьем-ка лучше, Геня.

— ТУ-4, показалось. Реактивный бомбардировщик. Прости, пожалуйста, — виновато сказал Акимов и приподнялся на раскладушке, взял стакан. — Непогодка. Канитель. Совсем не летная погода.

— Ты не ответил, — напомнил Константин. — Я о Михееве. То, что я спрашиваю, до черта серьезно, Геня.

— С Ильей? — удивился Акимов.

— Нет. Это касается меня.

Акимов откинул белые волосы со лба, облокотился на стол, взгляд его стал внимательным — исчезло то задумчивое выражение, какое было, когда он лег на раскладушку.

— Я слушаю, Костя.

— Геня, я только хочу спросить у тебя одно. По-твоему, Михеев — честный парень? Вы живете вместе. И ты должен знать его лучше меня. Михеев — честный парень?

Константин уточнял то, что, казалось, было ясно ему, но он хотел услышать от Акимова хотя бы слабое подтверждение своей правоты или неправоты; ему важно было, что скажет сейчас Акимов: его серьезность, его спокойная размеренность и то, что он не до конца открывался, как это бывает у людей, знающих что-то свое, не предназначенное для всех других, вызывали доверие к нему.

— Я встречался с разной честностью, Костя, — ответил Акимов.

— А именно?

— Положим, было так, что мой бывший командир полка честно предупредил меня...

— Предупредил? О чем?

— Да. Предупредил, что меня готовят выпереть из испытателей во имя «расчистки кадров». Честно предупредил, но сам на комиссии ни слова не сказал в мою защиту. А знал меня почти всю войну. Считал меня своим любимцем, вместе летали на «Петлякове». Сам вешал мне ордена и обнимал перед строем. Но на комиссии молчал. И меня отстранили от испытаний.

— Но почему?

— Плен. Так я это понял. Но комиссия об этом вслух не говорила. Были только вопросы. «Где был с такого-то периода по такой-то?»

— Ты был в плену?

— В сорок пятом сбили над Чехословакией. В немецком концлагере был три месяца. Словаки помогли. Партизаны. Бежал.

Акимов замолчал, откинул назад волосы.

Крыша загремела под ударами ветра; врываясь в уши, навалился снаружи упруго ревуший гул леса, задрезжали стекла. Ударила ставня. Электрический свет сник, мигнул и вновь набрал полный накал. Константин покосился на лампочку, налил Акимову из уже нагретой в тепле бутылки. Акимов неторопливо, но жадно отпил из стакана. Константин спросил:

— И что?

— Впрочем, я понимаю командира полка.

— В чем?

— Мы испытывали секретные машины. Его этим и приперли. А у меня подозрительный пункт в анкете.

— Ясно, — сказал Константин. — Твой комполка чересчур застенчив...

— Не осуждай сплеча, Костя. Иногда складываются обстоятельства.

Константин перебил его:

— Когда-то я свято поклонялся обстоятельствам. Мы победили, война кончилась, мы вернулись, пусть каждый живет как хочет! Не совсем получилось, Геня. Я спокойнее бы относился к своей судьбе, если бы без памяти, скажу тебе откровенно, не любил одну женщину! Из-за нее я бросил институт, из-за нее — все... Ты знаешь, что такое счастье?

— Видимо, одержимость... Я, конечно, о деле говорю. Но что у тебя, Костя?

— Ничего, Генька.

— А все же?

— Я встретил своего комполка.

— Я тебе не задаю никаких вопросов. Я не имею права, — сказал Акимов, и пошарил в углу под газетой, где стояли бутылки из-под кефира, и вытянул оттуда начатую бутылку «Зубровки». — Что-то, Костя, не берет меня эта портвейная дребедень. Добавим? — И тотчас обернулся к двери, прислушался. — Кажется, звонок?

— Он? — спросил Константин.

Оба прислушались. Звонка не было. Незатихающие шорохи проникли снизу, из-под пола, из забитых летних комнат, а здесь, наверху, ветер, задувая, свистел в щелях рам, и кто-то скребся, терся о дверь с лестницы.

Снова, сник, мигнул свет.

— Кошка, наверно, — сказал Акимов и подошел к двери, открыл ее; пустотой зачернела площадка лестницы. — А, ты тут скреблась? Что, надоело в одиночестве?

В комнату вошла кошка, взъерошенная, озябшая; на мягких лапах проследовала к печке, к багровому жару в поддувале, села за поленцами березовых дров, притихла там, как в засаде.

— У нас свет иногда дурит, — сказал Акимов. — Ветер провода замыкает, леший бы драл. Ну, добавим? — Он чокнулся с Константином и выпил полный стакан, не закусил. — Вот что, Костя, — сказал он, подхватывая подушку. — Куда сейчас поедешь? Жди Илью. На ночь он всегда возвращается. Я не буду мешать. Пойду спать, здесь есть комнатенка рядом. Можешь лечь на диван.

— Я тебя не стесню?

— Дьявольски воспитан ты.

— Спасибо, Генька. Спокойной ночи. Я посижу покурю.

Он проснулся от какого-то беспокоящего звука, давившего на голову, от внезапно толкнувшейся в сознании четкой и острой, как лезвие, мысли: случилось что-то! — и в первую секунду не сообразил, где он находится.

В темноте гулко гремело железо на крыше, звенели стекла в мутно проступающей раме окна, несло холодом, — и он понял, где он и зачем приехал. Лежал на диване и был одет — не помнил, как прилег здесь, весь закован от дующего стужей окна, одеревенело плечо от неудобного лежания. Печь, видимо, давно погасла — одинокий уголек неподвижно тлел там, краснея в поддувале.

Ветер обрушивался, бил по крыше, на чердаке тоненько попискивало, и как будто глухо, с перерывами кашлял кто-то под полом, — и вдруг продолжительный звонок донесся снизу, замер в глубинах дома и вновь настойчиво прорезался на первом этаже бьющимся непрерывным звоном.

«Звонят?»

Константин нащупал на столе спички, зажег, осветил часы, одновременно прислушиваясь, было два часа ночи. «Кто это? Звонят? Михеев?»

При свете огонька зашевелились в комнате предметы: стол, бутылки, тарелки на столе. Забелела газета на полу; неверный свет странно оголял комнату, делая ее заброшенной, мертвой...

Спичка обожгла пальцы, погасла, задушенная темнотой, и Константин все лежал на диване, напрягая слух, стиснув в кулаке спичечный коробок. Ему слышались людские голоса, возникшие шаги под окнами, и снова продолжительный звонок забился в его ушах.

«Кто это?»

Он знал, что ему нужно встать, включить свет, открыть дверь комнаты, спуститься по лестнице, пройти мимо забитых комнат первого этажа к тамбуру. Но он не мог сдвинуться с места, встать — что-то инстинктивно остановило его, подсказывало; что это не Михеев, это не мог быть Михеев, что там внизу, за дверями, было иное, и страх морозным холодом пополз по затылку, туго стянул кожу на щеках — отдавались удары крови в голове.

Звонок на нижнем этаже оборвался.

Весь дом был наполнен визгом, ветра, шорохами, по двери скребли, как наждаком. И хлипко, ветхо скрипела лестница, приближались снизу осторожные твердые шаги, качали ее...

Он подумал: «Это Акимов» — и, сжимая в кулаке коробок, смотрел в темноту, ожидая — распахнется дверь, войдет Акимов, зажжет свет. Но дверь на лестницу сливалась со стеной, никто не входил. Только скрипели шаги по ступеням.

— Акимов! Геннадий! — хриплым шепотом позвал Константин.

Никто не ответил.

И тут же в коротком затишье, между порывами ветра, услышал равномерные звуки за стеной, приглушенный храп — Акимов спал в соседней комнате. «Не может быть! Что же это?»

Он, застыв, смотрел в сторону двери, выходявшей на лестницу вниз, — в лицо дуло пахнущим морозцем сквозняком, дверь, чудилось, приоткрылась — кто-то в потемках бесшумно входил в комнату с площадки, шурша одеждой.

— Кто?.. — крикнул Константин, уже готовый на все, и стал рвать из коробка спички, ломая их, будто несвоими пальцами.

Одна зажглась, слабое пламя выхватило на секунду сузившуюся комнату, стол, бутылки на нем, диван... Дверь на лестницу была открыта. Она была широко распахнута в провал лестницы.

Сквозняк шевелил газету на полу.

«Что это со мной?» — подумал он, трудно дыша. И лег на спину, оттягивая воротник свитера, давивший шею, — жаркий и липкий пот окатил его.

— Идиот!.. — выдавил из себя Константин и застонал. — Идиот!..

Он закрыл глаза и в ту же минуту порывисто оперся на локти, напрягая мускулы.

Дом гудел под напорами ветра, и в нижнем этаже — это послышалось ясно — сначала внятно булькнул звонок, затем задрезжал исступленно, непрерывно, все нарастая; звонок раздавался на весь дом.

И Константин, оттягивая и отпуская намокший от пота воротник свитера, теперь точно сознавал, что он не ошибался.

«Акимова... Разбудить Акимова!..»

Оглядываясь на окно, он встал, ноги сделали движение по комнате, неся облегченное, словно высушенное, тело. Натолкнувшись на зазвеневшие бутылки в углу, ничего не видя, он хотел постучать в стену, за которой спал Акимов, но что-то остановило его, и, задохнувшись от какой-то отчаянной решимости, Константин на ощупь по стене выбрался на лестничную площадку и, тут подождав немного, охрипшим голосом крикнул в темноту первого этажа:

— Кто там?..

И с трудом зажег спичку.

Пламя спички колебалось. Лестница ходила под его ногами — под рукой раскачивались ветхие перила, он делал намеренно сильные шаги, спускаясь все ниже.

Он остановился, оглушенный звонком, пронзительно трещающим над головой.

— Кто там?.. — матерясь, крикнул Константин. — Кто?..

Ответа не было. Звонок смолк.

Он стоял вслушиваясь. Спичка погасла.

Тогда, приблизившись на несколько шагов к внутренней двери, он с размаху толкнул ее плечом и, натываясь на бочки в тамбуре, еле нашел, отодвинул железный засов в изо всей силы швырнул ногой входную дверь. Она распахнулась — ветер рванул ее к стене тамбура.

Константин мгновенно замерз.

— Кто там! Входи!.. — крикнул Константин.

За дверью никого не было. Смутно отливали снегом ступени в темноте.

Он усилием заставил себя сделать еще шаг через порог и здесь, на крыльце, в несущихся токах ветра, мерзлого запаха снега и хвои, озирался по сторонам, ослепленный темнотой ночи, чувствуя, как бешеными ударами рвется из груди сердце.

Возле дома никого не было.

— Так! — сказал он.

И внезапно, не закрывая тамбура, Константин повернулся и, расталкивая бочки с капустной вонью, вбежал в дом; потом, хватаясь за расшатанные перила, бросился по лестнице вверх, а в комнате не сразу нашел висевшую на спинке стула куртку, надел шапку и после этого, переводя дыхание, услышал какие-то звуки в коридоре. Приближались шаги. Рука со спичкой вползла в комнату; ничего не понимающее, помятое лицо Акимова смотрело на Константина поверх огонька, голос был заспан, звучал обыденно:

— Что за шум? Свет зажги... Илья приехал? Ты куда?

— Тут звонил кто-то, — проговорил Константин. — Я в Москву!..

— Ку-да-а? Кто звонил?.. Бывает, звонок от ветра работает... Михеев не приехал?

— Я — в Москву.

— Ку-уда в Москву? Электрички нет до утра!

— Доберусь на товарном. Будь здоров!

И, уже не слушая, что кричал в спину Акимов, он сбежал по лестнице и выскочил, прыгая по ступеням крыльца, на снег, в навалившуюся на него ветреную стужу. И торопливо пошел, побежал к калитке, угадывая ногами скользкую тропку меж сугробов.

В поселке не горело ни одного огня.

Под ветром подвывали в небе провода, иголки снега, срывааемые с деревьев, резали разгоряченное и потное лицо Константина. Он бежал по темным и заметенным улочкам поселка — наугад, к станции.

«Это просто я схожу с ума! — думал он, задыхаясь и видя впереди за крышами блеснувшие огни на путях. — Что же это было со мной? Что?»

Он испытывал в эту минуту такую ненависть к самому себе, такое злое, презрительное отвращение, что, казалось, все, что он мог уважать в себе, было уничтожено ночью, и не



было никакого смысла во всем, что он делал или хотел сделать. В том, что он испытывал сейчас, как бы проступил в нем второй человек, он ощущал его ненавистное движение внутри, его неудержимо, до унижения срывающийся, перехваченный голос, его липкий пот...

«Если

это ... если это, тогда — конец...»

Под Сталинградом после непрерывных бомбежек, когда в пыльной мгле пропадало солнце, он видел людей, которых называли «контуженными страхом», — дико бегающие пустые глаза, сизая бледность или не сходящая болезненная багровость лица, внезапный фальшивый смех, жадность к еде, старчески трясущиеся руки, потерявшие силу, и отправление нужды прямо в траншее. Такие не вызывали ни жалости, ни сочувствия. Это были живые мертвецы. Таких убивало на второй день; их убивало потому, что они с животной слепотой цеплялись за жизнь, потеряв способность жить.

«Если

это ... — значит, конец!..»

Проваливаясь в разъеденных ветрами сугробах затемненной улочки под трещавшими над заборами соснами, он во всех деталях вспоминал ночь на Манежной площади, жалкое, опустошенное лицо Михеева в переулке возле церкви, где они встретились, его визгливый голос: «Сам ответишь!» — и всплывал в памяти томительный разговор в отделе кадров с Соловьевым, потом человек с газетой возле стоянки такси на Пушкинской, приезд к Быкову — и, сопротивляясь тому, что подсказывало сознание, вдруг впервые ясно почувствовал взаимосвязь всего этого.

«Что же теперь? — сказал он себе. — Но если бы был Сергей... поговорить с ним, решить!..» — сказал он еще себе и сейчас же подумал об Асе, а подумав о ней, представил ее лицо: он боялся его увидеть.

«А как же Ася? Как же Ася? — подумал он опять. — Трус! Сволочь! Храбрился перед этим Соловьевым, Перед Быковым, перед Михеевым... Ложь! Обманывал себя, а правда, вот она — дрожание коленок...»

Спотыкаясь, весь потный, он перешел пути под опущенным шлагбаумом, низко над землей басовито звенели телеграфные провода, светящиеся полосы рельсов уходили в раздвинутый впереди коридор лесов.

Отдыхая, поворачиваясь боком к ветру, он поднялся на платформу, по-ночному освещенную тусклым островком вздрагивающих фонарей. Ветер хлопающим громом налетел на деревянное зданье, холод пронизал потное тело — и, затыкая шарф, ускоряя шаги, он вошел под крышу станции.

Тут, казалось, теплее было, покойнее, стояли изрезанные, щербатые скамейки, за окошечком кассы занавесочка висела, чуть шевелилась: ветер пробирался и туда. Константин, придерживая поднятый воротник, искал на стене расписание.

— Ждешь, дядя, никак электричку? — послышался голос за спиной.

Константин обернулся.

— А?

В дальнем углу на скамье под лампочкой сидел плотный небритый парень в кожаном пальто и рядом другой — узкоплечий, с мальчишечьим лицом, в телогрейке, в ватных брюках. На

скамье перед ними — бутылка водки, раскрытые консервы, оба деловито ели ножами из банки. Оглядев Константина, парень в кожанке отпил глоток из бутылки, передал ее узкоплечему.

— Когда... электричка в Москву? — спросил Константин.

— Неграмотный, дядя? — Узкоплечий, жуя, подошел к расписанию, стал водить, как указкой, кончиком ножичка по столбцам, обернул свое подвижное мальчишечье лицо и, смешливо пришепетывая, произнес сквозь щербинку меж зубов: — В пять утра первая... Бабушка, дедушка. Точно запомнил время, усики? Грузин?

— Пошел к черту, — проговорил Константин. «В пять утра... В пять!»

— Иди, Вась. Рубай, — вялым голосом позвал парень в кожанке.

Константин, согревая руки в карманах, прислонился плечом к деревянной стене, лихорадочно соображая, что делать сейчас, — и смотрел на жующих в углу парней, но смутно видел их лица.

Они ели молча.

«Значит, в пять. Значит, в пять утра? Ждать до утра?»

Ветер налетел на платформу, напоры его гулко разрывались вокруг станции, и донесся — может быть, почудилось — из ночи, из хаоса звуков слабый свисток паровоза, его тотчас смяло, унесло, как будто струйка ветра беспомощно пропищала в щели.

— Бабушка, дедушка, — хохотнул паренек с мальчишечьим лицом. — Чего тут застыл, спрашивают? Садись в товарняк! Чего смотришь?

Константин почти не разобрал то, что сказал парень, только показалось на миг, что он что-то понял особое, необходимое ему сейчас, — и даже руки, засунутые в карманы, налились млеющим нетерпением.

«Только бы увидеть Асю... И — больше ничего. Только бы увидеть...»

Парни кончили жевать, узкоплечий вытер лезвие о край скамьи, не отрывая смешливого взгляда от Константина.

— Чего уставился, дедушка, бабушка? Не псих ты?

Константин не ответил.

Близкий свисток паровоза, рвя ветер, несся на станцию; Константин ногами почувствовал сотрясение пола и тут же рванулся к выходу, выбежал из деревянного зданьяца в пронзительный, навалившийся паровозный рев, заложивший уши.

По глазам полоснул сноп прожектора, трехглазая железная громада с грохотом, шипением мчалась, надвигаясь из ночи; и налетела на станцию, свистя паром с запахом угля; мелькнуло жаром красное окошко машиниста, Константина обдало теплой водяной пылью — и тяжело забили колесами о рельсы, наполняя станцию пульсирующим гулом, огромные закрытые вагоны.

Это был товарняк.

Константин, оглохший от грохота, пропустил половину состава и бросился за поездом по платформе, надеясь вскочить на тормозную площадку, но не рассчитал скорости поезда.

С увеличенным бегом пронесся последний вагон, стуча тормозной площадкой. Эту площадку мотало, и мотало там темную фигуру в тулупе, и красный фонарь стремительно удалялся над открывшимися рельсами.

Константин добежал до конца платформы, схватился за перила, упал на них грудью.

«Здесь они не сбавляют скорость... Не вышло! Что же делать? Пешком идти?.. По рельсам идти? Только не ждать до утра. Все, что угодно, только не ждать!..»

Платформа была по-прежнему унылой, ночной. В поселке не светилось ни одного окна. Почти сливаясь с темью станции, стояли две фигуры у стены — оттуда смотрели на него.

«Все, что угодно, только не ждать! Только бы увидеть Асю! Только бы...»

Когда он утром, растерзанный, потный, за сутки обросший щетиной, измазанный в мазуте, с полуоторванным рукавом, не вошел, а пошатываясь, ввалился в комнату и когда чуждо, резко увидел на пороге Асю, растерянно открывшую ему дверь, Константин со спазмой в горле, тисками сжавшей его, хрипло прошептал:

— Асенька... — И, сдергивая с шеи шарф, точно всю ночь нес на плечах нечеловеческий груз, смотрел на нее, едва стоя на онемевших ногах.

— Ты жив, ты жив?.. А я уже не знаю, что подумала!.. Где ты пропадал? Не спала ночь, прозвонила все телефоны, наделала шуму — в Склифосовского, в парке... Ты знаешь, что я подумала? Ты знаешь?

— Я тоже... о тебе, — прошептал он, не было сил говорить громко.

И она еще что-то спросила его, но в эту минуту он ничего ясно не расслышал, казалось — спрашивали не губы ее, а брови, глаза, все лицо, подчиненное им.

— Костя? Костя...

— Я думал о тебе всю ночь, — сказал он. — Все время... — снова шепотом проговорил Константин, — и то, что... Я не жил бы без тебя...

А она, прикусив губу, молчала и горько одним взглядом спрашивала его: «Это все, все?»

— Ася, нас сняли с машин в конце смены. И отправили разгружать состав с лесом... Вот видишь, такой вид. Вот... Порвал рукав...

Константин падал несколько раз на обледенелой насыпи, сбегал со шпал, когда навстречу неслись товарные поезда, и, оскользаясь, скатывался в кусты возле путей; он сел на товарняк только в Вострякове. Но лгал он ей наивно, как говорят неправду не подготовленные ко лжи, видел, что она еле заметно отрицательно качала головой, лишь так отвергая его неправду, и он договорил еле слышно:

— Я виноват... Я не мог позвонить...

Он глядел на нее, на темную, как капелька, родинку у края губ и с неверием вспоминал то мертво-бледное, испуганное ее лицо, какое представил, когда шел на станцию во Внукове, и со словами, застрявшими в горле, думал, что он ничего не сможет объяснить ей.

— Пожалуйста, скажи мне правду... — Ася даже привстала на цыпочки, отвела его волосы с

потного лба, заглядывая ему в глаза. — У тебя ночью... ничего не произошло?

— Нет.

— Спасибо, если это правда.

— Я просто смертельно устал, — сказал он. — Ася, послушай меня... — Он не договорил. Ася, почему-то зажмурясь, перебила его:

— Нет! Ничего не говори. Не надо. Костя. Когда ты найдешь нужным, расскажешь мне все. Сейчас — не надо. Сними куртку. Я зашью. И сходи в ванную. Усталость сразу пройдет.

— Я... сейчас, Асенька.

Он покорно снял куртку и, сняв, почувствовал от своего насквозь мокрого свитера запах прошедшей ночи — запах едкого страха, и отступил на шаг, повторил:

— Асенька, родная моя.

А она молча села на диван, положив его куртку на натянувшуюся на коленях юбку, разглаживая место, где был надорван рукав, опустила лицо, чуть дрогнули брови — и ему показалось, что она могла заплакать сейчас.

«За что она любит меня? — подумал он. — За что ей любить меня?» — опять подумал он, видя прикосновение своей смятой, пропахшей вонью мазутных шпал куртки к ее чистым коленям, в ее чистой одежде — это грубое соединение ее, Аси, с той страшной ночью.

И он уже напряженно ожидал на ее лице выражение брезгливости.

— Иди же в ванную. Я зашью. Я сейчас зашью, — сказала она с дрожащей улыбкой.

Он выбежал из комнаты. Он боялся, что не выдержит этой ее улыбки.

12

Константин дремал за столом, клонилась голова, смыкались веки — у него не было сил встать, раздеться, лечь на диван; а мартовский закат уже наливал комнату золотистым марганцем, наполнял ее благодной тишиной сумерек, и он подумал: как хорошо не двигаться, не заставляя себя что-либо делать с собой, со своим смятым усталостью телом.

«Вальтер», — думал он. — Избавиться от «вальтера» — сегодня, сейчас. Его очень просто могут найти в сарае. Выбросить. Выбросить! И — ничего не было. И нет никаких доказательств. Главное — улика. Уничтожить ее! Выбросить эту память о войне!»

Константин встrepенулcя, как бы прислушиваясь к самому себе, в нерешительности встал: тело ломало, болели икры — это так не чувствовалось, когда без единого движения сидел он в мутной дреме после бессонной ночи.

«Так, — рассчитывая, подумал Константин. — Взять ключ от сарая. Вернуться с охапкой дров. В коридоре не наткнуться на Берзиня, который в это время дома. Он рано приходит с работы. Впрочем, что это я? При чем тут Берзинь? Я иду за дровами. Как ходят все. Спокойно, надо спокойно».

Когда он надел куртку и вышел из парадного, холодом защипало ноздри. Двор был тих, пуст; закат из-за крыш падал на сугробы, был багрово-ярок, еще по-зимнему крепко схватывал вечерний морозец в колючем воздухе. И низко над двором, окутываясь дымом печей, висел над трубами прозрачный тонкий месяц.

Скрип снега, раздававшийся под ногами, казалось, достигал крыш; отталкиваясь, возвращался с неба — Константин по темнеющей тропке пошел на задний двор.

Он вдруг остановился в двух шагах от сарая.

Дверь сарая была открыта. Звучали голоса, и кто-то возился, покашливал там.

«Кто в сарае? Берзинь? С кем?»

— Вы, Марк Юльевич? — спросил он очень громко, позванивая связкой ключей, узнав покашливание Берзиня. — Добрый вечер! Как говорят...

За порогом на чурбане сидел Марк Юльевич в очках, завязывал кашне, обмотанное вокруг горла, толстое лицо было лиловато-красное от заката. Он подтолкнул на переносицу очки, ответил тоном занятого человека:

— Да, да. Это я... Это мы... — Нацелился колуном и, сидя, ударил по березовому поленцу; оно треснуло стеклянным звуком. — Что? — с задышкой проговорил он. — Тома! Подавай мне, пожалуйста, короткие... Я выбился из сил.

За спиной его в углу сарая горела свеча, вставленная в горлышко бутылки; заслоняла ее закутанная в платок фигура Тамары; она выбирала поленья; прижимая их к груди, как ребенка, носила к отцу.

— Это дядя Костя? — сказала она и бросила полено, поправила волосы на виске. — Это дядя Костя? — Она, видимо, сразу не разглядела его в полутьме, подошла вплотную, несмело спросила: — Вы за дровами? Вы?..

Она тихонько опустила чурбачок на землю, напротив Марка Юльевича, все не отводя от Константина спрашивающих глаз, и проговорила опять:

— Дядя Костя?..

Берзинь сердито, шумно высвободил колун из полена, отдуваясь, простонал!

— Дети, дети, задают столько вопросов — можно сойти с ума! Да, я устал слушать вопросы! Да, да! — сказал он в голос и ударил колуном по полену. — Он за дровами, это ясно? Он ничего не потерял в сарае, это ясно? В школе ты учила стихи? «Откуда дровишки? Из лесу, вестимо!» Ты учила эти стихи? А мы берем дрова из сарая!

Константин, уже не звеня ключами, смотрел не на Берзиня, не на затихшую Тамару — смотрел на слабый и сухой червячок свечи над грудой сдвинутых дров.

Там, в этом месте, был спрятан «вальтер», завернутый в носовой платок. Сверток этот был запрятан им на уровне гвоздя, забитого в стену, где постоянно висела ножовка.

Дров на прежнем уровне не было. Они были разобраны. И он тотчас же вспомнил, что тогда ночью спрятал пистолет в дровах Берзиней, твердо зная, что у них никогда не будут искать его. И, оглушенный внезапным ужасом и стыдом, Константин взялся за покрытую ледяной и скользкой плесенью бутылку со свечой, обвел взглядом Берзиней.

Оба они безмолвно, с каким-то объединенным сочувствующим вниманием глядели на него,

на свечу, которую он тупым движением переставил на другое место; язычок свечи заколебался.

— Вы... — сказал он и замолчал. И глухо договорил: — Не буду мешать. Простите...

Берзинь закивал странно и часто, полукашляя в нос; свеча дробилась в стеклах его очков, и рядом с его лицом белело лицо Тамары, — он видел ее изумленно наползающие на лоб брови. Она откинула платок, выгнув свою еще по-детски беспомощную шею, готовая что-то сказать, но не говорила ничего.

И он почувствовал себя как в душном цементном мешке и быстро пошел к двери; на пороге сказал:

— Простите меня, Марк Юльевич.

— Нет! Мы уходим! Томочка, возьми дрова! Мы мешаем соседу! Мешаем! — Берзинь вскочил, двигая локтями, головой, как будто собираясь бежать; концы кашне мотались на его груди. — Сопливая девчонка! Что ты сидишь, я тебя спрашиваю! — срываясь на фистулу, крикнул Берзинь, оглянувшись на дверь. — Сопливая наивная девчонка! Куда ты запускаешь глаза? Где твоя вежливость? О-о! Думать! В первую очередь человек должен думать!.. — Берзинь постучал указательным пальцем себе в лоб. — Мы живем в коллективе. Мы должны уважать соседей. Мы уходим из сарая!

— Папа! — закричала Тамара возмущенно. — Не кричи! Мне стыдно за тебя! Почему ты боишься? Если у тебя не хватает смелости, я сама объясню Константину Владимировичу! Константин Владимирович! — Она перешла на шепот; — Константин Владимирович... Сегодня... мы брали дрова... И вы знаете... у нас...

Константин обернулся.

«Не говори! — хотелось сказать Константину. — Я все понял. Не говори ничего!»

Он стоял, покусывая усики, смотрел на растерянно моргавшего Берзиня, на — шатающийся язычок свечи, на Тамару, доказательно прижавшую руку к груди. И сказал вполголоса:

— Что «знаете»?

Он не мог объяснить сам себе, почему так открыто выговорил «Что «знаете?»», и, сказав это, переспросил:

— Не понимаю, что — знаете? О чем вы, Тамара?

— Паршивая девчонка! Что ты говоришь, не слышали бы мои уши! — Берзинь махнул кашне вокруг воротника, грубо дернул Тамару за рукав. — Что ты говоришь Константину Владимировичу? Мы уходим, сию минуту уходим, Константин Владимирович! Вам не стоит слушать ее болтовню. Стоит ее послушать — и можно повеситься!

— Ах так! Так, да? — сказала Тамара зазвеневшим голосом. — Ты трус! Ты боишься самого себя! Вот смотрите, Константин Владимирович, что мы нашли в сарае! Под этими дровами! Кто-то спрятал здесь! Смотрите!

Она отшвырнула поленья,хватила маленький серый сверток из-под дров, шепча: «Вот-вот», и, не сняв варежки, стала торопясь и вместе с тем боязливо разворачивать его. Конец пухового платка мешал ей, путаясь под руками, и в следующую секунду сверток выскользнул из ее рук. Пистолет со стуком упал в щепу. Аккуратные фетровые валенки Тамары стремительно отскочили в сторону от упавшего в щепу «вальтера». Берзинь, страдательно охнув, схватился за голову.

— Что ты делаешь? Он заряжен патронами!.. Можно сойти с ума!

— Он заряжен пулями, — сказал Константин.

— Что? — удивился Берзинь.

— Пулями, — сказал Константин, глядя на «вальтер».

В щепе он тускло и масляно отливал металлом при огне свечи.

Аккуратные валенки Тамары приблизились к пистолету и замерли. Она сказала:

— Вот!..

— Пулями, — проговорил Константин.

— Что? — спросил Берзинь потрясенно.

— Пулями, — повторил Константин, — которые убивали на войне.

Усмехнувшись скованными губами, он поднял пистолет и, когда уже привычно держал на ладони этот зеркально отполированный, изящный, как детская игрушка, кусок металла, на миг почувствовал, как твердая рукоятка его, тонкая и влитая спусковая скоба плотно входят в ладонь, передавая руке холодную щекочущую жуть, таившуюся, запрятанную в этом круглом стволе, — стоит лишь сделать усилие, нажать спусковой крючок...

Он услышал в тишине носовое дыхание Берзиня, скрип щепы под валенками — и тут же увидел в глазах Берзиня и Тамары, как бы вмерзших в одну точку, страх ожидания близкой опасности, исходившей от этого полированного металла; и обнаженно ощутил связь между собой и этим оставленным после войны «вальтером», будто он, Константин, нес опасность смерти — стоило лишь нажать спусковой крючок. И он особенно понял, что не может ни перед кем оправдаться, объяснить, зачем он оставил пистолет, и ясно представил бессилие доказательств.

— Это... немецкий пистолет, — проговорил он наконец. — Старой марки. Лежит с войны... — И усмехнулся Тамаре. — Понимаете?

— Да, да, да! Это чей-то пистолет... лежит с войны! — эхом подтвердил Берзинь. — Да, да, да! Это с войны! Конечно, конечно!

— Ты, папа, говоришь ужасную ерунду! — досадливо выговорила Тамара. — Эти дрова привезли осенью. Привез Константин Владимирович! — Она обратилась к нему по-взрослому, голос был трезв, опытен, как голос зрелой женщины, и эта рассудительность поразила Константина. — Я уверена — револьвер надо сдать управдому или в милицию. Мы не знаем, зачем он здесь, может быть, готовится убийство! Это может быть?

— Н-не думаю, — сказал Константин; струйки пота, щекоча, скатывались у него из-под шапки. Он добавил тихо: — Тамара, из этого оружия нельзя убить. Это «вальтер». Игрушка. Поймите — детский калибр. Кто-то привез его с войны как игрушку.

— Из револьвера убивают, — ответила Тамара. — У нас в школе мальчик принес финку. Нашли в парте. Его исключили. Директор сказал, что весь класс потерял бдительность...

Берзинь схватился за виски.

— Какой управдом? Какая милиция? Какой директор? Что у тебя в голове! Какое твое собачье дело? Я повешусь от такой дочери!

— Папа! Перестань! Это стыдно! Я ненавижу твои истерики! Мещанские слова! Я знаю, как ты читаешь газеты, слушаешь радио — зажимаешь виски, закрываешь глаза! Да, я знаю! — Голос ее опять трезво прозвучал в ушах Константина, ошеломив его откровенностью и прямоотой. — Разбираешь события со своей мещанской колокольни!

Берзинь, сжимая виски, закачался из стороны в сторону.

— Что она говорит! Что она говорит, отвратительная девчонка! Замолчи! — Он весь затрясся и так дернул книзу руку Тамары, как будто хотел рукав телогрейки оторвать. — Замолчи, глупая! Или я тебя побью раз в жизни!

Он топтался перед ней, маленький, круглый, вобрав голову в плечи — то ли готовый ударить ее, то ли сам головой и плечами ожидая удара, не веря в то, что сейчас услышал, а лицо стало как у ребенка, которому сделали больно.

— Что ты делаешь... с отцом, — обезоруженно произнес он. — Что делаешь?

Растерянно трогая кисть, которую грубо дернул отец, Тамара отошла к двери, расширяя глаза со стоявшими в них слезами, оттуда проговорила упрямым голосом:

— Не смей меня больше трогать, не смей! Я комсомолка, папа. Мы никогда не должны забывать! Мы обсуждали на собрании... Мы советские люди. Разве этот револьвер нужен хорошему человеку? Зачем он ему? А если какой-нибудь вредитель ночью спрятал? Константин Владимирович, скажите же, скажите папе! Он ничего не хочет понимать. Константин Владимирович, скажите же ему! Нужно немедленно сообщить в милицию! Я сама пойду. Я не боюсь!.. Я сама пойду!

— Замолчи! — срываясь на визг, затопал ногами Берзинь. — Я тебя изобью. Ты не моя дочь!

Константин не ожидал этого — Тамара, вытерев глаза, решительно поправила платок и перешагнула фетровыми валенками через кучу дров, рванулась из сарая и побежала по тропке к воротам среди сугробов.

— Тамара! Подождите... Тамара!

Константин сунул «вальтер» в карман, увидел на секунду, как в отчаянии Берзинь со стоном опустился на чурбачок, — и он бросился к двери, ударившись о косяк, догнал Тамару на середине двора.

Она гибко откинула голову, — бледное лицо в платке, детские глаза выступили из темноты.

— Что вы? Вы — тоже? Тоже? — вскрикнула Тамара. — Что вы... хотите от меня? Вы боитесь, да? Почему вы все боитесь? Вы тоже боитесь?

— Тамара, не делайте этого! — заговорил он, стараясь убедить ее. — Тамара, милая, вы не должны этого делать! Нельзя ничего опрометчиво делать. Никогда не надо. Вы ведь многого не знаете. Вы можете погубить сейчас ни за что человека. Может быть, это все принесет большую беду! Поверьте, все может быть! — Ему стоило усилий улыбнуться ей в расширившиеся глаза. — Ну, если это мой пистолет... Я похож на вредителя? Ну, скажите — похож? Я похож?

— Вы-ы? — протяжно выдохнула Тамара, и уголки бровей ее разошлись в стороны. — Вы?

— Разве это важно? — продолжал Константин. — Но подумайте, что это пистолет такого человека, как я... Кто-нибудь привез с фронта. Спрятал. И забыл про него. Может же это быть? Поверьте, это может быть. Вот он, пистолет, я взял его! Я отнесу его в милицию и сдам! И все будет в порядке. Вам не нужно никуда ходить! И не нужно вмешиваться. Ведь вы



девушка. Зачем вам это? Совсем не женское это дело. Ну? Разве я не прав?

— Вы знаете... вы знаете, — звонко заговорила Тамара и отвернулась. — Когда случилось это с мальчиком, я не сказала. Но на меня стали как-то странно смотреть даже учителя. Я видела ножик, но не подумала. А его исключили. Но я не понимаю: стали говорить, что я из любви к нему забыла о честности. Я не понимаю...

— Идиоты были всегда! И наверно, еще долго будут, — сказал Константин и прибавил дружески: — Вернитесь, Тамара. Вы обидели отца, но вы оба были не правы. Честное слово. Идите к отцу. Мы часто несправедливы с теми, кто нас любит. И прощаем тем, кому нельзя прощать. Поверьте, я немного старше вас. Я немного опытнее.

Медленно проведя ладошкой по щекам, словно снимая паутину, она спросила удивленно:

— Почему вы со мной... так говорите? Как с ребенком...

Он осекся, хотя ему хотелось говорить с ней.

Двор уже погружен был в синеющую темноту мартовского вечера с пресным запахом подмороженного снега, открывалась над границей крыш ровная глубина звездного неба, и проступал огонек свечи из раскрытой двери сарая. Все вдруг стало покойно, тихо, как в детстве. Ничего не случилось, не должно было случиться — ночь была закономерной, и закономерными были огонек свечи в сарае, звезды над двором, горький запах печного дымка и то, что все будто исправилось в жизни, как только он заговорил с ней. Он не знал, что это было, но он говорил с ней и чувствовал себя старше ее на много лет, и опытнее, добрее, чем, казалось, все эти знакомые и незнакомые люди за этими спокойно освещенными окнами во дворе. Жесткий ком пистолета, давивший на грудь, — комок зла, страха за Асю, за все, что могло свершиться, — было тоже закономерностью.

Он сказал:

— Идите к отцу, Тамара. И помиритесь. Не стоит портить друг другу жизнь. Из-за пустяка. Честное слово, жизнь неплохая штука, если быть добрым к добру и сволочью к злу. И тогда прекрасно будет.

— Что? — одними губами спросила Тамара. — Какое зло?

— Это вы когда-нибудь поймете. Вы все поймете. Послушайте меня, идите к отцу и скажите ему, что ничего не было. Ведь он вас любит.

Она посмотрела на него из темноты недоверчиво, потом сказала:

— Почему вы так говорите?..

— Томочка! — жалобным голосом позвал Берзинь из сарая. — Константин Владимирович.

— Идите! — сказал Константин, не отвечая на ее вопрос. — Идите.

Взглянув на сарай, она осторожно вздохнула и тихими шажками двинулась по тропке. В оранжевом от свечи проеме двери проступала маленькая и жалкая фигура Берзиня. Покашливая, он горбился, и в позе его были убитость, желание мира.

Константин пошел к парадному.

Иногда ему казалось — вся квартира была полна звуков: хлопала пружина парадного, Берзинь трубно и мужественно сморкался в коридоре; гулко, но неразборчиво шли волнообразные голоса из кухни, стихали и вновь толкались в стены, и Константин лежал на диване, в полузабытьи различал эти звуки.

Потом голоса стихли на кухне.

«Почему люди так много говорят? — думал Константин. — Какой в этом смысл? Что это, форма самозащиты?! Берзинь отлично понял, что пистолет мой. Но он слишком честен. И теперь смертельно перепуган. За себя, за Тamarу и, наверно, за меня. Скажите мне, милый Марк Юльевич, зачем я берег этот «вальтер»?.. Почему я, дурак, не выбросил его раньше? Память? Наградное оружие? Да это же глупость! Нервы — ни к черту!.. И тогда, на даче, и сейчас; Я, кажется, болен, с ума схожу!..»

Константин лежа пощупал во внутреннем кармане куртки пистолет — ему необъяснимо хотелось смотреть на него. «Вальтер» влип в ладонь: никель, кнопка предохранителя, литой спусковой крючок, гладкий ствол. Когда-то, несколько лет назад, в разведке этот «фоновский» пистолет необходим был ему, легонько оттягивал задний карман — запасной пистолет для себя; тогда он сам как угодно мог распоряжаться своей жизнью.

Но здесь, сейчас, в тишине комнаты, при виде этого точеного, как детская игрушка, механизма, здесь совсем по-иному — металлически и щекочуще — запахло смертью. И, со страхом и ненавистью к этому пистолету, глядя на него, он снова ощутил вокруг себя провал, как тогда ночью, когда шел на станцию во Внукове.

«Нервы, — додумал он. — У меня размотались нервы. До предела размотались...»

Константин медлительно встал с дивана, поскрипывая рассохшимся паркетом, прошел в другую комнату, включил свет. Комната ожила вещами Аси: свитером, домашним халатиком на спинке стула. Окна стали черными, превратились в плоские зеркала. Они мертво отразили зеленый парашют застывшего на шнуре абажура и очертания лица Константина, выражение которого он не разобрал, когда задергивал занавески.

Он выложил на письменный стол томики Тургенева, затем том «Жизнь животных» Брема, который необходимо было сжечь. Этот наивный тайник для «вальтера» все-таки был удобным — вырезанный бритвой футляр среди жирных строчек, и в глаза Константину бросилось несколько слов, оборванных выемкой гнезда, он прочитал машинально, не вдумываясь в смысл: «...потрясенные ревом тигра животные...»

Он вздрогнул — громкий стук раздался в дверь из коридора.

Этот стук возник из шагов, голосов на кухне, из движения в квартире. Стук начался в дверь первой комнаты. Он заполнил ее, рвался, проникая оттуда, из другого мира.

И, отчетливо услышав этот сумасшедший стук, Константин быстрым и сильным рывком схватил, сжал плоский и холодный как лед металл пистолета: и, когда он оборачивался к двери, что-то знакомое, темное кинулось в лицо, мелко задрожав в тумане, жирная линия букв, смысл которых он уже не понял; лишь в сознании его завязла мысль: «Вот оно, вот оно!»

За дверью гремели шаги. Стучали непрерывно.

И он понял, что это все — за спиной дышит пустота, в которой ничего нет, кроме угольного

бесконечного провала. И еще он успел подумать, что сейчас, когда они войдут, исчезнут мать и отец, которых он уже забывал, почти не помнил, и незабытая война, и Сергей, и сорок пятый год, и Николай Григорьевич, и Ася, и ее радостно сияющие ему глаза («Прости меня, Асенька, прости меня!»), и Михеев, и Быков, и вся злость, и его мука, и его страх за Асю, с которым невозможно было жить.

«Вот и все, Костя...»

И, одним движением толкнув руку с «вальтером» в карман, глядя на дверь в другой комнате, он крикнул:

— Кто?..

В дверь прекратили стучать. Шагов не было. И только возбужденный голос сквозь дыхание:

— Константин Владимирович! Константин Владимирович!.. Вы спите? — Это был голос Берзиня.

— Кто там?.. Вы, Марк Юльевич?..

— Константин Владимирович! Откройте! Вы слышали? Вы спите? Радио... включите, пожалуйста, радио!

— Что? Какое радио?

С испариной на лбу, очнувшись, он застонал, протер лицо, словно разглаживая на нем напряжение мускулов.

И после этого повернул ключ в двери.

— Радио... радио! Вы слышали радио? Это второе сообщение... Вы слышали?

Берзинь на коротеньких ногах вкатился в комнату, волосы встрепанно торчали с боков лысины, подтяжки спущены, били по ягодицам, как вожжи.

В руках у Берзиня была мышеловка, и несоответствие этой мышеловки и выражения несчастья в глазах его, во всей его фигуре удивило Константина. Он, не понимая, выговорил едва:

— Вы что?

— Вы послушайте... послушайте! Вы не слышали? Не слышали? Передали о Сталине... И сейчас передают. Вы спали, да? Вы не слышали? Включите радио! Где у вас радио?

— Что — Сталин?

— Включите радио. Включите радио! — повторял Берзинь, бегая по комнате. — Где, где у вас радио? Передают. Сейчас!

Константин вбежал во вторую комнату; дергая зацепившийся шнур, включил репродуктор — он размеренно ронял чугунные слова:

— ...и Совет Министров Союза ССР сообщают о постигшем нашу партию и наш народ несчастье — тяжелой болезни товарища Иосифа Виссарионовича Сталина.

В ночь на второе марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве в своей квартире, произошло кровоизлияние в мозг, захватившее важные для жизни области мозга.

Товарищ Сталин потерял сознание. Развился паралич правой руки и ноги. Наступила потеря речи. Появились тяжелые нарушения деятельности сердца и дыхания...

На Горбатом мосту тихой канавы Константин нащупал «вальтер» во внутреннем кармане и резко бросил его через железные перила в неподвижную вечернюю, расцвеченную огнями воду.

И не расслышал булькнувший звук внизу. Вода поглотила пистолет без всплеска — и не было кругов в масляной черноте под мостом.

«Почему я этого не сделал раньше? Надеялся на что-то? Ждал? Не верил? Что ж — вот она, добренькая черта: сомневаться до последнего момента! И я не верил, сомневался?..»

Потом, скользя по гололеду ступеней, Константин спустился на безлюдную набережную — и тут сбоку раздался стеклянный приближающийся хруст ледка под чьими-то ногами. Он со споткнувшимся сердцем глянул из-за поднятого воротника. Темная фигура постового, незаметно дежурившего в тени дома, солидно, неторопливо надвигалась на Константина, голос ударил, как выстрел:

— А ну, что бросил, гражданин? Что в канаву бросал?

— Пистолет. Обыкновенный пистолет, — внезапно с отчаянным спокойствием проговорил Константина. — Этого мало?

— Чего-о? Вы эти шутки бросьте. Вчера одна тоже бросила. Ночью. Утром посмотрели — младенчик на камушках. «Пистолет-ет»! Проходите, проходите, гражданин.

Ночью он сжег в печи том Брема, в котором было вырезано гнездо для «вальтера».

— Ты не спишь, Костя?

— Нет. Не могу.

— Это ужасно.

— Скажи как врач, инсульт — очень серьезно? Это излечимо?

— Да. Но это второй инсульт. Главный врач нашей поликлиники сказал, что это второй. Первый был в тридцатых годах. Мы не знали. Он без сознания. Поражены важные центры.

— Странно. Не могу представить, чтобы он был без сознания. Мы всегда думали, что он вечен...

— Когда я шла из поликлиники, на улице останавливались люди. Везде включили радио. Все молчат. Никто не ожидал. Знает ли об этом папа... там? И Сергей.

— Наверно.

— ...Письма, которые писал Сергей Сталину... Он писал о папе. Теперь я не знаю, что будет.

— Ася! Тебе неудобно лежать?

— Нет, нет... Что-то стало душно. Горло перехватило.

— Дать тебе воды? Тебе что-нибудь нужно, Асенька?

— Не надо. Ничего не надо. Возьми только руку из-под головы. Не обижайся... Я вот так лягу. И все пройдет.

— Ася!

— Что, милый?

— Ася, все прошло?

— Да.

— Ася... что ты сейчас чувствуешь?

— Этого не объяснишь. Маленького зайца. Лапками копошится за пазухой.

— Я люблю тебя. Одну. Единственную. Я никогда никого так не любил.

— Костя, глупый, ты так сказал? А он возится там и не знает — ни тебя, ни меня. Ни то, что в мире. Он сейчас ничего не знает.

— ...Ничего не знает. Ни о тебе, ни обо мне, ни о своем деде. Все ему не нужно будет знать. К черту ему знать это!

— Нет! Он должен знать все. Я не хочу, чтобы он вырос комнатным цветком. Нет. Он должен уметь драться, защитить себя. Он не должен давать себя в обиду.

— Я уверен, Ася, он все же будет жить при коммунизме. Кулаки необходимы будут для спорта. Это нам нужны кулаки. Ася... тебе удобно лежать?

— Да, милый. Сколько сейчас времени?

— Два часа ночи.

— Два часа... Костя, ты не выключал радио?

— Нет, радио включено.

14

На следующий день перед сменой Константин увидел Михеева.

Помедлив, Константин вытащил сигарету, помедлив, чиркнул спичкой, затянулся, потом аккуратно бросил спичку в металлическую бочку около входа — ждал, пока пройдет первый порыв злой неприязни, возникшей сразу при виде широкой шеи Михеева со щеточкой отросших волос, лежащих на воротнике полушубка, его крепкой, тугой спины, его ватных брюк, заправленных в бурки.

Боком к Константину Михеев стоял в толпе шоферов, собравшихся перед линией в закутке курилки, щеки его темнели плохо выбритой щетиной, угрюмое лицо было непрспанно, одутловато, с похмельной, казалось, желтизной.

«Он был у больной сестры или на дне рождения, кажется? — вспомнил Константин недавние слова Акимова. — Он приезжает с линии раньше или позже меня, избегает встреч со мной!.. Или той ночью он еще где был? Что ж, и это похоже. О чем он думает сейчас?»

— А я тебе говорю — нет! Соображать надо! — донесся из закутка рокочущий бас Плещея. — Слухи, брат, как мяч, скачут!..

И Константин догадался, о чем говорили там.

Все, что задумал он, как бы теряло сейчас свою значительность, растворялось в беспокойной и сгущающейся обстановке, все как бы утрачивалось в последних событиях и незаметно отдалялось в охлаждающий туманец.

«Так что же?» — спросил он себя.

Константин зачем-то выждал минуту возле бочки с водой, отражавшей сквозь нечистые стекла окон фиолетовое мартовское небо, подошел к закутке курилки. Его никто не заметил; увидел один Сенечка Легостаев, как всегда, топтавшийся чуть в стороне с бутылкой кефира; несмотря ни на что, он закусывал перед сменой. Здороваясь, он открыл, криво улыбнувшись Константину, стальные зубы, спросил:

— Слышал? Что происходит-то на белом свете?

И, большим глотком отхлебнув из бутылки, навалился на чужие плечи, стал не без любопытства заглядывать в середину гудевшей толпы шоферов.

Шли разговоры.

— Что тут предполагать! Все может быть. Иногда и профессора ни шута не могут! — выделяясь, звучал натянутый густой бас Плещея. — Здоровье тоже было немолодое. Но надеяться надо — обойдется, может. Об этом и думать надо. А не о том, что профессора плохие. Все козлов отпущения хотим найти!

— В войну ни одной ночи небось не спал — думал за всех. Вот тебе и кровоизлияние в голову. Сам все!

— С ним враги не особенно... Боялись. И Черчилль сволочь! И Трумэн... Всех держал. Надорвешь здоровье, поди! А тут еще в юбилей письма в газетах: «Родной наш, любимый». Как сглазили!

— Да ты только, Семенов, ерунду не пори, моржовая голова! — раздраженно загудел Плещей. — «Сглазили»! Чего сглазили? Орел ты, вороньи перья! Ты еще у бабушки на самоваре погадай! Тут даже у нас некоторые балабонят, что врачи, мол, виноваты!..

— Я что, Федор Иванович? Я не болтал такое...

— Да ты, может, и нет. Ну а чего ты сразу задом заюлил-то, Семенов? Чего скис? Чего перепугался?

И в это время Константин через головы шоферов увидел повернутое к диспетчеру Семенову грубоватое и заметное оспинками лицо Плещея, сидевшего на скамье; рядом молчаливо сидел Акимов, ресницы опущены, белые волосы зачесаны назад. Плещей сказал грустно Семенову:

— Разное болтают, брат. Это я тебе как коммунист говорю. Чешут языками направо и налево, озлобляют только всех. Всегда виновных ищем! — Он крепким хлопком выбил сигарету из мундштука. — Так, Михеев, или не так? Чего ты на меня из-за Семенова, как на огонь, смотришь? Это ты, что ли, тут утром болтал, что Сталина врачи отравили? Значит, как — профессора в ответе?

— Вы, Федор Иванович, больно уж как-то неполитично говорите, — ответил надтреснутым голосом Михеев, моргнув, как на яркий свет, глазами.

— А ну — конкретно! В чем? — рокотнул Плещей, упираясь кулаками в колени.

Михеев заговорил угрюмо:

— Разве о вожде народов кто болтает? Любили мы его, как отца. И так далее. Вы, как секретарь партийной организации, объяснение людям должны дать. А вы только людей высмеиваете, рты зажимаете. Семенову вот... Я, как беспартийный гражданин, даже не могу согласиться с вашим объяснением.

Плещей с зорким удивлением коротко остановил взгляд на Михееве и грузно ударил кулаками по своим коленям.

— Сосунок! Теленок вислоухий! — зарокотал Плещей насмешливо. — Ты меня будешь учить политграмоте! Когда ты задуман был на печке, я уже в партию вступил, Ленина видел, пятилетки строил. Ты что же, Михеев, ответственной, значит, коммунист, чем я? Значит, ты патриот и стоишь на страже? А ты, круглая голова, два уха, по-русски слово «правда» знаешь!.. Здорово, Костя! — в наступившем молчании, точно остыв и уже мягче сказал Плещей, заметив Константина, подошедшего в эту минуту сбоку Михеева; и взглянул Акимов, обрадованно поздоровавшись движением век; стали оборачиваться к Константину лица шоферов. — Садись с нами, Константин! Где же пропадаешь? В обрез что-то приходит начал, не видно тебя совсем, кореш! — грубовато-ласково проговорил Плещей и раздвинул место на скамье рядом с собой и Акимовым. — Посиди-ка, расскажь что-нибудь, а то тут... мозги растопырились!

— Действительно, пропадаешь где-то, Костя, — сказал Акимов.

Но Константин не успел ответить, кивнуть Плещею, Акимову, знакомым шоферам — на секунду встретился с глазами Михеева, невыспавшимися, красными, стоячими, как у птицы ночью, потом, словно кто-то махнул по глазам Михеева, мгновенно застлал тенью, — зрачки скользнули книзу.

— Здорово, Илюша! — проговорил Константин. — А я тебя искал вчера. Или, говорят, ты меня искал? Простите, ребята! — прибавил он, обращаясь ко всем. — Я одну минуту! Он давно хочет со мной поговорить. Но без свидетелей. Пошли, Илюша! Я готов.

— Заболел? Отстань, дурак! — презрительно сказал Михеев.

И, багровея, заплетаясь бурками, как-то угловато пошел от курилки к машинам, словно бы ожидая удара от Константина, который последовал за ним.

Возле машин Михеев вдруг спросил срывающимся голосом:

— Чего от меня хочешь?

— Ничего, ничего страшного, — обняв его за плечи, ответил Константин. — Только передам тебе несколько слов от одного человека... По его просьбе.

— Какого человека? — нахмурился Михеев. — Врешь все!.. Чего пристал?

— Ты позвонишь этому человеку по телефону — узнаешь. Но тогда будет поздно. Для тебя!  
— Константин поощряюще пошлепал его по натянутой, как барабан, спине. — Для тебя!  
Пошли, Илюша. Давай вон туда. За машины. Там никто не помешает. Это секретный разговор. Я при всех не могу.

— Бешеный дурак! — опасно проговорил Михеев. — Зачем глупость при народе болтал? Что подумают? Тебе за это — знаешь?

— Спокойно. Не надо волноваться, Илюша. Я сделал это для отвода глаз. Я ведь всю войну был в разведке, знаю, что такое вторая игра. И конспирация. А ты еще сопливый мальчик, хотя и хорошо кое-что делаешь...

— Ты что это болтаешь? — угрожающе произнес Михеев.

«Вот оно, сейчас, вот оно!» — подумал Константин не с новью узнавания, а с каким-то жутким, даже сладостным, удовлетворением.

— Пойдем, Илюша, — проговорил он. — Я все возьму на себя.

В закутке — в самом дальнем углу гаража, за старой колонкой, за стоявшими перед ремонтом машинами, тускло освещенными солнцем сквозь огромные и пыльные окна, Михеев, возбужденно оскалась, выкрикнул Константину:

— Ну, чего хочешь?

— Давай здесь, — тихо и веско произнес Константин и положил руку ему на плечо.

— Чего ты хочешь? Чего?

Михеев, весь напрягшись, враждебно-настороженно бегал взглядом по груди Константина, широкоскулое, клочковато выбритое, помятое лицо подрагивало, как от тика.

— Чего? Чего ты?.. Что за разговор?

— Разговор очень короткий. Только запоминай, — размеренно сказал Константин. — Запомни, парень... запомни... что на этом свете есть правда. Я давно хотел тебе это напомнить. Очень давно. И так уж, слава богу, устроен свет, что всяким сволочам бывает конец! Это первое...

— О чем ты? Чего ты? — вскричал Михеев, пытаясь вырваться из-под руки Константина, но не хватило силы. — Пусти!

— А ты потерпи, Илюша.

— Пусти, говорят! — Михеев астматически задвигал широкой шеей, глаза с выражением страха выкатились и будто отталкивали Константина. — Пусти! Пусти!..

— Запомни второе, Илюша, — проговорил Константин, не отпуская его. — Я прошел огонь, воды и медные трубы, а ты еще — кутенок. Если завтра же ты не перестанешь клепать на меня, Плещея и Акимова, на всех остальных из парка, на кого ты должен клепать, я сделаю так, что в кармане вот этого твоего полушубка найдут оружие, а в твоей машине обнаружат кое-что, от чего можно крепко сесть! Ты меня понял, Илюшенька? Тем более что в парке не найдется ни одного человека, который тебя нежно любит! Запомни, милый: все будет сделано, как в ювелирном магазине. Запомни еще! Не торопись, милый, не рассчитав силы, — можно самому себе к черту снести затылок! Запомнил? И еще, Илюшенька, — Константин, прищурясь, жестко стиснул окаменевшее плечо Михеева. — Я легко могу позвонить Соловьеву по телефону ка-ноль... и доложить о тысяче рублей, которыми ты хотел купить



свое молчание. Ты помнишь, как просил у меня тысячу рублей и обещал, что все будет в порядке?

— Пусти! Какие деньги? Сволочь! Пусти-и! — придушенно выдохнул Михеев и вдруг озлобленно, разевая рот, двумя кулаками пнул Константина в грудь, стремясь оттолкнуть его от выхода из закутка, пронзительно крикнул: — Врешь! Пусти, душегуб!.. Бешеный! Не хочу! Уйди, гад! Пусти-и!..

— Заткнись, гнусная морда! — Константин схватил его за борта полушубка, всем телом притиснул к стене, подавляя желание ударить, потрянул так, что в горле Михеева екнуло. — Молчи, харя! И запоминай, что говорят! Отвечай, шкура, запомнил? Запомнил?

Лицо Михеева расплывалось блином; он горячо дышал в губы Константина и, ворочая шеей, прижатый к стене, мычал, зрачки чернели, перебегали точками; и Константин, испытывая отвращение и ненависть, повторил:

— Запомнил, сволочь? Иди еще не дошло?

— А-а! Пусти-и! Пусти-и!..

Михеев с неожиданной яростью забился в его руках, ударил коленом в живот, и Константин, преодолевая острую боль в паху, притянул его и, выругавшись, изо всей силы кинул спиной к стене, подальше от себя — он не хотел драки, зная, что может не удержаться от нее.

Охнув, Михеев сполз по стене на пол и, раздвинув ноги в бурках, кашлял, задыхаясь, выдавливал вместе с кашлем:

— Убить захотел? Убить? Я тебя упеку!.. Пистолет у тебя... разговорчики. Я тебя...

— Что-что! — крикнул Константин и бросился к нему. — Что ты сказал?

— Не трожь! — взвизгнул Михеев, засучив бурками по грязному полу. — Я ничего не говорил!.. Не говорил я! Убить хочешь?.. Не трожь!

«Похоже. Очень похоже, — подумал Константин. — Так и Быков».

— Убить?..

— Этого мало, сволочь!

— Чего вас тут надирает? Что за крик еще? — раздался голос в проходе закутка.

Константин оглянулся и тут увидел торопливо входивших в закуток насупленного Плещея, Акимова и вместе с ними весело изумленного Сенечку Легостаева, как бы всем лицом своим ожидавшего скандала. Константин сказал, сдерживая голос:

— Вот визжит парень непонятно почему...

— Что тут еще, Костя? Что этот... упырь на полу загорает? — мрачно спросил Плещей, быстро окидывая, глазами обоих из-под сросшихся лохматых бровей. — Разговор? А крик зачем? На весь гараж!

— Был разговор. По душам, — ответил Константин и кивнул на Михеева, медленно вставшего, злобно, со всхлипами сморкающегося в скомканный платок. — Илюшеньке захотелось посидеть на полу, охладить поясницу. Странности у него. Во время серьезного разговора садится на пол. Не удержишь.

Сенечка Легостаев захохотал, нагло показывая стальные зубы; Акимов испытующе поглядел

на Михеева, затем на Константина и потупился.

— Бывает, — равнодушно произнес Плещей и сплюнул с непроницаемым видом, словно ничего не заметил здесь. — Иногда полезно бывает задний мост охладить. Только крика не надо. Лишнее!

Не подняв головы, Михеев по-бычьему протиснулся к выходу между Плещеем и Акимовым, вышел из закутка и заплетающейся походкой двинулся к машинам в сопровождении Сенечки Легостаева, который, ухмыляясь, спрашивал его:

— Чего бараном орал, гудок?

— Ну? — хмуро сказал Плещей и подтолкнул Константина к выходу. — На линию давай. Все должно быть как у молодого в субботу! Идеально. Ни одной придирки в смену! Ясно? Все как надо. И Акимов не понял, и я не понял. Ясно? У нас слух плохой... А Сенечка умом не допер.

— Понял, Федор Иванович, — негромко ответил Константин. — Спасибо. Я все понял.

— Давай, давай на линию!

Вечером, бреясь в ванной, Константин долго разглядывал свое лицо, темное, смуглое, похуевшее, казалось, обожженное чем-то; глаза смотрели устало и ожидающе — незнакомо. Прежде, бреясь и любя эти минуты, он насвистывал и подмигивал себе в зеркало, чувствовал тогда, как молодеет кожа на пять лет. Теперь бритье не так ощутимо молодило его — подчеркнуто открывало чуть тронутые сединой виски, — и мысль о том, что Ася видела это его новое лицо, была неприятна Константину.

Потом, ожидая Асю, он приготовил стол к ужину и задумчиво, со знанием дела, как будто всю жизнь занимался этим, заваривал чай. Теплый пар, подымаясь, коснулся его выбритого подбородка, защекотал веки. И он опять представлял свое лицо темным, усталым, каким видел его в зеркале, и лег на диван, поставил пепельницу на стул.

Тишина стояла в квартире теплой неподвижной водой, и звуки расходились в ней, как легкие круги по воде: приглушенные заборами далекие гудки машин, изредка позванивание застывших луж под чьими-то шагами во дворе. И было странно: то, что произошло с ним в последние дни, и то, что происходило в мире, бесследно тающей зыбью растворялось в этой тишине, и он почувствовал, что смертельно, до тоскливого онемения устал, что его охватывает равнодушие ко всему, это бездумное расслабление мысли и тела.

Он поморщился, услышав затрещавший телефон.

От неожиданного звонка закололо в висках. Но он не хотел вставать, не в силах разрушить это состояние бездумного и отрешенного покоя; затем с усилием над собой снял трубку — могла звонить Ася.

— Да...

Трубка молчала.

— Да, — повторил Константин. — Да, черт возьми!

— Мне Константина Владимировича...

— Я слушаю. Слушаю! Кто это?

— Добрый вечер, Константин Владимирович, — откуда-то издали зашелестел в мембране мужской голос, и Константин переспросил раздраженно:

— Да с кем я говорю? Ничего не слышно!

— Слушайте меня внимательно и не перебивайте. И не задавайте никаких вопросов. Я звоню вам для того, чтобы дать только один совет. Я понимаю, что Илья Матвеевич трус и деревянный дурак, но и вы поступаете не более умно, простите за прямоту. Мой вам совет: выбросьте немецкую игрушку куда угодно, чтобы у вас ее не было. Если вы еще не выбросили. И если вам нравится дышать свежим воздухом. Надеюсь, этого телефонного звонка не было и вы ни с кем не разговаривали. Не говорите об этом и жене. Это все!

Константин вытер обильно выступивший, как после болезни, пот на висках, пошарил сигареты на стуле и, когда закурил, вобрал в себя дым, обморочно закружилась голова.

«Ловушка? Это ловушка? Но зачем, зачем? Соловьев... У него был Михеев? Озлобился и пошел? Что ж — вот оно, злое добро? А как? Как иначе?.. Это был голос Соловьева? Он говорил! Его голос. Неужели он симпатизирует мне? После того разговора? Соловьев? Зачем? Что ему? Для чего?»

Константин с туманной головой начал ходить по комнате, не понимая и не зная, что нужно делать теперь, лишь чувствуя, что его удушливо опутало, как сетями, что он не может решиться сейчас на что-то, ничему не веря уже.

«Неужели? Не может быть!.. И это — правда? — подумал он. — Все равно! Все равно!..»

15

— Да, умер...

— Чего сказываешь, гражданин? В платке я, не слышу.

— Умер, говорю, Сталин. Не приходя в сознание.

— Го-осподи! А я слышу — музыка... Из Воронежа ведь я, у сродственников остановилась... Утром встала, брательник на работу собирается. «Плохо», — говорит. А я-то говорю: «Разве врачи упустят?» Упустили!..

— Мамаша, не мешайте! Если идете — идите! Со всеми... А вы — под ногами!

— Бегут, что ли, впереди?

— Да нет. Стоят. Милиция порядок наводит.

— Когда диктор сообщал, голос так и дрожал. Говорить не мог...

— Как вам не стыдно, товарищ? Со стороны пристраиваетесь! Колонна оттуда идет! Во-он, оглянитесь!

— Это что же, родимые, его смотреть?

- ...Да, не приходил в сознание...
- Сто-ой!.. По трое бы построились! Товарищи, товарищи!
- Оживятся они сейчас... Рады!
- Как же мы теперь без него? Как же мы жить-то будем?
- Кто оживится?
- Да всякая международная сволочь. Как раз тот момент, когда они могут начать войну...
- Американцы соболезнование не прислали.
- Куда же смотрела медицина? Лучшие профессора!
- К сожалению, он был не молод. Здесь, видите ли, и медицина бессильна. Как врач говорю.
- Кто после Аллилуевой был его женой?
- Да кто-нибудь был...
- Что-о? За такие слова — знаете? В такой день — что говорите?
- Я ничего не сказал, товарищ...
- Что было бы с нами, если бы не он тогда...
- Впереди есть милиция?
- Когда война началась, выступал. Волновался. Боржом наливал. По радио слышно было, как булькало...
- Иди рядом со мной. Не отставай!
- Верочка, не плачь! Не надо, милая. Слезами сейчас не поможешь. Я прошу тебя.
- Гражданин, это ваш сын? Смотрите, у него снялась галошка! Промочит ноги.
- Я на всех стройках... И в первую пятилетку, и потом...
- Социализм вытащил...
- Когда брата в тридцать седьмом арестовали, он Сталину письмо написал.
- Ну? Что вы шепотом?.. А он...
- Не передали ему, видать, секретари.
- Девочка, где твоя мама? Ты одна? Слушайте, чей это ребенок? Чей ребенок?
- Дедушка Сталин умер, да? Я пойду посмотреть. А мамы нет дома.
- Господи! Иди сейчас же домой! Ты потеряешься! Что же это происходит?
- Те улицы оцепили. И проходные дворы. Народу-то...
- От Курского вокзала...
- Неужели Манеж перекрыли? Через Трубную?

- Слово у него было твердое. Много не говорил.
- В праздники на Мавзолее стоит, рукой машет... А последнего Первого мая его не было...
- Как это не было? Я сам видел.
- Да, проститься.
- Я с сорок первого... Ничего, дойду на костыльке. Всю войну на ногах.
- Что там? Опять побежали?
- Вы ничего не видите? Почему остановились?
- Почему остановились?..
- Какие-то машины, говорят, впереди. Зачем машины?
- Девочка! Ты не ушла? Где мама, я спрашиваю? Это ваша?
- Нет, опять пошли...
- Вся Москва тронулась.
- Где? Где? Ему плохо, наверно. На тротуар сел. В годах. Товарищи, помогите кто-нибудь Устал, видимо...
- Пошли, пошли! Ровней, товарищи, ровней!

Толпа текла, колыхалась, густо и черно заполняя улицу, с хлопанием месила растаявший сырой пласт гололеда на асфальте; по толпе дул промозглый мартовский ветер, от него не защищали спины, поднятые воротники; ветер проникал в середину шагающих людей, выжимая слезы; и зябли лица, отгибались края шляп, полы пальто, отлетали за плечи концы головных платков. Люди не согревались от ходьбы; от обдутой одежды несло холодом — низкое, пасмурное, тяжелое небо несло над крышами, вливало резкий воздух туч в провалы кишевших народом улиц. С щелканьем выстрелов полоскались очерненные крепом флаги на балконах, над подворотнями; из репродукторов из Колонного зала приглушенно лились над толпами, над головами людей траурные мелодии, сгибая спины этим непрерывным оповещением смерти, непоправимостью уже случившегося.

— Музыка-то, музыка зачем? — закашлявшись, сказал кто-то сбоку от Константина. — И так сердце рвет...

— Смотри, женщина одна ведь!.. Из троллейбуса не выберется!

Толпу несло, вплотную притирая к цепочке стоявших под обледенелыми тополями троллейбусов. В гуле движения, в многотысячном шарканье, в липком шуме ног по мостовой не слышно было, как, закрыв лицо руками, плакала, рвалась в прижатую толпой дверь опустевшего троллейбуса женщина. Но рядом сквозь голоса слышались бабьи вскрики, причитания, заглушаемые ладонями, уголками платков, прижимаемых ко рту. Впереди тоненько заплакала девочка, крича испуганно: «Мама! Мама!» — тотчас, как бы подхватив этот крик, истерически взвизгнули, зовя детей, несколько женских голосов, и несдерживаемые вопли прокатились по толпе, охватывая ее, вырываясь в каком-то упоенном ужасе горя — и от мелодий Шопена, и от непонятности при виде этой мелькнувшей женщины в троллейбuse. Кто-то крикнул:

— Стойте же! Стойте же, стойте! Она не успела выйти! Она была с девочкой! Я видел...

— Помогите ей!

— Да это кондуктор.

— Какой кондуктор? Ни одного нет!

— Боже мой, Костя, что это? Нас все время сжимают... Откуда столько людей? Ты слышишь — там впереди кричат!

Люди двигались толчками, будто тяжело раскачивало их, сжимало стенами домов, толкало сзади волнами; впереди усилились крики женщин; крики эти и плач детей заглушались каким-то слитным ревом голосов, этот рев катился спереди на людей. Никто не знал, что случилось там, — вытягивали шеи и подымались из толпы над спинами, оглядывались растерянные и недоуменные лица.

— Что там? Что?

— Ася! Нам нужно вернуться! — крикнул Константин. — Нам не нужно ходить! Нам нужно вернуться!

Константин шел в середине толпы, охватив Асю за плечи, защищая ее от натиска спин и плеч все сгущавшейся людской тесноты, — нельзя было понять, почему так плотно сдавило, так закачало толпу. Но он еще пытался раздвигать локти, напрягая мускулы рук, он еще держал их раздвинутыми, и вдруг его локти приплюснуло к бокам. Он сразу ощутил чье-то прерывистое, трудное дыхание на затылке, на щеке, упругое живое шевеление человеческой массы, навалившейся сзади и с двух сторон. И уже изо всей силы вырывая свои одеревеневшие локти, охраняя Асю, он с тревогой увидел ее добела прикушенную губу, увеличение напряженные глаза.

Константин успел прижать ее к себе, успел наклониться к ее побелевшему лицу, крикнуть:

— Ася! Идем отсюда! Здесь нельзя! К тротуару, к тротуару! За мной! Охватывай меня руками за пояс!

«Зачем я послушался ее? Зачем мы пошли? Она хотела посмотреть? Зачем я послушался?»

Впереди опять закричали женщины. На мгновение разорвало и стремительно понесло в прореху толпу, какие-то цепляющиеся, раздирающие руки, набрякшие, задыхающиеся лица втиснулись между ним и Асей, и тут же их оторвало друг от друга.

— Ася! Ася!..

Константина несколько раз повернуло в круговороте тел и неистово потащило, поволокло на чьих-то плечах, ногах куда-то наискосок, боком к оглушительно надвигающемуся реву, это теперь не были человеческие голоса — казалось, рокошущая, вставшая до серого неба волна океана накатывалась на людей, готовая опрокинуть, утопить их.

— Ася!.. Ася!.. — Константин уже не крикнул, а крик этот выдавился из его стиснутой чужими локтями груди. — Ася-а!..

Он не понимал, не мог понять, что случилось и почему случилось это, он только, вырываясь из тисков человеческих тел, увидел возникшее среди голов бледное и какое-то незащищенное лицо Аси с умоляющими глазами, намертво прикушенной губой, и, ожесточенно расталкивая живую стену напирających плеч, стал протискиваться к ней с необычайной, охватившей его силой.

Он видел впереди ищущее лицо Аси, смутно чувствовал движения, толчки своих рук. Он

задыхался, и в его сознании билось оглушающим молоточком: «Только бы не упала! Только бы... Только бы не упала!..»

Константин слышал впереди себя возгласы, рвущиеся в уши но эти удары молоточка в сознании заглушали все: «Только бы не упала, только бы...»

— Что же это... Что же это, товарищи!..

— Кто сделал? Зачем?

— Я не могу!.. Я не могу!.. Я не могу...

— Коля-а!..

— С ума, что ли, сошли?

— Почему это?.. Что устроили!..

— Я упаду... Не могу!

— Зачем взяли детей!..

— ...Что вам? Что вы делаете?

— О-о-ох!..

— Машины с песком!.. Преградили путь!

— На Петровку!..

— Зачем? Зачем?

— Что ж это такое?.. А?

— С Трубной народ...

— Фонарный столб... Смотрите!

— Витя... держись, родной мальчик!.. Держись! Ручками держись! Потерпи!.. Держись, сыночек!

— Па-па!.. Ми-илый... Папочка!..

«Только бы не упала!.. Только бы... Только бы не упала!..»

— Ася-а! Ася!..

Он уже не видел ее лица, он лишь видел платок Аси среди месива людских голов. И, как бы косо вырастая из спертой черноты толпы, закачались слева голые деревья бульвара, — и оттуда вроде бы приблизились кузова грузовых машин, сереющие мешки из-за бортов, столб фонаря с прилипшим к нему телом мальчика. Мальчик, без шапки, в растерзанном пальтишке, с захлестнутым на спину пионерским галстуком, плача, обвивал руками фонарный столб, елозил маленькими, сплошь заляпанными грязью ботинками по растопыренным, вскинутым вверх, как подпорка, ладоням мужчины, человеческой массой притиснутого к столбу. Мужчина в разорванном на плече плаще глядел побелевшими страшными глазами и не кричал, а всем лицом просил о пощаде:

— Витенька, держись, сыночек, крепче!.. Витя! Родной, я здесь... Еще немножечко, упирайся

мне в руки! Ну, держись! Ну, держись! Товарищи, товарищи!..

— Па-апочка!.. Не могу... Ми-иленький...

— Ви-итя!.. Сыночек!..

— Го-осподи-и, упал! — воем прокатилось по толпе, шатнувшейся назад. — Мальчик!..

— Товарищи! Товарищи!

Константин не заметил, как упал мальчик, только что-то темное мелькнуло над головами, и толпа закачалась. Завизжали женщины, донеслись крики: «Остановитесь!»

«Где мальчик? Только бы не упала... Только бы не упала! Только бы!.. — как молитва, пронеслось в мозгу Константина. — Ася, не упади. Ася, не упади. Мальчик упал? И что же? Что же?..»

— Асенька!.. Ася! — крикнул он, вывертываясь и выжимаясь из гущи толпы, теперь совсем не чувствуя ногами твердость мостовой. Его приподняло и несло; кто-то, хрипя, лез сзади на плечи, упорно, обезумело упираясь кулаками ему в спину, в затылок. Возникло сбоку с пустыми, вылезшими из орбит глазами и перекошенным ртом, сизое и потное лицо парня. В исступлении колотя кулаками, он лез куда-то в сторону и вверх, на головы людей, и Константин, охваченный внезапным бешенством к этому безглазому лицу, готовому все смять, с ненавистью и злой силой ударил его головой в нависший подбородок и еще раз ударил.

— Сволочь!.. Куда? Не видишь — там женщины, дети!..

— Ты-и!.. — заревело, мотаясь, лицо. — Один хочешь смотреть? Один?.. А я из Мытищ приехал!..

— Такие сволочи детей давят! — крикнул кто-то рыдающим голосом. — Озверел, дурак?

— Товарищи! Стойте! Остановитесь! Там мальчик! Там женщины!.. Мы не должны!

— Что же это творится?

— Как случилось? Я не могу понять!..

— Дети... Мальчик... А отец, отец где?

— Милиция — что?

— Там.

— Господи! Прости, господи!

— Товарищи, товарищи...

— А ребенок... Мальчонка где? Отец где?

— Женщина кричит... Опять!..

«Только бы не упала... Только бы... Какая женщина?»

Уже еле двигая окаменевшими локтями, он пробирался сквозь толпу, плохо слыша голоса, возгласы, придушенные стоны, в ожидании несчастья искал через головы людей узкий, будто кружащий возле фонарного столба платок Аси. Задыхаясь, он рвался к этому платку, никогда



в жизни не осознавая так близко несчастья, которое могло произойти там, впереди; сердце, как вытесненное, билось возле горла.

— Ася!.. Ася!.. Я к тебе!.. Я иду!..

— Товарищи! Товарищи! Мужчины, в цепь, в цепь! Сюда, в цепь! — чей-то крик прорывался сбоку, хлестал по толпе. — Мужчины, сюда!

Фонарь, милицейские грузовики с песком, загораживающие улицу, голые деревья бульвара колебались перед глазами; толпа шаталась из стороны в сторону, как единое тело. Фонарь, приближаясь, медленно разрезал ее водоразделом. Потом на мгновение стало просторнее, твердая земля появилась под ногами, в разорванной щели среди людей мелькнула цепь милиционеров, рядом цепь каких-то штатских, взявшихся за руки.

— Ася-а!..

— Костя!.. — услышал он в вое голосов, надсадных командах милиционеров слабый Асин крик и из передних сил рванулся на него, в эту образовавшуюся в толпе щель. И, едва не плача, увидел ее руки, охватившие фонарь, щеку, придавившуюся к столбу, закрытые, замершие веки.

— Ася!.. Ася! Родная моя!.. — Он оторвал ее от столба, повернул к себе, заглядывая в будто кричащие, с крупными слезами глаза, капельки крови проступали из прикушенной нижней губы. — Ася... Ася... Ася... — повторял он. — Ася, что? Что? Ася...

Он не мог ничего больше выговорить. Он инстинктивно прижал ее, пригнул голову к своей потной шее и, резко двинувшись спиной, потянул ее сейчас же в узкую щель разбившейся толпы перед цепью милиционеров. А она еще пыталась отогнуть голову, оглянуться назад, и он чувствовал своей горячей мокрой шеей ее незнакомый вздрагивающий голос:

— Возле фонаря... там... мальчика... мальчика... Ты ничего... Ты ничего не видел?

— Сюда! Сюда!.. Прижимайся ко мне! Сюда!..

Толпа в этот миг стиснула их, охватила толщей трущихся тел; люди, сминая цепь милиционеров, ринулись в неширокий проход между стоявшими поперек улиц грузовиками. Константина ударило спиной о кузов, и он успел прижать Асю к себе, страшным усилием всех мускулов, рвя на спине куртку о кузов, успел ее повернуть боком к радиатору.

Почему-то у ската машины зачернела куча галош, огромных, растоптанных, и детских, на красной подкладке, и почему-то непонятно, разноголосо вырывался детский плач из-под машины.

Константин, как в пелене, различал; копошились там, высовывались из-под днища тонкие ножки в чулочках, появлялись возле колес красные ребячьи пальчики, упирающиеся в месиво грязи; оттуда неся детский вопль:

— Мама! Ма-ма! Ма-амочка!

Константин повторял хрипло:

— Сюда! Сюда!

С трудом он разжал руки, не выпуская Асю, и еще продвинулся на шаг к борту машины — и в ту же секунду толкнул ее на подножку. Она упала на нее, не вытирая слез боли, сбегających по щекам, прикусывая губы, сочившиеся капельками крови. И молча смотрела на него.

— Ася! Что? Что? — крикнул он. — Ася, ну что?

Она разжала губы.

— Ничего, милый... Ничего, мой мил...

— Ася! Что? Ну скажи же, скажи — больно? Живот?..

Она глотала душившие ее рыдания.

— Там... у фонаря... Мальчик!.. А люди, люди... что с ними! Мне кажется... я наступила на него. Его не успели... — Сдерживая стук зубов, она закрыла лицо руками. — Что же это... милый? Что же это? Почему это случилось? Почему? Здесь дети под машиной... Они залезли под машину. Зачем здесь дети? И тот мальчик...

Оглушенный детским воплем из-под машины, рокотом толпы, напирющей в спину, Константин, глядя на Асю, испугался этих ярких капелек крови на губах, ее уже странно прижатых к животу рук и, увидев это, едва сумел выговорить:

— Его успели... Асенька. Его подняли. Ты ни на кого не наступила. Тебе показалось, родная...

Толпа чугунными толчками давила на спину Константина, все плотнее притискивая его к машине, к ее крылу, к подножке, на которой прижалась Ася. Людской вал неистовым напором вырывался к проходу, наваливался сзади на машины, на Константина. А он, напрягая мускулы спины, рук, опершись в железную дверцу грузовика, старался удержать всем своим телом натиск толпы, охранить этот уголок подножки с Асей. И видел лишь ее огромные, молящие глаза, раскрытые на половину лица от боли, Он уже не слышал крики и гул толпы, темными кругами шло в голове. «Сколько так будет — секунда? Минута? — туманно мелькнуло в его сознании. — День? Год? Всю жизнь? Я не выдержу так пяти минут... Я не чувствую рук. Что же делать? Что же делать? Я ничего не могу сделать! Неужели я не могу!.. Вот легче, стало легче...»

Сквозь пот, разъедающий глаза, он вдруг заметил под ногами цепляющиеся красные пальчики, они поползли из-под машины, и, как из серого тумана, поднялось грязное, дурное лицо девочки — она захлебывалась слезами, высовывая голову из-под машины, и, царапая пальцем по рубчатой резине колеса, позвала тоненьким, комариным голосом:

— Мама... Мамочка... Я хочу к маме... Я хочу домой...

Константин увидел ее в тот момент, когда толпа, оттиснутая цепью милиционеров, качнулась назад. Он оглянулся. Знал — сейчас толпа, напиремая сзади, снова качнется вперед, забьет трещину, в нее ринутся что-то оружие милиционерам, лезущие сбоку и из-за спины парни с ничего не видящими сизыми лицами. И приплюснут его, и сомнут девочку возле ската грузовика.

Он крикнул пересохшим горлом:

— Под машину! Под машину!

Растягивая в плаче большой рот, икая, она повела на Константина глазами; пуговицы на ее обтрепанном пальтишке были вырваны с мясом, белые нестриженные волосы растрепанно спадали на плечи.

— Мама!.. Мамочка!.. Домой!.. Я хочу домой!..

Отталкиваясь одубевшими руками от железной дверцы, он хотел еще раз крикнуть: «Под

машину!», но голоса не было, и в эту минуту краем зрения увидел Асины протянутые руки к девочке, оттолкнулся всеми мускулами от дверцы, сделал шаг к скату, только на миг ощутил под пальцами слабенькую детскую ключицу и почти швырнул девочку к Асе на подножку. Успел заметить, как Ася прижала ее светлую голову к коленям, — дверца машины темной зеленой стеной повернулась перед глазами, он сделал обратный шаг к ней. Но в эту минуту страшным напором толпы его крутануло возле подножки, ударило левым боком о крыло грузовика. Он услышал удар о железо, оно, казалось, вошло в его тело и оглушило, ожгло пронзительной болью. «Неужели? Меня? Меня? Неужели? Меня?.. — огненно скользнуло в его сознании. — Меня? Не может быть! Не может быть!..»

Он почувствовал, что не может поднять руки, и опять услышал жесткий железный хруст. Он хотел подняться на цыпочки, стараясь высвободиться, вдохнуть воздух. Но тотчас его сдавило дышащими, рвущимися возле машины телами, откинуло на радиатор, мотнуло головой на железо. Готовый закричать от боли в боку, он схватился за радиатор, через текущий туман еще пытаюсь найти лицо Аси, прикрытые ее руками светлые волосы девочки. Но не увидел их, ужасаясь тому, что он ничего не может сделать, пошевелить пальцем. И он прохрипел, ощущая губами соленое железо радиатора:

— Под машину... Под машину, Ася! С девочкой... Под машину!

Он улавливал воющий, нечеловеческий крик, и как будто в зрачки ему лезло лицо женщины с развалившимися на два крыла черными волосами, ее раздирающий вопль:

— Сам ушел и детей моих унес! А-а!..

И голоса сквозь звон в ушах:

— Товарищи! Товарищи! Назад! Мы не пойдем! Милиция! Остановите!

— Людей... что сделали с людьми?

— Кто виноват? Кто виноват? Кто виноват во всем?

И еще голос:

— Стойте! Стойте!..

Потом все исчезло, и пустота понесла его.

Он хрипел в эту пустоту:

— Ася... Ася... Под машину! Под машину!..

А из сплошной темноты накатывался, ревел шум моря, и он ногами чувствовал удары в сотрясающиеся от грохота камни, и ноги скользили по камням к краю высоты. Он хотел отклониться назад, найти точку опоры, но его подхватило потоком, как шерстинку, понесло между грифельным небом и бурлившей пустыней океана в ревуший хаос каких-то разорванных немых голосов, в месиво приближающихся из какого-то темного коридора лиц, раскрытых ртов, поднятых рук. И в этом каменном коридоре что-то кишело, двигалось, падало, задыхалось в судорожных рыданиях: «Остановитесь!»

Он знал, что сейчас умрет — чувствовал теплую солоноватую струйку крови, стекающую у него изо рта, он глотал ее, закрыв глаза, стараясь спокойно понять, кто виноват в его смерти, кто это сделал и почему он должен умереть. Он лежал, истекая кровью, среди сумеречного поля под трассами крупнокалиберных пулеметов, различая близкие голоса немцев, шагающих на него. Надо было немного отклонить тело, собрать усилием расслабленные мускулы, вытащить пистолет из нагрудного кармана, затекшего чем-то липким, вязким. Он

нащупал скользкий пистолет. Он был словно обмазан жиром. Пальцы нашли спусковой крючок — последнюю пулю всегда оставлял для себя, и сейчас не страшно было умирать.

Он остался один на нейтралке, не дополз к своим — и все ближе, все громче раздавались над головой шаги немцев. И он слабыми рывками приближал пистолет к виску, стараясь приподняться на локтях и выстрелить точно... Руки подкосились — он упал лицом в жесткую землю, и в эти минуты чьи-то знакомые, прохладные ладони повернули его голову, стали гладить по щекам, по лбу, кто-то плакал, кричал и звал его на помощь из каменного коридора, из хаоса голосов, из опрокинутого пепельного неба:

— Костя!.. Костя!..

А он не мог уже пошевелиться. Его качало, волокно куда-то, затем нечто серое, тусклое развернулось перед ним, и где-то звенело тягуче и непрерывно по железу, и он подумал, что смерть — это железное, бесконечное, с набегающим в уши звоном.

Но то, что показалось ему, не было смертью. Он лишь на несколько минут потерял сознание от удара боком и головой о железо машины.

16

— Ася!

Он раскрыл глаза, приподнялся на локтях — и сейчас же упал спиной на подушку. Он лежал, чувствуя колючую живую боль в боку, слышал какие-то звенящие звуки, легкие, брызжущие, и сначала подумал, что это обморочный звон в ушах. Но сознание уже было ясным.

«Я жив? Я дома? Как я очутился дома? Меня ударило о машину? А Ася, Ася?» — спросил он себя и, напрягаясь, обвел взглядом комнату.

Весь белый, квадрат окна был широко залит солнцем. Раскаленной белизной оно висело над мокрыми крышами двора, и за стеклом мелькало что-то, вкрадчиво стучало по карнизу; и где-то внизу бормотало, шепелявило в водосточных трубах, плескало в асфальт.

«Это дождь? Идет дождь? — подумал он. — И я жив? И я дома?» — снова подумал он и тут же вспомнил все, ужасаясь тому, что вспомнил.

«Она была со мной. Я помню, мы шли... Я помню — она была со мной»...

— Ася! Ася! — позвал он чужим голосом.

И, замирая, встал на ноги, пошатываясь, сделал несколько шагов и толкнул дверь в другую комнату, от слабости держась за косяк, облизнул пересохшие губы, не в силах выговорить ни слова, уловив ее шепот сквозь шум струй по оконному стеклу:

— Костя... Я здесь.

Ася сидела на постели, поднятое навстречу лицо бледно, смертельно утомлено, брови дрожали, и выделялись лихорадочным блеском глаза, устремленные на Константина.

— Ася... ты не спала? — Он передохнул, нашел ее растерянно блестящие ему в глаза зрачки, но не хватило дыхания сказать в полный голос, спросил шепотом: — Что, Ася? Что?

Ничего не болит?.. Ася... Как ты себя чувствуешь?

Константин не узнавал ее за одни сутки похудевшего лица, ее искусанного рта и, подавленный дикой, отчаянной мыслью, что именно он непоправимо виноват перед ней, готовый плакать, встав перед тахтой на колени, повторял:

— Что?.. Ася...

Он обнял ее, приник переносицей к ее напряженной, пахнувшей детской чистотой шее, глядя ее теплые волосы.

— Ну что? Как?

— Костя, что делать? — Она порывисто уткнулась носом ему в висок. — Я не знаю, что я должна делать. Как мы теперь будем?

— Что ты говоришь?

— Как жить?

— Ася, не говори так. Нас трое. Ты понимаешь, нас трое.

— Костя... Я должна идти на работу? Ты должен идти на работу? Как будто ничего не случилось? Ну вот. — Она оторвалась от него, ладонями взяла его голову, всматриваясь беспокойно. — Ну вот, слава богу, только синяк. И на боку у тебя синяк. Слава богу, слава богу, что так.

— Я знаю, как жить. Я все знаю, Асенька, — заговорил Константин. — Поверь мне. Ты хочешь поверить мне? Ты веришь, что я люблю тебя?

Она, вздрагивая, гладила, ерошила его волосы на затылке.

— Не могу представить — и мы и

он могли погибнуть...

— Ася, послушай меня... — И он с успокаивающей нежностью поцеловал ей руку. — Все будет прекрасно. Все будет как надо. Ты должна сейчас встать и приготовить завтрак, понимаешь меня, Асенька? Так у всех начинается жизнь, правда? С завтрака. Все люди начинают день с завтрака. И мы...

Она сказала ему в плечо:

— Костя, что же будет?

— Прекрасно будет. Главное — вот ты, и мы дома. И я здоров как бык. И я хочу есть.

— Я одну секундочку... Ты не обращай внимания. Это просто нервы... — Она чуть в сторону повернула лицо, и он увидел: слезы поползли по ее щекам полосами. Она попыталась улыбнуться. — Я не буду. Я секундочку. Я просто не могу. Ты не смотри на это. Вот, уже. Видишь? Уже прекратилось. Я сама не люблю... — Она виновато взглянула на него влажной чернотой глаз. — Хорошо. Пусть так. Выйди на минуточку, я оденусь. Ты готовь на стол. Хотя бы поставь чашки. Я постараюсь взять себя в руки. Я сумею. Ты знаешь, что я сумею.

— Я знаю, что ты сможешь, Ася. Я знаю.

Потом он закрыл дверь своей комнаты, присел к столу и так сидел, ослабли колени, не было сил убрать постель с дивана — ломало, стягивало все тело, как будто целую ночь спал в

раскаленных железных тисках, его подташнивало, и неотпускающая боль отдавалась в голове.

Ему надо было перевести дыхание, отдохнуть несколько минут, он знал, что эти минуты отдыха и слабости кончатся, как только послышатся из другой комнаты шаги Аси, и Константин, прислушиваясь к шорохам в соседней комнате, уперся лбом в сжатый кулак, зажмуриваясь.

Низкое утреннее солнце, прорываясь из-за крыш через мелькание дождя, входило в комнату желтовато-белыми столбами.

Дождь плескал в тротуары, с мокрых перекрестков доносились гудки машин, отрывистая трель трамваев, и Константину вдруг показалось — запахло, как в детстве: теплым парком влажного асфальта, сладковатой сыростью тротуаров, дождевых озер, и в лицо ему ощутимо повеяло свежестью намокшей одежды прохожих, переживавших грозу под каменными арками в чужих подъездах.

«Вот и дождь, — подумал он. — Я всегда любил дождь...»

Шаги в коридоре, внятный стук в дверь заставили его поднять голову, он подумал, что это Марк Юльевич, и, пересиливая себя, сказал негромко:

— Да, войдите.

И все будто легонько сместилось, все отстранило возникшее в дверях знакомое крупное лицо с влагой дождя на лохматых бровях, затем выдвинулась из коридора массивная фигура, огромные руки неуклюже торчали из рукавов брезентового плаща.

— Федор Иванович... — сказал Константин.

Федор Иванович Плещей, косолапо переваливаясь, шел к нему от двери, грубоватый голос его загудел, казалось, наполняя комнату воздухом гаража:

— Ну, здорово! Не знаешь, что в утреннюю заступаем? Ну, почему молчишь — заболел без бюллетеня?

Константин, медленно вставая навстречу Плещею, проговорил:

— Я не мог... Я был вчера там...

— А я вот из парка, на пару слов, если разрешаешь. — Плещей снял плащ, взглядывая на Константина, небритого, осунувшегося, в незастегнутой на груди нижней рубашке. — Водки бы с тобой сейчас не мешало, конечно, лупануть для хорошего русского разговора, да на машине я. Был, значит? Давай сядем, что ли. А то стоим, как-то неудобно вроде...

— Да, — хриловато выговорил Константин. — Вы все знаете, что было?

— Не один я, вся Москва знает. Да вон вижу — фонарь на виске, не объясняй, — сказал Плещей густым басом. — Ну? Поэтому на работу не вышел? Или другие причины?

Константин после молчания заговорил:

— Да, Федор Иванович... Я бы очень хотел, чтобы вы видели тот момент, когда на бульваре началась давка. Я этого не забуду. Нет, не об этом я хотел... Можете ответить мне откровенно?.. Только откровенно. Как теперь будет?

— Врать бы научиться можно было, да не смог, таланту не хватило, — Плещей продул

мундштук и усмехнулся. — Вот ты жив-здоров, вот я с тобой здесь сижу, а не где-нибудь в другом месте. Это главное. Понял ты, Костя? Время-то, дружище Константин, на месте не стоит. Не может оно стоять. Время — оно умнее нас... А синяки, брат, скоро пройдут! Скоро!..

И Константину в эту минуту показалось, что Плещей никогда не знал того одиночества, какое знал он все эти последние дни, и еще показалось ему, что в живых глазах Плещея, в его тяжелых плечах, распирающих поношенный пиджачок, в руках его, положенных на стол, были доброта и мужское спокойствие.

Константин проговорил:

— Скажите, Федор Иванович... Ответьте мне еще на один вопрос. Вы ведь давно в партии?

— С тридцать второго. А что?

— Нет, ничего. Это так...

— Ася! — позвал Константин, глядя на дверь в другую комнату. — Я голоден, как тысяча чертей! Ты слышишь, Ася? Мы ждем тебя. У нас гость.

— Я иду. Я готова.

«Что было бы со мной, если бы не она? — опять подумал он. — За что она любит меня?»

Из другой комнаты приближались шаги.